

|| 4 ||

# ЖО В Ы И М И Р

ЖО В Ы И М И Р

|| 1973 ||

4



1973

# ИНФОРМАЦИЯ И МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLIX

№ 4

Апрель, 1973 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС — <i>Моя Москва</i> . Перевела с литовского Римма Казакова	3
МИРОН РАДУ ПАРАСКИВЕСКУ — <i>Ленин</i> , стихотворение. Перевел с румынского Ю. Кожевников	4
ВЕЛИН ХАНЧЕВ — <i>В Разливе</i> , стихотворение. Перевел с болгарского А. Опульский	5
ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО — <i>Дом учителя</i> , роман	6
ЕВГ. ЕВТУШЕНКО — <i>Из лирической тетради</i> , стихи	23
ЮРИЙ ТРИФОНОВ — <i>Нетерпение</i> , роман. Продолжение	35
МАРИЭТТА ШАГИНЯН — <i>Человек и время</i> , воспоминания. Часть третья. Дом Феррари	113
ГЕНРИХ БЁЛЬ — <i>Групповой портрет с дамой</i> , роман. Продолжение. Перевела с немецкого Л. Черная	132
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
НИГМАТУЛЛА АБДУЛЛИН — <i>Товарищи</i>	173
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
В. Г. КЛЮЕВ — <i>Наследники красных ткачей</i>	179
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ — <i>Дело всей жизни</i>	188
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
Я. БИЛИНКИС — <i>Драматизм и эпичность</i> (К 150-летию со дня рождения А. Н. Островского)	218
БОРИС ПАНКИН — <i>С точки зрения художника</i>	228

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

	Стр.
<i>Литература и искусство</i>	249
<b>Федор Абрамов.</b> Александр Яшин. поэт и прозаик.— <b>А. Марченко.</b> «Давай, брат, отрешимся, давай, брат, воспарим!» — <b>Вадим Баранов.</b> Критик выпускает книгу.	
<i>Политика и наука</i>	263
<b>В. Старцев.</b> По следам доктора Мюллера и других.— <b>В. Пошатаев.</b> У колыбели советской науки.— <b>О. Мороз.</b> Борьба Галилея.— <b>Феликс Лев.</b> Симметрия и гармония.	
<b>ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ</b>	
<b>Современник о современном</b>	278
<b>КОРОТКО О КНИГАХ</b> — <b>Валентин Катаев.</b> — <b>Н. Берендгоф.</b> Избранное. Стихи. ◆ <b>Н. Малюкова</b> — <b>Юрий Кларов.</b> Допрос в Иркутске. ◆ <b>Н. Грознова.</b> — <b>А. Старков.</b> Герои и годы. Романы Константина Федина. ◆ <b>М. Анцыферов.</b> — <b>Дм. Молдавский.</b> Перекресток стихов и трасс. ◆ <b>Ал Дымшиц.</b> — <b>Семен Аладжалов.</b> <b>Георгий Якулов.</b> ◆ <b>А. Иглицкий.</b> — <b>И. Лаврецкий.</b> Эрнесто Че Гевара	282
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	288

---

---

ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

★

## МОЯ МОСКВА

С литовского

\* \* \*

В том мире, где уже мне не изменит  
все, чем и ненавидим и любим,  
есть у меня любовь, и не измерить  
ее щедрот, ее высот, глубин.

Моя любовь — когда прогноза хмурость  
надежду удручает, в рабство им  
не взяты братство, мужество и мудрость,  
означенные именем твоим.

Я вырос, с этим именем срастаясь,  
свою судьбу сложив с его судьбой,  
и с ним тогда лишь навсегда расстанусь,  
когда расстанусь и с самим собой.

И вы со мною повторить могли бы  
мой монолог и сердца и пера  
об имени моей любимой, ибо  
оно — синоним счастья и добра.

Моя любовь — просторы улиц-просек,  
сердечности российской соль и суть...  
Любой, кто у тебя дорогу спросит,  
на верный и широкий выйдет путь.

Ты нежность вдоха, вечность — и эпоха,  
смещение вех, неутомимый век...  
С тобой не может пусто быть и плохо,  
и человек с тобою — Человек.

День нынешний, вчерашний и всегдашний —  
ты, и, тобой проверив все слова,  
пишу на пашне, на кирпичной башне,  
и на холсте, и на листе: Москва.

Перевела РИММА КАЗАКОВА.

---

---

МИРОН РАДУ ПАРАСКИВЕСКУ

★

## ЛЕНИН

*С румынского*

Пять букв простых, пять четких букв всего  
Составили фамилию его.  
Всего пять букв стоят чредою скромной,  
Но обнимают целый мир огромный.  
Всего пять букв, которые для нас  
В пути бессменный компас и сейчас.  
Пять букв к нам тянутся из дали млечной  
Лучами красными звезды пятиконечной.

*Перевел Ю. КОЖЕВНИКОВ.*



---

---

ВЕЛИН ХАНЧЕВ

★

## В РАЗЛИВЕ

*С болгарского*

В черных кружевах листвы недвижной  
северный закат уже сияет.  
Тихо. В сонном тростнике чуть слышно  
журавлиная бормочет стая.

В озере всплеснется рыба нежно,  
и вздохнет балтийский горький ветер.  
Тихо. Ленин в свой шалаш, как прежде,  
не войдет и лампу не засветит.

Нет его. А здесь остались только  
тот простой шалаш, леса большие,  
северные волны, ветер горький  
и небес недвижных строгих шири.

Только это. Величаво. Скромно.  
Скромно все, но необыкновенно.  
Только это. Но здесь каждый вспомнит  
человека, что был просто — Ленин.

*Перевел А. ОПУЛЬСКИЙ.*



---

ГЕОРГИЙ БЕРЕЗКО

★

## ДОМ УЧИТЕЛЯ

Роман

Первая глава

ГОРОДОК В САДАХ. ИНТЕНДАНТЫ

1

Этот ясный осенний день бесконечно тянулся, словно бы по крайнему рубежу, по необозначенной черте, что отделяет жизнь от нежизни. И можно было в любое мгновение с ужасающей легкостью тут же на дороге, на пыльной обочине, заросшей конским щавелем, переступить эту невидимую черту.

Лишь к вечеру — после того как их одинокую машину дважды с двух заходов обстрелял, точно опалил железным ветром, немецкий истребитель, носившийся в прифронтовой полосе, после долгой тряски на открытой равнине, когда и тень летящей птицы заставляла опасливо вглядываться в бледное, чуть подсиненное небо, после бомбежки на переправе, из грохочущего, кричащего, воняющего взрывчаткой дымного ада которой им опять же только случайно удалось выско-чить, — они добрались до цели своей поездки, этого городка, затерянного в желтых, сквозных, словно бы догоравших садах. И намаевшийся в кузове машины на куче порожних мешков Виктор Константинович Истомин — тридцатипятилетний, рано поседевший человек, кандидат филологических наук, доцент, а ныне боец комендантской роты одной из московских ополченских дивизий — почувствовал себя так, точно ему напоследок было подарено еще немного — может быть, одна ночь, а может быть, и завтрашний день, целые сутки жизни.

На окраинной немощеной улочке их машина затормозила. Вспо-лощенный, весь пурпурно-огненный петух выметнулся вдруг из-под колес, отчаянно, по-человечьи крича, попытался взлететь, распахнув пылающие крылья, упал в траву, умолк... И наступила полная тишина — тишина, которая была похожа на пробуждение.

Истомин туповато, не веря в истинность происходившего, озирался. Улочку неспешно переходила вдалеке баба с ведрами на коромысле; вдоль дощатого, в зеленых лишаях забора, кренившегося под напором яблоневых веток, пробирался неслышно полосатый кот; воробей нырял в пыли и отряхивался, топорща острые крылышки, — и можно было подумать, что здесь и слыхом не слыхали еще о войне: все было как в полузабытом блаженно-будничном мире. Из застеклен-ной террасы дома, самого приметного, о десяток окошек по бревенча-тому фасаду, одетых в деревянное кружево наличников, появилось на крыльце что-то такое нарядное, наглаженное, чистенькое, что тоже чудом, казалось, возникло из довоенного мира. Эта красавица в белой

вязаной кофточке, в белых лодочках и в газовой сиреневой козынке, брошенной на плечи, собралась ни дать ни взять на гулянье, точно здесь сохранились и вечерние гулянья в городском парке или на главной улице... Впрочем, когда Ваня Кулик, водитель, высунув из кабины голову в пропотевшей пилотке, окликнул девушку, та с готовностью сбежала по ступенькам к их автобатовской, повидавшей виды, скособоченной на ослабевших рессорах трехтонке.

— Окажите, гражданка, содействие,— проговорил севшим, глухим голосом Ваня.

Но в его тоне была и сейчас та ласковая наглость, с какой он, вчерашний столичный таксист, ухажер и обольститель, разговаривал со всеми женщинами.

— Конечно, пожалуйста!.. Какое содействие? — спросила любопытно девушка.

— А как в романсе поется,— сказал Ваня.

Виктор Константинович привстал было в кузове, чтобы вмешаться — эта манера Кулика завязывать знакомства действовала на него угнетающе,— но тут же плюхнулся на свои мешки: затекли ноги от неудобного сидения.

— В каком романсе? — Девушка улыбалась.— Я не знаю.

— «А если свободен ваш дом от постоя, то нет ли хоть в сердце у вас уголка?» — просипел Ваня и закашлялся, он тоже наглотался пыли.

Девушка с откровенным интересом переводила взгляд с одного пассажира трехтонки на другого. Она оказалась моложе, чем сперва Истомину привиделось,— лет семнадцати — восемнадцати, да и красавицей ее нельзя было назвать. Но и самая красивая женщина не смогла бы сейчас сильнее удивить Истомину, вызвать даже некоторое смятение...

Намучившийся и телесно и духовно, переживший в дороге долгое отвратительное состояние страха — это отдававшее в голову тяжелое сердцебиение, эту тошноту и слабость, охватывавшие каждый раз, когда опасность отдалялась,— Виктор Константинович сам для себя был и нехорош и жалок. Но взглянув на него, девушка и ему улыбнулась так, точно сказала: «Вы мне нравитесь», — сказала всем своим худеньким светлоглазым лицом; она радовалась встрече с ним — вот что казалось удивительным! И не так уж важно было, что эта ее улыбка: «Вы мне нравитесь», относилась не к нему одному, но и к Кулику, когда она разговаривала с Куликом.

— Ставьте машину, заезжайте — что за вопрос? — сказала она чистым голосом.— Ольга Александровна непременно вас устроит. Это моя тетя, она заведующая. Мы все будем очень, очень...

Она не успела закончить фразу — из кабины выпрыгнул Веретенников, техник-интендант 2-го ранга, командир их экспедиции. Он стукнул каблуками, вытянулся и отчетливо, как при встрече со старшим по званию, выпрямленной кистью откозырял.

— Лейтенант Веретенников,— представился он.— Будем знакомы!

«Лейтенант» звучало, разумеется, лучше, чем «интендант». А рубиновые квадратики на воротнике гимнастерки, по два в каждой петлице, полагавшиеся Веретенникову так же, как и строевику-лейтенанту, помогли ему в этой небольшой мистификации.

— Очень приятно,— ответила, улыбаясь, девушка.— А я Лена.

— Понятно,— серьезно проговорил он.— Извините за нескромность: проживаете здесь?

— Ну конечно! — Девушку все забавляло в этом разговоре.— Проживаю, конечно.

— Понятно,— сказал Веретенников.



Маленький, как подросток, но ладно, соразмерно сложенный, он пристально, словно внушая нечто важное, смотрел снизу черненькими немигающими глазками. У Веретенникова была другая манера заводить знакомство с женщинами — он как бы гипнотизировал их.

— Собственно, я должна уже была быть в Москве, — сообщила доверительно девушка. — А теперь даже не знаю...

— Учитесь в Москве, так надо понимать? — продолжал, не отводя взгляда, Веретенников.

— Собирались только поступать, все бумаги послала. И вдруг — эта война!

— Да, положение существенно изменилось, — подтвердил он.

— А вы прямо с фронта? — спросила она.

— Извините! — сказал Веретенников.

— Я что-то не так спросила? — Она искренне веселилась. — Я чересчур любопытная, да?..

— Кто, куда, откуда — в условиях военного времени покрыто мраком неизвестности, — сказал он.

— Понятно. — И она рассмеялась, вся словно засветилась смехом. — Мы с вами оба ужасно понятливые...

Веретенников, польщенный, склонил голову.

— Что же вы стоите, — сказала девушка. — Заводите машину во двор. Тетя сейчас во дворе. Вы прямо к ней...

— Мы еще увидимся, надеюсь... — больше с утверждением, чем с вопросом, проговорил Веретенников.

— Конечно, мы еще увидимся!

Она одарила всех троих поочередно улыбкой, отступила на тротуар — две истоптанные доски — и пошла, пряменько держась, чувствуя, что ее провожают взглядами. И правда, мужчины с задумчивым видом помолчали, глядя на ее узенькую фигурку, на каштаново-смуглые ноги с удлинненными икрами, с хрупкими щиколотками, на выгоревшие до пшеничной желтизны волосы, схваченные белой ленточкой, свободно, всей массой откинутае на спину, и равномерно приподнимавшиеся в такт шагам.

— Здесь и остановимся. Заводите, Кулик, машину, — распорядился Веретенников.

Приметный дом на окраине города назывался, как вскоре выяснилось, районным Домом учителя; тут был местный учительский клуб и при нем маленькая гостиница для педагогов, наезжавших из района. Словом, Веретенникову с его небольшой командой на этот раз особенно повезло. И когда в сопровождении заведующей Ольги Александровны они из темных сеней вошли в зальце, главную комнату Дома, даже Веретенников, напустивший на себя командирскую чопорность, высказал свое полное одобрение:

— Уютно, да! Вроде как оазис...

Истомин озярился с расслабленным, страдальческим выражением — ни на что подобное он уже не надеялся. Это наполненное солнцем и будто к празднику прибранное, обряженное в беленькие занавески, оклеенное наивно-голубыми обоями зальце можно было и вправду окрестить оазисом...

В кадках и в горшках зеленел здесь целый живой сад — аккуратные лимонные деревца с их блестящей, как новые монеты, листвой, кожистые, лакированные фикусы, ветвистые рододендроны, обрызганные мелкими розоватыми цветками; в углу на тумбочке цвела китайская роза, и на ее темно-зеленом разросшемся кусте уселось как будто множество красных мотыльков. Да и пахло здесь, как в настоящем саду, нагретым деревом, свежей землей... В простенках между окон были повешены литографированные портреты — за стеклом, в

позолоченном багете те же, что Истомин запомнил еще с детства, с первых школьных лет: Тургенев, седовласый, как новогодний дед-мороз, задумчивый Пушкин, скрестивший на груди руки, Чехов в пенсне со шнурочком, Грибоедов в узких очках, в старомодном сюртуке; из-за куста роз пронизательно глянул синеглазый, мужиковатый, богоподобный Лев Толстой — там была репродукция с портрета, писанного Крамским. «И, господи боже! — подумалось Виктору Константиновичу. — Эти великие тени точно спасались здесь, на этом крохотном зеленом острове, чудом сохранившемся среди всеобщего ужаса».

В зальце имелось еще и много другого, могущего порадовать душу, как радуют игрушки: допотопный глобус, опоясанный по экватору металлическим кругом, какие-то хитроумные, с открытым механизмом часы под стеклянным колпаком, старенькое, красного дерева пианино. И все это поблескивало в разливе теплого предзакатного света, само, казалось, излучая тепло. По крашеному полу был положен от входа и до дверей в другие комнаты домотканый, в поперечную разноцветную полоску половичок.

— Здесь наша гостиная. Тесновато, конечно... По вечерам трудно бывает всех рассадить. Но в тесноте, да не в обиде, — прерывающимся голосом, будто волнуясь, давала пояснения заведующая. — Спальня у нас дальше, за библиотекой. Пройдемте, пожалуйста, товарищи.

Нездорово-полная, грузная, она задыхалась и на ходу откидывала назад голову в пышной голубоватой седине, отчего сразу же принимала горделивый вид. Странное возбуждение, словно бы жар гостеприимства, беспокойство предупредительности, горели в ее темных, под черными бровями, все еще красивых глазах.

— Постельное белье мы сменили, устраивайтесь, пожалуйста, и отдыхайте... Ах, я знаю, как вам необходим отдых! Вода в графине кипяченая... Во дворе банька — пожалуйста! — спешила она с ответом на вопросы, что могли возникнуть у гостей. — Если что-нибудь еще... прошу, товарищи, ко мне. Меня зовут Ольга Александровна Синельникова.

— Чувствуется женская рука, — отзывался с достоинством Веретенников. — Приятно в походной жизни встретить такое... такой оазис.

В смежной комнате стояли по стенам высокие книжные шкафы, почерневшие от времени; за стеклом дверок слабо мерцала позолота на корешках толстых фолиантов — здесь была библиотека. А посредине все свободное пространство занимал овальный стол, застланный тканой кремовой скатертью; сложенные стопками, лежали на столе газеты и в глиняном кувшинчике пылал, выделяясь на скатерти, букет красных лапчатых листьев клена.

— Если вам удобно, пожалуйста, можете тут и закусить. Приходится как-то устраиваться... Посуда вот в этом отделении — тарелочки, чашки... — Ольга Александровна приоткрыла нижнюю глухую дверку одного из шкафов. — Прошу вас.

— Не помню уже, когда я ел на скатерти, — проговорил молчаливый до этого Виктор Константинович, — спасибо вам... Как у вас все хорошо! Спасибо!.. Мы доставляем вам уйму хлопот.

Ольга Александровна чуть внимательнее на него посмотрела; этот сутуловатый боец с винтовкой на худом плече показался ей на кого-то похожим своим болезненным обликом, запавшими щеками, седоватым ежиком над высоким, хорошей формы лбом; боец стеснительно переступал по чистому полу серыми от пыли гиреподобными башмаками.

— Ну что вы! — возразила она. — Я попрошу Настеньку поставить самовар. Вы помоеетесь, а потом будете ужинать.

— Говорят, что в наш век электричества и радио самовар устарел, но согласиться с этим абсурд,— сказал Веретенников.

Из библиотеки-столовой все вступили в спальню; небольшая и действительно тесноватая, она была обставлена попроще: шесть железных кроватей под коричневыми «казенными» одеялами, шесть тумбочек, покрытых салфетками, и шкаф для одежды — старый, глубокий, с накладной, в виде веночков, деревянной резьбой — тот самый «многоуважаемый шкаф» из «Вишневого сада». Три кровати были заняты: на тумбочках возле них лежали папиросы, мыльницы, книжки, — три были свободны, и подушки там светились горней белизной... «Маминой, — подумал Истомин, — у моей мамы были такие подушки».

— Спасибо, спасибо! Нам, право, неудобно, — пробормотал он растроганно.

И тут же мысленно спросил себя: «А сколько еще жить этому оазису — день, два, неделю?.. Когда — завтра или послезавтра все здесь будет растоптано, изломано, загажено? И сколько еще жить мне самому?»

Он невольно оглянулся, испугавшись, что кто-нибудь слышал его вопрос — таким громким он почудился. И ему захотелось шепнуть этой седой любезной даме: «Уезжайте!.. Бросайте все и уезжайте как можно скорее, на край света!» Но существовал ли еще где-нибудь спасительный «край света»?.. На все, что пока еще было живым, простерлась, казалось Виктору Константиновичу, тень обреченности... И эти славные люди из этого гостеприимного Дома могли попытаться лишь продлить свои сроки.

В спальню комнате навстречу им поднялся со стула совсем уже пожилой человек в длинной холщовой толстовке, в пузырившихся на коленях брюках; он кивал лысой, загорелой, сухо, как орех, блестящей головой и улыбался. В одной руке у него была толстая, в переплете книга, другой он снял очки в проволочной оправе.

Ольга Александровна длинно, устало вздохнула.

— Наконец-то!.. Я и не заметила, когда вы вернулись, — сказала она. — Знакомьтесь, вот и еще гости к нам... Самые дорогие — фронтовики.

Не опровергая этой приятной рекомендации, Веретенников громко проговорил:

— Просим прощения, что потревожили. Здравия желаю!

Человек с книгой помолчал, приглядываясь из-под разросшихся спутанных бровей.

— Солдатушки, бравы ребята! — неожиданно приветствовал он вошедших. — Чем же вы нас потревожили? Честь и место! Располагайтесь, молодые люди! — Он был, казалось, весь радушие. — Наши деды — славные победы! Чувствуйте себя как дома.

Пожалуй, все же в его радушии была изрядная доля насмешки. И Веретенников, как бы за разъяснением, обернулся к Ольге Александровне. Та, глядя на старика, покачала с укором своей царственной головой.

— Наш директор школы в Спасском Сергей Алексеевич Самосуд, — сказала она, знакомя. — Это недалеко от нас, километров двадцать... Тоже, как и я, старожил здешних мест. И знакомьтесь, пожалуйста, дальше...

В комнате находился еще один человек; он встал при появлении хозяйки с новыми постояльцами и стоял в дальнем углу у своей койки. Был он лет тридцати, высок, красновато-черен от загара, светловолос и застенчиво улыбался; пиджак был накинут у него на голые плечи, и он обеими руками изнутри стягивал его на себе.

— Наш гость, товарищ с Запада,— представила его Ольга Александровна.— С другими нашими гостями вы тоже, конечно, познакомитесь.

— Войцех Осенка,— глуховатым тенором проговорил этот товарищ и поклонился, удерживая за лацканы пиджак, чтобы не соскользнул.— Пшепрашам<sup>1</sup>, пани, что у таком выглёнде...

Кажется, он занят был ремонтом своей рубашки, пришивал пуговицу, когда сюда вошли.

Ольга Александровна опять заволновалась, зашпешила:

— Есть какие-нибудь новости? — Это относилось к старому учителю.— Я даже не видела, как вы вернулись... Вы потом зайдете ко мне? Пожалуйста, Сергей Алексеевич!

— Ничего решительно,— ответил он.— На Шипке все спокойно.

— Но вы не уезжаете, вы остаетесь? — спросила она.

— Еще успею вам надоест. У арабов есть пословица: гость дорог человеку, как дыхание, но если дыхание войдет и не выйдет... — И старик сам заранее хохотнул, он вообще, по-видимому, был веселого нрава.

— Да, да, я слышала это от вас тысячу раз: «...если дыхание не выйдет — человек умирает»,— сказала Ольга Александровна.— Маша тоже волнуется, вы просто не щадите нас.

— Полноте, полноте,— сказал Сергей Алексеевич.

— Я не видела и когда вы уходили... Вы словно нарочно... — пожаловалась она.— И совершенно напрасно: Маша слышала и сказала мне, что вы ушли. Она в курсе всего, что в доме, вы же знаете.

— От Марьи Александровны секретов быть не может,— согласился он.

— Но вы еще не уезжаете?

Он повертел головой:

— Сегодня я у вас...

— Вы потом зайдете к нам?

— Буду с полным докладом.

Они разговаривали о своем, очень важном, должно быть, для них. А в том, как они разговаривали и как смотрели друг на друга, был и еще один диалог. «Не скрывайте ничего от меня,— просила она.— Что нам всем грозит? Что грозит вам?» И он ответил: «Не тревожьтесь. У меня есть что-то хорошее для вас... Со мной тоже все благополучно».

— Простите!— спохватилась Ольга Александровна, вспомнив, что тут есть и посторонние.— Занимайте, пожалуйста, товарищи, свободные кровати.

Она опустилась на стул, точно силы вдруг покинули ее, но тут же встала и пошла с откинутой горделиво головой.

## 2

Как это было ни странно, но все телесно-изнурительное, порой почти непереносимое, что выпало нынче на долю Виктора Константиновича — эти нескончаемые учения и марши, ночевки на голой земле, на сырой соломе, этот его твердо набитый мешок с выпирающими запасными обоймами, равномерно при ходьбе толкавший в спину, винтовка, натрудившая плечо и тяжелевшая с каждым километром, вонь пропотевших портянок, стертые до волдырей ступни, караулы, посты, наряды, опять посты, опять наряды,— все это помогало ему держаться, заглушало тоску и тайный страх. И наоборот,— то участливое

<sup>1</sup> Извините (польск.).

и великодушное, что тоже было в его солдатской жизни: вечерние на привале расспросы товарищей о семье, о жене, милосердная забота сандружинницы о его настрадавшихся ногах, сочувствие молоденького отдаленного командира, который на долгом переходе забирал у него винтовку и вскидывал себе на плечо, кружка молока, что наливала ему, случалось, в попутной деревеньке жалостливая хозяйка,— все истинно доброе растревало его душевную боль; Виктор Константинович сильнее начинал чувствовать и прелесть, и слабость, и красоту, и обреченность доброго человеческого мира.

...Это началось у Виктора Константиновича еще задолго до войны: в какую-то невеселую пору своей жизни он задумался над удивительной живучестью зла. Люди, лучшие из людей, на протяжении веков боролись со злом, избличали его, проклинали, изгоняли, а оно лишь меняло обличия, обнаруживая неукротимую волю к распространению. Простая логика голосовала за общность человеческих интересов, но вопреки логике — и это вызывало болезненное недоумение — зло продолжало наступать: не прекращались войны и завоевания, сильные угнетали слабых, целые народы уничтожались или погибали в рабстве. Формы насилия совершенствовались, и даже наука, вопреки самой себе, служила им: Джордано Бруно сожгли на костре, Сакко и Ванцетти обуглились на электрическом стуле... Виктор Константинович лишь из инстинкта душевного самосохранения противился еще некоторое время этим мыслям; среди близких людей он даже прослыл оптимистом и всеобщим утешителем. Но больше, чем другие, он сам — книжник и немного поэт для себя и для друзей, со своим детством в благополучной семье, где все оберегали друг друга, любимец матери, передавшей его из рук в руки заботливой жене,— сам нуждался в утешении, в этой искусственно поддерживаемой, приятно теплой душевной температуре.

Истомин и точно был отзывчив, а вернее, обладал достаточным воображением, чтобы понять чужую беду. Но он знал о себе и то, что у него никогда не хватало духу даже на самооборону; он уступал и в своей собственной беде. Сколько он себя помнил, он всегда чего-нибудь боялся: родительского неудовольствия, резкого слова, ссоры, огорчения, обиды — он всегда слишком боялся несчастья, и это, собственно, и сделало его несчастливym. И хотя всегда находились какие-то внешние пристойные объяснения его уступчивости, он-то сам сознавал, что истинная ее причина заключалась в одном и том же: он переживал свое поражение еще до того, как оно случалось, а пережив его, было уже нетрудно смириться с ним.

Еще в юности Истомина поразила смерть младшей сестры, двенадцатилетней умницы и красотки, заболевшей мучительной и неизлечимой болезнью; до последней минуты он уверял всех в ее скором выздоровлении, споря внутренне с дикой несправедливостью совершавшегося. Эта несправедливость проявлялась не только в неразумной природе с ее безучастными к людям законами, но и в отношениях разумных существ друг к другу. Иногда Истомину казалось, что в самом человеке имеется какой-то дефект, губительное несовершенство. Детям часто доставляло непостижимое удовольствие мучить животных, мальчишки стреляли из рогаток в воробьев, кошек. Легко накапливались жестокие примеры: кто-то убил из ревности жену, кто-то оклеветал из зависти лучшего друга. И какой же поистине беспомощной оказывалась доверчивость перед предательством, невинность перед подозрительностью!

Постепенно Виктор Константинович стал отстраняться от всего, что грозило непосредственным столкновением с жестокостями жизни; он замкнулся и растерял друзей. Свободной от зла оставалась как

будто одна только поэзия — эта вымышленная, призрачная страна, в которой если и происходили катастрофы, то условные, облагороженные; великая поэзия обладала могуществом превращать воду в вино, траур в нарядную одежду и слезы — в бриллианты. Виктор Константинович сделался частым посетителем букинистических лавок, отыскивая там полузабытых поэтов пушкинской плеяды — предмет своей ученой диссертации; в бессонницу он перечитывал своих любимых — Леопарди, Бодлера, Шелли, Анненского, Рильке, пока рядом тихо посапывала во сне жена. Но утром действительность снова громкими головами заявляла о себе и туман поэзии рассеивался. Виктор Константинович быстро стал стареть и сам замечал это. В студенческой молодости женщины говорили ему, что он похож на Александра Блока: такое же удлиненное лицо, такой же высокий лоб, такие же очень светлые глаза. И гордясь втайне этим сходством, он и свои волосы устроил «по-блоковски» — полувоздушным ежиком. Невесть отчего они рано начали сесть, а в походе у него появилась стариковская неуверенность.

Теперь на людях он редко бывал вполне спокоен: искренне сострадавая им, он в то же время остерегался их, даже своих квартирных соседей, своих сослуживцев. И с тоскливой опаской, с сердцебиением Виктор Константинович открывал по утрам газеты...

В мире множился словно бы некий вирус ненависти — он назывался фашизмом; проникая в мозг, он превращал человека в убийцу. И перед этой эпидемией ненависти бессильными оказались и «острый галльский смысл» и «сумрачный германский гений». Лавочники в центре Европы складывали костры из книг своих философов и поэтов, точно мстили за то, что философы и поэты пытались их очеловечить. С проблеском надежды Виктор Константинович следил еще в те годы за сообщениями из Испании, нищей и храброй Испании, в которой вновь зазвенел меч благородного рыцаря из Ла-Манчи. А на зов о помощи устремились в Испанию отовсюду добровольцы-интернационалисты, странствующие рыцари нашего века. Но и этот цвет человечества был частью уничтожен, частью рассеян закованным в танковую броню злом; Мадрид, преданный своими генералами, пал. И Истомин отнесся к этой катастрофе как к личной, он даже поссорился с женой, когда, тревожась за него, она сказала: «Подумай о себе, ты не спал сегодня всю ночь, на всех тебя не хватит». Он распалился, стал кричать о позоре равнодушия, но, заметив слезы в глазах жены, тоже заплакал — первый раз после смерти матери. Так они и помирились, плача о судьбе Испании у себя в Большом Афанасьевском переулке в Москве, в своей комнате, заставленной громоздкой родительской мебелью, в старой коммунальной квартире на четвертом этаже.

Далее, будто в адовом кегельбане, стали валиться и другие столицы: пали Вена и Прага, Брюссель и Варшава, подоженная пикирующими бомбардировщиками; сдался Париж. И по примолкшим в унижении Елисейским полям, мимо Триумфальной арки, мимо могилы Неизвестного солдата проползли, лязгая, немецкие танки. Величайшее зло пожирало целые народы, оно с неправдоподобной быстротой наливалось силой, тучнело... А в одно воскресное утро Виктор Константинович и его жена, сидя за чаем, услышали из репродуктора: двадцать второго июня на рассвете без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы... бомбили города Киев, Севастополь, Житомир...

Бело-румяное милое лицо жены сделалось слезливо-дряблым, и она тут же машинально стала убирать со стола, хотя они только приступили к завтраку. А спустя еще недолгое время он, Истомин, автор книги «Лирическая поэзия первой половины XIX века», одним из пер-

вых в институте, где он преподавал, пришел записываться в дивизию народного ополчения.

Он не размышлял тогда и не оглядывался — он действовал как человек, над которым убийца занес руку. В парткоме у стола секретаря теснились работники института и студенты-москвичи; они расступились перед Истоминым, а один юнец, первокурсник со странной седой прядью в черных взлохмаченных волосах, громко и чересчур уж весело проговорил:

— Виктор Константинович, и вы?.. Вместе пойдем! Будем у вас консультироваться в свободный час.

И Истомин таким же преувеличенно бодрым тоном ответил, что, разумеется, они не будут терять зря времени, так как войны кончаются, а наука бесконечна.

Вечером того же дня жена принялась шить ему походный заспанный мешок. В качестве материала для мешка была извлечена из маминного комода старая зеленая портьера, украшенная узором из золотой тесьмы.

— Как раз подойдет — защитного цвета, — сказала жена. — А эту дурацкую тесьму мы спорем.

Они сидели за зашторенными окнами — Москва с вечера должна уже была становиться невидимой. Виктор Константинович выпил за ужином водочки, они послушали сводку Совинформбюро, и он неожиданно объявил, что жалеет, что он не летчик: был бы летчиком, а не исследователем русской поэзии, и все было бы просто и безотложно — сегодня охранял бы воздушные подступы к Москве. Он не бахвалился, он чувствовал уже растерянность, и ему казалось, что, имея он настоящую военную профессию, он был бы спокойнее.

Жена оторвалась от шитья, откинула со лба волосы пухлой, как у младенца, рукой и жалостливо посмотрела: эта его многолетняя нянька догадывалась, какое смятение царило в его душе.

— Подойди, Витя, дай примерить на тебе лямки! — попросила она.

Через два дня Виктора Константиновича позвали к директору института; в кабинете сидела большая комиссия: товарищи из райкома, из военкомата, секретарь парткома, кто-то еще. И директор сухим тоном, не глядя Истомину в глаза, объявил, что по ходатайству кафедры ему дана «бронь» и он оставлен в институте.

— А зачем, собственно? — обиженный этой сухостью, запротестовал Виктор Константинович. — Что я, хворый?

«Хворый» выскочило как-то неожиданно — слово было не из его обычного словаря и прозвучало для него самого неискренне. Сердце у Виктора Константиновича заколотилось, и он подумал, не поторопился ли он с отказом от брони.

Командир из военкомата — пожилой, со склеротической розовой сеточкой жилоч на щеках и с орденом Красного Знамени на шелковой розетке, как носили в гражданскую войну, — рассмеялся: ему понравился ответ этого интеллигента-ученого:

— Хворый... «Что я, хворый?» — с удовольствием повторил он.

Директор поднял оживившийся взгляд и подобревшим голосом сказал, что если Виктор Константинович настаивает, то пусть уж идет в ополчение, а он, директор, уладит дело с руководителем кафедры.

И еще через немного дней их дивизия в полковых колоннах двинулась по Арбату на Фили и дальше — куда-то в Подмосковье. Ополченцам не выдали пока ни оружия, ни армейского обмундирования, и они шли во всем своем, в том, что поплоче, в стареньких пиджаках, в обтрепанных пальто, в обмятых шляпах, с туристскими или самодельными рюкзаками, кто-то тащился с двумя чемоданами — на груди и на спине, соединенными ремнем. В колоннах по четыре в ряд шли разные

люди, и шли они по-разному. Чему-то радуясь, толкались и наскakiвали на идущих впереди школьники из девятих-десятих классов, и, глядя вниз, под ноги, поглощенные своими думами, шагали отцы и мужья, которым перевалило за сорок, за пятьдесят.

На тротуарах останавливались прохожие, любопытные приподнимались на цыпочки, чтобы ничего не упустить; в открытые окна из-за занавесок и цветов высывались женские головы. Были слышны выкрики: «Возвращайтесь с победой!», «Бейте фашистов на их земле!», «Кончайте с Гитлером!» А на иных лицах ясно читалась тревога: уход этих невооруженных, по-будничному одетых москвичей наводил, должно быть, на мысль, что дело на фронте обстояло хуже, чем сообщалось в сводках, если уж понадобилось такое подкрепление. Маленькая, согнутая дугой бабка в черном монашеском платочке крестила уходящих мелкими крестиками. Недалеко от Истомина упала брошенная из высокого окна роза, ярко-пунцовая, пышнорасцветшая на зеленом стебле, и точно разбилась об асфальт. Когда выбежавший из колонны паренек поднял ее, она вся вдруг осыпалась угловатыми, как черепки, лепестками.

Взойдя на Бородинский мост, Виктор Константинович оглянулся... Позади еще виднелись крыши домов на Смоленской площади; где-то там находился и Старо-Конюшенный переулок, в котором формировался в здании школы, в классных комнатах, их полк. Справа и слева текла Москва-река, тихая и светлая в этот безветренный вечер; по горизонту в оранжево-дымном воздухе маячили тонкие вертикали заводских труб; неярко там и тут блестели купола церквей — вокруг еще была Москва, его, Истомина, город. Но уже остались позади и университет на Моховой, в котором он учился, и Ленинская библиотека, где он, усердный студент-филолог, познакомился в читальном зале с девушкой из педагогического, ставшей его женой, и Красная площадь, и площадь Маяковского, и Ваганьковское кладбище, где были похоронены его мать и отец, — позади осталась вся его жизнь. И невыносимое чувство конца этой жизни — расставания, разрыва, вечной утраты — пронзило его. Никто из людей, уходивших в тот вечер из Москвы, не знал, что именно всех их и каждого в отдельности ожидало, не знал этого точно и Виктор Константинович. Но впервые ему во всей реальности представилось: он уходил от своей жизни на войну, впереди, куда все направлялись, была она, война, фронт, бой! — нечто немислимое по жестокости. И как будто белые молнии рвались уже впереди в засиневшем к ночи воздухе, немые, неслышные, видимые пока лишь ему одному.

На мосту, догоняя своих мужчин, пробегали жены — простоволосые, с ликами мучениц. Стайка девочек в белых блузках, в красных галстуках пронеслась навстречу, тоже кого-то разыскивая. И тогда ополченцы не сговариваясь запели — один начал, другие тотчас подхватили: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов...» Они пели, ободряя тех, кто оставался, и самих себя, пели крикливо, напрягая голоса, бросая вызов всем угрозам, всем — черт побери! — смертям, перебарывая свое томление. Вместе со всеми отчаянно громко пел и Виктор Константинович...

За заставой пение так же почти разом прекратилось и шеренги сломались; вскоре кое-кто стал с непривычки отставать. Этот первый марш ополченцев оказался довольно долгим: взошла луна и зашла луна, забрезжил рассвет, а они все брели, растянувшись кучками по шоссе. И утро, солнечное, свежее, наполненное птичьим гомоном, засияло во всей своей прелести, когда их остановили на дневку. Но Истомин был уже не в силах обрадоваться этому новому дню: без мыслей повалился он в мокрую, облитую холодной росой траву. А часа через



два старшина поднял его и с двумя другими бойцами послал рыть канавку для отхожего места. Вся опушка чудесного молодого леса — тонкие березки, рябинки, молодые, нежно-зеленые елочки — являла уже мерзостное зрелище. На войне ужасно пахло, и это было одним из первых сильных военных впечатлений Истомина.

А затем началось долгое ожидание... Ополченская дивизия, в которой служил он, не участвовала покамест в боях, ее держали во фронтовом резерве. Но, конечно, и ее тяжкий час неминуемо приближался; уже не стало у нас Смоленска, не стало Киева, немцы взяли в полукольцо Ленинград!.. В комендантской роте, куда определили Истомина и откуда временно его откомандировали в интендантство, солдаты — а солдаты порой осведомлены лучше, чем о них думают, — передавали друг другу слова какого-то большого генерала: «Надо готовиться к отражению удара на Москву».

— Перекур кончается, ребята, хватит даром хлеб есть... — услышал как-то Истомин от товарища по взводу, шестнадцатилетнего девятиклассника, известного тем, что он охотно делился со всеми своей пайковой махоркой — сам не мог никак пристраститься к курению; мальчик ждал боя с нетерпеливым любопытством.

И Виктор Константинович подумал, что этот славный паренек заплатит вскорости за свой солдатский хлеб — котелок борща и кашу из горохового концентрата — самой дорогой ценой.

Истомин видел и то, что жизнь отливала, убегала из прифронтовых районов. Эвакуировались заводы, пустели городские улицы; в деревнях все чаще попадались избы с заколоченными наглухо окнами; по дорогам брели навстречу — к Москве и за Москву — медленные, покорные стада, тянулись, окутанные пылью, обозы с бабами, с ребятишками — люди устремлялись в глубь страны, спасаясь от этого бронированного ужаса, надвигавшегося с запада... Виктор Константинович все последние дни чувствовал себя свидетелем крушения мира, и не только свидетелем, так как во всеобщем крушении должен был неминуемо исчезнуть и он.

## 3

А пока что на окраинной улочке прифронтового городка, в Доме учителя, в этом райском приюте, что был подарен напоследок Виктору Константиновичу, происходили новые чудеса...

Скинув на пол возле койки свой мешок, ныне уже армейский, форменный, прислонив к изголовью винтовку, Истомин сел и отвалился к спинке стула — он жаждал хотя бы немного побыть в неподвижности. Было отрадно тихо и свободно... Деятельный Веретенников, даже раздражавший Виктора Константиновича изобилием своей энергии, отправился к хозяйке звонить по телефону, договариваться с местными властями; молчаливый поляк со странной фамилией Осенка возобновил у себя в углу прерванное занятие — пришивал пуговицу к рубашке; Сергей Алексеевич, учитель, читал свою толстую книгу.

Вдруг слуха Виктора Константиновича коснулась музыка... Сперва это было несколько неопределенных созвучий из тех, что пианист берет, только присев к инструменту, то ли проверяя таким образом его настройку, то ли чтобы «настроиться» самому. Но затем послышался Шопен — и не грампластинка с ее постоянным змеиным шипением, и не радиопередача, в которой неизбежно утрачиваются оттенки, а живая музыка!.. Кто-то рядом, в том прелестном зале, играл на пианино, играл мастерски и словно бы специально для него, Истомина, хорошо помнившего эту пьесу. Ее когда-то играла его жена, но

насколько хуже, с ученической робкой добросовестностью! То был один из шопеновских полонезов, удивительный, единственный в своем роде танец скорби, танец-жалоба, понятная, как речь. И только сейчас, в исполнении неизвестного музыканта, Виктор Константинович так ясно, так отчетливо эту жалобу расслышал! Он никогда не пытался и для себя пересказывать музыку — если бы ее можно было пересказать словами, она не была бы музыкой. И все же когда Шопен писал свой полонез, он и вправду оплакивал могилы своей Польши, ее опустевшие фольварки, ее мертвых героев. А невидимый пианист за стеной горевал сегодня вместе с Шопеном о новых ее мучениках, новых могилах.

Истомин выпрямился на стуле и с невольным вопросом посмотрел на учителя: откуда здесь такое? — потом перевел глаза на поляка. Тот ответил ему озабоченным почему-то взглядом.

— Пшепрашам! Вам мешает музыка? Вы хотите отпочивать?.. Отдыхать? — по-русски повторил он.

Виктор Константинович даже испугался.

— Ради бога! Я, напротив... я благодарен. Кто это играет?

— Отлично играет ваш пан Барановский,— проговорил учитель; он закрыл книгу, заложив ее пальцем на странице, которую читал.— Сам Шопен был бы, наверно, доволен.

— У нас смутны дзень,— сказал поляк,— бардзо смутны... пшепрашам<sup>2</sup>.— И повернулся к Истому. — То играет так само наш товажиш... Он с женой тут — музыкант з Варшавы, з оперы.

— Давайте послушаем, будем слушать,— просительно сказал Виктор Константинович.

Но когда все замолчали, пианист стал словно бы спотыкаться, резко сфальшивил и оборвал, умолк... Пауза, впрочем, длилась лишь несколько мгновений, он опять тронул клавиши, по дому проносился словно бы стон, и опять стон принадлежал Шопену — ошибиться в том было невозможно, хотя Виктор Константинович и не слышал раньше этой вещи...

Не умея объяснить могущество музыки, он склонен был считать ее явлением сверхъестественным, подчиняясь ей с великой охотой. А сегодня музыка настигла его в момент, когда он совсем уже обессилен, стоял на коленях... И она поразительным образом пришла ему на помощь. В новой шопеновской вещи он с совершенной ясностью, будто в необыкновенном зеркале, узнал себя, услышал свое отчаяние, свою боль. Там все повторялась, слегка варьируясь, одна короткая, в два-три такта, фраза, и казалось — это он, он повторял там в тоске: «Что же делать? Что же мне делать?» — все спрашивал, все допытывался: «Что теперь мне?..» — шептал или вскрикивал. Было необыкновенно и чудно, что внятный голос, из немеряной, невообразимой дали, говорил ему о нем самом, и говорил так, как никогда не смог бы он сам... Нет, эта музыка ничего ему не обещала, не внушала никакой надежды, но с нею здесь, сейчас окончилось его одиночество. Другая, человеческая душа как бы откликнулась из своего бессмертия на его зов. «Я с тобой, я всегда с тобой!» — словно бы сказала она его потерянной душе. И в его памяти всплыли, наполнившись дивным смыслом, эти ранее непостижимые строчки: «...И звезда с звездой говорит».

Виктор Константинович закрыл лицо рукой — он ощутил тесноту в груди, поднимавшуюся выше к горлу, казалось, сию минуту у него хлынут слезы, он больно прикусил губу. Но это были бы — в том и заключалось главное чудо! — слезы облегчения в горе. Отняв от лица

<sup>2</sup> Очень грустный... простите.

руку, он огляделся: ничего не изменилось в комнате да и, конечно, за ее стенами... Но Виктору Константиновичу сделалось свободнее, чище на душе. Он и сам не понимал, что же, собственно, с ним произошло, но чувствовал себя как после обильных слез, точно он и в самом деле выплакался.

И опять пианист не доиграл до конца, опять ему что-то помешало, он сбился на полуфразе, повторил ее и оборвал. Истомин подождал немного, встал и, не отдавая себе отчета, направился к двери — ему не так уж важно было узнать, почему этот волшебник ничего не доигрывает до конца, как хотелось просто побыть около него.

Но раздалось топотание каблучков, стук в дверь — и в комнату, не ожидая разрешения, быстро вошла молодая женщина — вошла, как входят с тревожной вестью. На миг она остановилась на пороге, и словно бы ветер обдувал всю ее, ладную, крепенькую, в клетчатом жакетике, в такой же клетчатой юбке, приоткрывшейся на коленках.

— Пшепрашам, панове,— произнесла она голосом нежным и хрипловатым.— Пан Войцех, на хвилёчке! Проще <sup>3</sup>, ласкаве!

Светлые, стриженные по плечи волосы, выцветшие под солнцем бровки, веснушки делали ее похожей на мальчика. И неожиданно было видеть на этом милом, чуть скуластом лице алые, нарисованные помадой губы.

Осенка поднялся с койки.

— Цо там? — с укором спросил он.— Пани Ирена?

А из глубины дома, как эхо, донеслось:

— Ирена! — Потом повторилось ближе и тоже с укором: — Ирена! Не тшеба.

И в библиотеке появился из зальца кто-то еще. В открытую дверь Истомин успел рассмотреть лишь, что человек был очень худ, желтоблуден и что шея у него толсто обмотана бинтом.

Пани Ирена обернулась, и ее лицо мгновенно изменилось, точно обдувавший ее ветер сразу утих,— она мягко улыбнулась.

— Юзеф, дроги, мы зараз <sup>4</sup> — отозвалась она.— Пшепрашам, панове, пшепрашам, пан Самосуд!

Она заспешила назад в библиотеку. Коснувшись кончиками пальцев плеча мужчины, которого звали Юзефом, как бы поставив свою метку, она повела его обратно в зальце. И уже оттуда донеслось еще раз:

— Пан Войцех, на хвилёчке!

Осенка тоже извинился — это были всё чрезвычайно учтивые люди — и, накинув пиджак, тоже вышел.

Истомин остался стоять на месте — только сейчас ему пришло в голову, что мужчина с перевязанной шеей и есть тот чудесный музыкант.

— Это он? — воскликнул Виктор Константинович.— Да? Он?.. Но почему он начинает и ничего не кончает? Как давно, господи, я не слышал хорошей музыки!

Учитель высоко, поверх бровей поднял очки и, придерживая их, изучающе оглядел Истомина.

— Почему? Да вот — почему? Простите, не знаю вашего имени-отчества?

Истомин назвал себя, но учитель не торопился с ответом, словно раздумывал: а надо ли отвечать?

— Видели эту молодую пани? — заговорил он наконец.— Вы с нею потолкуйте, она вам лучше расскажет почему. Это, дорогой товарищ,

<sup>3</sup> На минутку! Пожалуйста.

<sup>4</sup> Дорогой, мы сейчас!

любопытно, весьма! Это надо знать — почему. Вот именно — почему? Вы потолкуйте, потолкуйте...

Опустив очки, он посмотрел на свои наручные часы, уложенные в старомодное ремешковое гнездо, и покосился на окно — было похоже, что он кого-то ожидал. А затем, позабыв о Викторе Константиновиче, он раскрыл книгу и опять погрузился в чтение.

В комнате заметно смеркло, хотя за окном еще горело шафрановое пламя заката. И оголенные прутья сирени, росшей перед домом, сделались черными на этом фоне, точно обуглились в холодном огне. Из глубины дома доходил неразборчивый шумок голосов, скрип половиц в зальце... Прихватив свой фолиант, учитель пересел к подоконнику, где было еще немного света, и примостился там. А в ушах Истомина все звучала только что оборвавшаяся музыка — почему, однако, пианист не доиграл ее? Что ему помешало? «Или он очень болен?» — подумал Виктор Константинович.

Вскоре в спальную комнату вернулся Веретенников. Он оповестил, что баньку уже топят, и не мешкая стал к ней готовиться: расстегнул ремень, скинул португею, достал из своего мешка полотенце, пластмассовую голубую мыльницу...

— А вы что же? — кинул он Истому. — Суворова помните, Александра Васильевича? «Быстрота, глазомер и натиск» — учил Суворов.

И тут от окна раздался голос старого учителя:

— Интенданты, фуражиры? Ошибаюсь, нет? Служба тыла? Так или нет?

Веретенников выдержал паузу и, не отвечая прямо, сказал как бы в пространство:

— Соблюдение секретности — закон для военнослужащего... Вам, товарищ Истомин, также советую не забывать об этом.

Но то была лишь попытка сохранить, как говорится, лицо, и дошлый старик точно в воду глядел: их миссия особой секретностью не была облечена. Веретенников, заготовитель из дивизионного интендантства, прибыл в эту глушь, чтобы закупить для штабной командирской столовой масло, яйца, сметану, сушеные фрукты — словом, все, что могло стать приятным добавлением к армейскому рациону. Таково было приказание дивинтенданта, снарядившего их экспедицию — этот свободный поиск по району, покуда дивизия стояла в резерве. Имелось у них и еще одно, приватное, но, по крайней мере, не менее важное задание от начальника АХЧ: привезти для генерала, командовавшего дивизией, несколько бутылок коньяка. И Веретенников к обоим заданиям относился со всей той обязательностью, с какой вообще относился к требованиям начальства. Но, конечно, не было необходимости посвящать каждого встречного в подробности хозяйственных будней штаба дивизии.

Маленький техник-интендант все продолжал рыться в мешке, что-то перекалывал там, вынул и бросил на одеяло чистую майку, достал бритвенную чашечку, помазок, чистые портянки, колоду игральных карт... Учитель Сергей Алексеевич, с интересом наблюдавший за ним, осведомился самым дружественным тоном:

— В какие игры играете, а, служивые? В свои козыри, в шестьдесят шесть?.. В преферанс играете? Какие у вас нынче в моде?

Он сидел спиной к окну, озаренному закатом, и выражение его затененного лица разобрать было трудно.

— Пахать не гулять, а гулять не пахать, — строго сказал Веретенников; он почувствовал себя задетым. — Какие могут быть в данный момент игры?

— В старину, в мое время, интенданты отчаянные картежники были. Они железку предпочитали, шмендефер, штосс — разбойничьи игры,— сказал учитель.

— Служили в царской армии? — спросил Веретенников тоном, в котором слышалось: «Вот ты что за птица, теперь все ясно». — Тоже по линии снабжения?

— Да нет, больше по линии пехоты... — Учитель посмеивался. — А картишки что ж? Пехота тоже не чуралась этой забавы. О кавалерии и говорить не приходится. Против преферанса что можно возразить?

И Веретенников смягчился: в последнем пункте он был полностью согласен со старым учителем. Чему, в самом деле, могла на досуге помешать пулька, хотя бы и в полевых условиях? Рассудив так, Веретенников и прихватил с собой на войну карты. Он, собственно, готов был играть когда угодно и во что угодно: в домино, в орлянку, в волейбол, в городки, в подкидного дурака — он родился игроком. Но во всех играх он был игроком-спортсменом, искавшим не добычи, а победы. И пожалуй, предложи ему сейчас этот неприятный старик пульку, он тоже не устоял бы.

— Товарищ Истомин, умеете в преферанс? — ища поддержки, обратился он к своему бойцу. — Умная игра, не глупее шахмат. Это точно.

Виктор Константинович отрицательно мотнул головой — он не любил карт и вообще не понимал азартных людей.

— А то мы поглядели бы, на что вы способны,— загорелся уже Веретенников. — Но позднее, конечно, вечером, мне тут надо еще кое-какие справки... И между прочим, поучили бы вас, пригодилось бы на будущее.

— Спасибо,— сказал Виктор Константинович,— если вам так хочется, то пожалуйста, я могу, конечно.

Он смотрел на этого неугомонного человечка, своего командира, как смотрят на детей: те тоже не подозревают, что их, как и всех, не минуют ни утраты, ни разочарования, ни старость, ни могила — она-то достанется каждому. И недоумение, и грусть вызывала эта детская слепота Веретенникова, его неистощимая, хлопотливая радость существования.

— Так и запишем: вечером сообразим пульку,— решил маленький техник-интендант. — Папаша тоже не откажется с нами, хоть мы и не служили в царской армии.

За окном застучал мотор подъехавшей машины, и старый учитель, с живостью привстав, выглянул на улицу. Мотор затих, машина остановилась у дома, и учитель тут же поднялся — как видно, он ее и ждал — и пошел из комнаты.

Веретенников сидел на кровати, как бы о чем-то размышляя, округлое, с тугими щечками лицо его сделалось сонно-мечтательным, и он отвалился на подушку.

— Истомин!.. — слабо позвал он. — Виктор Константинович! — В отсутствие посторонних он к своему бойцу, кандидату наук, обращался по имени-отчеству. — Надо бы... Как там Кулик? Я ему воду приказал в баньку...

Он с усилием разлепил смежившиеся было веки, вперился в Истомина и, вскинувшись, снова сел на кровати.

— А, ладно, оставайтесь,— пробормотал он. — Вы уже еле ноги... Я сам.

Помотав головой, он вскочил и невесть отчего хохотнул.

— Вы, Виктор Константинович, человек, к войне не приспособленный,— сказал он. — Вы в мирных условиях спортом каким зани-

мались?.. На лыжах ходили, к примеру? Вы и физзарядку игнорируете, я заметил.

— А может ли человек быть приспособленным к войне? — сказал Истомин. — Нормальный человек? Давайте уж так ставить вопрос, товарищ лейтенант!

— Почему же нет? — не задумываясь ответил Веретенников. — Человек ко всему может приспособиться. А не может, так должен.

— И к войне? — повторил Истомин.

— Само собой.

— И к смерти? Где война, там и смерть, — сказал Истомин.

Веретенников снова хохотнул — вопрос показался ему несерьезным.

— Почему же нет? Если он ко всему в жизни приспособленный, то и к смерти.

И его лицо выразило веселое удивление: он и сам не ожидал от себя такого ловкого, быстрого ответа, правда, он лишь смутно ощущал его более глубокий смысл.

Дверь за ним захлопнулась, и Виктор Константинович остался один.

«Устами младенцев глаголет истина, — подумал он. — Приспособленный к жизни приспособлен и к смерти — вероятно, это так и есть... Как странно: люди вокруг меня точно не видят, что смерть у их порога. Они растят цветы, читают книги, они библейски гостеприимны, они укладывают меня в чистую, мамину постель, они играют Шопена, они организуют пульку. Они живут, отвернувшись от смерти... Что это: слепота, глухота или мудрость?.. А может быть, духовное здоровье, инстинкт жизни?.. Откуда у моего техника-интенданта второго ранга мудрость?..»

Виктор Константинович подошел к окну и взял переплетенную в кожу книгу, которую оставил там учитель... Мишель Монтень, «Опыты» — в угасающем свете вечера прочел он на титульном листе этого старого русского издания... Оказывается, господи боже! — оказывается, здесь еще читали Монтеня! Перебросив несколько страниц, Истомин задержался взглядом на строках, отчеркнутых сбоку тонкой карандашной линией:

«Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще больше распаляется, так и страдание, подметив, что мы боимся его, становится еще безжалостней. Оно, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ему, нужно с ним бороться... Страдание занимает в нас не больше места, чем сколько мы предоставляем ему...»

Истомин кивнул, соглашаясь, — он и не удивился, что Монтень как бы вмещался в его разговор с самим собою. Захлопнув книгу, он раскрыл ее снова наугад, как раскрывают, когда хотят погадать по ней. И ему опять попалась на глаза отчеркнутая строка. На рыхловатой, в коричневых пятнах странице, источавшей запах слежавшейся бумаги, пыли — запах времени, — он прочел: «Смерть представляется ужасной Цицерону, желанной Катону, безразличной Сократу».

Виктор Константинович внутренне усмехнулся, найдя в себе сходство со всеми тремя одновременно.

— А-а... — услышал он голос Сергея Алексеевича; тот снова появился в комнате. — Читаете старого мудреца. Я вот тоже время от времени...

Недосказав, что он «тоже», учитель довольно проворно опустился перед своей койкой на колени и выволок на свет чемодан — фибровый, средних размеров, основательно потертый, с металлическими уголками.

— Наслаждаюсь — именно! — проговорил он, встав с колен и отдышавшись. — Четыреста лет без малого прошло, а Монтень все учит уму-разуму.

Он подхватил чемодан и, крикнув и клонясь набок, пошел к двери; чемодан был хотя и невелик, но, должно быть, тяжел.

— Позвольте мне... — Истомин подался следом. — Я помогу вам.

Не оборачиваясь, учитель отмахнулся свободной рукой.

Его толстовка, пока он возился с чемоданом, вздулась на спине, нижний ее край оттянулся кверху, и стала видна кобура револьвера. Обвиснув от тяжести, она болталась на бедре у старика; тускло блеснул латунный шомполк с петелькой... В первое мгновение Виктор Константинович не придал этому открытию значения, не задумался над ним. И учитель уже удалился с чемоданом, когда он спросил себя: «Что это? Зачем старику оружие? Что за чепуха?»

Он не заподозрил поклонника Монтеня ни в чем преступном; он и вообще, как все люди его тишайшего, комнатного быта, не верил в возможность вот такой будничной встречи с преступлением. Но он все меньше понимал, где он и что, собственно, происходит в этом районном Доме учителя. «Почему?» и «зачем?» возникали здесь на каждом шагу — добрый Дом и сам казался загадкой, и загадкой казались теперь его обитатели.

Толкнув резко дверь, вошел Веретенников, и за ним поляк Войцех Осенка.

Веретенников громко объявил, что пора идти — банька готова и пар будет «не хуже, чем в Сандунах»; Осенка, задержавшийся около Истомина, учтиво проговорил:

— Вам понравилось, как играет пан Юзеф... Он опять заболел, такая жаль... Ему не можно... совсем не можно играть Шопена. — Осенка склонил голову и добавил: — У нас, товажиши, смутный дзень, пшепрашам!

*(Продолжение следует)*









Еще противней ржать, дрожа,  
конем в руках у торгаша,  
сквалыги, живоглота.  
Два равнозначные стыда —  
когда торгуешь и когда  
тобой торгует кто-то.

Когда мужчине сорок лет,  
жизнь его красит в серый цвет,  
но если не каурым —  
будь серым в яблоках конем  
и не продай базарным днем  
ни яблока со шкуры.

Когда мужчине сорок лет,  
то не сошелся клином свет  
на ярмарочном гаме.  
Все впереди — ты погоди.  
Ты лишь в комедь не угоди,  
но не теряйся в драме!

Когда мужчине сорок лет,  
или распад, или расцвет —  
мужчина сам решает.  
Себя от смерти не спасти,  
но, кроме смерти, расцвести  
ничто не помешает.

\* \* \*

Жизнь, ты бьешь меня под вздох,  
а не уложить.  
До семидесяти трех  
собираюсь жить.

Через тридцать три годка —  
потерпи, казак! —  
вряд ли станет жизнь сладка,  
но кисла не так.

Будет тридцать семь тебе,  
мой наследник Петр,  
ну, а батька в седине  
все же будет бодр.

Будет он врагов бесить,  
будет пить до дна  
и на девочек косить  
глазом скакуна.

Будет много кой-чего  
через столько лет.  
Результатец — кто кого —  
будет не секрет.

Встретят улицы и рю  
 общую зарю.  
 Я в Мытищах закурю,  
 в Чили докурю.

Телевизор понесут  
 под колокола  
 на всемирный страшный суд  
 за его дела.

Уничтожат люди рак,  
 бомбу, телефон.  
 Правда, выживет дурак,  
 но не так силен.

Зажужжат шкивы, ремни.  
 Полный оборот —  
 и машина времени  
 Пушкина вернет.

### ПРЕДЕЛ

Предел на белом свете есть всему:  
 любви, терпенью, сердцу, и уму,  
 и мнимой беспредельности простора.  
 Тебя напрасно мучает, поэт,  
 небеспредельность сил твоих и лет:  
 поверь, в ней никакого нет позора.

А то, что ухмыляется подлец:  
 мол, вот он исписался наконец, —  
 пусть это будет от тебя отдельно.  
 Ты на пределе, а не оскудел.  
 Есть у любого гения предел —  
 лишь подлость человечья беспредельна.

\* \* \*

Уже тебя, как старца, под микитки  
 подхватывает нежно чья-то лезть,  
 уже давно смешны твои попытки  
 казаться величавей, чем ты есть.

И ты глядишь до отвращения кротко,  
 сам утверждая собственную смерть,  
 как с дрожью диссертантка-идiotка  
 тебе сует свой опус — просмотришь.

И руки обессиленно повисли.  
 Сломала зубы молодость, и вот  
 рассудочность сомнительные мысли  
 пластмассовою челюстью жует.

Какой же толк тогда в литературе  
 и в жизни обеззубевшей такой,  
 когда не бури ищешь ты, а тюри,  
 хотя, конечно, в тюре есть покой?..

**СЕМЬЯ**

И та, которую любил,  
 и смутит в страхе на тебя,  
 когда в репьях ночных безумств  
 дом оскверняя, где тебе  
 И забивается твой пес  
 Не подбегает утром сын  
 Ты так старался отстоять  
 от гнета собственной семьи.  
 Тот мещанин убогий, кто  
 кто, ставший мужем и отцом,  
 Мысль о несчастье страшна.  
 Подлинка сладенькая — так  
 «Ах, я несчастный человек,  
 А ты попробовал понять  
 Защита грубостью — позор,  
 той, чью единственную жизнь  
 а покаяние — уют,  
 что ты покаялся, ты чист  
 Но все же верит сын, что ты  
 и синева в его зрачках  
 Ты головеночку его  
 когда ты хлопаешь дверьми,  
 Благослови, господь, семью —  
 На головеночках детей  
 Святая троица земли —  
 и человечество само

измучена тобой,  
 как будто на врага,  
 приходишь ты домой,  
 не сделали вреда.  
 в испуге под кровать,  
 для дома своего.  
 тебя поцеловать —  
 в глазенках у него.  
 свободочку свою  
 Добился наконец.  
 мещанством счел семью,  
 не муж и не отец.  
 Приятна между тем.  
 оправдывать вину:  
 не понятый никем...»  
 хотя б свою жену?  
 когда так беззащитен взор  
 посмел ты обокрасть,  
 где справочку дают,  
 и можешь снова — в грязь.  
 велик и всемогущ,  
 до зависти свежа.  
 случайно не расплющ,  
 к свободе вновь спеша.  
 творения венец.  
 покоится земля.  
 Ребенок, Мать, Отец,

не что-нибудь — семья.  
 Пора кончать весь этот бред,  
 пока еще презренья нет  
 к тебе ни в собственной жене,  
 ни в шелесте сосны,  
 пока сквозь ветви иногда  
 в окно еще глядит звезда  
 без отвращения на тебя,  
 а с жалостью сестры...

### СВИДАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ

Свидания с тобой теперь в больнице.  
 Медсестры —  
 как всевидящий конвой.  
 Лицо твое растерянно бодрится...  
 Оставьте мою милую живой!  
 Когда ты остаешься там,  
 в палате,  
 в своем казенном байковом халате,  
 я —  
 брошенный тобой ребенок твой.  
 Я сам тебя себе чужою сделал.  
 Что натворил я с нервами и с телом  
 единственной,  
 которую люблю?  
 И вдруг ты говоришь не как чужому:  
 «Ты кашляешь?»  
 Попил бы ты боржому...  
 Здесь есть в буфете.  
 Я схожу куплю».

Прости за исковерканные годы,  
 за все мои возвышенные оды  
 и низость плоти после этих од —  
 души и тела горестный разброд.  
 И то, что ты болеешь, разве странно?  
 Болезнь всегда первоначально — рана,  
 как эту рану ты ни назови.  
 К любви счастливой ощущая зависть,  
 болезни, как гадюки, заползают  
 в проломы душ,  
 в развалины любви.

Но почему за эти преступления  
 ты платишься,  
 а я гуляю,  
 пью?

Пойду к врачам и встану на колени:  
 «Спасите мне любимую мою!  
 Вы можете ли знать,  
 товарищ доктор,  
 зондирующий тайны бытия,  
 какой она бывает к людям доброй,  
 а если злой бывает —  
 это я.  
 Вы можете ли знать,  
 товарищ доктор,



Ничего мужчина не сказал.  
 Он поцеловал ей тихо руку  
 и пошел к тебе, ночной вокзал,—  
 к пьяному и грязному, но другу.  
 И расстались вновь на много лет,  
 но кричала, словно неизбежность,  
 рана та, больней которой нет,—  
 вечная друг другу принадлежность.

### РАЗЛУКА ВДВОЕМ

Нас разлука насквозь прознобила.  
 Между нами далекая даль.  
 Ты, наверно, меня разлюбила  
 и меня тебе попросту жаль.

Все беззвучно разбилось, распалось.  
 Не уехала ты никуда,  
 но осталась, как будто рассталась,  
 и рассталась уже навсегда.

Словно поле, побитое градом,  
 неоглядно раскинулась близь,  
 и тебе, засыпающей рядом,  
 я шепчу безнадежно: «Вернись!»

Но не слыша, не чувствуя даже  
 заклинаний, летящих вдогон,  
 ты все дальше, все дальше, все дальше  
 в этой горькой разлуке вдвоем...

### ВОЗДУХ

Прощай, Наташа Моргунова.  
 Ты, руки мертвые сцепя,  
 простить, наверно, мир готова  
 за то, что мучит он тебя,  
 как мучил, впрочем, сам себя.

И астма, словно утешенье  
 для всех у гроба твоего,  
 что медленное удушение —  
 болезнь, и только и всего.

Завлитом Детского театра  
 для нас ты столько лет была,  
 но потаенная тетрадка  
 тебя скрывала, как могла.

И обнародованной болью  
 на черном трауре стены  
 в фойе кричали над тобою  
 твои предсмертные стихи.

Искусство, ты всегда предсмертно.  
 Ты в идеале быть должно  
 лишь завещанью соразмерно,  
 и слов случайных лишено.

И я, когда стоял у гроба,  
увидел, с крепом на руке,  
как хитро гусеница-кроха  
листы глодала на венке.

Но кто сказать на свете может  
среди беготни, очередей,  
какие гусеницы гложут  
невоплотившихся людей?

Есть люди — вроде только возле  
искусства — алтаря для масс,  
но составляют они воздух  
искусства нашего и нас.

Не суждено им воплотиться,  
но не бывает воздух зря,  
и жизнь идет, летают птицы  
лишь только им благодаря.

А жизнь в подарок — зависть, хамство,  
болезнь, в семье раздрызг, разрыв...  
Такая доля — задышаться —  
того, кто воздух для других.

Признайтесь все, кто стал прославлен,  
что ваш талант — не божий дар,  
что даже сам ваш дух составлен  
из тех, кто воздуха вам дал.

И югам времени на веслах,  
от тела сердце отломив,  
вы передайте этот воздух  
и будьте воздухом для них.

### **Я ТОСКУЮ ПО ТБИЛИСИ**

Я тоскую по Тбилиси,  
по глазам его огней,  
по его тяжелолистью  
и по легкости теней,  
по балкончикам, висящим,  
словно гнезда, над Курой,  
по торговкам, голосащим  
над сочащейся хурмой,  
по глядящей простодушно  
в любопытстве, не в тоске —  
вверх тормашками — индюшке  
у красавицы в руке,  
по прохладе горной храмов,  
где немного постоишь  
и поймешь, что ты, как мрамор,  
жилку вечности таишь,  
по кутилам Пиросмани,  
что устали продолжать,  
но гостей не перестали  
внутри клеенок приглашать,



по художникам свободным  
 по компании большой,  
 по сапожникам холодным,  
 но с горячею душой,  
 по стоящему красиво,  
 с голой грудью, в забыти  
 Бонапарту с кружкой пива  
 на стене в «Симпатии»,  
 и по надписи, не страшной  
 никому давным-давно,  
 над гортанным хором в хашной:  
 «Громко петь запрещено!»

Я тоскую по Тбилиси,  
 по домам, чей срок на слом,  
 по лихому остромыслью  
 за пирующим столом,  
 по Отару, по Тамазу,  
 по «Давльот! Аллаверды!»,  
 по горбатому томату  
 на лице у тамады,  
 по Симону и по Гогле.  
 Будь земля для них легка!  
 Как они сейчас продрогли  
 под землю без глотка.  
 По Гюльнаре, по Этери  
 с осторожной их игрой,  
 по малиновой метели  
 у курдянки под метлой.  
 Я тоскую, как по дому,  
 по Тбилиси давних лет,  
 по себе по молодому  
 с той, которой больше нет.

### К ВАШЕМУ СВЕДЕНИЮ

Я хочу довести до вашего сведения,  
 пассажиры в грохочущем поезде лет,  
 что на карте не значится  
 станция следования,  
 до которой вы взяли плацкартный билет.  
 Установлено с точностью в ходе обследования:  
 этой станции —

Юность Вторая —  
 нет.

Я хочу довести до вашего сведения,  
 что напрасно вы первую юность свою  
 проворонили,  
 будто бы дурни последние,  
 и, к прискорбию, в вас

я себя узнаю.

Я хочу довести до вашего сведения  
 то, что далее — станции Старость и Смерть,  
 но, бессмертье сомнительное исповедуя,  
 вы не х о ч е т е

этого предусмотреть.



\* \* \*

Для повестей фривольных,  
для шаловливых муз  
французский треугольник:  
жена, любовник, муж.

Но как ты страшен, горек  
в продмагах и пивных  
наш грустный треугольник —  
пол-литра на троих.

Пол-литра — поллитрушка,  
ты наших жен умней.  
Ты сука-потаскушка,  
разбитчица семей.

Тебя разбить нетрудно,  
За гроши, за гроши  
нас превращаешь в трупы —  
разбитчица души.

В подъездах чьи-то тени  
маячат, спички жгут,  
как бледные растенья,  
что орошенья ждут.

Торговка — бес в косынке.  
Жизнь собирать велит  
из жести бескозырки —  
металлолом поллитр.

Взлетают ввысь ракеты,  
а где-то у ворот  
сивушный дух трагедий  
из подворотен прет.

Мольба простая эта  
Глафир и Евдокий:  
«Не пей!» —  
звучит, как эхо  
завета «не убий!».



---

ЮРИЙ ТРИФОНОВ

★

## НЕТЕРПЕНИЕ \*

*Роман*

**В** Воронеж он приехал, ощущая себя по-новому. Это было радостное ощущение, он прятал его от других, сам забывал о нем, но иногда — внезапно — получал от него тайное удовольствие. Конец провинциальному прозябанию! Теперь, в громадном деле, он покажет себя. Его уже разглядели, признали. С ним советуются, прислушиваются к его словам, то и дело он слышит: «Борис сказал... Борис считает...» Дворник, этот вожак, титан, с непостижимой быстротой стал ближайшим другом, они не расстаются, все обсуждают вместе, иногда спорят, но почему-то в конце концов Дворник всегда соглашается.

— Устал я от твоего мужицкого упрямства! — шутя, говорил Дворник.

— А меня удивляет твой практицизм, вовсе не дворянский. Врешь, братец, никакой ты не дворянин, а из купцов первой гильдии!

В Воронеже, как и в Липецке, поселились вместе. Сюда приехали все, кто был там, кроме Гришки Гольденберга. Были сомнения: приглашать или нет? Дворник относился к Гришке неплохо, считал, что его наверняка удастся использовать, но Андрей сказал, что использовать можно и не приглашая на съезд.

— Шуму от него много. А где шум, там опасности. И потом другое: ведь будет борьба, столкновения мнений, и не в наших интересах, чтобы нашу сторону защищал этот трескучий и несерьезный малый.

Дворник, подумавши, согласился. Тем более что в Воронеже должны быть Родионич с Жоржем Плехановым, у которых остались неприятные воспоминания, связанные с Гришкой: о мартовских сходах в Питере, когда решалось дело о помощи Соловьеву.

— Ладно. Звать его в Воронеж не станем, — сказал Дворник. — Все равно будет раскол, разбежимся в разные стороны, и Гришка — к нам.

Все этого боялись и были уверены: раскол неминуем. Но — миновало! И «деревенщики» и террористы не смогли разойтись сразу. Уж очень мало их было — всех — на Руси, чтобы еще дробиться. Жались друг к другу, искали тепла, силы, помощи. В Воронеж съехались человек двадцать пять: десять заговорщиков из Липецка, составивших Исполнительный комитет, да еще человек пятнадцать землевольцев, «деревенщиков», кто из Питера, кто из Харькова — Перовская с Лебедевой, — кто из сельских мест, взяв краткий отпуск у хозяев или у земских властей. Вначале хотели собраться в Тамбове, многие туда съехались, но смешной случай помешал: во время прогулки на лодках по Цне Верочка Филиппова, она же Фигнер, отличная певица, так за-

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 3 с. г.

мечательно пела арии из опер, что на берегах скопились слушатели, аплодировали, кричали «браво», все это привлекло ненужное внимание. Что за компания? Кто такие? Сочли за благо из Тамбова исчезнуть.

В Воронеже собирались в укромных местах в Ботаническом саду, а то в Архиерейской роще или же брали лодки—и на реку, на острова. В первый же день Дворник сказал, что есть возможность пополнить состав общества новыми членами, людьми с почтенным революционным опытом. Это всем известные Фроленко, Желябов и Колодкевич. Вон они, проявляя деликатность и скрывая волнение, прячутся в близлежащем леске. Были приняты единогласно и криком приглашены. Тут же и «деревенщики» сообщили, что у них тоже — совпадение! — есть на примете три прекрасных кандидата в общество, которые, волнуясь ничуть не менее, затаились в леске с противоположной стороны.

Вот так легко, полушутливо, со смехом все это началось.

И правда, в первый день дело ладилось без задоринки. Избрали единогласно председателем съезда Титыча, толкового, добродушного, громадного роста парня, тамбовского поселенца. Затем приступили к выработке программы. По пунктам читали старую землевольческую программу, принятую год назад, и каждую поправку ставили на обсуждение. Основное оставалось неизменным. Главная работа партии должна была по-прежнему вестись в народе, но усиливалось значение *д е з о р г а н и з а т о р с к о й* (выражение Валериана!) части программы, то есть значение аграрного террора и мести агентам правительства на местах.

Все без исключения проголосовали за такую краткую резолюцию: «Так как русская народно-революционная партия с самого начала возникновения и во все время своего развития встречала ожесточенного врага в русском правительстве, так как в последнее время репрессии правительства дошли до своего апогея, съезд находит необходимым дать особое развитие дезорганизационной группе в смысле борьбы с правительством, продолжая в то же время и работу в народе, в смысле поселений и народной организации».

Но уже следующий вопрос — о политическом терроре — оказался огнеопасным. Все как будто согласилось: да, да, необходимо, полезно, возможно, кто же спорит. Но по выражению кивающих лиц и по тону голосов — особенно Плеханова, настроенного несколько нервно, и Попова, Родионича, который держался угрюмо, резко, пребывал и вообще вел себя чересчур по-хозяйски,— Андрей чувствовал, что согласие какое-то натужное, неистинное. Все говорило о том, что свара будет. И Андрей сам уже рвался в бой. Наконец Плеханов, не выдержав, спросил напрямиком:

— Послушайте, на что вы рассчитываете? Чего добиваетесь?

— Мы получим конституцию! — неожиданно выпалил Дворник.— Мы дезорганизуем правительство и принудим его к этому!

— Конституцию? Ах вот как! Малопочтенная цель для революционеров.

— Конституция не является целью. Она лишь средство в борьбе за социализм,— сказал Андрей.— В стране, где царит бесправие, нет возможности ни работать в народе, ни как-либо защищать классовые интересы. Есть только одна возможность: гибнуть из-за мелочей.

— Конституция отдаст власть буржуазии. Вы будете таскать каштаны из огня для других.

— Нет, конституция отдаст власть представителям всего народа — Учредительному собранию! — Андрей умел иногда сокрушать противника голосом. Он заметил, что Жорж побледнел.

— Наивность и теоретическое невежество!

— Единственный путь для России. Политический переворот послужит освобождению не какого-либо одного класса, а всего народа русского. Всего, понимаете? И ради этого всего мы должны трудиться. Я, к примеру, знаю много умных, энергичных, общественных мужиков, которые сейчас сторонятся мелких дел, потому что не хотят становиться мучениками из-за пустяков. Конституция даст им возможность действовать по этим мелочам, не становясь мучениками, и они возьмутся за дело. А потом, выработавши себе крупный общественный идеал, они станут неколебимыми героями, какие встречаются иногда в сектантстве. Народная партия так и образуется!

— И вы надеетесь вашим путем — цареубийством, террором — прийти к этому раю?

— Господа, давайте не углубляться в слишком далекое будущее! — крикнул Тихомиров, взяв на себя роль председательствующего, ибо Титыч молчал и прислушивался к спору. — Ведь решено же, что мы усиливаем дезорганизаторскую работу. Возражений ведь не было?

Дворник шепнул Андрею:

— Не веди к расколу!

— Да черта ли играть в прятки? — тоже шепотом отозвался Андрей.

— Не нужно. Не в наших интересах сейчас...

Плеханов не унимался:

— На этом пути вы не добьетесь ничего, кроме того, что к имени Александр прибавится третья палочка!

И все же, так как никто Жоржа не поддержал, удалось принять согласительное решение о терроре: признается как исключительная мера. Затем специально о цареубийстве говорил Дворник и сообщил о том, что создана особая Лига, или Исполнительный комитет, твердо решившая довести дело Соловьева до конца. Всем было ясно: споры ничего не изменят. Комитет будет действовать несмотря ни на что, и после некоторых ворчливых перепалок большинство решило оказать Комитету содействие деньгами и людьми. Дворник прятал улыбку удовлетворения. Воробей же, который непрерывно что-то записывал в книжку, откровенно и по-детски лучезарно сиял. Но его лучезарность тут же померкла, ибо, как только началось обсуждение вопроса об органе партии, Плеханов поднялся с «Листком «Земли и воли» в руках и нервным голосом стал читать знаменитую морозовскую статью о политическом терроре. Все слушали в напряженном молчании, хотя, разумеется, хорошо знали статью и помнили. Ждали, что будет. У Воробья был вид нашкодившего и одновременно готового на все отчаянно-дерзкого школьника. Прервав чтение, Плеханов спросил:

— Господа, считаете ли вы, что редакция имеет право и впредь высказываться в таком духе?

Он с изумлением оглядывал всех полулежавших на плащах, пледах, сидевших кружком на лужайке и смотревших на него. Фроленко сказал:

— Что ж, так и нужно писать, по-моему, в революционном органе...

Было сказано не слишком уверенно, но так как тягостная пауза длилась, выходило, что фроленковская неуверенная мысль одобряется всеми. Попов спросил у Морозова без всякой воинственности, это был скорее жест для Плеханова:

— Вы признаете это общим методом?

Воробей забормотал пылко:

— Видите ли, как только будет обеспечена свобода слова и низвергнут абсолютизм, сейчас же нужно будет действовать убеждением. Исключительно убеждением!

Кто-то из саратовцев прогудел одобрительное, остальные молчали. Плеханов, уже севший было на свой плащ, снова вскочил.

— Господа! В таком случае мне здесь больше нечего делать. Прощайте!

Качнулся, поднял плащ и, помахивая им, довольно медленно и с какой-то жалкой торжественностью — наверно, ждал, что окликнут,— пошел в сторону леса. Никто не окликнул. У всех на лицах было написано виноватое, мучительное. Верочка Филиппова прошептала:

— Господа, нужно его возвратить!

Андрей и Дворник переглянулись. Поняли без слов. Дворник прознес бесцветным, директорским голосом, какой являлся у него в иные минуты:

— Нет, как ни горько, мы не должны его возвращать.

Жорж ушел. Ни один человек, даже из ближайших единомышленников — ни Попов, ни Щедрин, ни Преображенский с Харизомовым,— за ним не последовал. Раскола не произошло. И однако, тяжесть, смутно гнетущая, чувствовалась всеми: пока еще никто не последовал и раскола пока не произошло.

И только Андрей — может быть, единственный из всех — не испытывал ни тяжких предчувствий, ни угрызений совести. Старое рвалось, ну и ладно! Это было не его старое. Особенно суетились барышни. Ну, естественно, чувствительные натуры. Когда Соня Перовская, очень взволнованная уходом Плеханова, о чем-то шепталась то с одним, то с другим и, кажется, призывала к какому-то действию, Андрей, улучив минуту, спросил ее:

— Сильно огорчены?

Она, почувствовав в его тоне насмешливость, ответила резко:

— Да, огорчена! Не люблю заговоров и переворотов. Считаю, что заговорами и переворотами мы ничего не добьемся ни в нашей борьбе, ни внутри себя. Порядка не будет!—И вдруг, повернувшись к Фроленко, который сидел рядом с Андреем: — А вы, сударь, очень странно себя аттестуете!

Михайло покраснел, добрая душа, и даже привстал.

— Соня, ты о чем? — Знал о чем.

— Если уж звать Марию Николаевну... — Она понизила голос, так как Тихомиров и Морозов продолжали спорить с кем-то из «деревенщиков» довольно шумно, Титыч их примирял. Шептала, наклоняясь к Михайле: — ...с которой мы делали одно дело в Харькове, то почему ж меня забывать? И вообще, что я, заразная? Черти вы этакие, кощеи несчастные! — И она как бы шутя, но вполне неслабо шлепнула Михайлу ладонью по затылку.

— Соня, голубка моя, тебя никто не забывал, но я, ей-богу, считал тебя неисправимой народницей,— бормотал Михайло, сконфуженный.— Прости, пожалуйста...

— Нет уж, не прощу никогда!

Она отошла, грозя пальцем, улыбаясь, но лицо было злое. И видно, что говорит правду: не простит.

Наконец долгий день споров, тягостных переживаний кончился, все устали, были голодны, женщины жаловались на головную боль. Как бы хорошо было всем пойти куда-нибудь в ресторан или в трактир, поужинать славно, с вином! Морозов и весельчак Титыч загорелись:

— А что? Давайте! Пошли! А cappella!

Дворник, разумеется, тут же пресек:

— Никаких а саррелла! Расходимся небольшими группами. Еще чего вздумали!

Так вышло, что, расходясь группами, Андрей и Михайло оказались вместе с Соней и Таней Лебедевой, затем Михайло и Таня, попрощавшись, куда-то исчезли, и Андрей остался с Соней вдвоем. Решили пойти поесть в трактир. Андрею нравилась маленькая женщина. Он с удовольствием над нею подтрунивал. Не мог отделаться от мысли, что она истинная аристократка, дочь петербургского губернатора, графа! А вообще-то, как рассказывал Тигрыч, она праправнучка знаменитого Кирилла Разумовского, последнего гетмана малороссийского. Очень забавляло, интриговало даже: как могла порвать с семьей, с домом? Ведь революционерами становятся от отчаяния жизни, а тут...

— На... посмотреть, Борис... сказала она, — тоже не скажешь, что отчаявшийся. Такой здоровый физиономия бодрая, румяная...

— Природа мужицкая, что... Но жизнь я хлебнул, знаю что почем. В народ ходить, долги... отдавать мне не требовалось.

— А знаете, что я скажу вам? Кичиться крестьянским происхождением так же нелепо, как и дворянским.

— Да? По-моему, это не одно и то же.

— Одинаковая гадость. Вот я люблю простой народ, уважаю безмерно — может быть, к некоторым отношусь лучше, чем они того заслуживают, — только потому, что преклоняюсь перед трудовой жизнью, перед страданиями, бедностью. Но когда сталкиваешься с этаким самомнением, похвальбой своей народностью — в деревне этого нет, но в городах, среди фабричных, даже в наших рабочих кружках приходилось встречать, — противно бывает. И ради этого, думаешь, дурака, самолюбя, жизнью жертвовать?

— А не приходило в голову, что бояре на Руси тыщу лет кичатся происхождением, а мы, людишки черные, тягло, быдло, только едва-едва, лет пятнадцать, как почували, кто мы есть? Едва голову подняли, а вам уж противно.

Она посмотрела как-то сбоку, внимательно.

— Ладно. Знаете что? — Тронула пальцами его руку. Наверное, для нее этот жест, примирительный, был большого значения. — Давайте ценить людей не за их происхождение, ладно? Не за их племя, религию, образование, а за то, что вложил в них бог или природа.

Он кивал, улыбаясь. Как-то уж очень она всерьез. Вообще была похожа на серьезную гимназисточку из тех, которые берут книги в библиотеке, рассуждают о возвышенном и все, кроме занятий, считают глупостью. Не верилось, что эта розовощекая барышня прославилась многими подвигами. Например, гениальным бегством из-под конвоя в Чудове. После Большого процесса ее арестовали на юге, везли чугункой в ссылку, в Олонецкую губернию, и на станции Чудово, где поезд довольно долго стоял, она попросилась в дамскую комнату. Жандармы проводили, сели у входа, были, видимо, пьяны, задремали, она спокойно дождалась, пока поезд уйдет, перешагнула через спящих и скрылась. (Рассказывал Михайло в прошлом году.) В трактире Андрей нарочно, продолжая испытывать аристократизм своей спутницы, заказал самое грубое, дешевое, что было: щи со щеквиной, из соленых бычьих щек. Она ела с аппетитом, не замечая того, что ест. Он наблюдал исподтишка. Нравилось: наблюдать. Вдруг она сказала:

— Когда-нибудь расскажу, почему я стала революционеркой.

— Когда-нибудь? А если — сейчас?

— Нет.



- Расскажите сейчас.
- Нет, сейчас неохота.
- Рассказывайте сейчас же!

Он взял ее маленькую руку с пухлыми пальчиками, стиснул. Стискивал все сильнее. Наверно, ей было больно. Она смотрела улыбаясь, и в глазах, нежно-серо-голубых, светилось неколебимое спокойствие.

Качала головой. Он отпустил: на руке отпечталось белое.

— Началось у меня от ненависти к деспотизму. Когда-нибудь расскажу. Деспотизм ведь бывает всякий, домашний, семейный. Но дело в том, что самое страшное — когда заставляют делать вопреки твоей воле.

Потом долго разговаривали об обществе, об уходе Плеханова, о том, как все это будет дальше. Она упорствовала: нет, никогда не согласится ради террора оставить работу в народе. Политический террор может быть только подсобным средством, но вовсе не универсальным. Жорж — умнейший человек, знаток Маркса, Лассалья, как теоретик он не имеет равных. А как практик: кто организовал демонстрацию на Казанской площади? Кто впервые поднял красное знамя «Земли и воли»? Да, но как раз потому, что больше теоретик, чем практик, он не видит всей безнадежности работы в народе. Нас всех перевешают, пока сдвинем эту глыбу хотя бы на миллиметр. Нет, нас перевешают скорее, если вступим в открытый бой. Вот здесь наша гибель будет мгновенной. Почему же она не пошла за Плехановым, если такая противница террора? Не противница, нет, но не считает террор спасением. Она противница раскола, разъединения, ибо тут пагуба и конец, и поэтому не пошла за Плехановым. И как он ни спорил, как яростно ни доказывал, какие примеры ни приводил, она стояла скалой: нет, толку этим путем не добиться, Россию не освободить. Повалить самодержавие можно только долгим и кропотливым трудом среди народа.

— Я тоже так полагаю, леший бы вас драл, упрямая вы бабенка! — кричал Андрей, потеряв самообладание. — Но теперь-то! Оглянитесь кругом! Неужели не видите, что творится? Неужели не понимаете, что через полгода всех нас переловят и передушат, как мышей?

— Вероятно. А что вы на меня кричите? Я ведь согласилась, никуда не ушла, буду заниматься и террором, если понадобится. И цареубийством. Но мнение-то свое, независимое могу иметь?

— Можете иметь. Но и соображать должны.

— Да вы-то чего хлопчете насчет террора? Зачем к террористам ладитесь? Вы же знаменитый конституционалист. Вы уж — поближе к князю Васильчикову...

— А что вы обо мне знаете? — Андрей, рассвирепев, кулаком по столу грохотал.

— Вы прекрасные речи произносите. Большой говорун.

— Я большой говорун?

— Ну, конечно, готовитесь к Учредительному собранию...

Из-за соседнего стола угрожающе поднялись трое. Какие-то темные рожи, кабацкая пьянь. Видно, давно прислушивались.

— Эй, господин, ты девушку не обижай...

— Машка, айда с нами! Наплюй на его!

Один уж и руку тянул, чтобы Соню схватить. Трактир был действительно из последних. Андрей соображал, кого первого бить. Соня вдруг закричала на пьяных ярыжек так, что те опешили, отступили, да и Андрей изумился. Вышли на улицу, в душную темноту, Андрей смеялся: нет, не зря в народе толкалась, умеет разговаривать с про-

стыми людьми! И пока провожал до дома, где она жила с Таней Лебедевой, спорили все о том же до ругани, до хрипоты.

И на другой день спорили. Перетягивал к себе, в Исполнительный комитет. Убеждал: все равно разрыв неизбежен. На последнем заседании решались финансовые дела. Опять могли разгореться страсти: какую часть «деревенщикам», какую на террор. Андрею посоветовали (Дворник особо просил) не выступать, чтобы не обострять положения. Он уже обозначил себя как самый резкий сторонник нового направления, который к тому же вовсе не заботился о сохранении единства. Ему это было недорого. Ну вот и, подчиняясь просьбе, сидел в сторонке, слушал, что говорят, и рассуждал вполголоса то с Соней, то еще с кем-то из колеблющихся.

Было постановлено не больше одной трети всех имеющихся средств тратить на террор, остальные две трети на работу в деревне. Дворник пытался протестовать, не очень, правда, решительно, да и Андрей жестом остановил его. Ведь было ясно, что никакая работа в деревне не предвидится, все это миф, химера, любимая бесплотная мечта. Расставаться с химерами всегда мучительно. И Перовская, хотя твердила упорно: «Работу в деревне ни за что не оставлю!» — было видно: страдает. Потом она, ее подруга Таня и Верочка Фигнер, она же Филиппова, мололи вздор насчет того, что Исполнительный комитет их пугает: нет ли здесь нечаевщины? Заговор, конспирация от товарищей, тяга к убийствам... Пришлось объяснять: заговор был направлен не против товарищей, а против общего врага. Тайна существовала лишь несколько дней, а теперь все открыто, каждый волен поступать по своему разумению. И не надо так уж трястись и скрипеть зубами при слове «нечаевщина». Все мы в какой-то мере от плоти Сергея Геннадиевича. Ну, тут началось! Женщины бросились на Андрея с криком, с проклятьями, чуть ли не с кулаками. Да как он посмел? Что у них общего с этим грязным обманщиком, вымогателем? Так говорить — значит, ничего не понимать в русском освободительном движении! Обманул умирающего Герцена! Шантажировал Огарева! Вера Засулич говорила о его бессовестных проделках! Бакунин от него отрекся! Когда его схватила швейцарская полиция, ни один русский студент (Верочка готова присягнуть) не желал шевельнуть пальцем для его освобождения! Убить невинного человека! Иезуит от революции! Весь вышел из книжечки Макиавелли «Монарх»: помните, появились в шестьдесят девятом году в переводе барона Затлера? Если уж говорить...

Тут грянул ливень. Кинулись с лужайки под деревья, сильный дождь доставал и там, вмиг потемнело, от травы шел пар, и тогда кто-то крикнул, что надо бежать в павильон, к пруду. Побежали, веселясь, женщины подобрали юбки, кричали, ахали. Андрей поднял на руки Верочку, кто-то подхватил Соню — добежали, допрыгали, Воробей потерял очки, Мария Николаевна, босая, поскользнулась и шлепнулась, хохотали, валились от изнеможенья и хохота на пол, господин с дамой смотрели с недоумением, у всех блестели глаза, лица были мокрые, красные, Верочка вдруг запела сильным, счастливым голосом «Бурный поток», ливень с нарастающим гулом колотил в деревянную крышу...

Непрочность, о которой догадывался Андрей, проявилась скоро. Два месяца после Воронежа бились, терпели, сдерживали себя, шли обоюднo на всяческие уступки — мелкие, несущественные, но казавшиеся важными — однако дело непоправимо разлаживалось. «Деревенщики» гнули свою линию, Исполнительный комитет — свою. И когда стало окончательно ясно, что нет смысла мучить себя и дру-

гих, было решено разделиться. Разделили слова: сторонники политического террора взяли «волю» и назвали себя «Народной волей», а те, другие, взяли «землю» и придумали себе название «Черный передел». (Это была, собственно, исконная крестьянская мечта — душевой передел земли, — на которой строили свои надежды чигиринские пугачевцы, Дейч со Стефановичем.) Разделили имущество: типографию. Разделили средства. И с того дня, когда это случилось — в августе, в Лесном, под Петербургом, — террористы и будущие царевбийцы, вздохнув с облегчением, приступили к своим делам. Они знали, что скоро погибнут, может быть очень скоро, той же осенью семьдесят девятого года, но были твердо убеждены в том, что смертью своей принесут родине избавление и счастье. И потому очень торопились, старались не терять ни дня, ни часа.

#### ГЛАВА IV

В один из последних дней лета на даче в Лесном члены Исполнительного комитета приняли решение о казни императора Александра II на его возвратном пути из Ливадии в Петербург. Обыкновенно император возвращался с юга в ноябре. За два месяца — сентябрь и октябрь — надо было успеть расставить такие капканы, чтобы покончить с императором неминуемо. Перекрывать все пути. Не так уж сложно, если взяться за дело с умом. Пути было два: железной дорогой из Симферополя через Харьков, Курск, Москву и морем до Одессы, оттуда поездом. Скорей всего царь поедет из Симферополя железной дорогой, но все же Одессу нельзя было упускать: туда направили Михайлу Фроленко. Главные силы бросили на Московско-Курскую дорогу: Дворник вместе с Морозовым, Гартманом, Перовской (к исходу лета она окончательно сломилась в своем народническом упорстве и примкнула к терроризму) должны были приготовить минную засаду под Москвой, а Андрей вызвался устроить такую же каверзу на юге, где именно еще не знал, где-то на степном просторе между Симферополем и Харьковом.

Андрей был убежден, что его мина окажется первой и решающей. Ну, а если нет — тогда Москва. Спасенья царю не предвиделось. В ноябре жалький тиран испустит дух, а к рождеству вся жизнь в России переменится: новый государственный строй, конституция, представительное управление, свободная печать. А там уж пойдет настоящая борьба за народоправство!

В радостном нетерпении мчался Андрей на юг, сквозь зной и спелость осенних российских равнин. В Харькове остановился на Монастырском подворье. Среди здешних людей было немало знакомых, один из лучших и верных — Иван Глушков, Ионыч, старый приятель по одесским кружкам. Но теперь, в начале сентября, Ионыч подумывал насчет того, чтобы исчезнуть, ибо вокруг сгущалась опасность. Новый генерал-губернатор Харькова Лорис-Меликов, заменивший на этом посту убитого Гришкой Кропоткина, действовал гораздо более хитро, но и решительно. Кружок Дмитрия Буцинского, толкового молодого человека, близкого Андрею по духу, называвшего себя «государственником» (бегло познакомились в прошлом году, да и Соня Перовская много рассказывала), был сильно весною подорван, лорис-меликовские шпики искали убийц Кропоткина, выгудили нескольких человек, и Буцинский в апреле бежал из Харькова. Теперь все было в разброде, более затаенно, но сходки, вполне мирные, без кровожадности — чтение книжек и споры о социализме, — кое-где, по студенческим квартирам, продолжались.

Ионыч быстро свел Андрея с местными карбонариями. Самым заметным был, конечно, Староста, Петр Абрамович Теллалов, ровесник Андрея или, может быть, на год младше, с немалым опытом: еще в семьдесят четвертом году, когда был студентом Горного института, попал в ссылку за участие в «беспорядках». Этому Старосте, или Абрамычу, Андрей вез поклоны из Питера. Гришка Гольденберг, появившийся вскоре, тоже знал Теллалова и рекомендовал его как вернейшего человека. Ионыч и Староста — на этих двух можно было опереться, но Ионыч уже собирал пожитки. Остальные здешние были тощая молодежь; слегка напуганные, слегка легкомысленные, знавшие обо всем понаслышке. Шут знает чем они занимались! Староста делился опытом, как они добывают день-и для кружка: обрабатывают либералов, одну даму, например, жену председателя харьковской судебной палаты, дообрабатывали до того, что она ежемесячно вручает ему, Старосте, тридцать четыре рубля в пользу социалистов, а некий Легкий, восемнадцатилетний гимназист, нашел замечательный способ добывания денег. Он обещает гимназистам через мифического чиновника министерства просвещения, который тут будто бы проездом, достать фальшивый аттестат зрелости для поступления в университет за шестьсот рублей, берет триста рублей задатка, и два осла на эту удочку уже попались. Чем рисковать много раз по мелочам, лучше однажды рискнуть хорошенько, но зато запастись средствами на год, два, три. Тут это понимали и носились с идеей подкопа под полтавское казначейство. Впрочем, главное — на что тратить средства? — в Харькове представляли смутно.

На одной из первых же сходов, на квартире студентов Кузнецова и Блинова, кто-то спросил: верно ли, что Петербургское общество изменения государственного строя разделилось на две фракции, террористов и народников? Пришлось объяснять, что общества с таким длинным названием вовсе не существует и что народники, признавшие террор одним из средств борьбы, не перестали быть народниками. Слухи о разделе докатились сюда еще летом, родили сумятицу в мозгах. Гришка Гольденберг сильно портил дело. Здесь, в Харькове, на месте своего геройства, он чувствовал себя непререкаемым авторитетом и пребывал в каком-то постоянном именинном возбуждении: каждую минуту ждал дани восхищения, пускай даже молчаливого. Он запретил называть себя Гришкой, Давидом, Биконсфильдом, велел звать Федором. Хвастался, что вряд ли есть хоть один другой революционер в России, который имел бы столько разных имен, как он. То и дело вынимал из кармана флакончик с прозрачной жидкостью и что-то писал (видимо, важные письма) этой жидкостью на листках бумаги. Как будто не мог заняться писаниной дома, наедине. Студенты глядели на него разинув рты, подавленные его значительностью. Еще бы: кто-то, приведший Гришку в этот кружок впервые, назвал его «певцом» и «одним из друзей Кропоткина». Свою славу певца Гришка старался подтверждать и после серьезных разговоров, когда дело доходило до веселого застолья, всегда пел малороссийские песни. Но что касается рекомендации насчет «одного из друзей Кропоткина», то намек был, кажется, всем ясен. Вот этого мелкого фанфаронства, неутомимой самоощекотки Андрей не понимал. Какой вздор! Тщеславиться перед мальчишками, рискуя из-за этого провалить себя, да и дело. Сказал ему об этом. Гришка удивленно поднял брови:

— Ты учишь меня конспирации?— И хохотал.— Учит меня конспирации! Это уже анекдот. Милый Борис, я не проронил ни слова, ни полслова.

Верно, не проронил. Но ведь намекал же, черт тебя драл!

— Мы не будем, как прежде, заниматься такими мелкими дела-

ми, как убийство Кропоткина и Мезенцева. Мы начнем с главного, с царя! И пусть все, что нам сочувствует, но колеблется или трусит, что, впрочем, одно и то же, знают, что мы не требуем, чтоб в этом деле принимала участие вся террористическая партия. Нам достаточны единицы, чувствующие к этому призванию. Остальные будут лишь содействовать. Один кинжал нельзя держать десятью руками. Подвиг есть дело редкое и добровольное.

Все было так, но — тон, категоричность, тайное самолюбование, которое нельзя было скрыть, оно так и прыскало, вызывая раздражение. Из-за Гришки, чтобы сгладить впечатление, Андрей выступал помногу и долго. Один из почтительных Гришкиных слушателей, совсем молоденький реалист, сын известного в Харькове доктора Сыцянка, робко возражал: они не трусят, нет, но колеблются, ибо террористический путь, как известно, влечет за собой репрессии, невинные жертвы. Привел в пример двадцатилетней давности покушение Орсини на Наполеона III, когда император с императрицей после взрыва бомбы спаслись, а полтора человека на улице вблизи театра были ранены и десять убиты. Гришка, рассердясь, сказал, что никому не советует попадаться под карету истории. Еще был вопрос: а какие пути предлагают террористы для достижения конституции? Гришка ответил загадочно:

— Этого пока еще нельзя говорить, секрет.

Более всего Андрей боялся, что в Гришкиных речах может мелькнуть настоящая причина их приезда в Харьков. Сам он всю создавал видимость, что они приехали сюда как истые пропагандисты: говорил на исторические темы, объяснял по Марксу суть борьбы классов, ну и, разумеется, о терроре, но без горячки, спокойно. В двадцатых числах приехал Колодкевич, а вскоре Баранников (теперь он звался Ипполит Кошурников) и Андреев тезка Пресняков. С Пресняковым Андрей познакомился только теперь. Это был высокий блондин, несколько бледный, угрюмый, худой, похожий внешне на петербургского мастерового, однако на самом деле был вполне образован: учился когда-то в Учительском институте. Потом, правда, слесарничал на каком-то заводе в Питере. Пресняков был мужчина серьезный. За ним числились дела: казанская демонстрация, бегство из полицейской части и — кровь. Говорили, что убил шпиона два года назад. Представляя Андрею, жестко стискивая его руку, сказал внушительно: «Андрея Корнеевич». Взгляд у Андрея Корнеевича был какой-то странно застывший, водянистый. Андрей, поглядев на него, подумал: «Эге! Человек нужный». Пресняков с Баранниковым привезли динамит и проволоку.

Теперь надо было решать: где? Сидели ночами над картой. Баранников по поручению Комитета уже занимался рекогносцировкой на Варшавской дороге, теперь он помчался в Крым, но через несколько дней вернулся: подходящего места на юге не было. Снова колдовали над картой, сошлись на том, что может подойти Александровск, уездный городишко Екатеринославской губернии. Баранников в дни юношеских скитаний бывал там, да и Теллалов знал это место, его брат жил в Александровске, занимался торговлей. Итак, Александровск! Поехать, посмотреть. Времени еще было много, месяца полтора, однако Андрей спешил. Нетерпение не покидало его. Он должен был ехать один: Колодкевич возвращался в Одессу, где его ждали Верочка и Михайло. Пресняков отправился в Крым (ему дали адрес верного Теллалову человека в Симферополе, где Преснякову надлежало обосноваться и следить за передвижением царя), а Баранников торопился в Москву. Там требовалась громадная физическая работа, затеяли подкоп, нужно много сильных мужиков.

Еще в середине сентября перед своим отъездом из Харькова Ионыч — Глушков — свел Андрея с человеком, который был теперь необходим: ведь пора уже было готовить мину! И не одну, две. Человек был — мастер, золотые руки, Ванечка Окладский, он и слесарь, он и медник, и немного по электрической технике, и, главное, несмотря на юность, многоопытный в революционных делах, воспитанник петербургских кружков. Андрей познакомился с Ванечкой (все его почему-то так и звали, хотя парню было уже двадцать) в Одессе лет пять назад, но бегло, едва запомнилось. Впрочем, запомнилось: мальчишка, а разговаривал и держался с достоинством, как-то по-столичному чванился. Теперь, хотя стал старше, выглядел попроще. Но тоже нет-нет, а мелькнет этакое столичное, глуповато-важное.

Ионыч, уезжая, сказал: «Ванечка тебе все сделает».

Встретились на Университетской горке вечером, мелкий дождичек зарядил, и дохнуло зимой, холодом. Андрей зябнул, Ванечка вдруг напыжился, похвалился:

— Для нас, петербургских жителей, этакая погода — в самый раз.

Ну, ладно, бог с тобой. Как все мастеровые, и этот, желторотый, набивал себе цену. Андрею все же он нравился, истинный работник, самостоятельный, но в то же время за годы вращения среди питерских революционеров, да и одесских — знал Заславского, Малинку, Родионича, многих — приучился, как младший, опекаемый, к послушанию. Где взять мастера и опытного и чтобы довериться полностью? А тут хоть и молод, да свой.

Ведь таиться бессмысленно. Что за снаряд? Какой корпус? Для чего? Делать — ему. Должен знать.

И тогда же, вечером, гуляя под мокрыми деревьями, сказал все. Поразило: Ванечка ни сколько не удивился. Не взволновался, не дрогнул. Деловито и расчетливо, будто портной берет заказ на сюртук, стал расспрашивать, какой длины предполагается снаряд. Каков вес динамита, из чего делать корпус, какого диаметра нужен земляной бур. Обсудили. Ванечка сказал, что работал в мастерской доктора Сыщянка, там можно листовую медь достать и все прочее что нужно, а если будет какая недостача, есть другая мастерская, Якубовича, в том же доме, где доктор Сыщянок. Ребята везде знакомые, достать можно. Само убийство царя как будто не представлялось Ванечке важным делом, об этом даже не задумывался, а вот достать материал, сделать — это задача. «Хорошо, хорошо, — соображал Андрей. — Нам тако-го и нужно, чтобы не задумывался».

Сняли дом на Москалевке, хозяйке Ванечка объявил, что будет работать на заводе Пильстрема, ждет жену из деревни. Про дом на Москалевке никто, кроме Андрея, не знал. Корпуса изготовлялись из меди, цилиндрические, полтора аршина длиной. Следить нужно было, чтобы швы легли плотно, герметически, иначе нитроглицерин станет просачиваться и убойная сила динамита погаснет: об этом еще в Питере Гришка Исаев, ученый малый, предупреждал. Ванечка старался вовсю, стучал медницким молотком на оправке.

Андрей верил Ванечке. Да, конечно, верил совершенно, потому что все верили. В Питере его, мальчишку, подобрал доктор Ивановский, известный человек, пропагандист, умница, благороднейшая душа. И все-таки оттого, что кому-то раскрыл тайну, кого-то посвятил, пускай своего и близкого, но ведь не совсем же своего и не окончательно близкого, теперь бессонно томило беспокойство. А вдруг? Ведь молодой же, черт, хрупкий. И ничего поделывать было нельзя. Андрей знал за собой эту нервность, знобящую, непобедимую, как привяжется — смерть, спасу нет. Вспомнил с завистью про жену Семена, Марию Николаевну Ошанину: как же могла заснуть в те часы, когда нападали

на конвой? У него еще все далеко, но вот вломилась в башку тревога и не то что не спится, а — места себе не найти. Накануне отъезда Баранникова в Москву Андрей ему сказал: Ванечка работает, все в порядке, но хорошо бы немного как-то привязать покрепче. Он ведь не член партии, не агент, устава не знает, клятвы не давал. Пугнуть, что ли?

Андрей вспомнил, как кто-то — не Мария ли Николаевна? — говорил, что для приема новых членов нужно выделять двоих: его, Желябова, — чтобы говорить, и Баранникова — чтоб устрашать. Верно, физиономия у Семена неподвижно-мрачная, диковатая, как у итальянского bandito. Мать, грузинка, наградила этакой красотой. Парень замечательный. Андрей за несколько дней сдружился с ним крепко.

— Поговорим! — согласился Семен.

Ванечку вызвали, пошли втроем в столовую в Мордвиновском переулке, в дом, где бывали часто: столовую содержала вдова Заславского, того самого одесского, который год назад умер, бедняга, в тюрьме. У женщины всегда были глаза на мокром месте. К Андрею она относилась тепло, даже нежно, помнила его по Одессе. Однажды подошла близко, бормоча невнятное:

— Они мне ничего не сказали, но я узнала досконально: Женя сошел с ума. Они его домучили. Такого человека... — Губы ее дрожали, глаза были полны слез. Внезапно приблизив лицо вплотную и глядя как-то необычайно значительно, прошептала: — Вы должны это всегда помнить!

И отошла, не дожидаясь ответа.

Теперь, когда пришли с Ванечкой, Заславской не было. Прислуживала какая-то незнакомая толстая девка, и разговаривать нужно было с осторожностью.

Семен рассказывал о своем прошлом, о детстве в Путивле, о том, как вырвался из Павловского военного училища, симулировав самоубийство в Неве, о том, как бродяжил по России, как сражался в Черногории в отряде Пеко Павловича. Рассказывая, кидал черным косящим зрачком — пронизывая — на Ванечку. Но тот никакой пронзительности не чувял, ел и пил беззаботно. Семен стал вспоминать, как черногорцы мстят изменникам: хоть малейшая выдача, хоть словцо случайное — кинжал в сердце.

— Понятное дело, — соглашался Ванечка. — А потому что им иначе нельзя.

— Очень мечь уважают! — говорил Семен, хмурясь грозно.

— Обязательно.

— Такая есть поговорка черногорская: «Без освете нема посвете». Без мести, значит, нет спасения. Понял?

Все было — мимо. Ванечка как будто не догадывался, куда клонится разговор. Тогда Семен сграбастал могучей ладонью Ванечкин тощий загривок, пригнул его голову к столу, почти носом к тарелке, и шепнул в ухо:

— Если хоть словцо из тебя просыплется... ясно?

Видно, шейку-то он Ванечке сжал, потому что Ванечка побелел вдруг, захрипел. Семен отпустил его. Он выпрямился, поводит, моргая, красными, но без тени испуга глазами, вздохнул глубоко и улыбнулся радостно, догадавшись.

— Это вы мне предупреждение делаете? Ну и правильно, правильно. Только я вам скажу, дядя... — Мигнул лукаво, а сам все шею намятую рукой тер. — Я же первой вас в революционном движении действую. Чего меня предупреждать? Меня мальчонкой, двенадцати лет, в первый раз в часть сволокли. Я вам так скажу, словами Стеньки

Разина: «И доблесть рыцарская ничего не сможет пред силою летящего ядра!» Так меня инженер Левицкий учил, по книжке.

— Ладно, не болтай, а запомни. Насчет того, что без осветы нема посвете. Спасения не будет.

— Зна-аю! — Ванечка, смеясь, рукой махал. — Это я раньше вас еще понял! Мудрость какая!

Вдруг в комнату ввалился Гришка Гольденберг, замолот чепуху: про какой-то музей исторических вещей, который кто-то — неведомо кто! — предлагает организовать.

— Я должен дать револьвер, тот самый, ну, вы знаете, про что я говорю, — тархтел вполшепота Гришка. — Туда же кинжал Сергея, который тоже прославился... Ты, Борис, можешь дать, хотя нет, рано, рано! Не говори гоп! Молчу, молчу!

Уезжая в Александровск, Андрей несколько тревожился: а может ли Гришка как должно проследить за работой Ванечки? Увлечется ерундой, забудет главное. Гришка рвался вместе с Семеном ехать в Москву, но сказали твердо: поедешь, когда Андрей вернется из Александровска, наладив работу.

Александровск оказался захолустнейшим городком, одна слава, что уездный, на деле — большое село, тысяч на шесть жителей. При речонке Мокрой Московке, в двух верстах от Днепра. Вокруг — черные осенние хляби, овраги, курганы, и неподалеку, на Днепре, Хортица, знаменитый остров, где сидели когда-то запорожские сечевики, а теперь жили немецкие колонисты-менониты. В извозчичьей повозке Андрей объехал окрестности, высматривая место для кожевенного завода: прикатил он сюда будто бы из Ярославля, купцом Черемисовым, в надежде открыть производство кож и быстро обогатиться. Вид был вполне купеческий, разговор дельный. Его и в Харькове принимали за купца: ходил в черном бурнусе, в картузе, в русских сапогах. И вот, колеся кругом города с биржевым извозчиком Миколой Сагайдачным — познакомились накануне на вокзале, где Микола у извозчичьей колоды дожидался седоков, — расспросил исподволь об александровском бытѣ, о купцах, исправнике, городском голове господине Демогани. «Эге! — почему-то обрадовался Андрей — с греком договоримся, не впервой». Стал вспоминать отдельные, с юности застрявшие греческие словечки, но тут же себя перебил: ведь бесполезно, неоткуда их знать ярославскому купчине.

Миколу объяснял: место нужно такое, чтоб вблизи яма, куда можно сваливать нечистоты. Такое место, и замечательно удобное — в двухстах саженях от полотна железной дороги, нашлось в первый же день, но городская управа воспротивилась, боясь, что станет грязниться река Московка. Андрей посулил господину Демогани благодарность за помощь — не так уж страстно желал он занять этот первоначальный удобный участок, но, главное, так надлежало действовать купцу Черемисову, — однако грек не дрогнул и все-таки отказал. Время еще было. Не менее месяца. Царь приезжал в столицу обыкновенно в середине или в двадцатых числах ноября. Андрей наметил другой участок, от полотна подальше (тут было свое преимущество: не так подозрительно!), и, сняв двухкомнатную квартиру с кухней, восемь целковых в месяц, сроком на полгода, и заключив по сему поводу контракт, а также оставив новому приятелю Миколу десять рублей на покупку мебели, поспешил в Харьков.

Здесь все шло чередом. Ванечка работал, подбирались помощники: у Ванечки появился некий Коля, Ванечкин знакомец, парень вроде бы верный, но ему, однако, всего не раскрыли, правильно сделали, из Ростова прикатил еще в конце сентября пресняковский дружок Яшка



Тихонов, этому сказали все, согласился враз, его надо брать в Александровск, там нужна сила, землекопы, и, наконец, прибыла из Питера «жена купца Черемисова Марья Петровна» — Аня Якимова по кличке Баска.

Все были не новички, народ каленый.

Баску Андрей знал еще по Большому процессу, весной она входила в ширяевскую группу «Свобода или смерть», эта группа, правда, ничего сотворить не успела, но создала перед съездом особое террористическое настроение, а летом Баска хозяйничала в динамитной мастерской вместе со Степаном Ширяевым. Яшка Тихонов судился по делу о пропаганде среди петербургских рабочих (сам-то он ткач и слесарь, истинный пролетарий), ссылался в Архангельскую губернию, оттуда бежал. А уж сам Ванечка! Этот всех знал, и его все знали. Опыт у Ванечки был громадный. Жизнь свою сразу перестроил: ни он ни к кому, ни к нему никто. Однажды, когда Андрей был в Александровске, Ванечка закатил скандал Гольденбергу, и поделом: Гришка вздумал в неурочный час к Ванечке на Москалевку навещаться, узнать, как идет дело. Ванечка на него чуть не с кулаками: «Да как же ты, идол, соображаешь? Дурак ты, дурак, а еще в Кропоткина стрелял!»

И — прав, молодец. Гришка Андрею жаловался: «Он меня выгнал, показывать не стал. Сопляк! Пусть бога благодарит, что я был без оружия. Я невежества ни от кого терпеть не стану!»

Все дело в том, что Гришку мытуха разбирала: скорей в Москву! И вот, не в силах дожидаться срока, побегал теревить, подгонять. Была же договоренность: в дом на Москалевке никто ни ногой. Встречаться только в условленных местах. Андрей, к примеру, встречался с Ванечкой на Университетской горке. Но Гришке с его фанаберией попробуй объясни. И еще случилась неприятность: с околоточным. Работая медницким молотком, выгибая цилиндр на оправке, Ванечка, конечно, стучал сильно. Пришел околоточный, сказал, что соседу, большому чиновнику, мешает звон. Нельзя ли прекратить? И что тут за мастерская? Ванечка не растерялся, наврал, что делает аппараты для перегонки спирта для винокуренного завода. Околоточный был грузен, неповоротлив, во двор лезть поленился и только лишь пригрозил угрюмо: «Бей тише. Беспокойство делаешь...»

А как войдет да станет смотреть — что за аппараты? Ванечка сообразил: судьбу не искушать, сняться с Москалевки тотчас.

Андрей жил теперь на Сумском подворье. Встретясь первый раз с Ванечкой и узнав, что работа близка к концу, дня два осталось, он, успокоенный, решил эти два дня посвятить учению: почитать с толком книгу «Кожевенное производство», купленную еще в Петербурге. Читать было все недосуг, а нужно. Вдруг — сообщение, Колька принес, Ванечкин подручный, писано шифром. Здесь, в Харькове, ключевым словом было штундисты. Андрей еще не привык читать сразу, в уме, пришлось набросать сетку: «штундисты» написать колом, по-китайски, и затем к каждой букве приписать девять, следующих по алфавиту.

В результате прочитал «Срочно искать другое место пять на горке». К пяти пришел на Университетскую горку, Ванечка уже расхаживал, мрачно-сосредоточенный. Рассказал про околоточного. Как быть? Уходить, что ли? Андрей спросил: долго ли до конца? Если ночью поработать как следует, так завтра к утру. Ванечка мялся, плечами подергивал: предоставлял решать. Ну, ладно, рискнули до утра. Не тащить же недоделанные. Да и место еще нужно найти.

Вечером Гришка побегал к Старосте, с ним пошли к Блинову,

студенту, предупредили: завтра, мол, принесем к вам вещь. Какую вещь? Необходимо схоронить. Вопросы неуместны. Дома будете днем? Блинов, слабогрудый, болезненный, закашлялся, заныл:

— Да я не знаю, право. Я ж не один, надо Кузнецова спросить, а его нет, у него контроль по анатомии...

Но Гришка с ними распоряжался по-свойски. Он и жил у них — нахалом, без спроса, — вторую неделю.

— Ладно, Митрофан, мы все поняли! Вы человек честный, хотя и робкого десятка. Ну, ничего. Сидите дома и ждите.

Утром на другой день Андрей взял извозчика, поехал на Москалевку. Ванечка вынес ему оба цилиндра, связанные вместе, крепко упакованные в рогожу. Тяжесть была пуда два. Отвезли вместе с Гришкой к Блинову, сунули под кровать.

Блинов допытывался:

— А что ж все-таки за вещь?

— Динамит! Бух-бух! — с шутковским видом подмигивая, говорил Гришка. — Я, я буду спать на этой кровати, нехай уж меня разорвет, леший меня забори! Испугался? Ха-ха! Поверил? Ха-ха, не волнуйся, никакой не динамит, а просто железо. Феррум, айзен, ля фер. А вы хорошенький трусишка, Митрофан!

— Я только к тому, что Кузнецова нет... У него контроль по анатомии...

— Вот что, Митрофан, запомните. — Гришка тряс пальцем. — Первый закон всякой революционной партии есть доверие к авторитету и умение подчиняться. Второй закон — презрение к смерти. Это понятно? Не нужно разъяснять?

Блинов сказал, что не нужно, и умолк. За два часа, пока грели чай на спиртовке, болтали и обсуждали первый номер новой революционной газеты «Народная воля», только что присланной из Петербурга, Блинов ни разу взгляда не бросил под кровать на «вещь» и даже вовсе не смотрел в ту сторону. Все же Андрей решил, что снаряды нужно перенести в другое место, более надежное. Отправляются в Александровск было еще рано, не все необходимое успели достать, нужен был земляной бур, листы цинка, кое-что другое, обещанное Ванечке в мастерских. Андрей должен был ждать, пока Ванечка скажет: «Готово!» Кузнецов, сделавший контроль по анатомии и, видно, мало в этом успевший — отчего был раздражен, — поднял вечером шум:

— На каком основании, пользуясь отсутствием хозяина?..

Тут Ванечка привел Сашу Сыцянку, сына доктора, который мгновенно согласился взять тайственное железо к себе. Пожалуйста, у них есть недостроенный флигель и можно хранить что угодно хоть полгода. Потому что работы возобновятся только весной.

Кажется, и он и Блинов с Кузнецовым думали, что в рогожу упакованы части типографского станка. Саша забрал «вещь» и увез. Гришка в этот день уезжал ночным поездом в Москву. В столовой у Заславской устроили что-то вроде прощальной закуски. Опять были споры о терроризме.

Саша Сыцянка, самый юный и, как казалось Андрею, самый чистосердечный народник, с напряженной бледностью на безусом гимназическом лице давал, черт возьми, свое согласие на политическое убийство, но с одной — да, да, единственной, но крайне важной! — оговоркой:

— Жизнь за жизнь. Человек, который убьет, обязан и свою жизнь отдать: добровольно предоставить себя в распоряжение врагов. Это будет справедливо.

— О какой справедливости вы говорите, имея дело с правительством палачей? — кричал Гришка, распаяясь. — А с нами проявляют хоть малейшую справедливость? За что повесили честнейшего Лизогуба? За что казнили Горского, Бильчанского? Виттенберга и Логовенко? Ого, вы хотите быть джентльменами с бандой убийц!

— Тем более что ваше условие неотвратимо, — сказал Андрей. — Каждый, кто идет на террор, обрекает себя на смерть. Мы все это знаем.

— О нет! Сила в том, чтобы отдать себя сознательно, а не просто потому, что тебя выследили и схватили.

— И не каждого хватают, к счастью, — заметил Блинов. — Вы же, Биконсфильд, слава богу, живы-здоровы!

Гришка от неожиданности замер с открытым ртом, желая что-то сказать. По-видимому, он был под хмелем, потому что был красен, говорил громко и скоропалительно, до пузырей, а тут, услышав такую внезапность, как будто мгновенно на глазах протрезвел. Ведь никому из молодых не было в точности известно, что Гришка стрелял в Кропоткина, могли лишь догадываться, но говорить вслух было запрещенным приемом и нарушением правил конспирации.

Гришка спокойно сказал:

— Вы тоже, слава богу, живы-здоровы, Митрофан. О себе я могу сказать, по чему я жив и здоров. Потому что моя рука еще крепка и умеет держать оружие. — Он вытянул перед собою костистый рыжий кулак. — И пусть еще послужит революции.

Андрей сказал: жизнь за жизнь было бы чересчур начетисто, нас слишком мало. Однако Саша Същанко не унимался. Каким же иным путем снять кровавую тяжесть? Гришка вскипел: ах так, вы хотите делать революцию на основе Моисеевых заповедей? И это в то время, когда главный российский деятель сегодня — палач Фролов? И — загремело, покатилося. Все те же рю, те же contra. Господи, как эта шарманка надокучила. Никто из них (кроме Гришки и Старосты) не знал, что спорить поздно. Через день или два завернутые в рогожу мины, которым назначено перевернуть судьбу России, а может быть, целого мира, поедут в вагоне третьего класса в Александровск.

Обрушилась осенняя непогода, холода, дожди. Потоки воды катились с высот в низины и наполняли грязью громадный овраг, где нужно было лежать недвижно, как в гробу, выжидая. Будто кладбище, затопленное наводнением. Гробы плавают в холодной воде, в черном предзимнем мраке. Ведь всю работу приходилось делать ночью. Днем спали, болтали с хозяевами, играли с собачкой, дулись в карты, бегали по множеству важных дел насчет устройства кожевенного завода, сырмятни, шорни, покупки лошадей и телеги у извозчика по фамилии Шампанский, а ночью в могильной темноте ждали нужной минуты. Яшка Тихонов оберегал с одного бока, со стороны Лозовой, Ванечка — со стороны Александровска. Сверлить насыпь буром и закладывать мины обязан Андрей. Его дело! Одно худо — ночью плохо видел. И вообще-то зрение за последние годы ухудшилось, а в потемках совсем никуда. Несколько ночей прошло, пока научились — и он и Яшка с Ванечкой, у тех глаза хорошие, — находить свой овраг, а то плутали. Одну ночь всю проплутали, так и не нашли, вернулись домой. Баска привычно ужасалась: «Мать моя! Страхи!» Возвращались в земле, в грязи, во всем мокром. Печь топилась круглые сутки, чтоб платье сушить. Ночи две, а то и три ушли на укладку провода: от проселочной дороги, ведущей из Александровска в деревню Софиевку, параллельной рельсовому пути и саженьях в полутораста от него, нужно было тащить к оврагу, нырять вниз, по дну, карабкаться скло-

ном наверх, к насыпи. Как будто нехитро, да ведь крошечная тьма и немислимо не только фонарем посветить или спичкой фукнуть, но сделать самонаименьший шумок, скрип. Сторожа ходят беспрестанно. Шут их знает, отчего такая подозрительность? То ли что-то прочуяли, то ли обыкновенный перепуг, не утихающий после соловьевского дела. А может, чья-то выдача, туманная, издали? Потому что если б прямое указание, весь бы Александровск затопило синими мундирами и шпиками переодетыми, но ничего не заметно. Все тихо, только вдоль дороги шныряют. Еще вот какой перепуг: дожди. Вода, заливавшая овраг, несла всякий сор, ветки, комья земли, все это забивало трубу, проложенную в насыпи для стока, получалась пробка, в овраге образовывалось озерко, вода поднималась, пропитывала насыпь и разжижала грунт. Возникла опасность катастрофы, насыпь могла попросту расползтись, как было недавно где-то, газеты писали: рельсы разошлись, вагоны попадали под откос, их засосало грязью, люди погибли. Боясь такой истории, начальство посылало рабочих с фонарями осматривать насыпь и трубу. По четыре, по пять раз в ночь обходчики появлялись вблизи оврага, проходили, мелькая фонарями, переговариваясь — дождь хлестал, сквозь шум было плохо слышно, да, верно, никаких особых разговоров, а просто ругань, проклятья ноябрю, дождям, начальникам, — а трое лежали на дне оврага, в сырой черноте, замерев, не дыша. И тела их, как насыпь, пропитывались водой, становились жидкими, готовы были расползтись.

И вот — ждать минуты... Промежутки между проходами сторожей был часа два, но, кроме сторожей, вдоль полотна ходила вооруженная охрана, переодетые жандармы. Этим не интересовали коварства природы, неисправности техники, их занимало одно: злоумышляющее человечество. Ночью узнать сих господ, отличить их от дорожной челяди было трудно — тоже с фонарями, с руганью, — но днем они дважды попадались на глаза, и по бритым ромам, долгополым плащам сразу было видать, что за публика. Говорят, ведомство Дрентеля разбрало их по всему пути от Симферополя до Москвы. Сторожа, жандармы, какие-то случайные путники, бредущие бог весть куда по шпалам, да проезжающие поезда — все было помехой, заставляло ждать, ждать, ждать. Лежали, ждали. Теперь оставалось: заложить цилиндры в пробуренные в насыпи дыры. Телега стояла на проселке, далековато, а подъехать ближе никак нельзя, нет дороги. Пронесли снаряды в овраг и ждали. Вчерашнюю ночь всю прождали впустую, не удалось, то одно, то другое, как назло. Отчаянье брало, силы падали. Неужели же из-за какой-то ерунды, случайного пьяного дурака? Налетала дикая секундная бесшабашность, помутнение мозгов: а, была не была! Тянуло рискнуть, поползти. Терпенье обламывалось: конец, невозможность, — но лежали не шевелясь, ждали. Снова ждали, ждали, медленно превращаясь во что-то сырое, бесчувственное, нечеловеческое. И так, не дождавшись, перед рассветом потащили снаряды назад к телеге и поехали домой.

Еще одна ночь: снова на телеге дотряхали до оврага, потащили цилиндры, тяжеленные, пуда по два, держали их бережно на руках, как детей, чтобы не рвануло ненароком, — в темную глубь оврага. Ванечка, охраняющий, пополз вправо, Яшка — влево. Лежали, ждали. Ждали и ждали. Больше нечего: ждать.

И в этом ожидании, беспроглядном, изнуряющем, как тяжелый дурман, возникали мысли. Возникла, например, такая мысль: вся жизнь есть ожидание смерти. Но мы не замечаем. Ожидание глубоко внутри, в недрах нашего существа, когда же оно поднимается из глубин, и заполняет, и охватывает — смертельное ожидание, — тогда это уже почти наступившая смерть. Последнее, что видел: в чер-

ной жидкой грязи склон оврага. В секунды густейшего дурмана, полной омертвелости сознания представлялось, что он уже там, за земной гранью, и на все это — на грязь, дождь, холодный ветер, даже на дрожание собственных стынущих рук и колотье зубовое — гляделось откуда-то оттуда, из тех пределов. Потом были другие секунды, когда он как бы опоминался и думал завистливо и с тоской: почему же я не умер? Ведь так бы просто умереть в ту, давешнюю секунду, когда возникло полное ощущение смерти. И было бы тихо, легко. Но — невозможно, потому что нельзя. Ничего не сделано для смерти. Нужно ждать, ждать.

На исходе ночи минута пришла, Ванечка сполз по склону, схватили вдвоем, потащили. Было сделано быстро. Ванечка так ловко помогал, перехватывал. Но со второй миной — ее место пробурили саженях в тридцати от первой — едва не случилось несчастье. Вдруг показался сторож, почему-то шел в одиночестве, без фонаря, поэтому заметили поздно — Яшка заметил, — пришлось выволочить наполовину засунутую мину из дыры, спуститься под насыпь. И там лежали, вжавшись в землю, боясь дышать. Спасло то, что ветер внезапно усилился и вместо дождя повалил мокрый снег. Эта ночь оказалась удачной: заложили оба снаряда и Ванечка соединил их проводом. Теперь последнее: от второй мины протянуть провод по дну оврага к дороге. Но это уж легче, куда легче! Главное позади. Нужен был день отдыха.

Баска мыла, стирала, сушила, гладила, мужики таскали воду, кололи дрова, но все равно — отдых. Напряженье спало. Можно было почитать Гоголя, или «Кожевенное производство», или же газетку: перечитывали передовую с эпиграфом «*Delenda est Carthago!*»<sup>1</sup>. Писал Тигрыч. Лучше его никто не напишет. Еще занимала мысль, что рядом Хортица, старинный запорожский лагерь, — было б время, съездить туда, поклониться развалинам казацкой вольницы. Ни Ванечка с Яшкой, ни Баска ничего толком о сечевиках, об их великой праведной жизни, их славе и разорении не знали, и он рассказывал, благо недавно, весной в Одессе, читал с наслаждением Антоновича и Костомарова. Вольность всегда была высшей и благодатнейшей ценностью на этой земле. Никаких цепей не желало терпеть казачество: ни государственных, ни божеских, ни атаманских, ни семейных. «Ты, Баска, напрасно мечтаешь. В Сечь тебе бы не попасть, туда женщин не допускали. А если какая пробиралась, — смерть ей!» И как же вышло, что на самой вольнолюбивой земле утвердилось самое гнусное самодержавие, которому по жестокости нету равного в мире, а из казаков — первых бунтарей и рыцарей свободы — образовались самые верные защитники этого деспотизма? Не сразу, не сразу, надо думать. Века протекли, дело творилось медленно, но вот нынче — так, упорчилось, кованой тяжестью припечатало к земле прошлое, будущее, стремленья, надежды. И уж не казакам теперь, не Разину с Пугачом отслонить и сдвинуть. Один выход: взорвать.

Вечером пришел со штофом водки приятель, биржевой извозчик Николай Афанасьевич Сагайдачный. Ванечка с Яшкой быстро исчезли, они жили в другом доме. Вовсе отказаться от угощения было нельзя, но и пить неммыслимо: ночью работать. Руки станут дрожать, внимание ослабнет. Что делать? Для отвода глаз выпил две рюмки, Баска помогала тихонько (Николай Афанасьевич был уже захмелевши, не замечал), пели песни, хозяин дома, Бовенко, оказался тут же, «пришей-пристебай», у даровой водочки, и получилась полная кутерьма до полуночи. Да тут еще Николай Афанасьевич стал проситься на ночь, не то что проситься, а попросту, по-казацки, повалился на пол:

<sup>1</sup> Карфаген должен быть разрушен! (Лат.)

— А ну ее, бисову жинку...

Поругался дома и не желал возвращаться в хату. Это уж была громаднейшая опасность. Ночь терять невозможно, каждую минуту мог нагрянуть из Симферополя Пресняков и объявить: завтра! А еще провод тянуть от второй мины через овраг.

Честно говоря, не верилось, что может быть «завтра», дней пять в запасе еще как будто оставалось. Стал Бовенко трясти:

— Ради Христа, заberi ты его отсюда! У меня баба молодая, ей при чужом мужике стеснительно...

— А баба у тебя ладная.— Бовенко кивал понимающе.— Замучила?

— Ну!

— Эге, видать же: как огарок стоял, одна борода торчит...

Кое-как Сагайдачного спровадили на другую половину, там он захрапел, но Бовенко, странный малый, с каким-то особым, дурным интересом к тайной стороне жизни, не уходил, нес околесную, хохотал, подмигивал, выспрашивал. А приходилось делать все честь по чести: стелиться вместе, на одной лежанке. А то обнять, и шлепнуть, и на колено посадить при пьяном госте. Бовенко, ирод, смеялся:

— Ах ты, молодая, ты ж его и заездила! Без тебя приехал такой бугай здоровущий, а нынче, гляди,— мослы да кожа, один статуй остался! — Рыготал, довольный. — Ну и зла ты, мать!

— А с вами, дураками, так и надо: все соки из вас тянуть, чтобы глупостей не было...

Баска отвечала лихо, находчиво. И никто бы не сказал, что эта туповатая купчиха, белобрысая и скуластая жительница какой-то северной глухомани, знает французский, читала Спенсера, Милля. Бовенко, уже сильно окосевший, норовил незаметно — ему казалось! — ущипнуть Баску за мягкое, но получил хорошую плюху, вполне в духе Марии Петровны, отчего едва не слетел с лавки. Пришлось его, не думавши, вытолкать из горницы, он не сопротивлялся, только бормотал как будто с восторгом:

— Ну баба, ну здоровуца!

Задули свечи, легли, ждали часа полтора, пока за стенкой не установилась мертвая ночная тишь. Разговаривали шепотом.

Он чувствовал, как женщина прикасалась к его руке своей рукой. Это было как всегда, как обыкновенно. Женщины тянулись к нему. От волос Баски пахло печным дымом. Это было как когда-то давно, как в другой жизни, но теперь одна страсть иссушила его: сделать так, чтобы за ночь все закончить. Ведь укладка провода должна пойти быстрее. Не так, как в первые дни, теперь есть опыт, сноровка. Баска что-то рассказывала о себе: отец был сельский священник в Уржумском уезде, в селе, и не выговоришь вотяцкого имени, Тумьюмучатском. Девушки рожали детей до свадьбы. И чем больше у девушки детей, тем она лучше, завидней: значит, хорошо способна к деторождению. Верили в домовых, водяных, леших. В иных лесных деревеньках — отец рассказывал — гостю непременно предоставляли жену. Да вообще: тьма, муть, серая, призрачная жизнь. Тумьюмучат! Надо ж придумать: родиться в селе с таким названием. Потом училась в вятском епархиальном училище. И удивительно: сколько же людей пришло в революционное движение из священнических семей! Множество! Вспоминали: Коля Кибальчич, Грачевский... А из харьковчан: Буцинский, Кузнецов.

Он подумал о себе, вспомнил деда. Ведь вот что: умереть, пострадать. Это же евангельское. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Он сжал маленькую руку женщины и почувствовал ее тепло, и преданность, и готовность, и подумал: да,

да, кроме всего, кроме высоких причин, научно обоснованных поводов, величайших закономерностей, есть еще простое искушение — душу свою за друзей своих. И если бы не было друзей, вот этой теплой ладони, в которой пульсирует нежная сила и вера, и там, на севере, не было бы другой женщины, не было бы Дворника, Семена, умного Тигрыча, Морозова с его стихами, Степана, Сашки, да всех, всех, их мало для страны, но много для одного человека, а без них — не было бы ничего. Это, может быть, страшно: но не было бы ничего. Умирать нужно ради кого-то, для кого-то. И учитель из Назарета, не будь у него учеников, не нашел бы силы для подвига.

Наверное, он очень сильно сжал руку женщины.

В окно постучали тихим условным стуком. Была черная, дождевая ночь, и, выйдя на крыльцо, он не увидел Ванечку в трех шагах. Тот потряс его за локоть, и они пошли: Яшка впереди, за ним Ванечка, он последним. В эту ночь обнаружилось ужасное дело. Дожди размыли почву, оголили провод. Особенности разрушения сделали на дне оврага. Местами там нарушилась изоляция. Это была почти катастрофа. Всю работу по укладке провода нужно начинать сначала! На миг их охватило отчаянье. Они сидели под дождем без сил — от смертной тоски — и ругались шепотом. Решили тянуть провода не по дну, где накапливалась вода, а по краю оврага. Работали всю ночь и всю следующую ночь. И тут возник Пресняков с сообщением, что царский поезд надо ждать каждый день. Он привез деньги, полученные в Крыму от верных людей. Сказал, что тут же возвращается в Симферополь и чтобы ждали условной телеграммы: какой поезд взрывать. Пойдут два поезда, каждый с двумя паровозами, надо знать, в каком царь. Свита едет в свитском, царь в царском, но царь может переходить из одного в другой. Теперь уже не оставалось ни дня, ни часа. Все должно быть готово. Пресняков уехал. И как на беду, выпала такая неистовая бурная ночь с 14 на 15 ноября, что, провозившись полчаса, увидели безнадежность, ураган валил с ног, опрокидывал, рисковали порвать провод и — едва доползли до хаты. Наступили часы лихорадочной, бессонной жизни. Другая ночь была потише, но теперь появилось то, чего не было раньше: страх. Почему-то стало казаться, что их выслеживают, они преданы, окружены, с минуты на минуту из темноты выскочат жандармы. Кто мог их предать? Глупости, большой вздор, но страх — особый, не за себя, за других — не пропадал.

Страх был такой: он боялся, что обознается, примет подходящих в потемках Яшку или Ванечку за сторожей и выстрелит. Отступать и прятаться было теперь невозможно. Да и нервы уже на пределе. Поезд мог быть завтра. Завтра, завтра! В ночь на 16-е чуть не застрелил Яшку: тот чересчур прытко перебежал овраги. И на рассвете 16-го все было наконец сделано: провода протянуты ладно, скрытно, два кончика их придавлены камнем, на своих местах лежали цинковые листы и в норах под шпалами покоилось в медных панцирях боже-ство, *deus ex machina*, обязанное в нужную секунду перевернуть судьбу России.

Вечером приехал черный, обросший бородой, со своим застылым, проваленным взглядом Андрей Корнеевич и сказал:

— Восемнадцатого утром.

Когда Гришка Гольденберг в конце октября приехал в Москву, тамошний подкоп был сделан наполовину. Гришка поселился в доме, где под фамилией Сухоруковых жили Гартман с Сонечкой Перовской. Сонечка давно нравилась Гришке. В январе, когда готовилось убийство Кропоткина и Гришка метался между Киевом и Харьковом, он

останавливался в Киеве на Ивановской улице, на квартире Сонечки. Там было подобье клуба. Сонечка нравилась тайно, глубоко: и тем, что беленькая, юная, подросток, и тем, что отец знаменитый губернатор, и какой-то скрытой, необычной силой, он ее чувствовал. Нельзя не чувствовать. Такое странное сочетание: детскость и сила. Все было невысказанное, мучившее, а снаружи — шуточки, дурашливость. «Сонечка, ты мне подаришь свои лобзанья, если я что-нибудь совершу?» — «Смотря что, мой дорогой Давид...» — «Ну, уничтожу какую-нибудь нечисть!» — «Только Голиафа. На меньшее не согласна». Так вышло, что после того, как он уничтожил своего Голиафа, прошло почти полгода до их встречи, и изумление от подвига — ведь было решительное изумление, всеобщее, громовое! — несколько поутихло, заслонилось другими событиями, новыми целями. «А как с обещанным лобзаньем?» Разумеется, шутки, глупости, милая болтовня в паузах серьезного разговора. И она тоже отшучивалась: но, боже мой, как бесстрастно, с какой тупой детской непорочностью! Нет, по-видимому, слухи о том, что женщина в ней не то что не прослулась, но даже и не ночевала, были, как ни грустно, справедливы. Остаться равнодушной к такому парню, как Гришка! Он и герой, и ростом высок, и выпить может, как русский извозчик, и песни поет, и на любое дело удал. Говорили, что она фанатик. Да ведь все фанатики. А кто не фанатик? И все же, зная обо всем и ни на что не надеясь, тянулся в Москву, к Сонечкиному делу, непобедимо. Никому не говорил и себе не признавался. Но истина-то была жалкой, стыдной: увидеть Сонечку.

И вот увидел: она теперь маленькая чиновница Мария Семеновна Сухорукова, круглый день у плиты, с совком, с тряпками, над корытом со стиркой. Похудела, лицо обтянутое, глаза блестят. У всех вид замученный. Работа оказалась адская и смертельно опасная. Начинали с семи утра и работали до девяти вечера, посменно, бесперебойно. За день прорывали сажени две. А вся галерея должна быть длиной саженой двадцать. Высота же — всего восемнадцать вершков, двигаться приходилось ползком или на четвереньках. Рыли лопатками, землю вытаскивали на железных листах, которые вытягивали веревкой. Своды галереи укреплялись досками, на пол тоже укладывались доски, но все равно снизу проступала жидкая грязь, сверху сочилось, дышать было трудно, свеча гасла от спертого воздуха. Гришка азартно полез в подкоп в первый же день и хватил такого страха, какого не испытывал, кажется, никогда в жизни. Будто живой оказался в могиле. Душная земляная сырость со всех сторон. Своды галереи потрескивают, шуршат, вот-вот обвалятся, вдруг — ужасающий грохот над головой, все дрожит, дрожат стены, своды, доски, на которых лежишь, и возникает ощущение мгновенной гибели, землетрясения. Проходил поезд. Дорылись до самой насыпи. Гришка чувствовал, как останавливается дыхание, немеют руки: предсмертное состояние. И как тут работали Дворник, Семен, студент Исаев, Гартман не минутами, а часами? Вылез едва живой. Сонечка улыбнулась:

— Стрелять легче? Конечно: прыгнул, дверцу открыл — паф! — и готово... А тут...

Ответить не мог: рот разевал и дышал, дышал. Наконец, отдышавшись, вымолвил:

— Привычки... нету...

Кажется, никто не понял, что дело не в привычке, а в диком страхе. Ведь все могло рухнуть каждую секунду. Недаром Алхимик — Гартман — брал с собой яд, чтобы не мучиться, если рухнет. Дворник и Семен не брали яда. Эти не боялись ни черта, ни дьявола, ни мучи-



тельной смерти, но, главное, волею и бесстрашием отбрасывали самую возможность того, что рухнет. Студент Исаев, которого тоже звали Гришкой, работал самозабвенней всех, мог находиться в подкопе долго, как никто. Правда, однажды потерял сознание: поняли по тому, что не потащил к себе опорожненный железный лист, и Дворник сразу же полез к нему и выволок беднягу. Тогда решили дать ему отдых. Из Александровска пришло от Бориса известие о том, что не хватило проволоки, нужно саженей семьдесят, и с проволокой послали туда Исаева.

Гришка работал на физически тяжелой работе: выгребал землю из подкопа, подавал ее в люк и выносил из люка. Тоже нелегкое дело. Землю сваливали в чулан, разбрасывали по двору. Если б Дворник разрешал хоть рюмочку в день для бодрости! Ничего, кроме чая и молока. И спорить с ним, уговаривать его бесполезно. Да, выдержать искус было дано не каждому: Колю Морозова попросту отстранили от работы по причине слабых рук, Арончика — потому, что ленился. Впрочем, Гришка догадывался, что лень Арончика, и слабые руки Коли, и его собственная непривычка были естественной, хотя, может быть, и бессознательной реакцией на ужас, который охватывал человека в подкопе. В начале ноября пала оттепель, почва размокла, в галерее сделалось настоящее наводнение. Откачивали воду. И новый страх: на улице над галереей образовалась промоина, земля грозила провалиться и проезжавший здесь водовоз мог обратить внимание на возникшую странную впадину. Ночью срочно навезли земли, засыпали, разровняли; водовоз, слава богу, на другой день не приехал, и улица утопталась и приняла обыкновенный вид. Каждый день случались какие-то непредвиденные, опаснейшие истории, приходилось выпутываться, и Сонечка опять поражала всех смелостью и изумительным хладнокровием: то являлась вдруг прежняя хозяйка дома с просьбой достать из чулана забытое ею варенье, а открыть чулан невозможно, ибо он до предела набит землей, даже доски вываливаются, и Сонечка разыгрывала по всем правилам театра сцену потери ключа от чулана, так что хозяйка уходила, пообещав прийти в следующий раз, когда ключ найдется, но к следующему разу проклятое варенье будет благополучно добыто; то прежняя хозяйка со своей родственницей приходила утром забрать какие-то вещи и встречала Сонечку, которая возвращалась из лавки с корзиной, полной провизии, и дать хозяйке заметить количество провизии в корзине, примерно большое для двух человек, было непостоятельным риском, и Сонечка под каким-то предлогом не заходила в дом, исчезала; то Гартман забывал запереть на ночь дверь на кухню, где был устроен люк, и утром притаскивался сосед, болтливый старик, желавший лишь дать совет о необходимости запирается на ночь и при этом всех мучавший: боялись, что он заметит на кухне беспорядок, землю. Однако все обошлось. Ждали добавочного динамита из Питера, но получилась задержка, и было решено послать Гришку в Одессу привезти динамит оттуда, так как из-за дурной погоды император, видимо, морем не поедет. Подкоп был почти завершен, оставалось заложить мину. Тут прибыло подкрепление: Степан Ширяев, главный техник и электрический мастер. Он ведь за границей работал, в лаборатории Яблочкова.

— Что тебе привезти из Одессы, моя крошка? — спрашивал Гришка Сонечку игриво-легкомысленно, как почему-то привык разговаривать с ней. Наверно, то была самозащита. На самом-то деле как-то слабел и трепетал, разговаривая.

Сонечка просила привезти чего-нибудь сладенького. Чего бы, например? Ну, варенья. Хорошо, будет варенье. Алхимик шепотом, чтоб

Дворник не услышал, просил привезти вина. 9 ноября сумрачным днем попрощались, уехал.

Через два дня на станции Елисаветград встретил Колю Кибальчича, который направлялся к Борису в Александровск, тоже вез проволоку и спираль. Посмеялись: что они там, проволоку едят, что ли? Кибальчич ехал из Одессы. Он знал все одесские дела и сообщил, что Михайло уже заложил, вероятно, динамит под рельсы. Гришка разволновался:

— Надо послать телеграмму! Пусть приготовят к моему приезду, достанут, привезут в город! У меня нет времени! Дорог каждый час!

Одесскими предприятиями распорядился Кот Мурлыка, Колодкевич. Решили послать ему такую телеграмму: «Не посылайте напрасно вина, завтра приедет мой поверенный. Максимов». Под этой фамилией значился Коля Кибальчич.

Подъезжая к Одессе, Гришка всматривался во все домики будочников: где-то на четырнадцатой версте обосновался Михайло, «будочник», со своей «женой» Таней Лебедевой. Михайло не увидел, но фигура Тани как будто мелькнула возле одной будки. И вот — Одесса, тепло, старые друзья: Кот Мурлыка, Савка Златопольский, Михайло... И новые — молодые, почтительные, перед которыми сладко было пощеголять и поважничать. Михайло обнаружил недовольство: не хотел отдавать динамит. Гришка на него кричал. 13 ноября привезли динамит, триста рублей для передачи Дворнику, а также несколько бутылок вина и варенье. Чемодан, в который упаковали динамит, был очень тяжел. Но Гришка, демонстрируя силу, поднимал его на вытянутой руке. Вечером того же числа, 13-го, слегка навеселе, ибо считал вправе отметить завершение первой половины поездки, сел в поезд и покатил в Москву.

А между тем близился срок возвращения царя из Крыма. Власти все более будоражились. Среди разных мер предосторожности было также строжайше указано пристально наблюдать за багажом. В это наблюдение наравне с жандармами включилась вся железнодорожная челядь: весовщики, носильщики, кондукторы. 14 ноября весовщик станции Елисаветград Полонский наблюдал интересный факт: небольшой чемодан, прибывший в багажном вагоне из Одессы, поражал необычной тяжестью. Полонский доложил станционному жандарму Васильеву. Тот задержал выдачу багажа. Владелец чемодана потомственный почетный гражданин города Тулы Степан Петрович Ефремов признал багаж своим, но на вопрос, что находится в чемодане, заметно смешавшись, ответил, что чемодан не его, а принадлежит его приятелю, живущему в Курске, и ключ от чемодана потерял. Странно и скоропалительно бормочущего пассажира — некоторые его слова нельзя было разобрать, и он то и дело сплевывал с губ пузыри — тут же обыскали, нашли ключ. Пассажир, не дожидаясь открытия чемодана, перемахнул маленькую железную оградку, побежал на перрон, через линию, в поле. За ним бросились жандармы, толпа зевак и несколько местных гусар. Бежать было бессмысленно, но Гришка не хотел оставаться в станционном помещении, где сгущалась толпа, его мог увидеть из окошка и узнать телеграфист: три дня назад Гришка давал отсюда телеграмму Колодкевичу.

Жандармский офицер майор Пальшау рапортовал в Третье отделение: «Наконец Ефремов был окружен, но подойти к нему и взять его не было возможности: кто только приближался к Ефремову, на того он взводил курок своего револьвера и целил в каждого. Таким образом он постоянно наводил свой револьвер и чрезвычайно возбудил против себя толпу народа. Но как-то одному рядовому 7-го гусарского белорусского полка Буригину удалось вырвать револьвер из рук

Ефремова, после чего толпа народа с ожесточением набросилась на Ефремова и стала наносить ему побои, но вмешавшиеся жандармы прекратили это. Однако ж и после сего едва удалось шести человекам связать руки Ефремова и отвести его на вокзал: так был силен Ефремов и к тому же зол, так что даже кусался».

Гришка на первом допросе держался гордо и врал: сказал, что его фамилия Ефремов, он православный, двадцати шести лет. Однако признал, что принадлежит к членам российской социал-революционной партии (динамит! Куда денешься?). Сказал, что не стрелял, лишь пугал народ револьвером, потому что был окружен частными лицами, а не жандармами, и не желал лишних жертв. От дачи каких-либо показаний твердо отказался. Майор Пальшау ни о чем не догадывался. Даже о том, что Ефремов еврей: это выяснилось лишь через четыре дня во время врачебного осмотра. Утром 18 ноября, когда Андрей вместе с Ванечкой и Яшкой выезжал на телеге к оврагу, Гришка Гольденберг, насвистывая, расхаживал по тесной арестантской съезжей в Елисаветграде, потягивал из бутылки красное мускатное вино (жандарм сбегал в лавку за пятиалтынный), и на душе отчего-то было горделиво, радостно: нет, никогда, ни за что, все увидят, и Сонечка изумится силе духа! Да где, между прочим, доказательства? Динамит еще ничего не значит. Может, и удрать удастся. Из архангельской сылки как было хитро, а все же удрал. Чем более опорожнилась бутылка, тем светлей и радостней делалось в бедной Гришкиной душе. А колеса его судьбы уже катились с горы, набирая разгон, неотклонимо, беспощадно. Из Третьего отделения уже летели во все губернские жандармские управления фотографические снимки Гришки — насупленный, пышнолохматый, с пронзительным голубезным взглядом из глубоких впадин-пещер,— и через три дня киевский жандармский полковник Новицкий узнает его, покажет снимок Гришкиному отцу, мануфактурщику Давиду Гольденбергу, и старик, трясаясь и белея, скажет: «Да, да, мой Гиршеле» — и силы его оставят, а полковник Новицкий, наоборот, почувствует громадный прилив сил и станет бодро распоряжаться...

Император был чувствителен к погоде. Неожиданные смены ветров, перепады температур ощущал болезненно, даже до слабой дурноты и головокружения. В ноябре стало скверно, начались дожди, погода менялась на дню семь раз: то голубизна, солнце, то натянет с моря туман и сырость, а то дохнет прохватисто, до костей, севером, Петербургом. Надо уезжать, да что-то удерживало. Каждое утро, как всегда, вставал в четверть девятого, выходил в сад, вымокший за ночь, дышащий отчужденно и прощально, иногда на клумбах лежали ключья тумана, было холодно, море внизу белело. Дурак Кох выглядывал из-за дерева. Удерживало вот что: Катя, с нею проще здесь, там невыносимо, разговоры за спиной, презрительные взгляды, вражда, интриганство. И вообще, много гнусных забот ждало в Петербурге. Гуляя, спускался левой аллеей к морю, не слишком далеко вниз, чтобы потом не подниматься, но так, чтобы дворец скрылся из виду, чтоб было одиночество и возможность сосредоточенно думать. Впрочем, Кох все равно торчал где-то в кустах. Но это уж неизбежность, как туман и дождь.

Он думал о том, что старость напоминает правильную осаду. Как бы отчаянно гарнизон ни сопротивлялся, какой бы крепостью духа ни обладал, конец один: холодным зимним днем Осман-паша прибывает на Плевненский редут, чтобы отдать свою шпагу. Лицо турка было черным от унижения. Весь в бинтах, солдаты его поддерживали, почти несли. Вынув шпагу из ножен и протягивая ее: «Я не думал, что заслу-

живаю такого позора». Да, да, благородные слова и не менее благородный ответ: «Я возвращаю вам вашу шпагу. Храните ее в знак моего восхищения и уважения». Но старость страшна тем, что некому вернуть шпагу. Нет Александра, который мог бы внезапно пожалеть и сказать: «Я возвращаю вам...» Результат этой ужасной войны: он постарел. Никто не замечал, не смел замечать, но он-то знал, как отяжелел, огрузнел, не только могучим телом, но и, что пострашнее, душой. Грозный признак: душевная усталость и лень как раз в той области, где когда-то был радостно-неутомим. Третьего дня представлялась прибывшая вместе с Гирсом из Петербурга баронесса Кампенаузен, свояченица флигель-адъютанта Бера, синеглазая фея лет двадцати пяти, не более, отчетливо угадал совершеннейшую и мгновенную готовность. Хотя все последние годы после того, как возникла Катя, он постоянно отмечал появление разного рода фей, засылаемых людьми, не оставлявшими глупой надежды перебить Катю одной из этих лазутчиц, он, несмотря на то, что внутренне раздражался и даже приходил в ярость, не упускал случая взять свое. Получал злорадное удовольствие от того, что таким образом наказывал интриганов. Неужто эти люди там, в Аничковом дворце, не могут до сих пор уразуметь, что Катя Долгорукая — не увлечение, даже не любовь, а судьба? Но третьего дня, разглядывая новую фею, ее прелестные стати, ужаснулся тому, что лень и душевное бесстрашие остались непоколеблены: даже на миг не возникло желания отомстить интриганам!

И эта сырость, давящий воздух, круглая рожа Коха, мелькающая в мокром, вечнозеленом... Кофе пил в комнате. Грудь прочистилась, дышать стало легче. Катя накануне тоже кисла, жаловалась на сердце, уехала к себе в Биюк-Сарай и там ночевала. Всегда успокаивала его, когда он говорил о недомогании: «Сейчас это у всех, Сашенька, от погоды, я сама очень слаба. А ведь я моложе тебя на тридцать лет!» Эти простые слова успокаивали. После кофе работал, читал бумаги, последние телеграммы и, как ежедневно по утрам, делал запись в памятной книжке о прошедшем дне. Эти изящные, с золотым обрезом книжечки, специально отпечатанные в типографии Брокгауза, с гравюрами, множеством полезных сведений, нужных чинов и фамилий, явились на свет благодаря Адлербергу, который упорно приставал насчет ведения ежедневных записей: «Ваше величество, каждое ваше слово есть историческая драгоценность. Если бы вы позволили себе ежедневное небольшое усилие...» — «А ты подай такую книжку, чтоб удовольствие было записывать. От этого очень много зависит». И верно, книжечки в темно-зеленых кожаных переплетах, с золотым тиснением оказались так хороши, что он пристрастился всегда держать их на столе перед глазами. Мельчайшим почерком — так, что никто бы, кроме него, разобрать не смог, — записал под числом 12 ноября, понедельник: «Вст. в 1/4 9. Гулял, сыро, тепло, но мелк. дождь целый день. Кофе с К. в комнате. (Вчера была Катенька, и кофе вместе!) Раб. В 11 ч. Милютина и Адлер. Гулял, завтр. Обед в 7 ч. Лег в 1/4 2».

В полдень с докладом явились Гирс и Адлерберг. Отъезд определился: в субботу. Раньше предполагалось, что отъезд состоится в среду или в четверг, но как раз в четверг, как сообщил Гирс, в Петербурге в военно-окружном суде начнется процесс политических преступников Мирского, Гархова и других. Тот самый Мирский, что покушался на Дрентельна. Кажется, тут уж остатки всей этой сволочи, последние поскребки, тем неожиданней может быть отклик в известных кругах. К открытым злоумышленникам присовокуплен адвокат Ольхин, либеральная скотина, допрыгался, докричался, очень правильно сделано. Приезжать в Петербург во время суда не хотелось, но то было тайное соображение, о котором статс-секретарю и министру двора знать

необязательно. Суд предполагено закончить 17-го, в субботу. Вот и ехать в субботу. Ах, какая была бы сласть: приехать в чистый Петербург, освобожденный от нечисти! Решительные действия давали заметную пользу. Особенно благотворен оказался августовский указ, согласно которому каждый обвиняемый в политическом преступлении мог быть судим без предварительного следствия, осужден без свидетельских показаний и приговорен к казни без права апелляции. Господа стреляльщики и кинжальщики поджали хвосты. Всю осень об их проделках не было слышно. Но вслед за добрыми вестями, как водится, шло неприятное: в октябре крестьяне волновались в Белоруссии, в Екатеринбургском уезде. Курс рубля в Европе продолжал падать. Началось во время войны и продолжалось, несмотря на все усилия, неотвратимо. Передавали облетевшие Петербург злобные слова Салтыкова: «Еще ничего, если за рубль дают в Европе полцены. А вот что, когда за рубль будут давать в Европе в морду?»

Слыша такие фразы, он с некоторым страхом изумлялся: и эти люди толкуют о конституции! Что же они будут писать и говорить тогда? Ведь злонравие и злоязычие захлестнут общество. И первыми будут сожраны как раз те, кто более всех сейчас хлопочет о представительном правлении и свободе печати, например Александр Агеевич: ему-то первому и дадут в морду за непрочность рубля! Только не там дадут, в Европе, а свои, домашние финансисты и правдолюбы. Высказал эту интересную мысль. Затем Гирс вручил давно обещанное — еще с тех времен, как он был посланником в Стокгольме, — но никак не удававшееся заполучить. Наконец кто-то из доверенных людей Гирса сумел купить документ у наследников доктора Эрнста. Стоило немало денег.

Отпустив сановников, тут же с жадностью стал читать.

### «Эликсир долгой жизни. Швеция»

Рецепт этот найден между бумагами доктора Эрнста в Швеции, умершего в 1873 году. Он жил 104 года и умер нечаянно, упал с лошади. Секрет этот хранился в его фамилии несколько веков, его дед умер 103 лет, мать жила 109 лет, отец 102 года. Они дожили до этих лет, употребляя поименованный эликсир каждый день утром и вечером по 7 или 8 капель в двойном количестве красного вина, чая, бульона или жидкого тепловатого рассола. Состав его следующий:

- 7 унций лучшего лукрутанского олоэс
- $\frac{1}{4}$  лота белой цитвари
- $\frac{1}{4}$  лота генцианы или горчичного корня
- $\frac{1}{4}$  лота лучшего шафрану
- $\frac{1}{4}$  лота мелкого ревеню
- $\frac{1}{4}$  лота белого трута, растущего на деревьях,
- $\frac{1}{4}$  лота настоящего венецианского териаку
- $\frac{1}{4}$  лота русской бобровой струи.

Все это истереть в ступке или истолочь, просеять через частое сито как можно старательней, высыпать в бутылку из толстого стекла, влить в нее водки кубовой, пенной, а лучше водки, выгнаной из французского вина, и хорошенько завязать пузырем или мокрым пергаментом, а когда он высохнет, проколоть булавкой, чтоб он не лопнул от спертых газов. Потом поставить бутылку в тени и оставить ее так на 9 дней, слить и снова налить кварту такой же, взбалтывая утром и вечером...»

Дальше на нескольких страницах расписывались благие свойства эликсира, но читать сейчас не было терпения: хотелось скорее поделиться приобретением с Катей! В Биюк-Сарай отправился верхом на

Конкорде, одном из жеребцов, что подарил султан Абдул-Гамид. Сопровождал, как всегда, только один казак. На балконе виллы — небо к середине дня просветлело, вдруг дохнуло теплом — сначала играл с детьми, с Гого и с Оленькой, но девочка капризничала, Катя сказала, что она, должно быть, больна, увела ее, потом вслух читали «Эликсир». Гого слушал с необыкновенным вниманием. Удивительное дитя! Разве могло ему быть понятно стремление к долголетию, не умереть, не исчезать как можно долее с этой земли — и зрелые люди не всегда понимаят глубину этого вопроса, — но мальчик сидел и слушал, не прерывая. Только появление француза, который приглашал к занятиям, заставило мальчика оторваться и уйти с неохотой.

Когда он ушел, Катя заплакала. Было много причин, от которых могли явиться слезы, поэтому он не спрашивал. Последнее время, ближе к отъезду, Катя плакала часто. Их лучшие дни были здесь, в Бюк-Сарае. Даже в ливадийском дворце, где могло быть счастье, единение — императрица проводила лето в Киссингене, потом в Каннах, тяжело болея, — даже там не было так хорошо, как в этом маленьком доме, на веранде, увитой цветами, над морем.

К чему эликсир, долгая жизнь, если нет и не может быть полного счастья? Он успокаивал, обещал, объяснял. «При первой возможности...» Четырнадцать лет она слышит эти обещания! Скоро станет старухой, жизнь ей немила, она хочет умереть. А эти старые немки — трехжилые, переживут всех. Да, да, умереть, ей не нужно никакого эликсира долгой жизни, ибо нельзя жить без надежды, а ее надежды иссякли, силы кончились. В отчаянии она говорила неслыханные дерзости, но он не замечал, прощал. Пять лет назад, когда родилась Ольга, после некоторого колебания он издал секретный указ, узаконивший бедных детей: «Малолетним Георгию Александровичу и Ольге Александровне Юрьевским даруем мы права, присущие дворянству, и возводим в княжеское достоинство с титулом «светлейший». Через предков отца князя Долгорукого, Катя примыкала к потомкам Рюрика, и одним из славных ее предков был князь Юрий, основатель Москвы. Указ для строжайшего тайного хранения был передан генералу Рылеву. И Катя была тогда счастлива, а теперь говорит, что хочет умереть.

Никто из женщин, кроме Кати, в его присутствии не осмеливался плакать, хотя многим, должно быть, он причинял страдания. Даже императрица, страдавшая больше других, из гордости не показывала виду. Катины слезы иногда действовали угнетающе, он раздражался, как-то слабел духом, но сейчас отчего-то был спокоен: тайная радость. Внезапное просветление неба. Однако через час опять надуло туман с дождем, похолодало. Но Катя уже совершенно успокоилась. Она забывала о собственных слезах легко, и это было одно из изумительных свойств ее полудетской души. Ласкою он умел утешить любое огорчение. Теперь она радовалась тому, что отъезд назначен на субботу: на два дня позже, чем предполагалось.

— Я тебя умоляю, будь осторожен в дороге! Не выходи на станциях, как ты это любишь делать. Помни, что твой главный эликсир долгой жизни — твоя осторожность. Ты такой бесшабашный...

— Можешь быть за меня полностью спокойна. Я никогда не рассказывал о парижской гадалке? В Париже в шестьдесят седьмом году... Ты помнишь калитку на углу Габриэль и Авеню Мариньи? Так вот, парижская гадалка, старая цыганка, предсказала, что я переживу семь злодейских аттентатов.

— Не говори таких страшных вещей.

— Отчего же? Будем радоваться! — Он засмеялся, глядя на побледневшую Катю. — Такой замечательный жизненный простор, еще четыре аттентата в запасе...

Вспомнилось: павильон «Бабигон» в Петергофе, жаркий июльский день, семнадцатилетняя Катенька с ледяными руками, и его собственное странное волнение, и весной этот кошмар, каракозовский аттентат. Потом Париж, Елисейский дворец, она проникала через калитку на улице Габриэль, после шестимесячной разлуки, и вдруг простое счастье разорвалось криками этих мерзких людей: «Vive la Pologne!» — и выстрелами поляка Березовского, когда он возвращался из Лоншана в одной карете с Наполеоном III. За что они хотели отнять у него жизнь? Именно тогда, когда он любил всех людей, ибо любовь к одной женщине есть любовь ко всем, к человечеству. В трагические минуты она была рядом, близко, и только с нею — единственным человеком — находил успокоение истерзанным нервам. И в нынешнем апреле, после аттентата выроodka Соловьева, когда охватила такая смертная, безумнейшая тоска, и он не знал, куда деться и как спастись, вдруг понял, что спасение только от нее, в ней, с ней: сделав безотлагательное, назначив генерал-губернаторов и дав им полномочия, помчался в Ливадию, в Биюк-Сарай...

В субботу 17-го в половине третьего дня император выехал коляской в Симферополь. Все время шел дождь. В Симферополь прибыли в глубоких потемках, часу в двенадцатом, тотчас отправились в Москву. На другой день поступили телеграммы: сын Александр, недавно вернувшийся из путешествия по Германии, болел рожей на ноге. Императрица сообщала о себе скупо. Но было очевидно, что улучшение нет. За окном тянулась сырая, темная степь без снега. Мелькали на черном просторе какие-то хижинки, блеснула на горизонте излучка Днепра.

Было холодно. Наверно, градус мороза. Выехали на телеге часов в десять утра. Ночью мерещилось, мнилось, тысячи мыслей, ужасное нетерпение, рвался вскочить и мчаться хоть на рассвете, но раньше десяти было незачем и опасно. Яшка и Ванечка ночевали тут же, в хате, храпели без просыпу до утра, а Баска уехала накануне. Оставили лошадь на грунтовой дороге, напротив оврага. Все было серо кругом, дул ветер, порывами сеялась водяная пыль, но в отдалении лил настоящий дождь: над горизонтом колыхались темно-серые завесы. Ванечка побежал с лопатой проверить провод. Яшка, возчик, похаживал позади телеги, осматривал, постукивал, потом стал возиться с колесом, сбивать чеку: будто зачем-то надо снять колесо.

До прохода поезда оставалось не более получаса.

Андрей сидел в телеге. И спираль Румкорфа была тут же, на дне телеги, покрытая дерюгой. Андрей чувствовал, что вдруг и окончательно успокоился. Сейчас появится поезд, приблизится, и в тот момент, когда вагоны пронесутся здесь, перед глазами, он сомкнет провода — вот тут, под камнем, — и все будет кончено. То, ради чего столько жизней, столько душевных сил, труда, риска. Какая простота! Сомкнул два тоненьких медных усика — и готово. Через несколько минут он будет убивать. И не только пожилого усатого господина, но и всех, кто с ним рядом: старых генералов, министров, казаков, лейб-медиков, поваров, лакеев, любовницу, детей. Смерть одного, а значит, и пятнадцати, и двадцати восьми, и сорока трех человек не имеет значения, когда дело идет о жизни или смерти народа. Ведь и тот, кто сомкнет, примет смерть наравне с другими. В ту же минуту или на десять минут позже. Только смертью может быть исправлена эта жизнь. И только смерть, справедливый суд, установленный природой, может взорвать нагромоздившиеся кругом неправду и зло. Ведь с чем идет речь, боже мой? О справедливости, более ни о чем. Дайте же справедливый мир, справедливый суд, спра-

ведливое распределение всего, всего. Народ может выносить какие угодно лишения, но не вытерпит бесконечной несправедливости. Ибо нет худшего грабежа. Что же вы натворили, что нагородили на земле, если такой человек, как Андрюшка Желябов, крестьянский сын, студент, мирный человек, любитель Лермонтова и Тараса Бульбы, через несколько минут будет убивать?

Ванечка Окладский между тем бежал, оскальзываясь, по мокрому склону оврага. Провод повсюду лежал хорошо, ничем не нарушен. Не добежав нескольких шагов до насыпи, Ванечка внезапно остановился и подумал: «Зачем же я тороплюсь?» Тут с ним случилось странное. Сердце сильно колотилось, а ноги дальше не шли. Такое бывало во сне. Ноги вовсе не двигались и не держали его: хотелось упасть или хотя бы присесть на землю. С отчетливой ясностью вдруг представилось то, что скоро произойдет: гром взрыва, скрежет, падающие вагоны, вопли множества людей, обезумевших. И — они трое со своей телегой. Куда бежать, где скрыться в голой степи? Никогда Окладский не испытывал такого внезапного, ураганного страха. Он содрогался, его гнуло от озноба, ввинчивало в землю: не мог шагнуть ни дальше, к насыпи, ни назад, к телеге. Но почему же? Зачем же? Его тело, трепетавшее, лишенное ног, окровавленное и почти бездыханное, кричало диким беззвучным криком, как кричат во сне: я молю всех вас! Мне еще двадцать лет, зовут Ванечкой, потому что все любят, и жалеют, и хотят мне добра! Разве можно меня убивать? Я Ванечка! Меня нашли на улице, воспитывали у доктора Иванковского, я любил конфеты с цукатной начинкой по двадцать копеек фунт, я бегал, носил, передавал, чинил, возил, ни от чего не отказывался, потому что я рабочий человек, у меня золотые руки, а вы хотите меня убить. Ведь Жорж, и Родионич, и Верочка Засулич говорили вам, что вы не правы? Зачем же вы, злодеи, делаете неправильно? Нужно сначала — народ, рабочих людей, забастовки, бунты, нужно общество подготовить! Если перебежать через путь и остаться там, с той стороны, потом сказать, что никого и ничего не знаешь, они не признаются, им смерть, а он еще молодой. Говорят же вам, черти проклятые, упорные: от террора — вред, людям пагуба, нужно бросать, никуда это дело не годится!

И выкрикивая все это с отчаянной силой, хотя и неслышно, он все-таки подошел к насыпи, к самой mine и ударил острием лопаты в землю, в провод, потом подровнял, утоптал и побежал назад, к телеге. Провод повсюду был хорошо уложен и превосходно скрыт землей. Об этом и сказал Борису. Но то, что он сделал, наполнило его свободой и громадным облегчением. Очень скоро — почему-то раньше, чем думали, — показался поезд.

— Жарь! — весело заорал Ванечка.

Андрей соединил провода. Секунда, другая, третья. Никакого взрыва. Поезд промчался.

Некоторое время молчали подавленно, потом стали рассуждать: отчего? Яшка и Ванечка спорили возбужденно, ругались, кричали, но Андрею эти выяснения казались праздным делом. Величайшая неудача, не было ни сил, ни нужды выяснять. Сказал только:

— Ребята, духом не падайте. Здесь не удалось, в другом месте удастся...

Хотелось сказать им про Москву, хоть как-то ободрить, но — сдержался. Ванечка между тем метался между насыпью и телегой, что-то включал, отключал, проверял то батарею, то спираль Румкорфа, но ясности не было. Кажется, Андрей неправильно соединил провода. И вспомнилось, как весной, когда брал у одесских моряков



уроки минного дела, глушили рыбу шашками пироксилина и однажды взрывом его сильно ушибло, кто-то — кажется, Пимен Семенов — сказал: «Ты в практическую часть не вмешивайся, ты не исполнитель. С твоими нервами и технической неспособностью...»

Но было одно правило жизни, которое Андрей усвоил: после любого провала, несчастья огорчаться не более трех дней. Продав лошадь, телегу, мебель и объявив Бовенко, что до зимы устроить завода, как видно, не придется, а жить тут без дела не расчет, он покинул этот несчастливый городишко, запорошенный первым снегом: было 23 ноября. Ванечка застрял в Харькове, а Андрей отправился в Петербург. Из газет узнал, что 19 ноября под Москвой состоялся взрыв царского поезда, но и тут неуспех: с рельсов сошел «свитский поезд», где был багаж царя и располагался персонал канцелярии, а поезд с Александром благополучно проследовал в Москву. Отчего так случилось, понять из газет было нельзя. Какая цепь неудач! Промахи Соловьева, полный нуль под Александровском и громадный бессмысленный взрыв под Москвой. Опять газеты трещали о чудесном избавлении. Однако было нечто разгоравшееся все более, несмотря на неудачи: изумление общества и страх властей.

В Петербурге стояла зима. В маленьком доме на Николаевской улице к рассвету, когда выгорали печи, становилось холодно, дворники скребли тротуары, не давали спать. До полночи при свечах и занавешенных окнах женщины клеили и надписывали конверты, рассылали по всей России воззвания по поводу взрыва 19 ноября. Александр Первый — Саша Квятковский — достал адресные книги разных городов, оттуда выбирали на авось и слали. Работа шла лихорадочная. И воззвание Андрею понравилось. Сухо, по-деловому: «От Исполнительного комитета».

Типография работает, вольное слово звучит — значит, партия крепнет, жива! Так думал Андрей в первый день приезда в столицу, в тесной квартирке Марии Николаевны, где встретил друзей. И все же скрытая горечь, растерянность чувствовались во всем. Преувеличенно рьяно занимались пустяками, клеили конверты, веселились без повода, говорили о несущественном. Вдруг вечером пришла Соня, худая, без улыбки, поглядела странно, как на чужого. И прошел, может быть, час, отпили чай, кто-то собрался уходить, Соня вышла в коридор провожать, и Андрей вышел, и Соня спросила с тихим укором:

— У вас-то что случилось?

Он пожал плечами.

— А у вас?

И она не могла по-настоящему объяснить. Почему-то были сведения, что царский поезд пойдет вторым, и она дала знак Степану, тот сомкнул цепь, путь взорвало перед вторым, а первый проскочил. Жертв, к счастью, не было. Невинные жертвы — было б совсем ужасно. Кажется, перемена составов случилась под Харьковом, об этом не успели узнать. В этом-то беда: не успеваем узнавать, недоделываем, не учитываем подробностей. Что произошло под Александровском? Какая-нибудь дрянь, мелочь, ничтожная недоделка, а в результате — провал. Мы все еще кружок, а не партия. Нас губит любительщина, романтизм. То, о чем хлопочет Дворник — централизация и тайна, — по-прежнему наше слабое место.

Андрей говорил, раздражаясь против себя. Это были его подлинные мысли, мучившие, но на словах выходило поучительно и свысока и одновременно будто бы оправдывался. Все это — от чувства вины. Не мог задушить. А чувство вины — от проклятого мелкого

самолюбия. Почему-то неуспех других представлялся делом возможным и допустимым, а его собственная неудача — невыносимейший позор, катастрофа. Разумеется, все это кипело и жгло внутри, а снаружи — полное спокойствие и даже поучительный тон. Но какое терзание: ничего не взорвалось! Полтора месяца работы, и какой работы, для этого полного ничего. Соня все понимала, смотрела сочувственно, с какой-то печальной насмешливостью.

— Нет, Борис, нет, нет! Беда у нас одна. Нас — мало...

Через три дня приехал из Москвы Дворник. Наконец встретились. Они были два равновеликих неудачника, два атамана-ротозея. Один проворонил одно, другой — другое. И все же Андрей, конечно, чувствовал себя гораздо виновнее. Ну что он мог поделать с собой? Дворник, как всегда, поразил хладнокровием и деловитостью. Выслушав рассказ Андрея, сразу спросил: куда дели неиспользованные мины? А как поступили с проводом? А спираль Румкорфа? Земляной бур? Затем сказал, что нужно создать комиссию по расследованию причин александровской неудачи. Ох, Дворник, ему бы министром! Никто не умел так блистательно распоряжаться, так четко и мгновенно принимать решения. Андрей почему-то успокоился. Комиссия — прекрасно. Нужно только дождаться главного техника Степана Ширяева, который появится вскоре.

Однако на этих же днях произошло событие, затмившее недавние неудачи: внезапный арест Квятковского и жившей с ним на квартире Жени Фигнер, сестры Верочки. Откуда сия напасть? Александр отличался большой осмотрительностью. Он вел сейчас очень важное — может быть, важнейшее из предприятий «Народной воли» — дело, связанное с Зимним дворцом, которое требовало полной тайны, сверхтайны. Все прочие дела, мелкие революционерские повседневности, которыми постоянно занимались народовольцы, он теперь отбросил и не мог провалиться нигде, а с тем, главным делом было, по видимому, спокойно, так как из Зимнего никакой тревоги не просочилось. Могла где-то оступиться Женя, ее опыт невелик, и в Петербурге она появилась недавно. Все было неясно. И крайне грозно. Даже не в том гроза, что Комитет понес первую потерю и что погиб для борьбы один из лучших, храбрейших, а в том, что нависла опасность над тем, с е р х т а й н ы м. Еще досада и в том, что пропала отличная квартира в Лештуковом переулке. Очень удобная, где происходило столько встреч, совещаний и просто дружеских чаепитий. В тот же день едва не погибли еще двое: Морозов и Оля Любатович. Утром к ним на квартиру на Знаменскую прибежала Перовская и сказала, что есть сведения (от партионного агента, служившего в Третьем отделении) о том, что у Квятковского должен быть обыск. Может быть, у ж е б ы л! А у Александра на квартире — бог мой, чего только нет! Требовалось предупредить. Морозов помчался на Николаевскую улицу — это рядом, перебежать Невский — к Марии Николаевне Ошаниной, она ни разу не привлекалась, ничем не запятнана, ее можно послать в Лештуков переулок. Соня и Оля ждали, невероятно волнуясь. Воробей не возвращался долго. Оля Любатович, недавно ставшая его женой, хорошо знала редкостное Воробьево бесстрашие, но одновременно легкомыслие и рассеянность. Не выдержав ожидания, Оля сама побежала к Квятковскому. Со двора внимательно вглядывалась в окно, знака безопасности не видела, но был мороз, окна сильно замерзли, и она рискнула подняться. На звонок поспешно открыли: здоровенный городской.

— Я, кажется, ошиблась? Мне сказали, что здесь живет портниха...

— Да, да, заходите, заходите, милости просим!

Городовой настойчиво приглашал. Удрать невозможно. Она зашла. В квартире был разгром, валялись бумаги, газеты, куски проволоки, какие-то металлические предметы, каких Оля никогда у Александра не видела. Арест — это начало лавины, камнепад, один камень толкает другой, тот третий, все грохочет, летит — однажды в Швейцарских Альпах, когда Оля была студенткой Цюрихского университета... Это она вспоминала потом, вечером, когда все обошлось, хохотали, шутили. А тут расхныкалась, как слабонервная дамочка, и, плача, говорила, что муж будет ее ругать. Наконец городской пошел в участок. Когда спустились по лестнице, столкнулись с Марией Николаевной, Оля молча посмотрела на нее, та поняла, прошла на этаж выше. В участке Оля долго путалась, рыдала, обнаруживала ужасную бестолковость, не открывала своего адреса (из страха перед ревнивым мужем), выигрывала время, чтобы Морозов успел узнать об ее аресте от Марии Николаевны и очистить квартиру. Вечером, когда прошло уже часов семь, она назвала наконец улицу и дом, поехали с околочным. К Олиному изумлению, открыл Морозов. Квартира была чиста, как стекло. Околочный все же оставил супругов, разыгравших мещанскую сценку в духе Островского, под домашним арестом вплоть до выяснений обстоятельств и под наблюдением городского, но городовому тут же, с морозцу, предложили чайку на кухне, а муж с женой, накинув, что было под рукой, летнее, вышли черным ходом.

Все это рассказывалось поздним вечером на квартире Марии Николаевны, куда пришел и Андрей. Двое спаслись, двое — там, в лапах. Поэтому веселье от рассказов Воробья и Оли было нерадостное. Теперь нужно остерегаться всем. Воробью и Оле непременно уж зайти, не показываться несколько дней никуда. «Залечь в камышах», как говорил Дворник. Лучшее место для этого — тайная типография, Саперный переулок, туда и отправили.

О расследовании александровской неудачи думать было некогда, к тому же Андрею поручалось дело, которое вел Квятковский. Он должен был стать связным между Комитетом и тем человеком, что проник в Зимний.

Наконец 1 декабря приехал Степан Ширяев. Его жена Аня Долгорукова, или Нина, как ее звал Степан, только что родила сына, была еще в родильном приюте, и Степан тотчас устремился туда. Пропадал там два дня. Вот уж не думали, что Степан, этот кремневый нигилист, выученик Чернышевского (вернувшись год назад из Европы, он даже некоторое время, как герой романа, выдавал себя за англичанина, некоего мистера Моррисона!), окажется таким страстным родителем и мужем. Ни 1, ни 2 декабря он не был досягаем. Андрей разыскивал его везде. Степан был очень нужен.

Они познакомились летом. Андрей почуял в Степане то же прочное, негнущееся, что отличало их всех: силою Степан не уступал ни Дворнику, ни Семену, ни кому бы то ни было. И еще в нем была какая-то умная доброта, какая-то славность. По-английски и по-французски он говорил не хуже дворянских сынков, а ведь из крестьян, мать — поповна, отец вроде Андреева — то ли управляющий, то ли землемер. Да ведь и Дворника отец — землемер. Все они дети землемеров. Отцы колесили по степям, мерили и перемеривали эту землю, бескрайнюю, безурядную...

И вот сошлись вторым поздним вечером, почти ночью, 3 декабря — Андрей, Дворник и Степан — на Гончарной улице, в меблированных комнатах, где Степан поселился под фамилией Смирницкого. Андрей рассказывал, чертил план. Но иных технических подробностей объяснить не мог, это знал только Ванечка. Решили ждать Ва-

нечку и тогда снова собраться. Ванечка отчего-то застрял в Харькове. Ну, хорошо, отложили. Теперь уж все это принадлежит истории и представляет исторический интерес. Был морозный, метельный вечер, за окном валил снег, а в соседнем номере за стенкой гуляли купцы, шумели, плясали, мимо двери с топотом бежали коридорщики, что-то таскали без усталости. Потом провели женщин, стал слышен женский смех, пенье.

Сидели вокруг стола, на котором самовар, закуска. Дворник рассказывал: как теперь точно известно, на квартире у Александра было три мины в разобранном виде и магнезиального динамита около двадцати фунтов. Всяких бумаг, воззваний, корректурных листов и экземпляров газеты «Народная воля» множество. Но главная беда — мины. Спасти, видимо, не удастся. Как же произошло? Как будто так: Женя Фигнер дала номер «Народной воли» знакомой курсистке, та показала своей знакомой, а та — приятелю, который вышел сукиным сыном и донес полиции. Черт бы с ним, дело возможное, не угадаешь, но вот что недопустимо: Женя назвалась этой курсистке той фамилией, под которой живет — Побережская. Нельзя же такие вещи делать! Это же азбука, младенцу ясно, что — гроб, через адресный стол в два счета находят.

Дворник, как обычно, не просто рассказывал, а с поучением. Андрей спросил, откуда известно, что случилось именно так. Оказывается, Женя успела через кого-то передать отсюда. Конечно, в отчаянье, убита. Что ж теперь рыдать и плакать? Надо было прежде соображать. Сашу погубили, это как пить дать!

Степан слушал, мрачней, теребя бороду.

— Жаль и его и Женю... — сказал, помолчав. — Знаете, други, скажу вам честно: никогда не было страха погибнуть. И вдруг сейчас подумал — содрогнулся. Не хочу! Не желаю, не имею права. Как же ей без меня, с мальчишкой?

Андрей подумал: а ему как же? Андрюшке семь. Живет человек, живет женщина, которую любил, и она любила, родные, отринутые навсегда. Легко ли было? А — нужно, выхода нет, ради них же. И выпрямился злобно.

— А ты особенный, что ли?

— Почему?

— У нас родных людей нету? У меня сына нету, у Дворника — стариков в Путивле...

Дворник сказал:

— А я думаю: нам еще больней жить. У нас родных больше. И не просто родных, а ближайших, на жизнь и на смерть. И когда теряешь — вот Валериана потеряли, Лизогуба, теперь Сашу — это как из живого тела, это же кровь своя...

В дверь стучали. Степан подошел. В чуть приоткрытую дверь — Степан ногу поставил, чтоб не открывалась шире — гудел голос, как видно, соседа, гуляки:

— Ваше степенство, дозволейте убоготорить, так что премного обяжете...

Голос был невнятный, но крайне просительный. Кажется, приглашал на выпивку. Степан отказывался. Купец бубнил настойчиво, переходил на шепот, не отступал. Степан силился закрыть дверь. Наконец закрыл. Купец за дверью гаркнул зычно:

— Федька, дюжину! Дела-ай!

Беготня, топот, женщины хохотали, упало что-то и разбилось со звоном, стеклянное. Гости вывалились в коридор, мужские блажные голоса то ли пели, то ли орали хором, непонятно.

Степан замкнул дверь. Сидели минуту-другую, прислушивались. Пьяная ватага поволокалась из коридора назад, в комнату: вино там осталось, в коридоре только плясали. Стало немного тише. Женщина визжала пронзительно. Потом опять топотня, пляс. Дело подвигалось к большому скандалу: в коридоре слышались другие, непьяные разговоры, хлопали двери, кто-то наглым голосом крикнул:

— Околоточного позвать!

Андрей усмехнулся:

— Ради этих пьяных харь и стараемся. Для них же...

— Не только,— сказал Дворник.

— Им дорогу торим, чертям чумазым. Всех передушат, и нас и врагов наших... Они только силу набирают, только еще в номерах да в полпивных бушуют, а как мы им свободу дадим? Они же из России полпивную сделают.

— Ну и лучше,— сказал Степан.— Полпивная-то лучше, чем тюрьма.

Прошло некоторое время, вдруг с ужасающим грохотом забарабанили в дверь. Дергали с такой силой, что дверь ходуном ходила, с потолка сыпалось. Степан сжимал кулаки, подходя к двери.

— Сейчас дядю успокою.

— Только тихо! — посоветовал Дворник.

— Покорнейше просим! — раздавались крики из-за двери.— Ваше степенство! Сделайте нам удовольствие!

Дверь трещала. Были еще какие-то вопли, дикие и невразумительные, но с оттенком мольбы. Кто-то прокричал в щель между створками дверей довольно внятно:

— Мамамы про-сют!

Степан стоял в задумчивости, не зная, как поступить. Дворник сказал:

— Не открывай, ну их ко псам.

Не открыли, стихло, откатилось. Вновь тот же голос требовал позвать околоточного. Купцы продолжали бушевать, но не в коридоре, а в комнатах, что было несколько выносимей. Сколько же деньжищ кидают на дрянь, на ветер! А единственная на Россию вольная газета сообщает: получено от неизвестного лица пять рублей, от господина Б. десять рублей, от друга три рубля пятьдесят копеек. Скуповаты православные. Вся Россия глядит, какой бой начался, неравный, отчаянный. А помочь? Рублем хотя бы? С интересом глядят, радуются, злобствуют тишком, а все же — со стороны веселей. Вот как эти обыватели коридорные, ведь ни есть, ни спать невозможно, такой тарарам, а они — по щелям, как тараканы, на кого-то надеются. Один пищит: «Около-о-точного!» А чего околоточного? Взять этих дуrolомов да скинуть с лестницы. Ух, твари постылые, рабье стадо! Не ясно было, на кого Андрей в ярости: на гуляк орущих или на тех, по щелям...

Вдруг, когда раздались женские крики и стало похоже, что девки бьют, Андрей рванулся к дверям. Дворник схватил за руку.

— Ты что, с глузду съехал? Сейчас полиция явится...

Дворник рассказал: в Москве после покушения народ валит смотреть место взрыва и домик Сухоруковых, толпы несметные. Решили сделать среди народа подписку на сооружение часовни. Сколько же набрали? Сто пятьдесят три рубля! Об этом даже в «Московских ведомостях» писали с возмущением. А возмущаться нечего, привыкнуть надо. Равнодушие неисклечимое: и к царям и к цареубийцам. Другого народа нет. Вот с этим, равнодушным, замороченным, и надо делать дело, а потом разберутся.

— Народ жить хочет,— сказал Дворник,— и боится смерти, а мы смерти не должны бояться. В этом разница между нами.

Посидели до глубокой ночи, все обсудили, выпили весь чай, разошлись в тишине. Купцы утомонились. Обыватели спали. На Гончарной улице лежала крепкая зима. А на другой день ударила страшная весть: Степана Ширяева арестовали ночью.

### Еще один забытый голос — Сыцяно А. И.

Прошло семнадцать лет, но я отлично помню тот день, 22 ноября семьдесят девятого года, холодный, с ветром, сырым снегом, когда я бежал через Николаевский сквер и вдруг наткнулся на Старосту. Я именно наткнулся: он неожиданно вышел из-за дерева. Он был бледней обычного, сутулей обычного, черная борода взъерошена, вид какой-то нездоровый, измятый. И когда, сняв перчатку, он протянул мне руку для рукопожатия, я почувствовал, что у него рука горячая, как у больного. Мы не виделись недели две. Я знал, что он уезжал куда-то. Тогда, в конце ноября, Харьков опустел, все разъехались кто куда.

— Саша, ты мне нужен,— сказал он после нескольких минут разговора. Мы разговаривали, конечно, о взрыве под Москвой, случившемся три дня назад. В Харьков только что поступили московские газеты, об этом злосчастном взрыве тогда говорили все.— Кое-что спрятать. На несколько дней. Завтра в полдень зайду?

Фраза была вопросительная, но тон вопроса таков, будто ответа не ожидалось: это было требование, чтоб я сидел дома и ждал. Снова я почувствовал его горячую руку. На этот раз он совал ее для прощания. Он был уверен в том, что слова «ты мне нужен» достаточны для того, чтобы я, не вдаваясь в подробности, немедленно предоставил себя в его распоряжение. Но, боже мой, ведь так оно и было всегда! В первую секунду я испытал нечто похожее на мгновенный страх, но то был не страх, а бессознательное, самозащитное отталкивание от себя чего-то ненужного и неясного, с чем я не мог согласиться. Но и не согласиться не было сил. Все это началось, и терзало, и мучило меня давно. Главное, что мне хочется сказать: не страх. Никакого страха. Хотя я был тогда совсем молодым балбесом, восемнадцати лет, реалистом последнего класса, но жизнь так сложилась, что я пережил уже много разных потрясений, многим рисковал и на многое покусился. Поэтому то мгновенное отталкивание было вовсе не от боязни за свою судьбу — и не такое проделывал и прятал! — а оттого, что сомневался и не мог до конца решить. Именно в те дни, в октябре, в ноябре, когда устраивались сходки, понаехали приезжие, и Гришка, и тот бородатый, Борис,— теперь-то я знаю, что то был знаменитый Желябов, а тогда Борис и Борис, обыкновенный мужчина, на вид купец, приказчик, в поддевке, в сапогах, но затоуст необычайный, говорить умел часами,— именно тогда я стоял на грани, я чувствовал, что должен определиться, что-то переступить, ибо дошло до порога, но последней решимости не было. Гришка говорил резче и отчаянней всех. Но как раз он производил меньшее впечатление. Хотя я догадывался о его подвиге. В нем все было наружу, все трещало и прыскало наподобие фейерверка, слова «кровь», «месть», «казнь», «суд» так и сыпались, но истинную силу я чуял в Желябове, и честно признаюсь — силу страшноватую. Однажды он говорил о воле. О том, что человек, обладающий волей, неуязвим. Волею можно победить смерть, даже самую природу, а не то что такие человеческие установления, как государства, правительства. Выходило какое-то обоготворение личной воли. Я спросил: нет

ли тут высочайшего эгоизма? Он говорил, что разумно направленная воля не может быть эгоистичной, ибо ее конечная цель — благо всех. Спустя столько лет не помню всего разговора в точности, но смысл такой, что-то в духе модных теорий, и особенно поразило одно замечание. По поводу отца. Дело в том, что больше всего меня мучили отношения с отцом. Я очень любил отца и жалел его. И вот я спросил Желябова как старшего, как человека, к которому проникся какой-то странной почтительностью: как быть, если моя воля будет угрожать воле близких людей? И не просто угрожать, а смертельно? Ведь убивание бывает не только ножом, револьвером...

Сейчас-то все видишь ясно. Тогда ясности не было, но были предчувствия. А сейчас могу рассказать об отце, и обо всех нас как о чужих людях: смотрю будто со стороны. Наш отец был прекрасный, добрый, простодушный, несчастный человек. Он был уроженец Витебской губернии, Осип Семенович Сыцянка, католик, принял православие и был женат на православной, нашей матери, которая рано умерла. Осталось нас четверо: отец, две дочери и я. Сестры были старше. В Харькове отец преподавал в университете, был доцентом на кафедре электротерапии и содержал электролечебное заведение в нашем же доме. Жили дружно, счастливо, в доме всегда было полно молодежи, друзей моих сестер, студентов, моих товарищей. Отец старался, чтоб мы не чувствовали себя сиротами без женской ласки: часто приезжала и подолгу гостила тетя Виктория, сестра отца, по мужу Польцгоф, с тремя сыновьями Сашкой, Витькой и Васенькой, они были помладше, совсем юные оболтусы, такие же, как я, страстные охотники, ирокезы, мормоны, квартироны. Вообще, было шумно, славно! Лучшего и не было никогда ничего...

Отец, правда, был незадачлив. Весельчак, которому не везло. Постоянно в доме не хватало денег, а он затевал какие-то предприятия ради денег. Я будто слышу его небрежно-веселый голос: «Ну, это я делаю пур аржан!» Никаких «аржан» не получалось. То он организовывал какие-то особые платные лекции у нас дома в лаборатории, то устраивал дешевую кухмистерскую для студентов, тоже в нашем доме. Она так и называлась: «Кухмистерская Сыцянка». И то и другое прогорало. Лечебница тоже не пользовалась популярностью. К новым методам публика относилась настороженно. Появлялись люди безнадежно больные, но отец от отчаяния, а также от природной доброты и некоторого легкомыслия брался их лечить, что кончалось конфузом. В одну женщину он влюбился. Она казалась вполне здоровой, но был один пункт помешательства, один-единственный: она боялась часа, когда зажигаются фонари. Считала, что в этот час должна умереть. Отец влюбился в эту больную не на шутку. Мы были беспощадны. Когда мы поняли, что нам грозит, мы потребовали, чтобы он немедленно прекратил с нею встречи. Мы не смирились бы ни с одной. Вспоминаю все это сейчас и содрогаюсь от ненависти к себе, к сестрам. Какое злобное, детское себялюбие! Но главное зло позже. Принес его я. Не желая того. Желая лишь одного: уничтожить все зло в мире, всю несправедливость... С Буцинским я познакомился в начале семьдесят девятого года. Занимался тогда химией вместе со студентами, готовился в университет. Буцинский называл себя «государственником». У нас был кружок, который все разрастался. Мы читали нелегальщину, рассуждали о социализме, мечтали, спорили. Было дикое возмущение, когда Кропоткин казацкими нагайками разгонял студентов. Отец пришел домой в гнев:

— Это варварство! В цивилизованной стране!

Вдруг — Кропоткина убивают прямо на улице. Никто толком не знал, чьих рук это дело. Таинственная социал-революционная пар-

тия. Наш кружок, может быть, и касался каким-то краем этих людей, но я не знал ничего определенного. Студенты ликовали. Отец был ошеломлен:

— Все-таки, согласись, тоже варварство — таким путем доказывать правоту...

Начались аресты. Буцинский исчез из Харькова, передав мне на хранение початный станок и груды запрещенной литературы.

Станок был неисправен. Я пытался его наладить. Однажды забыл запереть дверь в комнату, кузены зашли случайно и увидели. Они стали моими помощниками. Отец получил анонимное письмо, где говорилось, что я занимаюсь «распространением антиправительственных идей в народе» и что в нашем доме склад книг, газет и прокламаций. Верно, я читал кое-что вслух рабочим отцовской мастерской и лакею Никифору. Анонимный донос написал, возможно, студент Кржеменский, который был репетитором кузенов. Господи, какое все это было мальчишество! Кузены, видимо, по глупому бахвальству проговорились, репетитор — сам недавний мальчишка — стал приставать к ним, ко мне из чистого любопытства, я не решился посвящать его в тайну, и тут же последовала месть.

Отец потребовал, чтоб я уничтожил книги, газеты, все. Он был раздражен, напуган, к тому же возмущен недавним покушением Соловьева.

— Это безумие: считать, что виновен один человек! Какие жалкие глупцы! И это в то время, когда дела мои налаживаются, появились пациенты, мы на пороге удачи...

Он полагал, что немедленно начнутся репрессии против всех, мало-мальски чем-то запятнанных. А себя после получения анонимного письма он считал как раз таковым. Я укладывал книги в сундучок, чтобы отвезти на дачу верстах в семи от Харькова, и в это время в комнату зашел отец и увидел — моя оплошность! — печатный станок. Он побелел.

— Это что?! Что за мерзость в нашем доме?! — В ярости схватил молоток, стал бить, ломать. Станок, над которым я трясся много бессонных ночей, был уничтожен в две минуты.

— На! Получай! — рычал отец, нанося сокрушительные удары. — Миллю! Спенсеру! Берви какому-то Флеровскому! Черту в стуле!

Я испугался, потому что, бросив молоток, он схватился за сердце и едва не упал.

Сестры меня ругали и тоже просили, чтоб я поскорей все увез на хутор. Было много пачек газеты «Земля и воля», журнал «Вперед», прокламации, все я затолкал в железное ведро, а шрифт в другое ведро, поменьше. Лето я с сестрами прожил на даче. Отец оставался в городе, не приезжал ни разу. В августе он опять ударился в панику и стал требовать возвращения книг, газет и шрифта с дачи, чтобы сжечь все это своими руками. Я привез. Разумеется, не все. Шрифт он расплавил сам в печи кабинета, бумаги сжег. Ему казалось, что дело кончено. Но с сентября начались наши сходки у Яшки Кузнецова, у Митрофана, а иногда у учителя Маныча, о чем отец не догадывался. Мы жили самостоятельной жизнью. Я твердо был убежден, что нынешний экономический и политический строй глубоко неудовлетворителен, и долг каждого стараться его изменить. Каким образом? Действовать в народе. Я не стал ходить далеко и приступил к действиям среди близ находящегося народа: рабочих отцовской мастерской, сторожа Данилы и лакея Никифора. Был в мастерской слесарь Ванюшка, мой ровесник, питерский, сметливый парень; он тоже скоро сделался знаменитостью, как и Желябов. На



процессе шестнадцати осенью восьмидесятого года (как раз через месяц после нашего процесса) этот Ванюшка прославился дерзкой фразой: «Я не нуждаюсь в смягчении моей участи, и если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это как оскорбление». Подобного геройства я не мог предполагать в этом простоватом необразованном малом, который если и отличался чем-то, так примерной услужливостью перед старшими, особенно перед «генералами» вроде Желябова и Колодкевича. Много лет спустя в иркутской ссылке я слышал разговоры насчет того, что Ванюшка пускался в какие-то откровенности с департаментом и посему отхлопотал себе ласку судьбы: вместо смертной казни бессрочную каторгу. Было то воистину или же болтовня — не знаю. Ведь говорили о многих. Фантазировали, гадали, предполагали, а то и ввали незадорного. Делать-то нечего, ночи длинные, тоска...

Осенью, когда появились на наших сборищах Желябов, Гольденберг, Колодкевич, а потом еще какие-то важные террористы — забыл имена, — я догадывался, что эта компания нагрянула к нам неспроста. Не затем лишь, как объяснял Желябов, чтобы раскрыть нам, юным провинциальным вольнодумцам, суть происходящего в русском революционном движении. Тут дело касалось практики, а не теории. И я чуял, что были люди посвященные: например, Староста, тот же Ванюшка, другой рабочий по имени Николай. Вообще, Желябов, как я заметил, особенно благоволил к рабочим. Был ли я уязвлен тем, что в с е й т а й н ы мне не доверяют? Впрочем, не одному мне: и Яшке Кузнецову, и Митрофану Блинову, Кашинцеву, Филиппову, нашему самому молодому, отчаянному Граньке Легкому. Да, конечно, был уязвлен и одновременно боялся и не хотел этого доверия. Боялся не за себя, а за отца, за всю нашу семью, пострадавшую после смерти матери. И вот тогда в разговоре спросил Желябова: а если гибель врага повлечет за собой гибель близкого невинного человека? Он, подумавши, ответил:

— А вы готовы принести себя в жертву ради будущего России? Я сказал, что лично себя — готов.

— Так вот это и есть жертва: ваши близкие. Это и есть — вы.

Признаться, его ответ показался мне чудовищным софизмом. Но затем я подумал, что и Спаситель на подобный вопрос отвечал примерно так же. Просто я не был готов к непомерной муке. У меня недостало бы сил и мужества превозмочь такую боль. А ему казалось естественным — тут-то и была страшноватость! — отдать в жертву гораздо больше себя.

В ноябре он исчез из Харькова, теперь-то я знаю куда. Он мелькнул на мгновение в двадцатых числах, накануне моей встречи со Старостой. Я почти уверен, что мысль отдать все причиндалы неудачного александровского дела мне принадлежала не Желябову, а Ванюшке Окладскому. Потому что Ванюшка работал у отца, знал о недостроенном флигеле, был хорошо знаком со мной, и как раз поэтому — зная, что я страшно боюсь подвести отца, — он не стал предлагать сам, я бы отказался, а подговорил Старосту. Петр Абрамович Теллалов, Староста, был тогда вождем всего нашего подполья. Его все уважали. У меня к тому времени возник взгляд: не противиться террору, но и не заниматься им, а заниматься своим делом, пропагандировать социализм среди рабочих. В начале нашего разговора Староста намекнул на то, что покушение, подобное московскому, было предпринято и где-то на юге, но не удалось. Меня осенило: наверно, есть связь между этим намеком и просьбой что-то спрятать! Я спросил:

— А что именно нужно спрятать?

— Какие-то кинжалы, из Полтавы прислали. Земляной бур, батарею, еще какую-то дрянью...

Он говорил небрежно и с некоторым удивлением смотрел на меня. Ему казалось странным, что я как бы над чем-то задумался. А я просто задумался над тем, что случится с бедным отцом, если все это вдруг раскроется...

— В чем дело? — спросил Староста. — Тебя что-то смущает? Ведь более удобного места, чем ваш недостроенный флигель, нет во всем городе.

— Конечно, — сказал я.

— Значит, завтра в полдень ты меня ждешь?

— Да, — сказал я.

Произнести слово «нет» я не мог, хотя все мое нутро, охваченное предчувствием, говорило: нет, нет, нет! На другой день он привез завернутые в тряпки бур, батарею, спираль Румкорфа, кинжалы, револьверы, провод. Кое-что я спрятал в печке недостроенного дома, кое-что в чулане. Через три дня явился с обыском жандармский капитан. Кажется, мальчишка, сын сапожника из мастерской Якубовича в первом этаже нашего дома, случайно что-то обнаружил во флигеле и сказал отцу. А может быть, как-то иначе. Может, проговорился лакей Никифор или кто-то другой. Никифор был загадочный человек, очень преданный отцу, но болезненный, истерик и к тому же подверженный тайному пороку. Он приставал к моему кузену. Я его чуть не избил. От отца скрыли, Никифор плакал, просил у меня прощенья. А Ванюшка Окладский, который спустя год откровенничал с властями в Петербурге, не мог разве слегка мимолетно пооткровенничать с харьковскими чинами полиции? Ведь у него там были знакомцы. Еще летом, когда Ванюшка работал в отцовской мастерской, его таскали в полицию по делу некоего Коли, тоже нашего рабочего, застрелившегося случайно при починке револьвера. Полицейские знакомства не всегда кончаются безобидно. Отец уже тогда привлекал внимание: какая-то кухмистерская, лекции на дому, сборы, молодежь. Могли Ванюшку попытать, пощекотать и попросить кой о чем на будущее. Не грубо, прямоком, а так, полегоньку, перстами легкими, как сон. Нам в Сибири все эти кунштюки рассказывали. Бог знает кто подал полиции сигнал! И все покатилось, все рухнуло, жизнь наша переломилась навсегда. Арестовали отца, меня, сестер, всех наших по очереди: Яшку, Митрофана, Граньку Легкого, Маньча, Данилова. Год нас терзали. Сначала держались бодро, потом стали выбалтывать. И даже кузенов притянули к следствию, мальчишек, запугали до слез, и они тоже выложили все, что знали. Кажется, и Никифор много помог следствию, и сторожика на даче, где я прятал шрифт... Семнадцать лет! Сначала Верхоленский округ, потом Киренский, потом опять Верхоленский. Отец был оправдан, но не вынес горя и вскоре умер. Сестра Маша поехала за мной в Сибирь.

И вот я вернулся, выжил, сохранил зачем-то жизнь. Сейчас 1896 год. Мне кажется, все в России переменялось: другие дома, другие шляпы, другие писатели, другие газеты. В родном городе жить я не смог. Не узнаю людей, не понимаю, о чем они спорят, из-за чего хлопочут. Мои прежние товарищи, которые добились кое-каких чинов и положений, представляются мне ничтожными обывателями, с кем совершенно не о чем говорить, а я им кажусь, вероятно, одичалым неудачником. Поэтому я переехал в Воронеж. Иногда думаю: а что было бы, если б тогда в Николаевском сквере я ответил Старосте «нет»?

## Клио — 72

В Воронеже Александр Сыщянюк примкнул к социалистам-революционерам, был арестован в 1897 году, пытан и мучим полковником Васильевым, который распространил лживую версию, будто Сыщянюк выдает товарищей, нервы не выдержали, в феврале 1898 года Александр Сыщянюк повесился в своей одиночной камере как раз в тот день, когда его сестре Марии после долгих отказов разрешили с ним свидание, но он об этом не знал. Надзиратели подбросили в камеру Сыщянюку записку, где арестованным давался совет остерегаться его. Мария Сыщянюк вскоре была выслана административным порядком в Сибирь, бежала оттуда, снова выслана и умерла от случайной простуды за три месяца до Февральской революции. Почти все товарищи Александра Сыщянюка по процессу восьмидесятого года давали откровенные показания, особенно отличались в этом Митрофан Блинов, Яков Кузнецов и юный атлет Евграф Легкий, который сделал попытку повеситься в тюрьме, не выдержав одиночного заключения. Этот Евграф Легкий за убийство надзирателя отломанной от кровати железной ножкой был казнен в Иркутске в 1882 году. В архиве ЦГАОР на Большой Пироговской находятся две толстые папки «Дела по обвинению доцента Харьковского университета И. С. Сыщянюк и других», где на пожелтевших и никому уже в мире не нужных клочках бумаги рассказана вся эта история харьковских полузаговорщиков, полутеррористов, полуподростков, полустойких и полуслабых бойцов за лучший мир, начавшаяся 27 ноября 1879 года в четвертом часу пополудни обыском в недостроенном доме доктора Сыщянюк. В одной из папок сразу вслед за показаниями Гольденберга, во многом погубившими Сыщянюк, имеется конверт с надписью «Вложение». В конверте лежат образцы найденных в доме Сыщянюк проволоки и спирали Румкорфа, завернутые в вату. Проволока основательная, хорошо изолированная. Нужен довольно сильный удар, чтобы разрубить ее острием лопаты. Это куски той проволоки и той спирали Румкорфа, которые применял под Александровском Желябов.

## ГЛАВА V

После ноябрьского покушения на царский поезд под Москвой всему миру стало очевидно, что в России началось небывалое единоборство: с одной стороны могущественнейшая власть, с другой — какие-то невидимки, загадочные «люди из подполья». Ни аресты, ни казни ничуть не помогали власти. Не находилось концов. Было похоже, что арестовывают не тех и казнят не главных. Напоминало сказку про страшный своей колдовской силой овсяный кисель: чем больше его едят, тем больше его становится. В лагере императора, по которому наносились прицельные, хотя пока еще не очень точные удары, зарождалось смятение: то возникало тягостное и почти паническое недоумение, незнание, что делать и куда бежать, то разжигалась истерическая злобность. Либеральные бюрократы во главе с Валуевым схватились в смертном бою со своими врагами, сторонниками твердого самодержавия и лечения железом и кровью. Те всю вину за все несчастья возлагали на этих, а эти попросту называли их изменниками. Все это не могло кончиться полюбовно.

Член Государственного совета Победоносцев в письмах и устно внушал наследнику Александру Александровичу, что «все эти социалисты, кинжальщики и прочие не что иное, как собаки, спущенные

с цепи. Они работают бессознательно не на себя, а для польского гнезда, которое рассчитало свой план очень ловко и может достигнуть его с помощью наших государственных людей...». В декабре, на исходе смутного года, когда еще не утихла дрожь после московского взрыва, Победоносцев писал наследнику так: «От всех здешних чиновных и ученых людей душа у меня наболела, точно в компании полоумных и исковерканных обезьян. Слышу отовсюду одно натверженное, лживое и проклятое слово: конституция... Повсюду в народе зреет такая мысль: лучше уж революция русская и безобразная смута, нежели конституция. Первую еще можно побороть вскоре и водворить порядок в земле, последняя есть яд для всего организма, разъедающий его постоянной ложью, которой русская душа не принимает... Народ убежден, что правительство состоит из изменников, которые держат слабого царя в своей власти. Все надежды на Вас! Валуев — главный зачинщик конституции...»

Надежды на то, что подобием конституции, представленным правлением, то есть введением делегатов от земств в Государственный совет можно как-то спасти дело и выровнять грозно шатающееся государство — неурожай, голод, крестьянские волнения во многих губерниях, забастовки на фабриках, недовольство студентов, недовольство литераторов, удушаемых цензурой,— эти надежды питал не только Валуев, но и военный министр Милютин и великий князь Константин Николаевич. Составлялись проекты, писались записки, делались представления царю, но царь отвечал одним: он колебался. За исключением тех минут, когда его охватывал гнев, царь пребывал в состоянии колебания. Таков был этот немецкий сентиментальный характер, неспособный к роковым, внезапным решениям, к сотворению истории, а умевший лишь подчиняться обстоятельствам. Долго колебался перед крестьянской реформой и решился лишь оттого, что обстоятельства, события, времена выдавили из него это решение; долго колебался перед воротами Царьграда, не зная, вступать ему в город или нет, перекладывал ответственность на главнокомандующего и так и не вступил, за что Россия поплатилась берлинским унижением; и давно уже, в течение почти двух десятков лет, колебался и трепетал перед сфинксовой загадкой: решаться или нет на робкие конституционные проекты? Как военному человеку ему казалось, что тут будет некое понижение в чине: сейчас он будто полный генерал, а станет генерал-лейтенантом. Да и многие неглупые люди вроде князя Урусова, министра Макова советовали повременить. Зачем торопиться? В западных странах, во Франции, например, учредили конституцию, а беспорядки и анархия лишь усилились, приняли чудовищный образ. Хотя, с другой стороны, одними мерами подавления... Словом, царь колебался и намерен был колебаться долго. Природою колебаний царя была его неизбывная подозрительность. Он не верил никому. Был подозрителен к старшему сыну, Николаю, а после его смерти сделался подозрителен к Александру. О генерале Потапове, бывшем шефе жандармов, сказал однажды: «Я, кажется, не сделал ему ничего доброго. За что же он против меня?» Временами эта вечно тлеющая подозрительность вспыхивала с дикой, необузданной силой, и однажды в такую минуту он харкнул в лицо своему старому другу князю Вяземскому, ехавшему в карете и раздражившему царя покорным молчанием. Однако когда князь стал молча стирать со щек следы неясного монаршего гнева, Александр вдруг кинулся к нему, стал обнимать и просить прощения. Сначала было гневно, подозрительно и несносно, потом стало стыдно и несносно, и все это в продолжение секунды. Иногда случалось наоборот. Сперва он простирали объятия и просил прощения, а потом плевал в лицо. Примерно то же произош-

ло с реформами — сначала были праздничные лобзания, а затем, очень скоро, возникли разочарование и вражда. В памяти России этот царь останется с двумя ликами и двумя именами: Александр Освободитель и Александр Вешатель.

Вернувшись в столицу после московского потрясения, царь обнаружил не панику, а раздражительность. Недовольный тем, что Мирскому заменили смертную казнь бессрочной каторгой, он выместил раздражение на Гурко, петербургском генерал-губернаторе, заметив, что тот действовал «под влиянием баб и литераторов». Ни о каких конституционных проектах не могло быть и речи. Однако миновало несколько дней, царь успокоился, вернее пришел в обычное свое колебательное состояние, и вскоре опять обратился к брату Косте и к Валуюву по поводу их проектов.

Ах, беда была в том, что эти славные борцы за российский прогресс сами колебались не меньше главколеблющегося! Один из истовейших реформаторов, Милютин, признавался в разговоре с другим реформатором, Абазой: нет, делегаты от земств не спасут дела, когда вся Россия на осадном положении. А главный либерал Валуюв записывал в это же время для себя самого, сокровенно: «Чувствуется, что почва зыблется, зданию угрожает падение». В нужный момент на одном из первых, секретных заседаний Особого совещания, когда обсуждался проект великого князя Константина Николаевича, Валуюв неожиданно заявил: «Я желал бы знать, какую можно извлечь пользу от того, что скажет по законодательному проекту представитель какого-либо Царевококшайска или Козьмодемьянска?» Все были огорошены этим странным прыжком, этой внезапной переменой фронта, которую приписали личной неприязни Валуюва к брату царя, не понимая того, что и тут проявилось бессознательное и необоримое, почти мистической силы колебательное движение. Все колебались, все обнаруживали дрожание колен, и даже столп охранительной партии, надежда Победоносцева наследник Александр Александрович, увы, не являл собою образец прочности.

Хотя вокруг Александра Александровича и группировались люди так называемой «партии Аничкова дворца», сторонники жесткой линии и враги всяческого попустительства, но они не столько находили опору в наследнике, сколько старались зарядить его своей бодростью, своими идеями... Наследник перенял от отца несамостоятельность характера, ибо чем больше человек колеблется, тем сильнее на него можно влиять. Кроме того, отношения с отцом были сложны и все более напрягались, по мере того как забирала власть (пока что над царем) княгиня Юрьевская.

И однако все сложности, неприязни и разномыслие меркли в этом году перед общей грозой и страшным для всех сверканием молнии: ужасными политическими убийствами. Жизнь непоправимо менялась. Страх становился такой же обыкновенностью Петербурга, как сырой климат. Нужно было привыкать. В апреле, после выстрела Соловьева наследник записал в дневнике своим неряшливым почерком заухадалого гимназиста: «Сегодня мне пришлось в первый раз выехать в коляске с конвоем! Не могу высказать, до чего это было грустно, тяжело и обидно! В нашем всегда мирном и тихом Петербурге ездить с казаками, как в военное время, просто ужасно, а нечего делать. Время положительно скверное, и если не взяться теперь серьезно и строго, то трудно будет поправить потом годами. Папа, слава богу, решил тоже ездить с конвоем и выезжает, как и я, с урядником на козлах и двумя верховыми казаками сбоку».

Привыкали к страху, привыкали к конвойным казакам, а потом к

самим покушениям. В ноябре наследник записал вовсе кратко и даже как-то меланхолично: «22 ноября. Вернулся папа из Ливадии, пробыв два дня в Москве, где опять было покушение на его жизнь и взорван был путь под поездом ж. д., но, к счастью, не его поезда, а шедший сзади второй поезд. Просто ужас что за милое время!»

Невозможность уступить, «пойти навстречу чаяньям русского общества» заключалась для царя еще и в том, что выходило, будто он оробел, поддался угрозам подпольных людишек. Для обыкновенной царской гордости это было совсем уж непереносимо. Да и попросту как для всякого мужчины оскорбительно. Другой момент: если б хоть были найдены атаманы тайного Комитета, обезврежены главные преступники! Чтоб была уверенность, что вся эта гадость пойдет на убыль, и — тогда с легким сердцем согласиться на некоторые уступки. Как с крестьянской реформой, чтоб была хоть какая-то видимость благотворения сверху, а не действие под напором низменных сил. Но, как назло, легкого сердца царю все не было. Атаманы оставались неуязвимы, главные супостаты не изловлены. До сих пор не найдены убийцы Мезенцева, не пойман стрелявший в Кропоткина, не обнаружена тайная типография, нагло распространявшая листки и газеты, — по точным сведениям, это адово гнездилище расположилось в столице, но полицейские балбесы бьются месяцами впустую! Не пригласить ли умелых людей из Англии? Ни одного человека не удалось поймать и на месте московского взрыва. В чем нельзя отказать преступникам, так это в удивительной ловкости и какой-то совершенно звериной, лисьей хитрости. Случайные люди, залетавшие в сети полиции, не спасали дела. Все это была мелюзга, плотвица. А щуки демонские, черт бы их взял, хохотали беззвучно в своих потаенных логовах.

И вдруг в середине декабря — прекрасная новость. Сообщение из Одессы: в руки властей попал убийца Кропоткина некий Гольденберг, сын купца. Пока что он признался агенту, специально посаженному в камеру. Получено много подробностей и о московском взрыве. Расследование ведется с громаднейшей осторожностью и возрастающим успехом. Ухватились за конец клубка. 18 декабря одесский прокурор Добржинский, очень хвалимый Тотлебенем и, как видно, действительно не чета петербургским пустоплясам, примчался в Москву с ворохом драгоценнейших сведений, добытых от Гольденберга. Царь хладнокровно радовался: наконец-то! Началось, слава тебе господи! Настроение к рождеству заметно окрепло, и казалось: еще бы какая-нибудь небольшая удача — и можно снова повести разговор об уступках и чаяньях.

А Гришка тем временем, еще в конце ноября перевезенный из Елисаветграда в Одессу, в тюремный замок, вел отчаянную борьбу с царскими палачами и сатрапами. На Гришку орал и топал ногами сам одесский властитель Тотлебен, ему грозил револьвером и обещал все гольденберговское отродье сгноить в Сибири начальник губернаторской канцелярии Панютин, очень злобный мужчина, живоглот, ненавистник, злость из него так и прыскала, обрабатывали Гришку и другие господа, жандармский полковник Першин с помощниками, угрожали, пугали, орудовали кулаками, за волосы дергали, спать не давали, измучивали смертно, но Гришка не сдавался. Заставить Гришку заговорить? Ого, мало каши ели, господа! Не родился еще такой человек, который Гришку принудил бы заговорить насильно. Ничего не узнались, кроме того, что бедный отец подтвердил по фотографическому снимку: да, сын, Григорий Давидов Гольденберг, рожден в Бердичеве

в 1855 году. А никаких дел папаша и знать не мог. Истерзанный, но гордый от того, что тюремщики бессильны сломить истинного революционера, возвращался Гришка в камеру, валился на койку, а то, если сил не было, прямо на пол, и тут единственной радостью были слова участия и восхищения друга, Федьки Курицына: «Гришуня, как ты? Живой? Не поддался сволочам? Я для тебя чай берегу, пей вот! Ах, скоты, негодяи, мерзавцы, протобестии...»

Федька ругался шепотом, боясь, что надзиратели услышат. Всего боялся, запуган, измочален тремя годами тюремной сидки: с семьдесят седьмого года он здесь по делу о покушении на Гориновича. Гришка о нем и раньше слышал от одесских товарищей. Был Федька весельчак, любитель музыки, пения, учился в Харьковском ветеринарном институте, а теперь сломлен, глаза провалились, голос дрожащий. Ночами не спал, Гришке жаловался:

— Уморили меня, с ума схожу... Не выдержу больше... Поговори хоть со мной!

Гришка его жалел, разговаривал. Надзиратели, подкравшись тихо, слышали разговор, стучали кулаками, грозили карцером, одиночкой — ночами разговаривать нельзя, — тогда Гришка и Федька шептались чуть слышно.

Иногда Федька плакал, а иногда отчего-то веселился как сумасшедший, начинал петь — днем, если солнце, камера освещалась — из разных опер, даже женскую арию из «Опричников»: «Соловушка в дубравушке звонко свищет...» Гришка очень его жалел. Такой голос чудный, и вот погиб, и человек погиб. Суд над Федькой и его товарищами Костюриным, Дробязгиным, Витькой Малинкой, Майданским близился, вот-вот, со дня на день. Раздали уже обвинительный акт. Федька истощился и ослаб неимоверно, врач предписал ему больничную порцию и лечение бромом.

Вся Федькина радость была — разговоры с Гришкой. Ведь на три года оторван от жизни, от борьбы! Ничего не знал, ужасался, восторгался: и о покушениях на царя ничего подробно не знал, и об убийстве Кропоткина, и о новой партии террористов, которая образовалась и приступила к делам.

— Боже мой, а я здесь все эти годы! Руки связаны! — шептал Федька в отчаянье. — Вы же замечательные дела творите...

А когда он узнал, что Гришка сам собственной рукою казнил мерзавца и палача харьковских студентов Кропоткина, его изумлению, радости и преклонению перед Гришкой не было меры. Он только повторял, как счастлив, что оказался в одной камере с таким героическим человеком, как это ему важно, и нужно, и помогает жить, и как прибавляет силы. Ну, рассказал Гришка и о московском подкопе, и об александровской mine, ведь и там и здесь Гришкино участие было не из последних, а даже, можно сказать, самое капитальное, так что во всей России вряд ли найдется сейчас человек, более Гришки Гольденберга прикосновенный к революционной кухне. Все самые горяченькие пироги пеклись при его участии. Эх-хе-хе, если б одесские дураки хоть на секунду предположили, какую птичку-невеличку они заполоучили в сети! Очумели бы от радости. Только шиш узнают. Никакие пытки не заставят Гришку заговорить...

В начале декабря был суд над одесскими бунтарями, и прекрасные люди Дробязгин, Малинка и Майданский получили виселицу, Костюрину заменили смертную казнь каторгой. Федьке с учетом трех лет тюрьмы назначили административную высылку. 7 декабря троих повесили. Шепнул надзиратель. Федька страдал невыносимо: два дня лежал недвижно на койке лицом в подушку, не хотел ни есть, ни

пить. Гришка за него испугался. И опять единственным лечением для Федьки и последней радостью были разговоры ночью.

Тянулись дни, тюремщики от Гришки отстали, утомились, разуварились, таскали на допрос все реже, и днем он молчал, а ночами разговаривал. Федька готовился к выходу из тюрьмы, в ссылку. Администрация еще не определила места ссылки. Гришка передавал Федьке последние поручения, ибо Федьку прежде ссылки должны были отправить в Харьков, а уж оттуда в Сибирь. Где-где, а в Харькове у Гришки было полно друзей, домов, квартир, где могли помочь. И вот он снабжал Федьку, давал от души, щедро, все что знал, лучших и закадычнейших, на которых можно положиться, как на него, Гришку. Во-первых, найти госпожу Заславскую, на Подольской улице, сказать «от Давида»... Во-вторых, Старосту, ему сказать, что с ним, с Гришкой, последний раз кутил... Приветы Митрофану Блинову, Володке Жебуневу, Яшке Кузнецову, которому надо сказать, чтоб он от него, Гольденберга, отрекался и насчет той сходки, летней, многолюдной, не упоминал нигде... Сонечке Перовской, если она вернулась из Москвы в Харьков, передать горячий привет и лобзанья...

В начале января Федька уехал. Прощались горько. Федька едва сдерживался, чтоб не разрыдаться. Была одна просьба от всех арестантов: спеть на прощанье. И Федька запел тонким, высоким голосом, принимая печалью, потому что три года в этих стенах не шуточки, жизнь обломилась, новая началась, а товарищи остаются.

Соловушка в дубравушке звонко свищет,  
А девушка в теремочке слезно плачет...

Гришка слушал, стискивая пальцы. Федька наклонился к нему мокрым лицом:

— Гришуня, умоляю: держись, не сдавайся!

— Да, да, да, да,— кивал Гришка,— скажи друзьям: да!

Через два дня, 15 января Гришку вызвали на первый официальный допрос. Допрашивали полковник Першин и одесский прокурор Добржинский. Все было иначе. Никто не топал ногами, не размахивал револьвером, не хватал за пейсы, отросшие за два месяца. Добржинский, белокурый полячишко, вел себя чрезвычайно предупредительно и даже как бы доброжелательно, ничего особенно не расспрашивал, а рассказывал сам. По его словам, выходило, будто следствие известно абсолютно все. Гришкины товарищи, захваченные недавно в разных местах, признаются и дают откровенные показания. Многие чистосердечно раскаиваются, многие пишут пространные и очень содержательные разъяснения, называя имена, даты, квартиры. Торопятся облегчить совесть, соревнуются в откровенности, ибо все они молоды и еще надеются честным признанием улучшить свою судьбу, начать жить снова. Гришка слушал, потрясенный. Какие же товарищи? Кто именно? Ну, это не столь важно сейчас знать, суть не в персонах, а в том, что идет громадный, всероссийский процесс распада революционной партии.

И Добржинский опять рассказывал сам: о липецком съезде, называл имена, клички, о собраниях в петербургских трактирах перед покушением Соловьева, о спорах по поводу орсиниевской бомбы и револьвера, потом о московском подкопе, о планах подкопа под Малой Садовой. Это последнее известие особенно удручило Гришку, подтвердив, что в руки фараонов попал кто-то из близких Комитету людей. Разговор о подкопе под Малой Садовой, по которой царь каждое воскресенье ездит на разводы в Михайловский манеж, Гришка слышал мельком в Москве то ли от Дворника, то ли еще от кого-то, но эта идея была сугубо секретная, высказанная бегло среди верных лю-



дей. Неужели когда Гришка шептал Федьке, мог услышать надзиратель? Мог услышать что-то одно, отрывочное, но не всю же кучу сведений. Значит, верно, какие-то люди попались и выдают. И все же когда Добржинский, наострив перо, приготовлялся записывать: «От вас, господин Гольденберг, мы ждем совсем небольших разъяснений», Гришка мотал головой:

— Нет!

Теперь было много трудней, что-то надорвалось, какие-то подпорки упали, и даже казалось, что нет смысла упорствовать и молчать, но Гришка, однако, еще долго, недели две, укрепляемый неясным предчувствием, продолжал все отрицать. Добржинский смеялся ему в лицо. Они знали такие подробности о Харькове, каких не могли знать петербургские главари: о Старосте, о Блинове и Кузнецове (эти двое, по словам Добржинского, уже арестованы и полностью сознались), об аптекаре Данилове, который тоже арестован.

Гришка решил, что выдает Митрофан Блинов. Этот парень всегда не нравился. Дворянский недоросток, слабогрудая тварь, ездил в Крым лечить малокровие. Думая о Блинове, приходил в ярость: он, он выдает, собака! Весь хърьковский разгром — его рук дело. А остальное? А Москва, Петербург? Вдруг пришла мысль, очень страшная. Кто же мог знать так же много, почти столько же, сколько знает он, Гришка? Да ведь никто другой, только он сам. Он сам и есть. Он и в ы д а е т. Через Федьку. Вот она, страшная молниеносная мысль. Вспомнил: месяц с лишним назад ночью коридором мимо камеры вели Витьку Малинку, Дробязгина и Майданского, приговоренных к смерти. Витька успел крикнуть: «Товарищи, завтра нас казнят! Отомстите!» Крик так подействовал, разорвал душу, что в ту же ночь Гришка решил убить Панютина. Этот подлец, помощник Тотлебена, считался главным одесским палачом. Убить его собирались на воле, дело решенное, но зачем же, рассудил Гришка, гибнуть силе? Он-то уж все равно погиб. Обдумывал, как лучше сделать, во время допроса или же под каким-то предлогом заманить в камеру. Панютин им, Гришкой, очень интересовался и пришел бы, если придумать, как зазвать. И чем убить. Всю ночь советовался об этом с Федькой. Тот трусил, отговаривал. На другой день явились три жандарма и надели кандалы — на Гришку и на Федьку. Почему? С какой стати? Гришка очень тогда изумлялся и был возмущен. И несколько дней водили на допрос в кандалах, а потом кандалы сняли, допросы кончились. Так что же все это значит, боже ты мой? Ничего еще Гришка окончательно не решил, пока еще только мысль, только догадка, и вдруг улыбающийся пан Добржинский ошеломил новой ужасной вестью: в Петербурге захвачена знаменитая подпольная типография, та самая, что печатала прокламации и газету «Народная воля». Арестована ее редакция, было целое сражение, один из преступников застрелился.

И показывал фотографии: на одной узнал Буха, на другой — еврея-наборщика, приехавшего недавно из Берлина, на третьей — женщину знакомую, видел ее в Петербурге, имени не знал. И на одной фотографии был Александр Квятковский. Еще фотография: на полу человек, запрокинутое лицо, вздернутые усики, рот ямой. Самоубийца.

— Вы видите, сколько жертв! Сколько молодых жизней! — говорил Добржинский. — Когда же кончится кровавая жатва?

Гришка смотрел на доброе строгое лицо Александра Первого и вспоминал, как год назад: трактиры, табачный дым, разговоры вполголоса, отчаянные, безумно-веселые, когда казалось, все решится через несколько дней. Мрачно-решительный Соловьев, заикающийся Дворник, молчун Кобылянский и они двое: Квятковский и Гришка. Да, еще шестой был — Зунд! Умница, хитрец... Вот уже и Квятковский схвачен.

Никого нет. Кто же остался? Соловьев казнен, Кобылянский арестован в августе, Зунд — в октябре в Публичке, в ноябре Гришка. Один Дворник, дай бог, еще на воле. И ничего не сделано, не решилось.

— Гибнут лучшие, цвет нации, надежда России... Ведь эти люди хотят России добра...

Кто это говорит? Чужим голосом Гришкины мысли? Странно, горестный шепот и печальное кивание головой производит белокурый господин в вицмундире.

— Хотя добра, а творят зло... Несчастное непонимание... Не понимают друг друга, в этом все зло...— И затем так же тихо, сочувственно: — Господин Гольденберг, вы же прекрасно сознаете, что дело вовсе не в том, чтобы вы подтвердили: да, я убил Кропоткина. Это нам и без того известно. А дело в гораздо более существенном и великом.— Опять понизил до шепота и глазами враспор, глаза в глаза, то в один, то в другой.— Россию спасти надо! Драма происходит грандиозная. На глазах у целого света. А дела никому нет. Ведь нет дела, согласны?

— А когда же свету было до России дело? — сказал Гришка.

— Разумеется, разумеется, вы умный человек, господин Гольденберг, и понимаете мою идею. Кроме нас, русских, спасти нас никому. Должно быть достигнуто единственное: п о н и м а н и е! Власть должна понять молодежь, а молодежь — власть. Остановить эту вакханалию казней, смертей, злобы, взаимного недоверия. Вы думаете, наверху все гладко, единодушно? Вы думаете, там нет людей, которым претят... — зашептал едва слышно,— панютинские и чертковские расправы? Я знаю лиц очень высокопоставленных, которые приходят в ярость, когда слышат о новых арестах и военных судах. Да что же за несчастная страна! Какие-то болгары, румыны имеют конституцию, финны уже семьдесят лет пользуются благами представительного правления, имея свой сейм, дарованный еще императором Александром Павловичем. И только мы, коренные русские...

— Но почему же эти лица, высокопоставленные...

— В этом и есть парадокс момента. «Почему же?» Да потому, что роковое разединение! Умные люди наверху и трезвые люди внизу разобщены. Я и говорю, что сейчас главная задача: п о н и м а н и е. Выбить револьверы из рук фанатиков и вырвать веревки из рук правительственных палачей, господ Фроловых в генеральских эполетах. Такие честные и умные люди, как вы, господин Гольденберг, осознавшие свои заблуждения...

— Я вам этого не говорил! — крикнул Гришка.

— Ваши заблуждения состояли в том, что вы так же, как и я, стремились приостановить кровопролитие, но применяли для этого средства, открывшие еще большую кровь. Сейчас медлить нельзя! Россия гибнет, истекает кровью, лучшей, молодой кровью, силы уходят, надежды гаснут. Если не предпринять каких-то решительных мер... Имейте в виду, господин Гольденберг, у нас с вами разговор приватный. О нем знают лишь несколько лиц, имена которых называть преждевременно. Если вы станете пересказывать наш разговор некоторым другим лицам, вы принесете большой вред. Но я буду все отрицать, вы ничего не выгадаете. Так что я не советую болтать. Но советую хорошо подумать, все обсудить, взвесить, посмотреть с исторической высоты, ибо, может быть, именно вы — да, да, вы, господин Гольденберг, — сумеете оказать России неоценимую услугу. Вы спасете целое поколение, и, я бы присовокупил, благороднейшее поколение русских людей.

— Интересно, каким же образом?

— Было сказано выше: необходимость понимания. Необходимость спокойной и полной ясности. Для того чтобы возникло доверие и возможность действовать сообща. В этом никто, как вы — не будем скромничать, господин Гольденберг, — помочь России не сможет.

Потом были ночи бреда; Гришке представлялись ошеломительные картины. Он является как мессия, как Иисус, сошедший с небес, он обращается к правительству и к революционерам — какое-то гигантское судилище, там судят всех: царей, министров, жандармов, террористов, сторонников мирной пропаганды, раввина Мишурица, учителя латыни из киево-подольской классической прогимназии, который так больно рвал Гришку за ухо, приговаривая «pro temoria», конвойных солдат в архангельской ссылке, однажды жестоко Гришку избивших, и кончается все величавым хоровым пением, все поют со слезами в глазах. Гришка просыпался, сердце колотилось, он садился на койке, охваченный какой-то шумящей, истонной энергией. В секунды пробуждения с особенной отчетливостью понимал: да, да, его жребий, его судьба, он может спасти тысячи людей, остановить кровавый разгул, дать благо всем, всем. Но никто не должен догадываться о разговорах с Добржинским. Боялся, что надзиратели заметят его волнение. Снова ложился, накрывался, сна не было, шум в ушах, в мыслях не утихал, хотелось двигаться, бегать, выпить водки, все равно какой, хотя бы английской желудочной, держать речь...

Через три дня Гришка признался, что убил Кропоткина.

Декабрь для Андрея оказался месяцем небывалого напряжения. Петербургская подпольная жизнь не шла ни в какое сравнение ни с одесской, ни с харьковской или киевской. Множество людей, квартир, громадные планы, бесчисленное переплетение связей, предприятий, возможностей. В августе Андрей едва хлебнул петербургского житья-бытья, но тогда все только еще разворачивалось, еще шла свара и дележка, народовольцы и чернопередельцы поспешно отъединялись, а теперь одни уже действовали вовсю, а другие, по слухам, собирали чемоданы для бегства в Европу. С утра до вечера Андрей носился по городу, окованному зимой, то скользкому, то сырому, то утопающему в морозном тумане: встречи с людьми в трактирах, библиотеках, на улицах, рабочие окраины, Кронштадт, мастерская Кибальчича, где приготавлился динамит, типография, редакция, встречи в условном месте с человеком, который под видом столяра проник в Зимний дворец и готовил там большое дело. Это был простой рабочий человек, замечательного бесстрашия, ума и притягательной силы: Степан Халтурин. Год назад Халтурин вместе с Обнорским организовал «Северный союз русских рабочих», более двух сотен человек входило в «Союз», авторитет возрастал, выпускались прокламации, устраивались стачки, мощная стачка прогремела на Новой бумагопрядильне. Но в конце лета возникла возможность попасть во дворец под видом столяра. Халтурин советовался с Аней Якимовой. Он не принадлежал формально к народовольцам, держался независимо, оберегая несколько ревниво свою рабочую особость и самостоятельность и весь «Северный союз» был проникнут этим настроением, принимали туда только рабочих — но тут открывалась блестящая террористическая перспектива, и он решил посоветоваться со знатоками.

Из людей, причастных к народовольческому Комитету, был знаком хорошо с землячкой, вятской, Аней Якимовой. Та с кем-то его свела. Сказали: «Что ж, давай, давай. Заодно и царя прикончишь...» Так все это начиналось, не очень-то всерьез. В августе Халтурин с паспортом Батышкова поступил в столярную службу в Зимний, посе-

лился в подвале. Связь с ним поддерживал Квятковский. Дело было сугубо тайное, такой же степени тайности, как и служба Клеточникова в Третьем отделении. Но если Клеточников с первых же дней непрерывно вот уже почти год снабжал Комитет беспримерными по ценности сведениями, то работа Халтурина не давала никаких плодов, удачный исход ее казался фантастикой. Андрей помнил, как Баска однажды намекала в Александровске, что есть какой-то человек, который намерен проникнуть во дворец в качестве рабочего, человек смелый, решительный, но как-то не верилось в успех: дворец казался местом, где кишмя кишат жандармы. Кроме того, тогда, осенью, мало думали, если не сказать — вовсе не думали, об этом предприятии, все старания были направлены на Александровск и на Москву. Если бы там удалось, дело во дворце само собой бы отпало. Но там не удалось, Квятковского арестовали, и невероятное, совершавшееся в глубочайшем секрете халтуринское дело — не известное почти никому — стало главной надеждой партии.

Андрею было любопытно познакомиться с Халтуриным. Много успел послушаться о нем от Дворника, от Баски, от Андрея Преснякова: говорили, что очень начитан, упорный самоучка, хорошо знает социалистских писателей, французскую революцию и спорить с ним по этим делам трудно. Как многие рабочие, совсем равнодушен к мужику, к общине, не понимает крестьянской сути русской революции и всей будущей русской государственности. Склоняется к Западу, к немецким социалистам: там идеал. Но, кажется, разгром «Союза» в нынешнем году, аресты почти всех товарищей сильно этот идеал подорвали. Как будто понял, что стачками да кружками на немецкий манер эту громаду не свалишь. Вот ведь история! И крестьянские народолюбцы и пролетарьятчики, разуверившись и отчаявшись в своих путях, пришли с разных сторон к одному: к террору.

Познакомил их Дворник, на квартире. Халтурин был высок ростом, с небольшой бородой, усами, мрачноватый взгляд, скупая, с вятским оканьем речь, казался старше своих двадцати трех. По виду он был обыкновенный петербургский мастеровой, даже, пожалуй, мастер, благополучный и хорошо зарабатывающий. На нем были высокие сапоги, длинное черное пальто и нескладная меховая шапка, тоже черная, которую он, войдя в квартиру, снял и зачем-то надел на левый кулак и, разговаривая, все время на кулаке покручивал. Вообще, в повадках была какая-то спокойная развязность.

Сразу стал расспрашивать об аресте Квятковского. Видно было, что огорчен очень, именно не взволнован, не напуган — огорчен. Между тем мог бы напугаться: у Александра Первого на руках остался план Зимнего, листок с рисунком, который сделал Степан и дал Квятковскому незадолго перед его арестом. На рисунке столовая, которую намечалось взорвать, была отмечена крестом. Надеялись, что Александр успел рисунок уничтожить, но ведь — кто знает? Пока что ничего в точности неизвестно. Степан продолжал спокойно жить в дворцовом подвале, спать на подушке с динамитом, а полиция, может быть, уже витала рядом и в любую секунду готовилась схватить.

Андрей не мог сдерживать улыбки: с таким удовольствием смотрел на поразительного человека.

— Вот — Борис, — сказал Дворник. — Будешь теперь с ним. Место встреч назначайте новое.

Халтурин кивнул, поглядел на Андрея сурово-пристально, сощурив глаза.

— Вы, кажется, из студентов?

— Был студентом. Да ведь и вы где-то учились? Мне Баска рассказывала.

— Учился...—Халтурин усмехнулся, добавил нехотя:— В Вятском техническом. Это все пустота. Не нужно никому. Главное мое ученье не там было.

— Понятно,— сказал Андрей.— Оно у всех так.

Дворник быстро попрощался, сбежал. Как всегда, восемнадцать или двадцать пять дел на дню. Андрей и Степан остались в комнате одни темным полднем, пили чай, разговаривали вполголоса — о с в е р х т а й н о м. Степан сказал, что перетаскал во дворец уже примерно два с половиной пуда динамита, но этого мало. Толща там громадная, нужно не меньше восьми пудов, чтоб уж наверняка. Стража теперь его признала, пропускает без осмотра. Вообще, неряшество и бестолочь во дворце страшные. Это, конечно, нам на руку, но все ж таки удивляешься вчуже: до чего безмозглый народ поставлен руководить! Среди дворцовой челяди — кражи, пьянки, безалаберщина, жандармы и управляющие, назначенные следить за работниками, только и делают что воруют по мелочам да девок тискают. С жандармом, который наблюдает за работой столяров и живет там же, Степан свел хорошее знакомство и даже уверил, дурака, что намерен взять за себя его дочь. Андрей слушал с восхищением. Дело представлялось все более реальным. Но кроме бумажки с планом, могущей попасть в руки полиции, волновало другое: не проговорится ли случайно кто-либо из рабочих — членов «Союза», кто слышал о предложении поступить на работу во дворец? Ведь предложение было вначале сделано не Степану, а кому-то другому. Обсуждалось среди рабочих. Верные ли люди?

— Рабочий человек вернее всякого,— сказал Степан.— Если бы кто проболтался, я бы до декабря не дотянул. Да нет, об этом не думайте!

— Значит, все-таки кто-то знает?

— Никто не знает ничего! — почти грубо отмахнулся Степан.— Ты запомни, милый друг: среди рабочих изменников всегда меньше, чем среди интеллигенции. Там косточки хрупкие, легко ломаются, а у нас кость тугая, гнется, да не хрустит.

Эти разговоры были знакомы, слышал такое же от одесских ребят, от Васьки Меркулова, от Макара Тетерки, да и от Ванечки, и у самого таилась под сердцем настороженность к интеллигенции и дворянским сынкам, но в словах Степана почуялось и другое: недоверие ко всему прочему народу, который не рабочие. А ведь Россия пока что страна сырая, крестьянская. Значит, что ж: недоверие к России?..

И как довершение разговора, который клонился к неприятному, к тому, что рабочие, дескать, не всегда бывают так прекрасны, как хотелось бы, Халтурин произнес задиристо:

— А нешто рабочие виноваты, что «Союз» развалился? Сам знаешь отчего. Только-только у нас дело наладится — хлоп! — интеллигенция опять кого-то шарахнула, и опять обыски, аресты. Поневоле задумаешь: как бы одним разом покончить. Тут другого конца не видно.

В тот день еще много разговаривали: о всероссийской рабочей организации, о которой Халтурин, теперь отчаянный террорист-одиночка, продолжал упрямо мечтать, и о «Северном союзе», растрепанном и почти уже погибшем, об Интернационале, о Марксе, о легальных и нелегальных, о том, что рабочий «Союз» должен строиться на легальности, тогда он может быть многолюдною силой, но легальные гибнут легко и быстро, ибо на дурном счету и полиция хватает их первыми. Потом Халтурин признался:

— А знаешь, Борис, отчего я решился на этот... как теперь ваши придумали говорить? На п р я н и к, что ли. Царя должен убить ра-

бочий. То есть чисто народный человек. Понял, почему? Потому, что царь народу изменил, а за измену — сам знаешь что. Пряник в глотку.

Потом встретились еще раза два. Андрей передавал Степану динамит в мешочках, тот подвешивал их на пояс, носил в штанах. Под рождество виделись последний раз. Степан был бледней и сумрачней обычного, но так же спокоен, нетороплив. Сказал, что мучается головой: верно, от динамита, который в подушке, исходят нитроглицериновые испарения и он за ночь надышится, встает как чумной. Андрей спрашивал: не достаточно ли? Нет, говорил, нужно еще. Направлялся в Пассаж: покупать невесте, дочери жандарма, подарок к рождеству... Перламутровое ожерелье заказано, китайской выделки, достать нигде невозможно, потому что модная вещь, барышни нарасхват берут.

Удалился степенно, пропал в толпе. А толпа на улицах — клокотанье, бег, рождественская толкотня, в лавках и магазинах народу невпроворот, иные купцы на волю вытацились, кричат, расхваливают под мелким снежком, внезапная оттепель, сырость, пахнет рассыпанной хвоей, горячим конским запахом, пороховым дымом детских хлопушек и праздником, окончанием поста...

Решили отпраздновать Новый год на одной из спокойных квартир. Всех томила жажда какого-то, пусть краткого, веселья, согнать напряженность, освободиться на миг. Декабрь вышел тяжелый по всем статьям: и потому, что схвачены Квятковский, Ширяев и в один день с Ширяевым Сергей Мартыновский, хозяин «небесной канцелярии», со всем своим багажом (бланками, паспортами, печатями); и потому, что пришлось срочно съезжать со старых квартир, искать новые, а это всегда задача нелегкая; и еще потому, что декабрь оказался месяцем раздоров. Очень много и нешуточно спорили. Непримиримо столкнулись Тихомиров с Морозовым, и каждому из членов Комитета нужно было стать на чью-то сторону. В начале декабря Тигрыч сказал Андрею, чтобы тот зашел в Саперный и поговорил с Воробьем и с Ольгой в н у ш и т е л ь н о.

— А то там назревает истерика.— И усмехался по-своему, подергивая краем губ.

В Саперном помещалась типография. Тайное тайных. Морозов и Ольга скрывались там, в безопаснейшем месте, после того как квартира их рухнула. В эти дни готовился набор третьего номера «Народной воли» с программой, и вот как раз из-за программы разгорался сырбор. Морозов обвинял Тихомирова в том, что тот исказил программу, принятую на Липецком съезде, склоняется к якобинству и чуть ли не к нечаевщине. Андрей считал это вздором. Не о том надо сейчас печься, не сюда направлять пыл и жар. Какая сию минуту может быть программа, кроме единственной? Видел бескровное лицо Халтурина, слышал его шепот побелевшими губами: «Еще рано... Не готово...»

— А ты с ними разговаривал?

— Я был там позавчера. Говорить невозможно.— Тигрыч махнул рукой.— Возбуждены, взвинчены, переполнены раздражением. Я узурпатор, Наполеон. Ольга кричала, что история мне этого не простит. Требуют срочного созыва Комитета...

— Ладно,— сказал Андрей.— Сегодня еду в Кронштадт, а завтра буду в Саперном.

Он уже привык к тому, что от него ждали помощи, обращались к нему как к судье и арбитру. Это получалось само собой. Почему-то считали, что именно он может поговорить в н у ш и т е л ь н о. И даже Тигрыч, этот желчевик, скрытно самодовольный и насмешливый, как-то легко и сразу склонился перед Андреевым авторитетом. Черт

их знает что на них действовало! Может быть, то, что он не умел хитрить, говорил то, что думал. А может быть, иное. Все не умели хитрить. Хитрецов среди них нет. Но вот что! Есть свойство очень важное, он им гордится, решающее свойство для деятеля: умение вырвать из гущи, из пестроты нечто главное и одно. Сегодня, в середине декабря 1879 года, этим главным был столяр в подвале Зимнего. Как же не понимать такой простоты? Сейчас все программы, теории, да и будущее каждого из них, и всей партии, и всей громадной российской махины зависят от того, удастся ли этому человеку, который лежит ночами на сундуке, задыхается от запаха нитроглицерина... И ни о чем другом Андрей не мог думать. Ночами не спал и пожирал мыслями, памятью, умом, всей силою воображения того, кто сейчас там, в подвале, на сундуке тоже не спит и кашляет, кашляет.

В Саперном прихода Андрея ждали. Гости бывали тут редко: может быть, один-два человека в неделю. Хозяевами считались Бух и Иванова, они иногда выходили на улицу, прислуга тоже, остальные сидели в квартире безвылазно. Остальные — два типографщика и Воробей с Ольгой. Вид у всех был болезненно-серый. Особенно поразил Андрея один из типографщиков, Лубкин: необычайно худой, бледный, безусый, он был похож на юного монашка, говорил тонким женским голосом. Звали его почему-то Птичкой. На Андрея набросились с вопросами. Особенно волновала судьба арестованных. Что слышно нового? Нет ли предательства? Андрей сказал, что о предательстве речи нет, говорят о неосторожности, о несоблюдении правил конспирации, но точных сведений ни у кого нет.

— Почему же дали себя арестовать? — спрашивала Соня Иванова. — Почему Александр не стрелял?

— Вероятно, не имел возможности.

— Торопился что-нибудь уничтожить, не было времени...

— Ведь знал, что ему грозит! — возбужденно говорила Иванова. — Я этого не понимаю. Нет, если придут за нами, мы не дадимся. Я первая буду стрелять!

— Думаю, он не хотел подвергать опасности Женю Фигнер, — сказал Морозов. — Если б ее не было рядом...

Молчавший все время Бух сказал:

— А меня беспокоит Мартыновский. Среди кучи бумаг, которые у него хранились, было что-то и нас касающееся. Но не могу вспомнить что именно.

Бух был великий молчальник, и если уж произносил слово — звучало значительно. Все задумались, стали вспоминать. Никто ничего не мог вспомнить.

Соня Иванова с дерзкой и безнадежной отчаянностью махнула рукой:

— Ах, как говорит один наш автор, *vogue la galéré!*<sup>3</sup> Будь что будет. Но я предупреждаю: я буду стрелять.

И она оглядела всех с какой-то мрачной торжественностью.

— Боже мой, Соня, о чем ты беспокоишься? Все будут стрелять, — сказал другой наборщик, Цукерман, пожимая плечами. — Почему бы нам не стрелять, если есть из чего?

Как Андрею хотелось сказать им, этим добровольным затворникам, каждую минуту ожидавшим нападения и гибели, о том, что нужно продержаться совсем немного, недели две-три, и произойдет величайшее событие, которое их освободит, взорвет их непосильную на-

<sup>3</sup> Пльвж, корабли (Франц.)

пряженность, их тюрьму! Но сказать невозможно. Единственное, чем он мог ободрить:

— Прошла неделя, и, слава богу, вы живы-здоровы. Будем надеяться...

— Неделя не срок,— сказал Бух.

И он был прав. Коля Бух, сдержанный и бесстрастный, как герой Купера, был среди типографщиков самым опытным: издавал еще первую нелегальную газету «Начало». Говорили, что он фанатик своего дела. Без наборных касс, запаха краски для него жизни не существовало.

Был еще путь, и Андрей предложил:

— А переехать на другую квартиру?

— Легко сказать! — Иванова засмеялась. — Ты знаешь, что это для нас — переехать? Со всеми бебехами? Кроме того, другой такой квартиры не найдешь во всем Питере. Она совершенно уникальна. Мы можем тут жить годами, и никто не заметит.

Но Андрей и сам мысленно возразил: переезжать сейчас — это значило затормозить выпуск газеты. Вот уж чего нельзя делать. Нет, они будут жить дальше, рисковать дальше и ждать нападения и гибели. Бух ушел в другую комнату, типографщики тоже ушли к себе, в глубь квартиры, заниматься делами, Соня с прислугой, простоватой на вид, но какой-то нервной, странно улыбавшейся девушкой, отправились с корзиной в лавку — Андрей встретил их на лестнице, они вернулись, чтоб с ним поговорить, — и в гостиной остались Морозов с Ольгой Любатович и Андрей. Воробей и Ольга, кажется, нетерпеливо ждали этой минуты.

— Я не хотел при всех,— начал Воробей вполголоса. — И вообще не хотел бы! Но нет другого выхода. Мы с Олей как два члена Исполнительного комитета требуем срочного собрания Комитета для обсуждения вопроса о программе. Лев пользуется нашим бессилием, тем, что мы здесь, на карантине...

— А какая для него польза? — удивился Андрей.

— Польза в том, что он обегал всех членов Комитета со своим текстом, всех убедил, а у нас руки связаны! — Обычная Ольгина цыганская смуглота побледнела от гнева. — Чего же он хочет? Получить еще одно такое же письмо, как от Маши Крыловой? Он дождется, я напишу.

— Не нужно никаких писем, нужно общее собрание. Откровенный разговор,— говорил Воробей, делая успокоительные жесты в сторону своей горячей подруги. Но сам-то был спокоен ничуть не больше, руки его дрожали, худое лицо, блестящие глаза выражали крайнее волнение.

— Я очень хорошо помню письмо тети Маши,— говорила Ольга. — Оно меня тогда, летом, поразило. Как можно, думала я, в таком тоне писать товарищам? «Не хочу допускать той нравственной пытки, которой вы меня угощали... Слушайте, господа, несмотря на ваши старания, вам не удалось еще поселить во мне ни вражды, ни злобы к вам». Что-то в таком роде. И лучше, мол, не добивайтесь этого. Женщину довели до грани, до катастрофы. Я не понимала. Но теперь вижу, как это делается.

— Ольга, успокойся! Нужно собрание, поговорить всем на чистоту...

— А газета будет ждать? — спросил Андрей.

— Да, да! Газета будет ждать! — крикнула Ольга. — Потому что решаются слишком великие вопросы! Может быть, судьба России!

Письмо Крыловой Андрей читал в августе. Написано оно было раньше в связи с расколом «Земли и воли» и по очень похожему по-



воду: Крылова была хозяйкою типографии и резко возражала против некоторых статей террористического направления, кстати, статей того же Морозова. Об этом Андрей и напомнил. Зачем ссылаться на Крылову, если она была недавней противницей? Тогда водораздел шел по линии террора, политических убийств и дело пришло к полному размежеванию. Что же теперь? Камень преткновения: политический переворот, захват власти. Расширенный текст программы, предложенный Львом и самочинно поставленный им для набора в третий номер, есть, как считает Морозов, уклонение в сторону якобинства. В программе, принятой на Липецком съезде, не говорилось о том, что партия ставит целью захват власти. Целью было — дезорганизацией и террором вынудить правительство предоставить народу самому выразить свою волю. «Народная воля» есть нечто иное, чем воля кучки заговорщиков, стремящихся захватить власть! Все морозовские статьи, написанные в последнее время, Лев под разными предложениями отвергает, гнет свою линию очень упорно. Тут наверняка влияние Марии Николаевны, она неисправимая якобинка, закваска Заичневского в ней сильна. Неверие в силы народа и даже скрытое презрение к народу — вот что это значит. Мария Николаевна однажды призналась, что не любит русских крестьян за их покорство и тупость. Да и сам великий теоретик Лев не очень-то верит в народ, а стало быть, и в революцию, о чем он как-то на квартире Марии Николаевны прямо сказал. Ольга тогда очень удивилась: «Зачем же вы работаете в революционном кругу?» Он сказал: «Потому что здесь мои старые товарищи». Для него главное — товарищи, кружок, кучка со своим кодексом жизни и смерти. Неужели Борису не ясно, что надежды кучки на захват власти, во-первых, безнравственны, во-вторых, эгоистичны и, в-третьих, что главное, неосуществимы? Если такова будет программа, тогда извольте изменить название: не «Народная воля», а какая-нибудь «Наша воля» или «Воля двухсот».

Воробей, говоря все это нервно, быстро, хотя по-прежнему вполголоса, чтобы не привлекать внимание работавшего в соседней комнате Буха, вертел в руках листки пробного набора передовой. Андрей знал эту передовую: ее сочинил Лев несколько дней назад и читал Андрею. О некоторых местах много спорили.

— Вот в этой статье, что у тебя в руках, — сказал Андрей, — есть места рискованные. Я сомневался: а нужно ли? Лев меня убедил. Дворник тоже. Там, где говорится о недостатке сочувствия. О том, что не только общество и народ остаются праздными зрителями борьбы, но даже... — Он взял у Морозова листок, нашел нужные строчки и дочитал: — «...но даже сами социалисты склонны взваливать этот страшный поединок на плечи одного Исполнительного комитета». Так? И дальше там примеры: в кружок рабочих-социалистов затесался шпион, рабочие жаловались, им сказали: «Что ж вы его не отправите на тот свет?» — «Да мы уж доводили об этом до Исполнительного комитета!» Замечательно! Как будто нельзя без помощи Комитета расправиться со шпионом. Такой же случай был с кружком студентов. Тоже обращались в Комитет. И Лев пишет: «Не может русский человек без начальства».

— Я хорошо все это знаю, — сказал Морозов. — К чему ты цитируешь?

— Эту передовую он написал отлично, тут спора нет, — сказала Ольга.

— Нет, спор был: я полагал, что мы обнаруживаем перед всеми свои язвы, слабость движения. Но меня убедили в том, что полезней об этом сказать открыто. Равнодушие и пассивность радикалов! Что же говорить о народе? Вы были бы правы, если бы у нас в запасе бы-

ло лет двести, триста. История движется слишком медленно, надо ее подталкивать. Захват власти есть подталкивание истории. Мы действуем от лица народа. И от лица народа ему же дадим конституцию и Земский собор.

— От лица народа! Нет ли тут самозванства?

— Нет, потому что мы от плоти народной. Мы — дети крестьян, землемеров, священников, фельдфебелей, дети бывших рабов, вольноотпущенников...

— Ой, Борис, до чего же любишь красно говорить! — Ольга поморщилась. — Тебе бы проповедником, а не революционером.

— А революция — это проповедь.

— Ну, хорошо, мы требуем общего собрания! — сказал Воробей с тем выражением капризного упрямства, которое сохранилось, видимо, с детских усадебных лет и временами вдруг у него проскакивало. Он даже шлепнул ладонью по столу. — И второе, друзья: подыскивайте нам квартиру. Жить здесь далее в качестве тунеядцев, без дела и без пользы, невыносимо.

Квартиру и паспорта им вскоре нашли. Собрание состоялось, на сторону Воробья и Ольги стали немногие, в их числе Соня Перовская. Было наговорено много резкостей. Ольга считала, что причина их неудачи — сговор, организованный Тихомировым. В то время как они сидели в Саперном в заточении, он обрабатывал членов Комитета, в особенности недавно принятых, не бывших на Липецком съезде, — Аню Корбу, Грачевского и Наталью Николаевну Оловенникову, сестру Марии Николаевны. Некоторые мелкие исправления в программе все-таки были сделаны, но суть ее осталась прежней — той, какую отстаивали Тигрыч, Дворник, Андрей. Целью ставилось — политический переворот, отъем власти у правительства и передача ее Учредительному собранию.

Подталкивайте историю! Подгоняйте, подгоняйте ее, старую клячу! Нельзя было терять время на долгие разговоры. Номер «Народной воли» обязан выйти в срок: это как появление адмиральского флага на броненосце, означающее готовность к бою.

А через неделю, две или, в крайнем случае, три...

Все, кто знал подробности, жили этим ожиданием, а те, кто не знал, неясно догадывались, что готовится нечто небывалое. И вот в таком состоянии смугного нетерпения и ожидания чего-то, когда раздоры и несогласия отошли назад, о них забыли на время, встречали несколько человек новое десятилетие. Никто не надеялся увидеть его конец, даже середину, даже один только год целиком. А ведь все были так молоды! И поэтому на круглом столе посредине комнаты поставили большую суповую чашу, наполненную вином и ромом, с кусками сахара, лимона и разными специями. Свечи были погашены, но когда зажгли ром, и возник одуряюще-сладкий спиртовой запах, и лица стоящих вокруг осветились багровым дрожжащим пламенем, Андрей вдруг почувствовал — он стоял вместе с Колодкевичем ближе всех к чаше, — что все эти лица, казавшиеся необыкновенно суровыми, все эти напряженные, направленные на пламя глаза объединяет нечто большее, чем любовь и ненависть, чем готовность умереть, чем даже идеи, которыми они живут. Это большее, это громадное, спаявшее воедино несколько человек — среди неисчислимости России, — нельзя было определить словами. Но Андрей чуял его кожей, как налетевший ветер, как нахлынувший внезапно ледяной жар, сердце его стучало, на глазах выступили слезы, кулаки сжимались, и, наверное, это же мгновенно и страстно передалось всем. Морозов выхватил из кармана кинжал и положил его на чашу, тут же Андрей положил свой кинжал накрест, кто-то еще, и Дворник, и другие, и Андрей за-

пел гайдамацкую: «Гей, подивуйтесь, добрые люди». И подхватили все: «Що на Украине повстало!» Когда жженка была готова, разливали в стаканы, чокались, обжигались, и вот пробило двенадцать. Все стали обниматься, целовались, рядом с Андреем была Соня Перовская. Когда он обнимал ее, чувствовал, как она дрожит. Она была как девочка, совсем маленькая, прижималась к нему в тесноте, твердость ее исчезла. Губы были холодные. Между ними ничего еще не было, но он знал, что будет. И — скоро, потому что жизни оставалось мало.

Потом кто-то предложил спиритическое гаданье с блюдцем. Со смехом стали готовить бумагу, написали буквы, сели вокруг стола. Первым вызвали дух императора Николая и задали вопрос: какой смертью умрет его сын? Блюдце долго невнятно кружило, понять ничего нельзя, неожиданно получился ответ: от отравы. Какая чепуха! Все были разочарованы. Ведь известно, что умрет от другого. Андрей вдруг сказал:

— Я предлагаю — за рабочего человека! За его удачу в новом году!

Те, кто знал, чокались и пили с особым воодушевлением, а те, кто не знал, тоже радостно поддерживали: да, да, за рабочего человека! За его удачу, конечно! За столом не было ни одного рабочего человека, но все понимали, что в конце-то концов они ничего не смогут и ничего не значат без него. Кто-то завел «Марсельезу», потом еще кто-то запел вполголоса стихи, положенные на музыку:

Я видел рабскую Россию перед святыней алтаря.  
Гремя цепями, склонивши выпю, она молилась за царя...

Вышли в снеговую черноту. Местный дворник в тулупе лежал перевернутым калитки. Андрей держал Соню за руку. Они шли быстрым шагом. Хрустела на морозе плотно утоптанная, твердая улица. Через час поднялись по железной лестнице на четвертый этаж, Соня открыла ключом дверь, вошли в продолговатую холодную комнату. Не зажигая огня, стали раздеваться. Потом Соня нашла свечу, осветила кровать с клетчатым пледом, жестяную миску на столе, кувшин и нож на тарелке. Отчего-то пахло керосином. И в этой комнате была любовь, не имевшая ни прошлого, ни будущего, ни надежда, ни рассвета. Очищенная от всего, она упала, как снег, и ее судьба была судьбой снега: исчезнуть.

Прошла половина января. В условленном месте Андрей встречался со Степаном, эти встречи становились все более тяжкими. Степан вел невыносимую жизнь. Было ясно, что долго не выдержит. Иногда он даже не хотел ни о чем разговаривать с Андреем, кивнет, буркнет сквозь зубы: «Ни черта...» — и пройдет не останавливаясь, как мимо чужого. Андрей шел следом, догонял где-нибудь в городе, в людном месте, пристраивался, терпеливо сносил мрачное и злое Степаново раздражение и кое-что узнавал. В январе порядки во дворце изменились, введены строгости, делают внезапные обыски, что-то ищут, выстукивают стены. Прямо объявили прислуге, что у арестованного социалиста найден план дворца с отметкой крестом на столовой. Что это значило, никто не понимал, но ничего хорошего, конечно, не могло значить. Поэтому — строгости, обыски. Придумали для дворцовых служащих и всех работников какие-то медные бляшки, без них не впускают, не выпускают. Воруют кругом по-прежнему, и его, Степана, заставляют воровать, иначе — подозрительный человек. Так что воруют помалу. Лачок воруют, кисти, инструментишко. (Степан постепенно разговаривался, раздражение и усталость спадали, он нервно веселел, рассказывал интересное.) Ведь он искусный полиров-

щик, лучше его во дворце нету, как-то послали работать в царские покои, и вдруг — вошел Александр. Степан обмер от неожиданности. Потом корил себя за минуту растерянности: в руках был молоток, один удар — и готово. И не нужны эти громоздкие и страшные предстоящими многими жертвами приготовления. Еще был эпизод, о котором Степан рассказывал с волнением. Ночью в подвал, где спали, с громом и звоном врываются жандармы. Подъем! Запалый свет! А у самих — фонари. Степан думал, что — конец, за ним. Оказалось, обыск. Но, как и все во дворце, обыск, к счастью, был дурацким, бесполовым. Поворошили сверху, постучали шашками и унеслись с тем же громом и звоном. Ух, напугали! Когда он улыбался, лицо становилось совсем юным, но улыбался Степан редко.

А иногда разговаривал с Андреем грубо, сварливо, с каким-то злобным задором. Андрей едва сдерживался, чтоб не ответить такой же грубостью. Он не прощал никому. Но тут усилием воли сминал самолюбие, терпел. Потому что — разве сравнить? Этот парень жил в чудовищном напряжении. Вся его нервность была от этого и от болезни, которая обострялась, он кашлял сильней. Споры возникали по одному поводу: мало динамита. Степан требовал больше, еще, еще, чтоб уж сделать за подлицо. Андрей считал, что достаточно, набралось уже около восьми пудов, техники — Кибальчич, Исаев — тоже полагали, что этого хватит.

— Лишний динамит — лишние жертвы, — говорил Андрей. — Этого нам не нужно. Партии нужен один царь.

— Один царь! Где я вам одного царя вылуплю? Скажут ересь! Поди попробуй! — Степан весь дрожал от нервности, чернел лицом. — Все равно будут жертвы. А вы как думаете? Будут, будут, человек пятьдесят, не менее, так и рассчитывайте. Ишь вы какие гладкие: одного царя!

Между подвалом и столовой был целый этаж, где помещалась кордегардия, жили солдаты расквартированного во дворце Финляндского полка. Кто-то из них непременно погибнет. Тут уж судьба распорядится: кто будет в тот миг нести службу, а кто отдыхать предсмертно в кордегардии. От мысли об этих несчастных Андрей не мог отвязаться. Поэтому, не желая увеличения динамитного запаса, да и попросту сокращая риск — каждый день был величайшим риском, — Андрей торопил Степана. Динамит хранился теперь в сундуке, на котором Степан спал. Из-за сундука тоже была история. Столяры, печник и надзиратель удивлялись, зачем Степану нужна этакая несуразная громадина, стоившая порядочно денег. Степан объяснил: хочет во дворце разбогатеть. И верно, он зарабатывал неплохо. А к рождеству получил даже сто рублей награды. Изображая из себя тупого, жадного деревенщину, деньги не тратил попусту, не пропивал, не прожирал, а покупал вещи, набивал ими сундук, пряча под скарбом, на дне сундука, мину с динамитом. Андрей поражался нечеловеческой выдержке: несмотря на все растущее напряжение, ежеминутный страх быть открытым, он продолжал упорствовать и копить динамит. Как истинный мастер, хотел уж сделать, так сделать: за подлицо.

Спорить с ним было совсем нельзя.

В одну из встреч сказал:

— Все, друг! Динамита больше не будет. Нету его, не сделано.

— Как же так не сделано?

— Ну, не сделано, не готово, у нас ведь не фабрика. А люди не машины. Тебе за глаза хватит — взрывавай.

Степан, сощурив красные веки, смотрел недобро.

— Не машины? А я, видать, машина.— Он помолчал, обдумывая.— Взрывать недолго, только будет ли прок. А ежели нет — кто виноватый?

— Прок будет. Нельзя тянуть, искушать судьбу... Готовься взрывать, ясно? Дождешься, жандармы опять придут.

Напоминание о ночном обыске подействовало. Хватил тогда страху. Хмурясь, вздыхая, с неудовольствием наконец согласился: ладно, все готово, теперь будет ждать удобного дня и часа. Вот если бы еще хоть фунтов пять динамитцу, тогда бы уж совсем за подал и ц о. Андрей обещал в следующий раз принести пять фунтов, дьявол с ним. И — *vogue la galerè!*

В середине января вышел третий номер «Народной воли»: тот самый, из-за которого ломались копыя. Утром Дворник прибежал на квартиру Андрея с пачкой номеров.

— Эта бомба пострашней иного покушения! — Дворник рассыпал по столу веером свежие, пахнущие краской журнальчики.— Все-таки молодцы Коля Бух с компанией. Гениально работают. Посмотрите, какая печать, какой набор! «Голос» не выходит с такой печатью, не говоря уже о «Ведомостях», хе-хе! А вы представляете, какие слова сегодня вечером будет говорить Александр Николаевич Александрович Романовичу?

Да уж, Дрентельну достанется! Ярость там будет неопишная: уже третий номер подлой газетки выходит не где-то в заграничных дебрях недостижимых, а в самом Петербурге, и концов не сыскать.

У Андрея ночевал Кибальчич. Все трое схватили номера, стали с наслаждением щупать, шуршать, шелестеть.

Отлично помнили, и все же Дворник читал вслух:

— Постоянное народное представительство... Широкое областное самоуправление... Самостоятельность мира! Вот что важно! Вот чему я очень рад, что это у нас впереди, третьим пунктом. Самостоятельность мира как экономической и административной единицы. Так! Принадлежность земли народу. Пункт пятый: система мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы и фабрики. Шестое: полная свобода совести, слова, печати эцетера... Седьмой: всеобщее избирательное право. Ну что ж, по-моему, превосходная программа! А? Как?

Дворник смотрел смеющимися глазами. Андрей с Кибальчичем согласились. Все были счастливы, что наконец это обнародовано и люди прочитают и поймут: партионцы «Народной воли» не просто террористы, разрушители, но люди твердых идеалов, знающие, чего хотят.

Было единственное, что удручало радостное утро: предстоящий разговор с Воробьем. Слишком их мало, чтобы трещины и разрывы не причиняли боли. Дворник условился о встрече в трактире на Лиговке в час дня.

Когда Андрей и Михайлов туда пришли, Воробей уже сидел в углу, отгороженном низкой деревянной оградой и грязным куском парусины, что делало столик обособленным от остального зала. Низко нагнув лохматую голову, Воробей погрузился в газетный лист. Кажется, все трактирные газеты ворохом лежали на его столике. Дворник и Андрей начали наперебой расхваливать новый номер, Воробей слушал рассеянно, потом сказал:

— Вы говорите так, будто я автор и принимаю поздравления. Вы же знаете, что роль моя сведена к минимуму: хроника преследований и тетради Николая Васильевича, которые я получаю от тебя, Саша. Холодовский Михаил Ефимович, лет за тридцать восемь, роста среднего, лицо красноватое, нос неправильной формы, усы, заметны следы нетрезвой жизни. Жена его, слушательница акушерских кур-

сов, молодая женщина, тоже шпионка... Да боже мой, с этойкой литературой справится первый встречный!

— Ты написал отличную хронику,— сказал Андрей.— Не при- бедняйся уж так.

Воробей поглядел на Андрея внимательно и, как показалось Анд- рею, насмешливо.

— Спасибо, Андрюша. Премного тебе благодарен. Но дело-то в том, что в трех номерах я сумел напечатать только одну по-настоя- щему серьезную статью — «По поводу казней», во втором номере. Остальное забраковано. Да, возникли разногласия, и серьезные. Что же мне делать? Хорошо, я уйду из редакции и отправлюсь с Ольгой, ну, хотя бы на юг. Работать среди молодежи вы мне разрешите?

— Нет,— сказал Дворник, помолчав.— Наверное, нет, Коля.

— Потому что ты ведь против программы,— сказал Андрей.— Против Земского собора. Что ж ты будешь говорить молодежи?

— Да, верно, верно...— Он кивал грустно.— Буду говорить то, что думаю. Что Земский собор — утопия, мечта, которая принесет вред, ибо отдаст власть другим поработителям, в других шляпах, с другими эполетами.

— А мы считаем, что собор выразит волю народа,— сказал Анд- рей.— Верим, что девять десятых его составят крестьяне, люди наших взглядов на землю.

— Наивность. Вам не останется иного выхода, кроме как дек- ретировать ваши взгляды.

— Наше декретирование будет лишь оформлением бессознатель- ного народного чувства.

— Декретирование — это великий риск. Централизация и декре- ты — вот где наша погибель.

— Не погибель, а единственная возможность победить.

— Ну, значит...— Воробей засмеялся и развел руками.

— Значит, ты не можешь, Коля, ехать на юг и работать там от имени партии.

Потом разговаривали о другом. Воробей был подавлен. Андрей жалел его, но иначе поступить было нельзя. Воробью подыскали на- конец новую квартиру, и они с Ольгой собрались завтра переезжать. Вот об этом и разговаривали, и Дворник, как всегда, давал умнейшие советы.

А через три дня Дворник разбудил Андрея сообщением: типогра- фия провалилась! Он пошел в Саперный рано утром и, как делал обычно, прежде чем войти в парадное, на миг остановился на другой стороне улицы и поглядел на окна квартиры четвертого этажа: есть ли знак безопасности. Окна выходили в узкую щель, в торец сосед- него дома. Расположение квартиры всегда так радовало обитателей! Хоть и свету мало, зато никто не заглядывает, перед носом кирпич- ная стена. Не то что не было знака безопасности — не было самих окон: выломаны «с мясом», с рамой. На земле валялись осколки. Главный сор и стекло подмели дворники, но кое-что осталось. Видно, окна выбивались наспех, в последнюю предарестную минуту, что-то выбрасывали, и — предупредить. Все это Дворник сумел оценить в секунду и прошел дальше. В доме наверняка была засада. Только к вечеру узнались подробности. Полиция пришла ночью с парадного хо- да. Из квартиры стали стрелять. Пристав Миллер вызвал отряд жан- дармов из казарм на Кирочной, начали правильную осаду, длилось долго, стреляли с обеих сторон. Птичка, молоденький, похожий на тонкошею монашка, застрелился, остальных схватили. Кажется, храбрее всех вела себя и упорно отстреливалась Соня Иванова. Вот и конец. То, о чем старались не думать, произошло.

Андрей еще днем, как только узнал от Дворника, побежал на новую квартиру к Воробьям и передал новость. На обоих подействовало сокрушительно. Опять чудом спаслись! Ольга, обычно несколько суховатая и резкая, не могла сдержать слез.

— Господи, как жалко! И Колю, и Соню, и всех! А бедный Птичка... Такой молчаливый... И никто о нем толком ничего не узнал.

Реакция Сони Перовской была мгновенной, в духе Перовской.

— Они в крепости? Надо продумать, нельзя ли попытаться спасти.

— Эти времена прошли,— сказал Андрей.— Когда-то пытались. Теперь — шиш. Они научены. Но есть, правда, возможность, на которую я надеюсь.

Да, в эту возможность верили. Громадный взрыв, всероссийское ошеломление, хаос, переворот. Тут могло быть спасение всех, кто сейчас в крепости. Но Соня сказала вдруг одну вещь, когда они остались вдвоем, поразившую Андрея:

— И только Соня Иванова, наш милый Ванька, испытывает сейчас какую-то странную радость...

— Почему? — не понял Андрей.

— Без Саша Квятковского у нее не было жизни. И ребенок не радовал. Я знаю, я ее видела дважды после Сашиного ареста. Поэтому она шла на все, она отстреливалась, она готова была погибнуть...

— Но ведь с нею вместе погибло дело.

— Да. Но... Это очень глубоко женское, и ты, может быть, не поймешь...

— Пойму.

— Нет, не радость, а какая-то, наверно, бессознательная тяга: соединиться с ним. Понимаешь? (Он обнял ее.) Под одну крышу. Пускай даже это крыша крепости.

И каждый день теперь значил не только приближение казни тирана, но и — спасенье друзей. К концу месяца Степан набрал все-таки динамита почти девять пудов. Теперь уж Кибальчич, ученый взрывальщик, изучивший Зимний дворец по книгам и определивший нужный заряд математически, сказал: довольно. Андрей передал Степану шнур и трубку с особым, медленно горящим составом. На его горенье, как сказал Кибальчич, должно уйти двадцать минут.

— Успеешь за двадцать минут уйти? — допытывался Андрей.

— Успею! Как раз рихтих, аккурат, как немцы говорят.— Степан был возбужден и даже весел в последние дни. Теперь уж и он стремился к концу.— Я по часам смотрел. До Адмиралтейской площади, вот до тебя, где стоишь, ровно шестнадцать минут.

С 30 января каждый день ждали взрыва. Нужно было совпадение двух условий: чтобы царь находился в столовой и чтобы в эту минуту в подвале не было людей. Царь приходил обедать около шести, иногда чуть раньше, чуть позже. Андрей обязан был ежедневно дежурить на площади с четверти седьмого и ждать Степана. Начались дни последнего напряжения. Нужные условия никак не совпадали. Андрей замучился ждать, а на Степана было тяжело смотреть. Веселость его давно пропала. Он подходил мрачный, бурчал: «Нельзя было» — или: «Никак не готово» — и Андрей не решался спрашивать: почему? Так длилось неделю, до 5 февраля.

Это был темный, метельный день. Говорили, что на дорогах заносы. На некоторых улицах не ходила конка.

Ждали приезда принца Александра Гессен-Дармштадтского, брата императрицы, и его сына Александра Баттенберга, нынешнего князя Болгарии. На шесть был назначен обед: семейный, в Желтом зале третьей запасной половины дворца. Поезд из-за снежных заносов опоздал и пришел лишь в три четверти шестого. Придворные ждали карету принца со стороны Салтыковского подъезда, все крайне нервничали, государь не терпел опозданий, и, кроме того, ощущалось, что он как бы заранее раздражен и утомлен предстоящей встречей. К шурина государя относился холодно. Внезапно пришло известие, что принц по чьей-то оплошности прибыл к другому подъезду. Заведующий дворцом генерал-майор Дельсаль побегал на другую половину, какие-то мелкие церемонии нужно было срочно менять, возникла неловкость, мерещилось ледяное, с застывшей уничтожительной улыбкой лицо царя. Александр в своих покоях ждал прихода князя Голицына с известием о прибытии высоких гостей и действительно — чутье сановников не обманывало их — испытывал раздражение. Давно забытые сентиментальности сорокалетней поры: когда-то была юность, мечты, поездка в Европу с Кавелиным и Жуковским, двор в Дармштадте и пятнадцатилетняя девочка, ошеломившая мгновенно, насмерть, небывалой романтической любовью в духе Бюргера, и ее брат Алекс, *braver Bursche*, долговязый охотник, стрелок, собиратель монет. Девочка стала русской императрицей Марией Александровной, а ее брат сначала стал кавалергардом русской службы, потом генерал-майором, потом служил австрийцам, неудачно воевал с пруссаками и кончил тем, с чего начал: величайшей чепухой, собиранием монет. Жалкий человек прислал несколько лет назад описание своего «Мюнценкабинета», коллекции монет, изданное в трех томах в Граце. Этот захудалый немецкий род был случайно облагодетельствован: просто колесница истории по прихоти судьбы прокатилась через Дармштадт, и были юность, весна, спектакли в шлоссе, казачий мундир, пятнадцатилетняя свежесть. Теперь бывшая девочка, родившая ему восемь детей, лежала в своей спальне в образе безнадежно больной и довольно уродливой старухи. Ее мучили припадки удушья. Жизнь ее, полная многих радостей и дивных императорских удовольствий, подошла к концу. И сегодня на семейном обеде, как ни горестно, императрицы не будет. Ее брат и племянник сделают непроницаемо-кислые, гессенские лица, когда им сообщат об отсутствии императрицы. Теперь он знал, что томило: ожидание этой гессенской кислятины на физиономиях родственников. словно некто виноват в болезни императрицы. Разумеется, все последние сплетни о Кате, о том, что во дворце скрыты ее тайные покои, сегодня же вечером будут им переданы. Мой бог! Хоть немного понять и разделить те страдания, ту великую тяжесть, что он принял на себя как отец миллионов русских людей, им не дано, это выше их кляйнштадтского разума, но зато они будут полны безмолвной и напыщенной укоризны.

Чем долее задерживался приезд генерала от нумизматики, тем сильнее росло раздражение Александра. Сияющая цветами и виньетками карточка обеденного меню казалась глупой. Устрицы? Окс-тейль и эстрагон? Пирожки? Какая мерзость: пирожки! Пользуются его рассеянностью. Форель гатчинская. Шофруа из цыплят. Барашки. Бараний вкус Адлерберга. Мандариновый пунш. Пудинг Нессельроде. Меню всегда кажется глупым, когда к обеду опаздывают. Эту остроумную мысль он решил приберечь для застольной беседы: надо же как-то кольнуть эти толстые гессенские ляжки. И в ту минуту, когда он вдруг задумался о третьеводняшной записке Шувалова насчет борьбы с нигилизмом и о его предложении вызвать редакторов, в ка-



бинете с шумной одышкой, слегка выпучивая глаза, появился Голицын и прокричал как о светлом празднике:

— Его высочество принц Александр Гессенский прибыли со станции во дворец и ожидают ваше величество в малой фельдмаршальской зале!

Император направился навстречу гостю.

Спустя две минуты, когда дружная российско-немецкая familie входила в столовую, взорвалась земля, померк свет, пронзил леденящий ужас, и император умер, но через секунду воскрес — в полной тьме, среди грома, криков людей и удушающей пыли. Император побежал по лестнице наверх, в комнаты княгини, полагая, что она погибла, но Катя, живая, бежала ему навстречу, крича: «Саша! Сашенька!» — и они обнялись в темноте, как могли бы обняться в раю на другой миг после смерти.

Андрей расхаживал вдоль ограды Александровского сада, ожидая, как обычно, около двадцати минут седьмого появления со стороны дворца высокой фигуры Степана. Тот несколько запаздывал, и Андрея охватило волнение предчувствия. Вдруг увидел Степана. Тот шел своим обыкновенным размашистым шагом, но без особой спешки, именно шел, а не бежал (а Андрею казалось, что если произойдет, то Степан должен побежать, во всяком случае, эту последнюю сотню шагов пробежать, значит, опять неудача, волнение сникло) и, подойдя к Андрею вплотную, сказал очень спокойно:

— Готово.

Через полминуты раздался грохот взрыва. Они оба, уже направлявшиеся прочь от Дворцовой площади, остановились и оглянулись. Во дворце погас свет. Оттуда доносились крики. Какие-то люди бежали через площадь, которая вмиг стала темной, как ночью. Понять, что там и как произошло, было сейчас невозможно. Ждать рискованно. Андрей повел Степана к ожидавшему извозчику, своему человеку, и — помчались.

В квартире на Большой Подъяческой, где было приготовлено убежище, Степан спросил:

— Оружие есть? Я живой не дамся!

Оружия было достаточно. Аня Якимова, землячка, хлопотала вокруг самовара, ставила на стол закуски, но Степан отмахивался:

— Чай не хочу! Только пил! Ничего не хочу!

Его спокойствие, так поразившее Андрея, исчезло. Теперь он не мог ни сидеть, ни лежать и кружил не останавливаясь по комнате, рассказывал одно и то же: как протекали минуты перед взрывом. Как ему непременно нужно было помешать тому, чтоб зажгли лампу, а они, черти, все норовили зажечь. И тут еще печник Аверьянов зашел и спрашивает: «Чего вы впотьмах сидите?» Понять рассказ было трудно, и всех трясло дикое, пьяное возбуждение. И думали совсем о другом. Итак, этой медленной колымаге дан могучий толчок! Не иначе перевернется! Завтра утром Россия вспрынет ото сна: новый император? Новое правительство? А может быть — республика? Земский собор?

Андрею не терпелось побежать в город, на улицы, чтобы узнать: что же там рухнуло, под обломками?

Степан же все твердил про какого-то печника Аверьянова, столяра Богданова, как они сидели с пяти часов в подвале, пили чай, и никак их, чертей, не прогнать было на вечернюю работу, а другой столяр, Разумовский, такая гнида, все хотел зажечь лампу, а Степан на него кричал, чтоб не трогал, потому что керосину мало, а если фитиль поднять, то лопнет стекло, а сам следил за часами, время

было половина шестого, они все не уходили. Ведь о них, чертях, заботился. Наконец Богданов ушел, печник Аверьянов ушел, а Разумовский хотел достать из шкафчика петли и замок для шкатулки, которую он делал, Степан опять на него закричал и зажег огарок свечи и тотчас же потушил. Потому что, если б горела лампа, еще бы дураки набежали, и тогда уж конец. В шесть часов семейный обед с немецким принцем. Наконец около шести ушел Разумовский, но тут пришел еще какой-то и спрашивал, дома ли Петроцкий? Петроцкий, надзиратель, дома как раз не был...

Андрей побежал на тайную квартиру, где мог быть Михайлов. В Петербурге все шло чередом. Метель прекратилась. Дворники сгребали снег, лавки торговали, в ресторанах играла музыка. Богатые кареты стояли перед театром.

Михайлов оказался на месте. Он знал о взрыве, но ничего о результатах. В глубине комнаты на диване сидел и курил в черной шерстяной фуфайке, в сапогах Андрей Пресняков. Они не виделись с Александровска.

Пресняков смотрел пристально своим недвижно-светлым, водянистым взглядом — не на Андрея, сквозь.

— Теперь я братишку устроить не смогу. Ты, Митрич, похлопочи,— сказал Пресняков.

— Непременно,— сказал Дворник.— Я записал.

— Ты через Грачевского. У него есть мастер знакомый, золотых дел...

— Не волнуйся! Устроим твоего братишку.— Кивнув на Преснякова, сказал Андрею: — Вчера казнил предателя Жаркова, Сашку саратовского. На невском льду. Так что будет теперь скрываться, как и Степан.

Это было идеей Дворника: одновременно со взрывом во дворце убить шпиона. Половина замысла удалась, шпион заколот. А что же с императором?

И только поздним вечером пришло известие от Кибальчича, который был связан с газетами: император и вся его семья живы. В нижнем этаже в помещении гауптвахты погибло одиннадцать солдат и около пятидесяти ранено, в их числе несколько человек дворцовой прислуги.

Степана это известие сразило. Он на глазах помертвел, когда в полночь пришел Андрей и сказал. Силы оставили, повалился на пол и лежал, обхватив руками голову. Подняли, перенесли на кровать. Он стонал:

— Ведь говорил же... Борису никогда не прощу...

Наутро Россия не воспрянула ото сна. Император остался прежний. В конке публика разговаривала о смягчении морозов, о заезде медиумы, о рысистых бегах на Неве, где первой пришла кобыла Венгерка графа Адлерберга. Но в глазах людей горело жуткое тайное любопытство: хотелось скорее выскочить из конки и к кому-то бежать, передавать, узнавать, советоваться, изумляться, восхищаться.

## ГЛАВА VI

Стали кругами расходиться слухи, разговоры, догадки и совершенно достоверные, из первых рук, известия. Например, о том, что все дворцы минированы и скоро начнут взлетать на воздух. Невский тоже минирован. Ждут сигнала не то из Варшавы, не то из Женевы, и как сигнал придет, сразу — бух. Многие из городских обывателей, у кого была возможность, потянулись из проклятой столицы в дерев-

ню. Говорили, что дороги из Питера перекрыты. На вокзалах обыскивают. Ищут какого-то мужика с громадной черной бородой, но она у него фальшивая, иногда ходит вовсе без бороды, в золотых очках и в цилиндре, так что поймать невозможно. Мужик этот, который, конечно, вовсе и не мужик, работал в царском дворце главным надзирателем, поставленный туда из Третьего отделения, но всех обманул, и тех и этих, мину нафуганил и был таков. Все эти и многие иные подробности Андрей слышал в трактирах, на Сенной, в Гостином дворе. Но притекали и более существенные сведения.

Граф Адлерберг, как передавал Тигрыч от некоторых своих знакомых, легальных журналистов, сильно подорвал кредит тем, что отказывал Гурко в обыске дворца полицейскими силами. Не хотел, чтобы открылись тайные покои княгини Долгорукой. А между тем найденное у Квятковского «кроки» Зимнего с подозрительными отметками не давало покоя. Гурко вызывал Дельсаля, вызывал полицмейстера Комарова, всем совал в нос загадочный рисунок, чуял солдатским чутьем, что тут скрыто мерзкое, но настоящей тревоги возбудить не смог. Обыск проделывала специальная дворцовая полиция, ротозей, безответственная и наглая публика, и вот результат. Балканский герой лишился губернаторства. Но главная монаршья ярость обрушилась на Третье отделение. Было ясно, что участь этого учреждения решена. По некоторым сведениям, просочившимся из дворца, император, подавленный и растерянный, мучимый припадками астмы, проводил почти непрерывные совещания с ближайшими сановниками, министрами и вызванными в столицу генерал-губернаторами из других городов. Харьковский губернатор граф Лорис-Меликов проявил, как говорят, наибольшее хладнокровие и в то время, как прочие сановники, охваченные паникой, бормотали невразумительное, предложил программу: обеспечить единство распорядительной власти. Создать учреждение с самыми широкими полномочиями и поставить во главе одного человека. Рассказывали, император востепенулся, вышел вдруг из состояния мрачного оцепенения и, указывая на армянского графа, сказал: «Этим человеком будешь ты!» Так была создана Верховная распорядительная комиссия во главе с Лорис-Меликовым.

Странные дни! В партии царило уныние: гибель типографии, аресты лучших работников, неудача со взрывом. Но и во вражеском лагере было невесело. Если революционеры хозяйничают в царском дворце как у себя дома, то — кто же хозяин в стране? Кто истинный император — Александр II или Исполнительный комитет?

Прошла неделя, другая, появились иностранные газеты с подробным описанием русских событий, с картинками паники и ужаса, охвативших петербургских вельмож, и сделалось очевидно, что унынию предаваться не следует. И Андрей сказал Степану, который все еще был тяжело удручен: неудача со взрывом дворца есть на самом-то деле величайшая и весь мир ошеломившая удача. Степану показали газеты. Он немного ободрился. На улицах слышались полные трепета разговоры о Комитете: в том смысле, что теперь, мол, для него нет ничего невозможного. И донесся из-за границы отклик Жоржа Плеханова, неуступчивого противника, в январе покинувшего Россию: «Остановить на себе зрачок мира — разве не значит уже победить?»

— Нет, не значит, далеко не значит, — говорил Андрей на заседании Комитета, пожалуй, единственный не разделявший радости от того, что вождь «Черного передела» склонил голову, изъявил восторг. — Потому что дело надобно довершить. А наш уважаемый Жорж в форме восторженного признания как бы призывает нас:

остановитесь! Вы уже победили! Нет, господа, мы находимся лишь на пути к победе и останавливаться не должны.

А все же неисцелимая горечь: так долго, так кропотливо готовиться, превозмочь столько трудностей, проявить такую выдержку нечеловеческую...

Было решено начать подготовку к новому покушению на царя: в Одессе, куда царь поедет весной по дороге в Ливадию. В Одессу направляли Веру Фигнер и Саблина, немного позже к ним должны присоединиться Перовская и техник Исаев. Все меньше делался круг бойцов: одни гибли, другие уезжали. Незадолго перед взрывом уехали за границу Морозов и Ольга Любатович. Андрей их провожал. К Воробью он испытывал дружеские чувства еще со времен Большого процесса. Поразило мужество, с каким этот юноша, на вид тщедушный, порвал со своей средой, богачами, аристократами. По-видимому, в характере была эта твердость: расставаться решительно. Что можно было сделать? Андрей уговаривал повременить, но — вяло, понимая безнадежность. Пойти им на уступки было нельзя, они же не соглашались на третьи роли. Воробей со смехом рассказывал, как Михайла предложил ему дело: вырезать печати. Ничего себе «дело» для террориста! Интересно, кому пришла такая блестящая мысль? Андрей торопил: нужно было уехать до взрыва, а взрыв мог быть каждый день. Они успели.

В Кронштадте был дом, куда Андрея зазывали много раз в гости, и, кажется, вполне искренне и хлебосольно: дом Сергея Дегаева, отставного артиллерийского офицера. С Дегаевым Андрей познакомился еще осенью через семью моряка Николая Суханова, а к Суханову он явился почти сразу по приезде из Александровска в Питер: сестра Суханова Ольга Евгеньевна Зотова была женою хорошего приятеля Андрея по Одессе и Крыму Коли Зотова. Так завертелось это знакомство, очень важное. Андрей еще в Одессе год назад — всего год! а будто десять прошло, так переменилась жизнь, е го жизни! — понял, что без военных никуда не денешься, если думать о восстании всерьез. Без их опыта, дисциплины, оружия.

Тогда, в конце ноября, Николай Суханов еще не был таким готовым на все, убежденным революционером, каким стал теперь, к февралю. Тогда он был просто ожесточившийся, разочарованный в своей службе и в будущем человек. Он вернулся с Дальнего Востока, где служил офицером в Сибирской флотилии. Служба длилась несколько лет. В последний год Суханов был назначен ревизором на одно из судов и сразу же столкнулся с чудовищным произволом и казнокрадством. В заграничном плаваньи командиры, старшие механики, а заодно и ревизоры привыкли наживать целые состояния. С помощью ложных ведомостей и фальшивых справочных цен на уголь — при содействии консулов и подрядчиков, которые, разумеется, получали свой куш, — они легко загребали большие деньги. Суханов отказался подписывать фиктивную квитанцию. Командир корабля ему угрожал. Старшие механики обещали: камень на шею — и за борт. Суханов упорствовал. Дело дошло до суда, на котором другие командиры, такие же прожигатели угля, стремились выгородить своего коллегу, но все же были вынуждены временно отстранить его от командования. Суханова же, придравшись к какой-то формальности, отставили от производства в следующей чин.

Он приехал в Питер переполненный гневом, уязвленный и в таком состоянии — говорил о своей службе на Востоке только с проклятиями! — познакомился с Андреем. Было нетрудно объяснить, что гниль и воровство, цветущие в Сибирской флотилии, есть лишь ма-

ленькая деталь общей картины разложения. Те же воровство, продажность, та же спайка худших людей, убиение лучших царят повсюду: в армии, в министерствах, в судах, в земских учреждениях. Мичман Луцкий, сербский доброволец, рассказывал о порядках в «Освободительной армии»: интенданты занимались дневным грабеджом и никакие протесты не помогали. Ничего нового. Об этом говорила вся Россия. Но чем помочь? Как переделать все это, чтобы порядочные люди могли порядочно жить? Суханов в Сибири познакомился с политическими ссыльными. Да и в юности в морском училище принадлежал к «китоловному обществу», имевшему туманные поползновения к революции или, во всяком случае, к переустройству мира на разумных началах.

Он был высок ростом, строен, белокур, с каким-то особым обаянием доброго, мягкого, но в чем-то непреклонного человека. И Андрей, кажется, понравился ему сразу. Это Андрея не удивляло. Он знал за собой: уметь нравиться. Но — людям определенного склада. Зато были другие — и это тоже хорошо знал, — которые, ни о чем не догадываясь, сразу, на дух, не принимали его. Вокруг Суханова собирались, к нему тянулись.

Люди с обостренным чувством совести всегда группируются вокруг себя невольно, по странным законам человеческого тяготения.

— Что будем делать? — спрашивал кто-нибудь из гостей, приходя с мороза, озябший, в теплую квартиру, где всегда ярко горели свечи, кто-то играл на рояле, кто-то разливал морской шотландский напиток и пахло сигарами.

— Как что? Писать конституцию! — говорил Суханов.

И приносил бумагу и карандаш. Все смеялись. Это была шутка, ставшая, впрочем, навязчивой. На бумаге записывались робберы. В один из первых вечеров между вистом, напитками и молодым балагурством — среди гостей были две барышни, подруги Ольги Евгеньевны по консерватории, — разговор неожиданно затеялся всерьез. Моряки стали жаловаться на невзгоды офицерской жизни: притеснения командиров, оскорбительный тон, один стрелял в старшего по чину и попал на каторгу, другой, не выдержав, покончил самоубийством. Но главная беда: материальное положение. Даже необходимые расходы не покрываются жалованьем. Все четверо моряков, что были в комнате, оказались в долгах. А как иначе жить? Простой ремонт одежды требует ежегодно рублей сто пятьдесят — двести, взять их офицеру негде. «Удивительная страна Россия!» — думал Андрей, слушая эти признания. Барышни ввиду позднего часа ушли, кто-то поехал провожать. Поразительная страна! Третью бюджета тратится на войско, становой хребет, на войске все держится, вот на этих вышколенных с детства служаках, и если уж они недовольны... Кому же сладко в этой стране? Поэт был прав, мучаясь над загадкой. Понять сие немислимо. Царю, кажется, тоже невелика радость жить, когда взрывают на дому и взорвут — теперь уже ясно — непременно.

Моряки заговорили о революционных делах. Представления были весьма смутные, ничуть не яснее обыкновенных обывательских, но эти дела и таинственные фигуры их, как видно, интересовали. Суханов, знакомя Андрея, намекнул на то, что Чернявский — так звался Андрей — имеет какое-то отношение к тем людям. Кто-то из офицеров спросил:

— Чего же вообще эти господа хотят?

И Андрей прочитал тогда целую лекцию морякам, свою первую лекцию о сути социальных идей, о том, чего «эти господа хотят», его слушали со вниманием, но, как он заметил, без особого энтузиазма. Чего-то он не учел. Не нашел верного тона. Говорил о том, о чем

привык говорить с рабочими, студентами: о необходимости сбросить «нравственный гнет и рабство». Но офицеры, несмотря на их недовольство, все же не чувствовали себя рабами. И еще другое. Суханов сказал Андрею, когда они остались вдвоем:

— Вы их соблазняли лучшими видами на их личную жизнь. Это не совсем то, что может воспламенить. Поймите, мы все, дворянского отродья, несколько романтичны. И хотя мы жалуемся, и ворчим, и сидим в долгах, но зажечь нас может одно: самопожертвование!

Потом была другая сходка, на той же сухановской квартире. Андрей приехал с Колодкевичем. Суханов заранее пригласил гостей, объявив, что у него будут «очень хорошие люди». Пришло много моряков, человек пятнадцать. Теперь все произошло не так непроизвольно и как бы случайно, как в первый раз, а открыто, четко, по-военному. После нескольких минут общей пустой болтовни Суханов вдруг встал и, обращаясь ко всем, сказал:

— Господа, эта комната имеет две капитальные стены, две другие ведут в мою квартиру. Мой вестовой — татарин, почти ни слова не понимает по-русски. А потому нескромных ушей нам бояться нечего и мы можем приступить к делу.— И к Андрею: — Ну, Андрей, начинай!

За несколько недель они перешли на «ты», Суханов знал теперь настоящее имя Андрея. Но, как у всех военных, нелюбовь к конспирации была у него какая-то упорно-болезненная. Скрывать и мифифицировать не умел, не любил и, кажется, в глубине души считал делом непорядочным. По этому поводу уже были столкновения. И вот: звал то Борисом, то Андреем, а то Тарасом, как Андрей стал называть себя зимой. Желябов поднялся и заговорил просто, как о деле самом обыкновенном и житейском:

— Ну что ж, господа, если вас интересует, как сказал Николай Евгеньевич, программа и деятельность нашей партии — извольте, я расскажу. Мы, террористы-революционеры, требуем следующего...

При словах «террористы-революционеры» в комнате наступило поистине могильное молчание и все уставились на Андрея с изумлением и, кажется, даже слегка оторопев. Он понял, что большинство моряков не ожидало таких категорических определений от «очень хороших людей». Один молоденький мицман сделал порывистое движение встать, но остался сидеть. Андрей валил все в открытую. Он испытывал тот особый, отчаянный подъем всех сил души, когда не задумываешься о последствиях, когда не разум и логика говорят за тебя, а смелость и правда. О чем он говорил? О бедствиях России. И о том единственном пути, который был у русских людей, чтобы выжить и победить. Говорил о могуществе партии, поставившей для себя девизом волю народа. О ее громадных возможностях, связях в обществе, отделениях в других городах, друзьях за границей, о бесколебательной уверенности в том, что очень скоро — невероятно скоро, не стоит говорить, как скоро, ибо могут не поверить,— все в России основательно переменится.

Наверно, было безумием говорить все это людям в военной форме, в большинстве незнакомым, которые смотрели на него в ошеломлении. Но Андрей не мог остановиться. Его «заносило», как бывало в юности на одесских студенческих сходках, кончавшихся потасовками. А если начнут возражать, он станет говорить еще резче! Он скажет им, что высшее рабство есть служение тому строю, который считаешь несправедливым, и что все они, носящие мундиры русской службы, должны отвечать за прелести самодержавия, за высылки, рудники, за Чернышевского, за поляков... Но моряки не возражали. Слушали молча. По лицам было видно, как что-то у них внутри в глазах непреодоли-

мо меняется. Андрей чувствовал: в них переливаются его одушевление и азарт. Это были совсем не те люди, что час назад пустословили, сыпали анекдотами и спорили о вокальных и иных достоинствах мадам Рейналь. Андрей ощущал привычную и сладкую власть. Он знал, что если крикнуть сейчас: «В ножи!» — или: «Взломать цейхгауз, забрать оружие!» — или же: «Поднять якоря и ввести корабли в Неву!» — они встанут как один и пойдут за ним в сей же миг. Но еще через час, два, когда кончится сходка, — исчезнет угар, остынет кровь, померкнут глаза, и они вернутся назад, даже не к мадам Рейналь, а к своим долгам, невестам, к бедным матерям в захолустных деревеньках и к страху потерять, лишиться, пропасть.

И только немногие из них, как Коля Суханов, на щеках которого горят воспаленные пятна...

Нет, было несколько человек, кого Андрей зорким глазом приметил: Карабанович, живший на квартире Суханова, Завалишин, Серебряков, молодой артиллерист Дегаев. На этих, кажется, можно рассчитывать. Когда начался общий разговор — о программе, — они с удивлением признавались, что не ожидали того, что революционеры требуют Учредительного собрания и национализации земли. Полагали, как видно, что революционеры лишь разрушители. Милое дело! Нечто вроде разъяренных горилл.

— Если бы не пункт о терроре, — сказал один моряк, — я бы тотчас подписался под вашей программой.

И в тот вечер так думали, кажется, все.

Суханов был в восторге от речи Андрея, от впечатления, какое тот произвел на моряков, и в следующую встречу пообещал набрать в Кронштадте среди офицеров триста человек в партию. Андрей его охладил. Если бы тридцать, было б великолепно. Многие ли из тех, что горячились в тот вечер и хотели подписаться под программой, искали с Сухановым встреч, ждали продолжения? Человека три. Четвертый под вопросом. Так Андрей и думал. Уловление душ — дело медлительное. Слова, даже самые пылкие, действуют на короткое расстояние, как слабосильные старые мушкетеры, нужны — потрясения, взрывы.

После взрыва во дворце Андрей поехал в Кронштадт с Соней, Котом Мурлыкой и Аней Корба. Была середина февраля. Метели не утихали. Поезд шел медленно, останавливался, путевские работники разгребали снег. А в Одессе тепло, сухо, ходят без пальто, и Соня туда собиралась через несколько дней. Андрей и Кот Мурлыка, недавние одесситы, вспоминали, шутили, давали советы. Колодкевич, черный, заросший густой бородой, с темно-синими сверкающими глазами, рассказывал с акцентом смешные одесские истории и был похож на истинного еврея-корчемника. Смеялись, настроение было веселое. Сосед по вагону, чиновник в дорогой шубе, смотрел сурово: то ли не одобрял издевательства над акцентом, то ли решил, что едут, действительно инородцы и ведут себя недопустимо развязно. А ехали в гости — к Сергею Дегаеву. Этот двадцатидвухлетний артиллерийский штабс-капитан, теперь в отставке, с осени горячо прицепился к Суханову и к его петербургским посетителям и, кажется, всерьез намеревался стать революционером. Андрей не был с ним вполне откровенен. Суханов располагал к откровенности больше, но мелкие дела Дегаеву поручались, и тот выполнял их всегда необыкновенно ретиво. Андрей велел ему закручивать связи с петербургскими артиллеристами и кружками студентов. Зимой Дегаев привез в Кронштадт из Харькова семью: мать, двух сестер, старшая из которых была замужем, и младшего брата. Ему очень хотелось познакомить домашних со своими новыми друзьями, перед которыми он, видимо, благоговел (однажды

сказал Андрею, что если б увидел когда-нибудь Морозова, то непременно его расцеловал бы), и он стал приглашать Андрея и других в гости. Было некстати, откладывалось, переносилось, Дегаев стал обижаться, а когда после взрыва в Зимнем Андрей встретил его на улице, Дегаев сухо и церемонно поклонился.

— Я вас поздравляю с мондиальным успехом. Разумеется, у вас нет времени посещать каких-то штабс-капитанов в отставке, которые пылают к вам бесполезным сочувствием.

Андрей что-то сказал в свое оправдание. Ему стало неловко. У Дегаева было какое-то мелкое, в ранних морщинах лицо, побелевшие губы сжаты в пучок.

— Если вы не желаете или вам некогда — скажите прямо. Иначе я должен расценить, что вы мой дом избегаете!

На слове «избегаете» было сделано ударение, и Андрей понял, что человек болезненно уязвлен. Зачем же отталкивать? Решили в первое свободное воскресенье поехать, тем более что у Андрея возникло дело к Суханову. Он полагал, что настало время побуждать моряков организоваться. Женщины с Колодкевичем пошли на квартиру Дегаева, Андрей сказал, что придет попозже.

Разговоры о революционной организации среди морских офицеров — не только для рассуждений, но и для дела — Андрей с Сухановым уже заводил. Тот соглашался, но все откладывал, говоря, что есть несколько пунктов, которые не всех устраивают. Централизация, строгая дисциплина — от нее устали на службе — и тайные убийства. Вообще — конспирация. Гораздо привлекательнее была бы открытая борьба, баррикады, восстание. Андрей узнавал свои сомнения полуторагодовой давности.

— Я преклоняюсь перед тем, что вы натворили во дворце, — шептал Суханов. Ольга Евгеньевна не слышала, разговаривая в соседней комнате с каким-то гостем. — Сам по себе акт изумительный. Но, во-первых, вы убили невинных людей. А во-вторых, — Суханов страдальчески сморщил лицо, — согласись, что тайное приготовление убийства отдает несколько Цезарем Борджиа...

— Позволь, ты говоришь о восстании, но каким образом ты надеешься его поднять?

— Этого я еще не знаю.

— А мы знаем. Если бы царь был взорван, была бы взорвана идея царской власти, данной богом, — а в народе, к сожалению, нет ничего крепче и долговечней этой идеи, — и в результате возникшего хаоса могло начаться восстание.

Суханов молчал, обдумывая. Андрей знал: перемены в этом человеке будут происходить быстро. То же было и с ним. Из соседней комнаты вышли Ольга Евгеньевна с незнакомым Андрею моряком. Представили: барон Штромберг. Слышал о нем от Суханова. Худой, ясноглазый, с рыжеватой раздвоенной бородой, похожий на пастора, лейтенант только что прибыл с Дальнего Востока, но успел уже кое-что прознать об Андрее.

Пожимая руку, сказал насмешливо:

— А у вас тут бог знает что! Какие-то взрывы, какие-то собрания недозволенные, споры о французской революции. Да вы с ума сошли? В то время, как империя напрягает все силы для борьбы с исконными врагами, турками внутренними и внешними... — И неожиданно переменяя тон на серьезный: — Надо писать устав и программу кружка.

Суханов и Андрей расхохотались.

— Набрался от каторжан крамолы — ужас! — Суханов шутливо толкнул Штромберга плечом. — Нет, господа, раньше осени затеваться



нечего. С марта начинаем готовиться к плаванию, затем поход на полгода, вернемся к октябрю, и тогда...

«Можете и опоздать», — подумал Андрей.

Осень казалась невероятной далью, дожить — задача. Штромберг рассказывал о сибирских делах, встречах с ссыльными поляками, интересно, но у Дегаева, наверное, нервничали, и там Соня, нужно было идти. Сестра Суханова, беременная, с большим лицом, идти не захотела, к тому же, как она сказала, «Сергей Петрович — скучнейший господин, а с его дамами можно говорить только о шляпках». Суханов и Штромберг тоже остались дома. Настроение в этом доме — не только из-за тяжелой беременности Ольги Евгеньевны, но и из-за каких-то ее дурных предчувствий, страха за брата и полной неизвестности о судьбе мужа, который бедствовал где-то в Сибири, — было нерадостное. Они и Андрея отговаривали идти к Дегаевым.

— Дались вам эти гости. Что вы, чаю не видели? У них жидко заваривают, а мы дадим настоящего, английского, — шутила Ольга Евгеньевна. — Имейте в виду: мать Дегаева — большая дура, хотя и гордится тем, что дочка писателя Полевого.

— Сергей человек неплохой, но суетный, — сказал Суханов. — Он меня утомляет.

Все так, но Дегаев сделал шаг: ушел молодым человеком в отставку, чтобы плотней заняться революционными делами. И его работа среди студентов и особенно среди петербургских артиллеристов была явно полезной. Но, правда, было что-то — может быть, та самая суетность, какая-то нервическая, душевная неопределенность, которую Андрей чуял, — что мешало сойтись коротко. Было, конечно, загадкой: зачем так настойчиво зазывать? И обижаться, когда людям не до гостей? Но нужно было идти. Андрей собрался. Суханов вышел в коридор проводить.

— Когда ты будешь в следующий раз? Я позову людей.

— Вот что, Коля. Ты зовешь всех подряд. Эту манеру Запорожской Сечи надо оставить — иначе нарвемся. Мне уж и так от Колодевича попало.

— Среди моих знакомых нет предателей! — покраснев, сказал Суханов. — И вообще, предательство не моряцкое дело. Я считаю: если хороший человек, пусть приходит и слушает. Не требовать же аттестата?

— Ты делишь людей на хороших и плохих, героев и предателей. Но между светом и тенью есть множество оттенков, верно же? Так вот, милый друг: мы гибнем от оттенков.

Было темно, девятый час вечера, аптека в доме, где жил Дегаев, с освещенной газом вывеской — ориентир — закрыта, фонарь не горел, и Андрей долго плутал переулками. Все здесь было гранитное, гулкое, мертвенное, сырое. Вломился в какую-то ночлежку, где человек двенадцать лежали вповалку на полу, старик молился под лампадой, и кто-то, когда Андрей открыл дверь, вскрикнул: «Ай! Стой!» Потом попал в мастерскую, где при свете керосиновых ламп работали дети, что-то резали на низких длинных столах, пахло квасцами. Наконец добрался до квартиры Дегаева и сразу увидел Соню: она выбежала раньше хозяев в коридор открыть.

— Почему так долго?

— Там приехал Штромберг, разговаривали...

У Сони, как всегда, когда она нервничала, под глазами белело: вдруг пятнами исчезал ее румянец.

— Сергей говорит, тут вечерами облавы. Третьего дня все гостиницы и ночлежные дома перерыли.

— Ну как? — спросил он шепотом, обнимая ее.

— Скука смертная... — успела шепнуть, но тут в коридоре появился Дегаев в праздничном клетчатом сюртуке, в белой рубашке, с пышным галстуком по последней моде, раскрасневшийся, в заметном подпитии.

Что-то напоминало давнее, одесское: у Андрея тяжело шевельнулось в груди. Мать Дегаева с видом напряженно-гостеприимной чиновницы, пироги, домашнее печенье, одна дегаевская сестра за фортепьяно, другая, старшая, в экстравагантном платье, — такие видел в Одессе у Олиных приятельниц — пела романс за романсом с необыкновенным упорством. Потом она же читала из Шиллера и Крылова. Аня Корба и Соня как знатоки-театралки делали деликатные замечания. Младшая сестра, очень похожая на брата, с таким же мелким, незначительным лицом, маленькая, с короткими руками, в промежутках между пением и театром исполняла фортепьянные пьесы. Андрей не мог сосредоточиться. Так же было и тогда, когда пела Оля. Но ведь у Оли голос! Мысли Андрея были заняты моряками. Плаванье, пять месяцев, разбивает все планы. Но уйти в отставку, как Дегаев, нет смысла: надо быть на судах, среди матросов, потому что военные суда в день восстания могут оказаться решающей силой. Сейчас нужно привлекать офицеров. Землевозьцы, чернопередельцы тоже пытались проникнуть во флотскую среду, но работали с нижними чинами, это их слабость, там можно пропагандировать двести лет и все на том же месте. Такие люди, как Суханов, Штромберг, стоят целого экипажа. Они подымут и поведут. Наконец из общего разговора стало ясно, что старшая сестра Дегаева, тоже некрасивая, но какого-то другого типа, большеносая, с самоуверенными манерами, задалась целью попасть на сцену. Переезд из Харькова в столицу был, кажется, проникнут этой мечтой. Нельзя ли как-то помочь? Ведь у вас, господа, такие громадные связи! Соня, улыбаясь озадаченно, пожимала плечами:

— Какие у нас особенные связи?

— Ну не говорите, не говорите! — Мать Дегаева, конфузясь и восторгаясь одновременно, махала на Соню рукой, шептала: — Мы знаем как и е! Но мы на это не претендуем, боже упаси...

— О чем вы?

— Мама, вы насаждаете на гостей непозволительно, — сказал Дегаев. — Никаких таинственных связей у наших друзей, разумеется, нет. Кое-что в газетах, в журналах, это пустяки.

Намеки на Тигрыча, который под псевдонимом Кольцова печатался в «Деле», и на Кибальчича, писавшего в «Слове». Было бы забавно, если б они взялись протезировать певице с большим носом. Мать тотчас сказала, что в литературном мире у нее самой достаточно связей — она как-никак дочь Николая Полевого, издателя «Московского телеграфа», и сестра Петра Полевого, профессора. Ее отца называли якобинцем. А дед, отец отца, был купцом, владел фаянсовым заводом в Иркутске, вышел из простого народа.

Слушая эти странные разговоры, угощаясь закусками и печеньем, Андрей думал: время потрачено впустую. Но зачем звали? Мать Дегаева радовалась гостям, кажется, вполне искренне, умильная и какая-то искательная улыбка не сходила с ее грузного, аляповатого лица замордованной вдовством и бедностью старой дамы. Младший брат Дегаева сидел насупленный и молчал. Сам же Сергей Петрович непрерывно проявлял суетность: бросался развлекать, что-то рассказывал, прерывался внезапно, приставал с угощением. Но у Андрея было ощущение, что Дегаев хочет улучшить минуту и сказать важное. И верно, он такую минуту улучил и шепнул:

— Я очень рад, что выбрали время и зашли к нам. Мать страшно довольна. Давно не видел ее такой...

Когда в полной тьме вышли на улицу — ехать в Петербург поздно, решили идти ночевать к Суханову, в большую квартиру, — Андрей сказал Соне:

— Понял, наконец, зачем нас так настойчиво звали и так прекрасно кормили. Мы же знаменитость, генералы. И в этой семейке, где постоянно чем-то гордятся — отцом, дядей, «Московским телеграфом», вокализмами, — теперь будут еще гордиться знаменитыми знакомствами, а? — Он засмеялся, довольный своей проницательностью и чем-то еще, многим, а Соня сжимала в темноте его руку.

— А мне ваш Сергей Дегаев не нравится, — вдруг произнесла Соня и прыснула, будто сказала какую-то неожиданную глупость, самой стало смешно. — Не знаю почему. Не обращайтесь внимания. У меня бывает: чую, как собака, а объяснить не могу.

В Петербурге готовились к празднику — двадцатипятилетию царствования Александра. Приготовления шли нервно, суматошно, в сопровождении множества слухов, страхов, надежд. Говорили, что к 19 февраля, дню юбилея, революционеры припасли грандиозный сюрприз. Царь не решался выйти из дворца даже в Казанский собор. Говорили, что Лорис готовит какие-то замечательные реформы. Близка эра невиданной либерализации. Крестьянам будет отдана вся земля, отменят цензуру, закроют Третье отделение. И возможен даже созыв Земского собора! Однако передавали и другое. Лорис будто бы сказал Суворину: «Не толкуйте, пожалуйста, о свободе и конституции. Я не призван дать ничего подобного, и не ставьте меня в ложное положение». Слухи о готовящемся восстании ходили упорные, и дворники советовали жильцам запастись водой и свечами, ибо во время восстания будут взорваны водопроводы и газовые трубы.

Наконец обнаружили юбилейные блага: рабочие получили трехдневный праздник без вычета платы. По городу, иллюминированному флагами и огнями — обывателям предписывалось в каждое окно выставить две горящих свечи, — шатались толпы, слегка взбудораженные напитками, а возле дворца теснилось несколько тысяч народа, глазевшего на мундиры генералов, придворных, наряды дам, сверканье карет. За два дня до 19-го Михайлов сказал Андрею, что возник человек, никому не известный, недавно приехал в Питер, который хочет испортить праздник: посягнуть на новоявленного диктатора. Не просит никакой помощи. Но, может быть, помощь дать? Собрались наскоро и решили: пусть действует à la Соловьев, на свой страх и риск. Были дни неясности, общество трепетало, смутно надеялось — куда Лорис повернет? — поэтому партии стоило выждать. Ведь назначение графа Лорис-Меликова, покорителя Карса, победителя ветлянской чумы, энергичного администратора и, по слухам, человека умеренных взглядов, скрытого либерала, означало в некотором смысле капитуляцию императора под натиском левых сил. Только что появилось обращение графа «К жителям столицы», вполне спокойное и с зарядом тайного либерализма — его вычитывали между строк, — где как будто главная надежда возлагалась на «поддержку общества». Все это уже было, было! И такие обращения, и такого рода возлаганья надежд. И однако неисправимые мечтали о тихом прогрессе в салонах, гостиных, в редакционных комнатах и даже в присутственных местах жужжали новыми веяньями...

20 февраля в два часа пополудни молодой человек — как потом выяснилось, по имени Ипполит Млодецкий, мещанин города Слуцка, — встретил Лорис-Меликова возле его особняка, когда граф выходил из

экипажа, и выстрелил. У подъезда стояли два часовых, тут же находились верховые казаки, конвоировавшие экипаж, и поблизости торчал городской. Граф упал, но сразу вскочил, доблестно бросился на стрелявшего и повалил его. Казаки накинулись, схватили. Следствие закончилось в тот же вечер, а суд назначили на другой день. Все делалось энергично, по-деловому, в новом стиле. (Лорис сгоряча подумывал повесить мгновенно, без суда, как это принято на войне или, скажем, во время эпидемии чумы). Петербург клокотал от восторга перед графом (сам бросился, повалил!), от негодования против террористов и какого-то мистического страха перед ними: несть им числа! На Большой Подъяческой спорили всю ночь: как следовало поступить? Дворник, полагавший раньше, что партия должна была поддержать Млодецкого или хотя бы доставить ему средства спасения, теперь говорил:

— Вот и неудача, оттого что не помогли.

Андрей же считал, что исход лучший, какой можно было ожидать. Убивать было преждевременно, Лорис еще не показал свои зубы, но это случится непременно. Каждая казнь должна созреть. Надо открыто, в какой-нибудь прокламации, объяснить, что партия не имеет отношения, и для властей это будет еще страшней.

На другой день, 21-го, в Петербурге говорили только о Млодецком и о суде над ним. Исход был ясен: смертная казнь. Стало известно, что Млодецкий во время следствия вел себя вызывающе, отказался отвечать на вопросы и приговор — виселицу — встретил равнодушно. Вечером пришел Тигрыч и рассказал, что в журналах повсюду возбуждение, придадут предстоящей казни фатальный характер и гадают, как она отразится на политике Лориса и чем ответят революционеры.

— Я заметил, что господа либералы очень бы хотели, чтоб мы ответили! — говорил Тигрыч, посмеиваясь.

— Ну да, они бы нам аплодировали в своих теплых клозетах, — сказал Андрей.

Отвечать решили словесно. На другой день, когда было уже объявлено о казни, Тигрыч опять принес известие, почерпнутое утром от каких-то газетчиков: писатель Гаршин, болгарский доброволец, явился чуть ли не на рассвете домой к Лорис-Меликову и умолял его простить и помиловать Млодецкого. Диктатор будто бы что-то пообещал Гаршину, чей поступок сам по себе смехотворен, если не безумен! Но, кажется, высочайшее утверждение приговора уже произошло. Андрей стоял в толпе народа на Знаменской, когда Млодецкого везли из крепости на Семеновский плац через весь город. Одной минуты, когда провозили мимо и Андрей вглядывался в проваленное улыбающееся несколько застыло и высокомерно лицо Млодецкого — лицо уже неживое, свечной белизны, — было достаточно, чтобы все понять и увидеть. Внезапно увидел себя в этой выпрямленной фигуре, в этих взглядах, бросаемых отрешенно и презрительно сверху вниз на толпу. Публика стояла в угрюмом оцепенении. Праздник был нарушен. Это никому не нравилось. И вообще было непонятно: в кого стреляют, зачем? Графа только что назначили, он еще никак не определился, и почему-то стреляют. Видно, что-то кому-то ведомо. Неспроста делают. Женщина, стоявшая рядом, крестилась незаметно и шептала:

— Господи, спаси люди твоя...

И еще один человек, писатель Федор Достоевский, увидел себя — но не в будущем, скором или дальнем, а в прошлом, почти забытом, никогда не забываемом, — в высокой фигуре Млодецкого этим же сырым февральским днем. Третьего дня, когда произошло покушение, но еще было о том неизвестно, явился в гости Суворин, и затеялся именно об этом, о покушениях, разговор. Ничего ведь

не знали! Но ужас от дворцового взрыва еще не рассеялся. Недавно случился припадок, и было то чувство освобождения, покоя и возвращения к жизни, слаще которого ничего не бывает. Может быть, только мгновение перед припадком: оно еще слаще, еще пронзительней, но это уж совсем блаженство, которое Магомет называл райским. И, как всегда после припадка, было жарко, лицо заливало потом, и был вид человека только что из бани, с полка.

Люди изумляются, видя его в таком распаренном состоянии. Суворин тоже изумился, пришлось объяснить: да, четверть часа назад. Аня была суха с ним — не любит, когда приходят, беспокоят сразу после припадков, — но, боже мой, как же не могут понять, что как раз в эти минуты он здоровей, счастливей и яснее умом, чем самый здоровый человек!

Набивал папиросы за круглым столиком.

Суворин был приятен, как всегда приятны люди живые, меняющиеся во что-то иное. Впрочем, то же и с обществом. И вот тогда, третьего дня, еще до прихода Суворина, когда набивал папиросы и обдумывал — почему все это продолжается, и нету конца? — возникла эта мысль. Дело в том, что общество уже не только равнодушно, но выработало какую-то особую, вывернутую наизнанку стыдливость в отношении террора, покушений и всей бесовщины. Ах, старое слово — бесовщина! Все стало гораздо запутанней и страшней. И не поймешь с налету, как казалось когда-то, девять лет назад.

— Представьте себе, Алексей Сергеевич, — стал рассказывать Суворину, — что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждет и все оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я звел машину». Мы это слышим. Как бы мы с вами поступили? Пошли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городскому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

Суворин сказал: нет, не пошел бы.

— В том-то и дело. Ведь это ужас. Это — преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить. Вот набивал папиросы и думал, перебирал причины, по которым нужно было это сделать: причины серьезные, важнейшие, государственной значимости и христианского долга. И другие причины, которые не позволяли бы это сделать. Эти прямо ничтожные. Просто боязнь прослыть доносчиком. Представлялось, как приду, как на меня посмотрят, станут расспрашивать, делать очные ставки, пожалуй, предложат награду, а то заподозрят в сообщничестве. Напечатает: Достоевский указал на преступников. Разве это мое дело? Это дело полиции. Она на это назначена, она за это деньги получает. Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаянья. Разве это нормально? У нас все ненормально, оттого все это происходит и никто не знает, как ему поступить не только в самых трудных обстоятельствах, но и в самых простых...

А вечером Аня принесла эту новость: опять нападение террористов! Никто не убит, не ранен, но было покушение убить, злоумышленник схвачен. Какая-то ужасная и непонятная тяжесть, когда сообщили: сегодня казнь на Семеновской площади. Накануне читал в колумбовской женской гимназии по просьбе Вейнберга. Отрывок из «Карамазовых». Была такая радость, такое ликование души: понимающие лица, слезы, благодарность, не хотели отпускать, разговор о Христе, и где-то за всем этим неотступно: **завтра отнимут жизнь.**

Там же, на той же площади. И не мог удержаться и, ничего не сказав, поехал, ибо тут была не только жажда памяти, но и необходимость увидеть, разделить и понять. Преступление и наказание есть поистине преступление и страдание. И еще истинней: страдание и страдание. Семеновский плац был так же уныл, безграничен, бел от снега, как тогда, в декабре, тридцать лет назад. Но снегу тогда было очень много, глубокого, и, когда велили выходить из карет, они выпрыгнули прямо в снег, на мороз, невероятный мороз, и все были в легком, весеннем, как их забрали в апреле. Алым углем в тумане тлело солнце. И так, по глубокому снегу, проваливаясь, пошли к середине площади, где стояло что-то деревянно-квадратное, обтянутое черным трауром. Но тогда никто из них не мог предположить, что сейчас будет смерть, не соображали, были как во сне и шли как во сне вдоль длинного каре войск, сомкнутых вокруг эшафота. Вдруг увидели столбы на эшафоте, потом долгая расстановка, шапки долой, мороз давил сердце, убивающий мороз, невозможно дожидаться конца чтения, ноги подламывались, и вот слова: «Всех смертной казни — расстрелянием». Было мертвое ошеломление, священник звал к исповеди, целовать крест, но никто не мог сделать ни шагу...

Преступник был высок ростом, с матово-белым длинным узким лицом. Он кланялся на все стороны, прощаясь с народом. В его облике было какое-то нечеловеческое спокойствие, и это было страшно. Страшней всего. Потому что чувалось: человек того и хотел, оттого спокоен. К этому страданию — чтобы вот кланяться так в предсмертную минуточку на площади, на глазах у молчащей толпы — человек и стремился, и мучился своим скудным, темным разумом, и достиг. Из толпы крикнули что-то глумливое. Но зачем же годы труда, терзанья духа, вся задача жизни (разбитие анархизма), если человек находит в этом последний высочайший покой? Алеша Карамазов пройдет монастырь и станет революционером. Нет, не в поисках анархического или какого-то иного социального строя, а в поисках правды. В бегстве от того самого о т р и ц а т е л я — презирателя человечества, — который хлебы, башню Вавилонскую и рабскую совесть назовет счастьем. И Алешу непременно казнят. Будет так же стоять, белея лицом, и кланяться, и потом крикнет что-то толпе. Приговоренный крикнул, но из-за отдаления услышать было нельзя. Потом узналось, крикнул: «Я умираю за вас!» И было так больно, поразительно, потому что Алеша мог крикнуть именно эти слова.

Ее отъезд в Одессу был неминуем, уговоры не помогали, теперь он все ближе и ощутительней узнавал этот характер, не поддающийся чужой воле: делать себе самое больное! В Одессу отправлялись большие силы. Фигнер была там, готовила казнь Панютина, правителя губернаторской канцелярии, злобного цербера, на совести которого все одесские жестокости и расправы последних полутора лет. Вслед за Соней в Одессу должны были поехать Саблин, Гриша Исаев и Якимов. И в самой Одессе были верные люди, на которых можно положиться: Мишка Тригопи, кое-кто из рабочих. Комитет решил казнь Панютина отложить, готовить покушение на царя. Весною по дороге в Ливадию Александр мог проехать — была такая вероятность — через Одессу.

Но зачем непременно — Соня? Ведь они расставались. Теперь каждая разлука могла быть навсегда. И уже было сказано между ними не известное никому, потому что было слабостью и касалось только их двоих: постараться до конца быть вместе. Постараться! Но в первую же минуту, когда возник разговор об одесском покушении на царя (снять лавочку под видом жены и мужа, затеять торговлю и от-

туда, из лавочки, подвести мину под улицу, которой Александр поедет от вокзала к паровой пристани), Соня сразу потребовала, чтоб в Одессу послали ее. И конечно, Комитет согласился, потому что с ролью простонародной бабенки Сухоруковой она справилась блестяще. Андрей мог бы быть отличным для нее напарником — Соня, оправдываясь, говорила, что тотчас подумала о нем и лишь потом сообразила, что это невозможно, — но он не мог ехать в Одессу. Слишком хорошо его там знали. Итак, она назначалась главным ответственным лицом: Вера Фигнер и Баска придавались ей в помощь, Саблин, агент Комитета, назначался «мужем», а Гриша Исаев отвечал за техническую, динамитную часть. Вот и все. Должны были прощаться. Может быть, навсегда.

И он знал, что чем мучительнее было для нее расставанье с ним, тем окончательнее ее решение расстаться. Все самое трудное, самое мучительное должно доставаться ей. Больно? Значит, туда, в эту боль! Она рассказывала, как ушла когда-то из дому, не желая мириться со своеволием отца, который требовал, чтобы Соня перестала дружить с какой-то подругой, бедной девушкой. То был деспотизм в домашнем халате, убогий и отвратительный, который великолепно воспитывает силу и творит судьбу, — так и вышло с Соней, она покинула дом и сотворила судьбу. Но расставаться с матерью было первой мукой жизни.

Остановить ее было нельзя.

Чем жил Петербург, те несколько партионцев, которые были Петербургом? Спорами вокруг новой секретной инструкции «Подготовительная работа партии», составленной еще в январе Тигрычем с помощью Андрея и Дворника, поисками квартиры для типографии, освобождением Гартмана, свиданьями с Клеточниковым, сколачиванием рабочих и студенческих кружков: повседневностью! Это могли делать все. Так считала Соня. Но она, конечно, обязана была заняться чем-то исключительным и роковым. Ведь она освобождала Мышкина и Войнаральского, она хозяйничала в доме Сухоруковых и теперь мчалась в Одессу, ибо действия рока перемещались туда. Ее волновала судьба бывшего «супруга» по сухоруковскому домику — Льва Гартмана, Алхимика. И это немного задерживало отъезд. Гартмана в начале февраля арестовала французская полиция не без помощи тайных русских агентов и русских денег. Царское правительство добивалось его выдачи. Партия прилагала все силы, чтобы этому помешать: составлялись воззвания, сочинялись письма президенту и французскому народу, погнажи в Европу нарочного. Лавров во главе депутации ходил к председателю палаты депутатов Гамбетте, Гюго выступил с открытым письмом: «Вы не выдадите этого человека!» Гартмана не выдали. Его освободили в конце месяца, и он уехал в Англию.

Был шум на всю Европу. Алхимик сделался всесветной знаменитостью, а партия могла торжествовать: она спасла товарища, она победила — «жалкая кучка заговорщиков, подпольные людишки» — в состязании с могущественной империей. За счет чего же? Это было загадочно. Стоило поломать голову. Две странные силы, небывалые прежде, возникли на европейской арене: одной силой обнаружило себя мировое общественное мнение, другой — русский терроризм, таинственный и всеильный. Если взрывают дворцы в Петербурге, то где гарантия, что эти дьяволы не доберутся до Елисейского дворца в Париже? Ни один француз не признался бы в этом, но поджигалки-то небось дрогнули, когда вынырнуло из снежной дали и легло на стол письмо от «Narodnaja Wolja».

И Андрей теперь испытывал временами новое ощущение. На улице, в конке, толкаясь среди людей — но всегда один, без товарищей, —

ловил себя на какой-то внезапной, горделивой, почти мальчишеской радости: «Ха-ха! А ведь сила громадная! Дрожайте, милые!» Так он бежал, возбужденный, в середине марта на тайную квартиру, куда должен был прийти Клеточников.

А поздним вечером к Андрею прибежит Соня прощаться.

С Клеточниковым обычно вел дела Дворник, но сегодня Дворник занят. Андрей видел агента дважды, последний раз в январе. Агент был довольно спокоен, говорил тихим голосом, кашлял, вид болезненный. Андрея тогда поразило одно: ничего не записывал, все выкладывал по памяти. Как можно запоминать такие горы сведений? Высказал потом, когда Клеточников ушел, сомнения: неужели все так уж точно? Дворник сказал: все точно, это проверено.

Николай Васильевич ждал. И Андрей сразу увидел: агент сильно взволнован. Он даже как-то привскочил со стула, когда Андрей вошел. На столе стояли три чашки, из двух пили чай Николай Васильевич и Наталья Николаевна, третья пустая — приготовлена для Андрея. Но Наталья Николаевна тотчас взяла свою чашку и ушла в другую комнату. Хотя Наталью Николаевну не так давно приняли в члены Комитета и она могла бы присутствовать при разговорах с агентом, но из деликатности всегда уходила. Иногда ее звали, иногда нет. Клеточников был высшей тайной партии, доступ к которой имели два-три человека.

— Гольденберг выдает! — сказал Николай Васильевич. — Десятого марта Третье отделение получило телеграмму от полковника Першина из Одессы: «Гольденберг решил сознаться во всех своих преступлениях, объяснить организацию террористической фракции, указать всех известных ему членов ее» — и так далее. По сему поводу среди наших рептилий огромное ликованье.

О том, что Гришка выдает, доносились неясные слухи из Одессы и из Харькова. Но, по-видимому, выдачи были смутные, незначительные, полувыдачи. Телеграмма Першина была грозной. Гришка знал много. Что же произошло? Человек неуравновешенный, вздорный, с самомнением, но — предать? Указать всех известных ему членов? Может быть, смертельно запуган? Но ведь он не трус!

Телеграммы от Першина идут почти каждый день. Дает подробные показания. Значит, будут готовить теперь обширный процесс и завернут туда Степана, Квятковского, Буха, Зунда, всех, кого успели схватить.

— Одну телеграмму, сегодняшнюю, я все же переписал, — сказал Николай Васильевич. — Вопреки своему правилу. Потому что тут объяснение. Вот, от того же Першина.

Он разгладил пальцем на столе свернутый в трубочку листок тонкой бумаги:

— «Не скрою от Вашего превосходительства, что меры, употребленные нами для убеждения Гольденберга к сознанию, не могут быть названы абсолютно нравственными. Но, истощив все другие средства, мы должны были прибегнуть к разным хитростям, при помощи которых у него сложилось убеждение, что дело террористов окончательно проиграно, и он, чтобы уменьшить число напрасных жертв, решил выдать всех, кого знает, отнюдь не щадя самого себя...» — Помолчав, Николай Васильевич заметил: «Миленькие хитрецы!» — и читал дальше: «Гольденберг дает нам свои показания под влиянием полной уверенности, что мы действуем в тех же видах, а вчера заявил, что если бы он хотя на минуту пожалел о своей откровенности, то на другой день мы не имели бы удовольствия с ним беседовать, намекая на самоубийство».

Следствие по Гришкиному делу вел Добржинский. А, Добржин-



ский! Андрей помнил Белокурый, вежливый, курил тонкие папироски, шурился, улыбался. Почему-то, узнав про Добржинского, Андрей пал духом: предчувствие говорило, что этот господин вывернет Гришку наизнанку.

И весь вечер, разговаривая о другом, Андрей неотрывно думал о Гришке, о том, что Гришка знает и чего, слава богу, может не знать — второго было гораздо меньше, чем первого. Практически он знал все, кроме взрыва в Зимнем. Убийство Кропоткина, покушение Селовьева, съезды, раскол на две партии, Александровск, Харьков, Москва, Одесса — везде торчал Гришка.

Николай Васильевич медленно диктовал по памяти, а Андрей записывал: Якубович Александр Филиппович, кандидат университета... В 1876 году скрылся из Петербурга, замотавши пятнадцать тысяч доверенных ему денег. Жил в Париже, путешествовал по Америке, находясь в близких отношениях к русскому посольству... Имеет большое знакомство среди столичного и провинциального общества... Борода и усы темные, выражение глаз испуганное, нос большой, греческий... Янов Александр Иванович, роста среднего, губы толстые...

Как только появится типография, все эти сведения будут преданы гласности. Шпионов нужно убивать: физически, как Пресняков, или же вот так, гласностью. Вечером пришла Соня, и он рассказал про Гришку. Ах, как надо поехать сейчас в Одессу! Никто, как он, не знает темных одесских низов, подполья, контрабандистов. Можно бы найти ходы в тюремный замок через уголовников и попытаться заткнуть Гришке рот. Когда его перетащат в Петербург, будет поздно.

Соня слушала подавленно. Все это мечты, в Одессу Андрея не пойдут. Ну хорошо, есть люди, которые кое-чем помогут. Он дал несколько имен, адресов и — письмо к Ваське Меркулову, рабочему.

— Самое страшное — не гибель... Что говорить, все погибнем, — сказала Соня. — А вот такое превращение. Из бабочки в гусеницу.

Она не могла отделаться от мыслей о Гришке.

Ведь Гришка, кажется, был в нее влюблен: мимолетно, вздорно, как все, что творилось в пределах Гришкиных чувств. Дворник рассказывал, как однажды застал Гришку в полупьяном бреду, лепечущим какие-то признания Соне и грубо его приструнил. Соня очень смеялась. Она жалела Гришку. И прощала ему многое за безрассудную храбрость, но опасность зрела уже тогда, ибо храбрость без рассудка может быть злом.

Соня сказала — гримаса брезгливости мелькнула на ее губах, — что Гришкой они заниматься не станут, потому что это помешает главному делу. И потом она сказала:

— Ты знаешь, кого я хочу увидеть в Одессе?

Он молчал, вдруг догадавшись.

— Нет, — сказал он, — не нужно их разыскивать.

— Но я хочу увидеть твоего сына!

— Не нужно.

— Только увидеть, и все.

Она глядела исподлобья, и он подумал, что с таким же непокорством она глядела на отца, когда тот что-то ей запрещал.

— Ну, как угодно, — сказал он. — Но мне об этом не рассказывай. Мне это неинтересно.

*(Окончание следует)*



---

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

## ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ\*

Воспоминания

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### ДОМ ФЕРРАРИ

Духовный труженик — влача свою веригу,  
Я встретил юношу, читающего книгу...  
Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь» —  
Сказал мне юноша, даль указуя перстом.  
Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,  
Как от бельма врачом извлеченный слепец.  
«Я вижу некий свет», — сказал я наконец.  
«Иди ж», — он продолжал: — «держишься сего ты  
света;  
Пусть будет он тебе единственная мета,  
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,  
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.

Пушкин.

«...да будет мне дозволено обозреть мои дела так, как я рассматриваю вообще жизнь, — как выражение духовного деяния, принимающего всестороннее выражение в науке, искусстве, частной жизни».

Маркс<sup>1</sup>.

1

**Д**ля тех читателей, кто привык приступать к тексту, минуя эпиграф к нему, как нечто случайное, я хочу начать с просьбы: обратите внимание на эпиграф! Он не случаен, — он необходим для автора, как «ключ» для композитора, в котором будет звучать произведение. К тому же данный эпиграф, — верней целых два — сам по себе требует вниманья. Молодой Карл Маркс в письме к отцу соединил два слова в странном сочетании, совершенно необычном для его лексикона: духовное и деяние. А Пушкин незадолго до своей смерти, на закате короткой жизни, сделал то же самое: соединил такие же, казалось бы, противоречивые слова: духовный и труженик. Маркс писал отцу о себе с полной сыновней искренностью, как бы исповедуясь; и в этой исповеди признался, что рассматривает жизнь, как духовное деяние. Он был еще очень молод... Пушкин, уже зрелый, истерзанный жизнью, в конце ее —

\* Части первую и вторую см. «Новый мир» № 4 за 1971 год и № № 1, 2 за 1972 год.

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Под редакцией В. В. Адоратского. Государственное издательство политической литературы. 1938. Том 1, стр. 413. Письмо К. Маркса к отцу.

вдруг захотел переложить в стихи мистическую прозу английского проповедника XVII века Джона Беньяна, модного в ту пору в масонских кругах, и создал странное сочетание: **духовный труженник**. Не труд мыслителя, делающего научное открытие, роющегося в архивах, экспериментирующего в лаборатории. А труд духа человеческого, деяние духа, «принимающее всестороннее выражение в науке, искусстве, частной жизни» по Марксу. Пусть один это сказал в молодости лет, когда все мы немножко идеалисты; а другой потянулся к этому на склоне лет, когда все мы немножко «мистики», задумываемся над тем, что далеко за «горизонтом» жизни, за самой жизнью. Но слова сказаны, написаны, остались. И я задумалась над ними, приступая к самому трудному периоду моей собственной истории.

Пусть то, что я попытаюсь сейчас объяснить (самой себе!), наивно или даже неверно, но для меня оно реально, как пережитое. Мне думается, есть периоды времени, когда это соединенье «духовный труд» случается и в жизни некоторых людей, и в жизни некой части общества. Чаще всего — после огромного взрыва практического действия, закончившегося временной неудачей, за которой волна пережитого подъема как бы уходит от берегов, оставляя «сушу» разочарований, усталости, опустошенности. Так было со многими после революции 1905 года. Не только схлынула волна революционного действия, но и стали потухать — один за другим — очаги революционной деятельности, вызванные этой волной к жизни: закрылось множество газет, журналов, издательств, типографий, обществ, книжных лавок, комитетов, собраний, секций, кружков... Не сразу, а с неотвратимой постепенностью. И как раз в это время молодежь моего поколения, кончив среднюю школу, готовилась поступить в высшую.

Но годы 1908—1914 принято не совсем точно, потому что не для всех, называть реакционными. Для группы молодежи, выросшей вне политики, к которой принадлежала и я, разбуженная потребность действовать, бороться, чувствовать себя в массе вылилась в поиски новой формы активного труда, которому не угрожало бы никакое закрытие, никакая профессиональная опасность. И мы невольно потянулись в щели той активности, какую Пушкин и Маркс назвали «духовным трудом».

Выковка мирозерцанья, ответы самим-себе на сотни вопросов, гамлетовская отвлеченность этих вопросов, их постоянная возвращаемость для людей чуть ли не с каждым поколением — это всегда труд, деяние души и духа, переживание, связанное с внутренним развитием личности; и в этом невидимом труде всегда есть и борьба — борьба с самим собой за предельную искренность против формы. Годы такого духовного труда связаны со странничеством, с сидением у ног учителя, если есть учитель, с бегством к мелькнувшему впереди свету («и я бежать пустился в тот же миг»), бегством вперед от того, что позади... Свой роман о молодости немецкого «бегуна», Вильгельма Мейстера, Гёте назвал «Годами учения и странничества»...

Можно ли их обойти в своей биографии, не рассказать о них честно? Думаю, не только нельзя обойти, но и вредно их обходить, — вредно для современной молодежи. Потому что в наше великое время, когда страница истории перевернута, мне пришлось вдруг, неожиданно, встретиться юношей и девушек (их, правда, ничтожно мало), заинтересованных тем, что держало в плену моих сверстников шесть-десять пять лет назад. Старые, рваные книжки; переписанные от руки; затопленные вешними водами времени, устаревшие, ненужные имена тех, кто соскользнул с пути истории в безбудущность; ошибавшиеся; потерявшие связь с родиной; — и нездоровый к ним интерес, без по-

ниманья и знания, без общей панорамы эпохи, без всякого противоядия, даруемого солидным, фундаментальным опытом прошлого. Для них — заманчиво как запретное. А мы пережили это шкурно, в «деянии духовном», знаем, что это значит, куда это ведет и заведет, — и каким свежим, спасительным воздухом Октября это сдуло, как сухие листья осени, с нашего пути в будущее.

...Кончив гимназию Л. Ф. Ржевской, мы оказались с сестрой в отношении Москвы «иногородними». У нас не стало прочного жилища в родном городе. Я терпеливо ждала Лину, куда она кончала восьмой класс, живя то у матери в старом нахичеванском доме вконец разорившегося деда, то ночуя у тети на диване, во время московских наездов. Последнее лето, прожитое нами у матери перед высшей школой, было для нас с сестрой не отдыхом, — мы готовились к экзамену по латыни и греческому, без которых нельзя было поступить в высшую школу; и я уже с грехом пополам читала «Киропедию», сразу увлекшись образом Кира. Его фразу (точней фразу у нем Ксенофонта), что он никогда не ел с утра, не сделав предварительно работы, я тогда же приняла на вооруженье и десятки лет соблюдала утренний режим: сперва за письменный стол, хорошенько поработать на свежую голову, и только потом, с чудным чувством удовлетворенья в руке и в мозгу, сесть завтракать.

Но мы не только готовились к экзамену. Наступало преддверие «духовных деяний» — чтение. Неразборчивое, хаотическое, жадное. Мы без удержу поглощали все, что могли нам дать городская библиотека и книжные залежи в золоченых переплетах, не тронутые разрезным ножиком, у наших богатых дядей. Страстно беседовали о прочитанном с такими же недоучками, как и мы, заводившими с нами знакомства в городском саду и «балабановской роще», лесочке, насажденном одним из дальних наших родичей, городским головой Балабановым между Ростовом и Нахичеванью. Был один замечательный паренек, только что кончивший железнодорожное училище. Память сохранила мне его имя — Глеб, и забывчивая на лица, я как сейчас помню его лицо: рыжий с толстой переносицей, крупно-веснучатый, — веснушки до того крупные, что как пятна почти сливались на розовом лбу и носу.

Разговоры с ним записаны у меня в дневнике. Странно, до чего мы увлекались в юности вот такими беседами! Они вытесняли танцульки, пикники, хождение в гости, в театр, на концерты; — кино только зарождалось, радио и телевизоров тогда еще не было. Сильней и неотвязней всего донимала меня мысль о возникновении чего-то из ничего. За уроками греческого я пришепилась к слову «логос», — оно было модно в те дни у поэтов-символистов и молодых русских философов. Им — греческим термином — заменяли русское «слово» в переводе евангельского «Вначале бе слово», и от такой замены казалось, что к понятию «слово» прибавляется нечто мистическое. Гёте заменил «слово» евангельского текста «действием»: «Am Anfang war die That». Но дело, действие, мистический логос, — а кто их самих создал, кто породил их, — как возникли они из того, чего не было? А если что-то крохотное, зародыш, искра — было до них, то откуда могли из ничего, из небытия возникнуть эти зародыши, искры? Мысль упиралась в потолок невозможности конкретного, реального представления. Кажется, будто сама мысль, словно бабочка, билась, рвалась в клочья об этот потолок — и рождала другую, последнюю мысль: если мозг мой, я — человек, — мог додуматься до самого вопроса о начале бытия и представить себе, в рамках человеческой логики, потребность на него ответить и железную невозможность дать ответ, — значит, — в о п р о с р е а л е н. Он существует. Он зажжен в мозгу, в мыслительном аппара-

рате человека. А зажженный вопрос в рамках логики мозга — разве он уже сам по себе не гарантия возможности ответа? Ведь сказал же Декарт «Cogito ergo sum», мыслю значит существую, — вовсе не в том идеалистическом смысле, что мысль раньше бытия, а в том, что рожденная мысль есть как бы гарантия, как бы вексель на реальность самого мышления, на связь мысли с материей.

Вообще-то все эти отвлеченности кажутся сегодняшней молодежи или части ее никчемными, некогда ими заниматься. От них нет пути в практику. Я пробовала спрашивать кой у кого из молодых читателей, соседней по скамье в библиотеках, где сама занималась, — анонимно, записками, — «задумывались ли вы когда-нибудь над проблемой, с чего началось все?» Мне отвечали на обратной стороне той же записки, не тратя на ответ свою бумагу: «С чего началось ч т б?» — «Началось к о г д а?» — «Началось г д е?» — И только самый вдумчивый написал: «Этого нельзя себе представить. Такой вопрос отпадает. Он бессмыслен». А вот Маркс в молодости ломал голову над таким вопросом. Я хотела ответить этому вдумчивому ответчику: «Недавно были у нас опубликованы математические тетради Маркса. Слышали вы о лекциях профессора Яновской в университете? Она рассказала, как Маркс рассуждал о нуле, что нуль не может быть просто нулем, потому что иначе за ним не могла бы последовать единица». Но не ответила, чтоб не услышать: «Маркс был тогда молод». Как будто быть молодым — пустое дело. Как будто вернуть себе молодость не мечта каждой старости! Как будто не стоило Гёте всю жизнь, смолоду и до последних дней, писать вершину своего великого дара человечеству — «Фауста». Как будто и Пушкин не связал понятие жизни с лучшими страстями молодости, творческими страстями — мышлением и страданием:

Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...

Но возвращаюсь к нашим ребячьим беседам с Глебом, записанным у меня в дневнике. Конечно, велись они на самые гамлетовские вопросы, начиная с главного: как возникло бытие. Здесь я просто переписываю из дневника, с сегодняшними комментариями: «Он (Глеб) в первую же беседу сказал: «Ответ на вопрос, как все возникло, невозможен, покуда человек не сделает *perpetuum mobile*. Если он сделает, будет ясно, что никакого начала не было, а была всегда безначальная бесконечность. До тех пор мы только упираемся в этот вопрос». Я думала сутки, и на следующий день у меня в особой тетрадке (называлась она «системой») появилась удивительная запись. В устной форме я ее обрушила на Глеба: «Мы сами существуем в вечном *perpetuum mobile* и потому не можем его открыть! Проще простого! Разница уровней, — вот: угол, в котором соотносятся время и пространство. Одно движется вот сюда  $\triangleright$  (рисунок карандашом, другое держится вот так  $\nabla$  (другой рисунок карандашом), — и мы в этой разнице уровней как белка в колесе  $\begin{matrix} \text{Время} \\ \searrow \\ \text{Пространство} \end{matrix}$  — и есть ваше *perpetuum mobile*!!» Глеб насадил на свою толстую переносицу пенсне в железной оправе, постоянно соскальзывавшее вниз, но закрепленное на черном шнурочке. Рассмотрел мой невразумительный чертеж и запальчиво ответил: «Во-первых, еще никакой математик не открыл никакого угла между временем и пространством, его еще надо поискать да поискать. А во-вторых, у вас голая идея. А я сказал: «Когда сделают»... В его запальчивости явно пряталась досада, что «голая идея» не пришла ему первому в голову.

.. И я победоносно заключила, совсем забыв, кто же за что, в сущности, дрался, а только упиваясь процессом мысли: «Раз так — не открыли,— значит, никакой бесконечности нет, и бытие должно было начаться!» Но Глеб уже быстро, как игрок в шахматы, переставил все свои «фигуры» в мозгу и сделал финальный ход. «Может быть,— сказал он, понизив голос, с какой-то таинственной многозначительностью,— может быть, нет ни бесконечности, ни начала и конца, а есть такое третье состояние мозга, ну как во сне — как вроде эфира в физике,— особенное, до которого мы еще не додумались...» Где теперь рыжий Глеб, и что довелось ему сделать в жизни?

Начинала отцветать белая акация, густостебельно стоявшая справа и слева по улицам Нахичевани, скрывая белые армянские особенячки за плотной листвой. А я все читала да читала, без разбору, что только можно было достать: толстые тома историй философии, старые научные журналы, древние эпосы. Молодой, гибкий мозг зари человечества тысячи лет назад начинал свою работу с того, чем мучились и наши молодые мозги,— с возникновения Вселенной. Он создавал вокруг этого вопроса мифы, легенды, религии. Греческие философы отвечали на него, каждый по-своему. Народные певцы посвящали ему первые строки своих сказаний. Каким-то образом, уж не помню, мне попала в руки старая индо-германская хрестоматия Шлейхера на немецком языке — и я окончательно погибла, с головой ушла в Индию. Индусы! За много веков до Библии они в древних гимнах Ригведы подошли к последним границам мышления. Какой кухонной прозой показался мне библейский отчет о шести днях творчества бога, словно готовилось шестидневное меню для домашнего обихода. Знаменитый индийский гимн Ригведы (X, 129), космогонический, я перевела для себя с немецкого и наизусть выучила. По Библии, все началось с Бога — творца, по Евангелию — «В начале бе слово». А по гимну Ригведы, странному, непрозрачному, похожему на коллоид,— мутное вещество между органическим и неорганическим состоянием материи, вначале было Желание — такой плотский, теплый, похожий ответ!

Пришла пора ехать в Москву — родной город, где уже не было у нас жилища. Ехать в Москву вместе с такой же бездомной, как мы, молодежью, студентами или только будущими студентами, храня на шее, в ладанках, собранные за лето деньги, а в сундучках необходимые бумаги, — метрику, аттестат зрелости, паспорт. В ту пору обучение не только в школах, но и в университетах было раздельное, для девушек — Высшие женские курсы Герье в Москве и знаменитые Бестужевские в Петербурге. Их часто путают нынче, когда справляют разные почетные даты женского образования на Руси, но они были разные. Бестужевские, хоть и в столице, под боком у царя, — сумели быть прогрессивней московских и ближе к естественным наукам, да и старое петербургское «западничество» как-то отразилось на них. Чем отличались московские, видно станет из рассказа.

Ехала молодежь со всех концов России в жестких бесплацкартных вагонах. Деньги в ладанках у большинства рассчитаны были только на взнос «за право учения» в первом университетском году. Он был очень высокий — сто рублей. Сейчас невольно приходит в голову, когда механически пишешь «за право учения», — как это странно: оплачивать не уроки, не лекции, не семинары, а право на них... Но тогда формула бездумно соскальзывала с языка. Добывались деньги молодежью главным образом преподаванием, подготовкой детей в школу. В городе такие занятия считались каторгой. Обливаясь потом от жары и духоты, все лето сидел будущий студент у такого же потного, одуревшего от зноя ученика, готовя его по

программе «на поступление». Но счастливики получали «кондицию», — уроки в отъезд. В деревню, на дачу, в купеческую «экономию» или в дворянское поместье, — на воздух, на волю, на природу! Такие «кондиции» были традиционной русской формой заработка студентов. Еще Дубровский у Пушкина был на такой кондиции в имении помещика Троекурова. В них обеспечивались не только жилье, пища и заработок, но и все прелести житья на природе: купанье в реке, хождение в лес по грибы, цельное, не снятое молоко за чаем и — может быть — первый в жизни роман с хозяйской дочкой или сыном хозяйки, если кондиция доставалась девушке. Это также входило в традиционную русскую классику еще со времен ранних народнических романов. Именно такие прелести описывал нам в длинейших поэтических письмах наш товарищ Лева, брат моей детской подруги Зои Зенкевич, живший в то лето на степном просторе и увлекавшийся ужением рыбы. Он умер совсем недавно, Лев Александрович Зенкевич, — океанолог с мировым именем, академик, большой советский ученый...

Но я тогда несколько возносилась над Левой, тем более что была старше него. Денег у меня не было. Ладанку насобрала уроками только моя сестра Лина. А зато я везла с собой сложенные вчетверо «большие надежды». Революция 1905 года была задушена, но разлив завоеванных ею свобод, как уже сказано, не сразу вошел в берега. Словно серебро влаги, он еще блестел у берегов, как после наводнения, неглубокими лужицами еще уцелевших, скромных изданий. В одной из московских газет некто Лобанов, председатель московской ремесленной управы, объявлял о продолжении своей газеты «Ремесленный голос», поздней получившей (тоже кратковременное) название «Трудовая речь», и приглашал идейно-согласных писателей к себе в сотрудники. Я откликнулась на его приглашение; он откликнулся на мой отклик; я заготовила за лето, несмотря ни на каких индусов, множество революционных стихотворений и целый рассказ «Забастовщиков сын» и везла все это вместе с аттестатом и серебряной медалью, гордая своим будущим.

Заранее скажу: почти весь мой запас был напечатан в «Ремесленном голосе», но последнее детище, драматическая повесть «Жена рабочего», уже в газете «Трудовая речь», нанесло мне жесточайшую травму на всю жизнь. Ее смонтировали вразброд: конец набрали в середину, а середину сделали началом; что до начала, то его разорвали по кусочкам и сунули там и сям, отдельными фразами, в серединку. Понять содержание, не говоря уж о мысли, в этой мозаике было невозможно. Лобанов, утешая меня, сказал, что это тактика: «Свыше не поняли и не придрались, а то быть беде! Зато читатель, не беспокойтесь, разберется, на куски разрежет и сложит, а уж докопается, будьте уверены». Но я сама, разрезав, ничего не сумела сложить, заливалась дома горькими слезами и до сих пор, как вспомню эту мозаику, меня физически передергивает — от стыда, конфуза, неотмщенной обиды. То была первая из обид на долгом литературном поприще.

Тактика Лобанову не помогла: «Трудовую речь» тихо и незаметно прикрыли. За свое «сотрудничество» я, разумеется, ни гроша не получила, да и просить стеснялась. Но все это случилось позже, в недалеком будущем, а куда мы с сестрой все еще едем, едем — вместе с десятками других — едем в светлую неизвестность, — полные невероятного бесстрашия молодости и ликующего оптимизма, — под стук колес нашего жесткого бесплэцкартного.

Ехать в нем было огромнейшим удовольствием. Делились едой, точней — выкладывали провизию в общую кучу, и скромный соб-

ственный сверточек вдруг превращался в гору продуктов. А когда они, яйца, куски колбас, домашние лепешки, зеленые перья лука, первые малосольные огурцы, источавшие дивный запах молодого рассола, ломти деревенского сала, просвечивавшего розовым на солнце, ложились таким множеством перед нашими глазами — один вид их прибавлял какую-то густоту и полноту к чувству насыщения. В открытые окна летел встречный ветер, неся запах убранного поля, нагретой соломы и черные, как испанское кружево, лохмотья паровозной копоти. Наши ноздри были забиты этой копотью, от нее были черны ушные раковины и шеи. Чай, дешевый, пахнувший кухней, потому что его пила когда-то прислуга на кухне, разливал по нашим собственным посудинам пожилой вагонный проводник, а разливши, усаживался на сундучке где-нибудь в проходе между лавками и слушал наши беседы. О чем только не говорилось в вагоне! Термины — многоэтажные, иностранные, словечки свежесвоенной латыни — там и сям, как изюмины в булке. И чем непонятней, чем многоэтажней, тем больше ему нравилось. Таких проводников теперь не сыщешь днем с огнем, — он действительно «проводил», проводил с нами часы и часы. Из вежливости не курил махорку, да и вообще не помню, чтоб кто-нибудь курил, — куренье стоило дорого и к нему с детства не приучались. Ни разу не видела я и бутылки на наших столиках, той самой, от которой пахнул бы на нас пивной или водочный угар. Жажда жизни и полнота жизни были так сильны в нас, что подстегивать их или дурманить себя никому не приходило в голову.

Сердцем беседы были как раз «главные» — гамлетовские вопросы. И, разумеется, тот, что мучил меня летом у матери, в старом дедушкином доме: с чего началось бытие? Я везла с собой свой перевод космогонического гимна Ригведы. Перевод был плох и неточен, он кажется мне сейчас совершенной тарабарщиной, — и поскольку я просто не могу не прочесть его читателю, как не вытерпела и прочитала своим вагонным соседям, я заменяю его более грамотным. В прошлом году, собирая в памяти все, что относится к трудной — третьей — книге моих воспоминаний, — я засела в Публичной библиотеке опять за индусов. Увлелась ими, как почти семьдесят лет назад; увлелась Ригведой, опять с головой окунувшись в нее. Отыскала первый русский перевод захватившего меня в юности гимна — и опять списала его. В этом, более грамотном, нежели мой, переводе я и прочту его сейчас читателю, как читала семьдесят лет назад, — с не меньшим волнением и восхищением, умноженным десятилетиями. Какая увлекательная радость дана человеку — в конце жизни снова переживать ее начало!

Но сперва — обстановка, место действия, время действия, — как в театре или, говоря языком той эпохи, на театре. Третий класс, бесплацкартный, хоть и не имел нумерованных мест, но располагал пространством, делавшим его для пассажиров даже более удобным, чем плацкартный. Самые предприимчивые из молодежи захватывали узкие верхние полки для багажа, с комфортом лежа на них весь день. Остальные рассаживались, разлеживались, постепенно утрясаясь к ночи, как сельди в бочке, — сидячих на ночь просто не оставалось. В плацкартных жестких считаются сейчас самыми плохими боковые места — у окон по горизонтали всего вагона. Но в бесплацкартных того времени их называли «царскими ложами». Тот, кто сумел сразу захватить нижнее боковое место, опустив деревянный столик на отзерстие между двумя сиденьями, тотчас обживал всю лежанку, узость которой не допускала второго пассажира. А верхнее механически доставалось тоже одному. И получалось так, будто два пассажира едут как в плацкартном, на двух нумерованных местах. Мы



попросту не заметили, а заметив, как-то отчужденно-вежливо допустили одного «узурпатора» сразу же захватить нижнее боковое место в свою полную собственность. Узурпатором была монахиня. Она даже не легла, а сделав лежанку, забила ее своими пожитками, увязанными в толстую холстину. Между пожитками втиснулась сама, спиной к окну, и все долгие часы нашей беседы ничего, ровно ничего не делала, кроме перебирания четок. Так и сидела, опустив голову, в черной, пропитанной пылью, жесткой рясе, забрав под нее ноги в скрипучих, похожих на мужские башмаках. Лица ее мы не видели, — просто не обратили на нее никакого вниманья. Видны были желтые, сухие пальцы, без остановки перебиравшие четки, и шли эти четки в ее руках — с утра — миллионами, хотя были все одни и те же. Над нею, на верхней полке, спал второй «узурпатор», толстый купчина или приказчик в поддевке, спиной к нам — спал беспробудно весь божий день до вечера.

Мы — человек двадцать молодежи, — сгрудившись, сидели на двух лавках, на полу между ними, в проходе, заинтересованные разговором, друг другом, мерной стукотней поезда, вечерним теплом из окна. И я, разгорячась, достала свой излюбленный гимн.

Приведу его для читателя не в своем, а как сказала, в грамотном переводе Н. Крушевского.

#### Гимн Ригведы X, 129

1. Тогда не было ни небытия, ни бытия, не было пространства, и по ту сторону пространства не было неба; что же покрывало (всё)? где, под чьей защитой, находилась вода, бездонная глубь?

2. Ни смерти тогда не было, ни бессмертия, не было отличия ночи ото дня; тогда Одно, не движимое ветром, само по себе дышало, и больше не было ничего, отличного от него.

3. Была темнота; вначале всё было погруженной в темноте и неразличимой водой; когда пустота была погружена в пустоте, тогда силой теплоты произошло это Одно.

4. Затем, прежде всего, возникло Желание, которое было первым семенем духа; мудрецы, поискав в сердце, посредством размышления открыли родство (связь) существующего в несуществующем.

5. Горизонтально была протянута их (мудрецов) вожжа [была ли она под чем-нибудь или над чем-нибудь?]; они испускали семя, они были велики, была свобода (стремление?) вниз, стремление вверх.

6. Кто знает наверно, кто здесь может объяснить, откуда, из чего произошло это творение? боги (суть) по сю сторону этого творения (то есть они произошли после него), а кто же знает, откуда он (сам) произошел?

7. Кто смотрел с высочайшего неба на это творение — произвел ли он его, или не произвел, — тот, конечно, знает, откуда оно произошло — или тоже не знает<sup>2</sup>.

За две тысячи лет до нашей эры мозг человеческий был так необычайно гибок, что тончайшая диалектика в определении «было — не было», в невероятной трудности нащупать возникновение из ничего, первую точку, с которой начинается ряд, могла бы поспорить у древнейших слагателей гимнов в лесных дебрях Индостана с дефинициями Спинозы и Гегеля! Я вытатила этот гимн в ту минуту, когда вспыхнул у нас вопрос о Боге, уж не помню, в каком аспекте, вероятно — антирелигиозном. Вытатила, как решающий аргумент: ведь почти

<sup>2</sup> «Известия и ученые записки Казанского университета». Июль—август 1879 года. Казань. Стр. 105—114. В недавно вышедшем (М. «Наука». 1972) издании избранных гимнов Ригведы помещен этот гимн на стр. 263, в новом переводе Т. Я. Елизаренковой.

четыре тысячи лет назад индусы отлично знали, что «боги», как и все прочее, в процессе возникновенья мира были «по сю», то есть по нашу «сторону бытия», вместе с самим миром, не его творцами, а творимыми как и человеки. Я вдохновенно защищала это «открытие» индусов, их изумительную ясность мысли. Но, защищая, вдруг почувствовала боль в сердце, как укол. Боги... Бог. Я была религиозна с детства. И сама я верила в Бога. Но этот бог ничего не имел общего с сотворением мира и вообще ни с какими махинациями — чудесами, исцелениями, наказаниями, адами, раями, вообще ни с какими атрибутами, изучавшимися у нас на уроках «Закона божьего». Он имел дело... с чем он имел дело? Он сидел внутри человека — скорей, как его дитя, чем как его отец. Он был связан там, внутри, с чем-то очень важным, но я не сразу нашлась с чем. Я только почувствовала, словно кто-то ладонью сжал мне сердце, боль. Боль, как от предательства или собственной лжи. Боль, как «боже, прости меня», много, много раз повторившегося в моей молодой жизни.

Дело шло за полночь, и спорщики в вагоне устали. У многих пооткрывались рты от неудержимой зевоты, в то время как глаза еще широко впивались в каждого говорящего. Потом и глаза начали суживаться, слипаться в веках, — пора было укладываться спать, и мы тут же, не раздеваясь, стали протискиваться на ночлежку, облюбованную с утра. Я двинулась к сестре в коридор, где подушкой лежали наши вещи, но — проходя — задела за грубый башмак, высунувшийся из-под лавки, башмак еще сидевшей и все еще продолжавшей бесконечную связь своих четок желтыми пальцами монахини. Невольно взглянув на нее, я остановилась.

Возможно, что так называемое «духовидение», которое приписывается, по Достоевскому, разным церковникам, существует у них: в опыте, нажитом долгой пустой жизнью, не наполненной никаким человеческим содержанием, кроме изучения разнообразнейших человеческих лиц. Возможно — и даже наверное — монахиня, имевшая много лет опыта в изучении послушниц, женщин, постригаемых в монастырь, девичьих лиц в исповедальнях, в кельях, где оставались они один на один с настоятельницей, матерью-игуменьей, — приобрела знание простых движений души, отражающихся на очень юных лицах. Но эти глаза, сухие и желтые, как ее пальцы, приблизились ко мне удивительно знающе, почти приказательно, так пронизывающе, что я невольно остановилась. «Сядь-кось тут», — прошелестел очень сухой, как солома в поле, голос. Я села, качнувшись вместе с раскочкой вагона.

— А Он, Бог-то, все слышит, все видит. Дьявол душу соблазняет, велит от Господа отречься, святое господне причастие выплюнуть, на Духа Свята клевету возвести. А Бог все слышит, все видит, он те руку протягивает, помощь тебе подает. Ты его слушай, шепчи про себя, до утра шепчи: «Господи помилуй, господи помилуй, избави от мирской скверны...»

Я слушала этот шелест, чувствуя на себе сухие желтые глаза в опухших, нездорово рыхлых, водянистых веках. Видела подол жесткой, пропитанной пылью рясы. Из-под него торчал конец старого, заношенного башмака, тоже пропыленного в складках. И холстина, в какую упакованы были ее вещи, тоже казалась моей спине, притиснутой к ней, несгибаемо, непрощаемо жесткой, — в ней чувствовались какие-то круглые, твердые предметы, похожие на булыжники, обкатанные морем. Должно быть, на лице моем, почти детском в те годы, отразилась эта мгновенная боль сердца после разговора, и желтые глаза монахини проникли в нее. А шелест, как ветер в листве, донес напоследок успокоительное: «Покайся, — покаешься, Он простит...»

Я пробралась на свое место, до странности укрощенная, с каким-то удивительным, отрешенным от всего земного и от споров наших светом в душе. Отрывочно, кусочками, думалось, точнее — представлялось воображенью: вот едет с нами человек, ото всего в жизни отказавшийся. Ряса на ней, как рубище, от башмаков, должно быть, раны на ногах. Мы всю дорогу жевали, а она — ела она что-нибудь? Никто не видел. И сразу разгадала, что у меня в душе, в ту же секунду разгадала. Бог внутри нас... что он такое? С чем он связан внутри? И тут мне сразу как бы открылось, что он связан с чувством вины. Раскольников нес в себе это чувство вины, но ведь он убил, он действительно виноватый. А я — в чем моя вина? Ни в чем я не виновата, ничего не сделала, но с ужасом, наперекор этой мысли, вставало во мне противоестественное чувство вины: все равно виновата, в том и виновата, что ничего не сделала, играю в жизнь, бегаю, как мышь, по ней, без всякого направленья, а и сделаю что-нибудь, выберу направленья — все равно буду в чем-то, где-то перед кем-то виновата... Бог — он вот что, он чувство вины, он — совесть. Надо спастись, одно спасенье — каяться, каяться, каяться в вине...

И пока я это думала, становясь коленями на растянутое в коридоре Ленино пальцецо, чтоб разлечься на нем, я встретила другие глаза, серьезно и очень прямо смотревшие на меня, глаза моей сестры Лины. Она в нашем многочасовом молодежном споре почти не участвовала, повторяя про себя для экзамена тетрадку с латинскими спряженьями, пока еще был гусклый свет от заткнутой в фонарик сальной свечи. Сейчас свет затухал. Но глаза ее были мне видны. Много, много пар глаз встречались мне на моем жизненном пути, проникавших надолго в мою раскрытую душу. Но таких — я больше не встречала. Это были глаза-звезды, очень спокойные, полные удивительной ясности, полные абсолютного пониманья, глаза ясного человеческого разума. Она шепотом сказала мне — тоном такой же спокойной трезвости, как ее глаза:

— Знаешь, я тоже с ней разговаривала, пока вы там спорили. Угадай, зачем она в Москву едет? Пошить себе хорошую новую рясу к приезду какого-то архимандрита в монастырь. Везет из монастырского сада особенные наливные яблоки на продажу. Вот продам, говорит, яблоки и приценюсь к шелковому французскому сукну... Знает даже магазины в Москве, где то сукно купить...

Больше ничего Лина не сказала.

## 2

Случай этот — и Линыны слова — не ушел из памяти, но залежался в ней под спудом множества других переживаний. А когда вдруг вспомнился, то в каком-то пророческом, предупреждающем качестве, словно время, сместившись, новой пластинкой в волшебном фонарике, вынутой на секунду из будущих кадров, захотело остеречь меня — смотри, вот на чем будешь спотыкаться, на слепом ученичестве, слепой вере в учителя, на легковерии, на сотворении себе богов... Нет, не богов, — кумиров.

В тех «духовных деяниях», сквозь которые прошла я в наступавшем шестилетии — странническом шестилетии по безбрежному океану чувств, — моими «рулем и ветрилами» были сотворяемые кумиры. Нельзя сказать, чтобы это опасное странничество, где выдумка подменяла реальную суть жизни, — ровно ничему не научило меня. Хоть и зигзагообразно, то вправо, то влево, — но учило и научило, и если бывает —

в уме, подавленном тоской,  
Теснится тяжких дум избыток... —

и я, как многие другие люди на земле, вспоминая прошлое, —

И горько жалуясь, и горько слезы лью, —

то опять же, по Пушкину, — я «строку печальных не смываю». Я хочу изучить эти «строки», взглядеться в них, чтоб понять, какую пользу принесло мне мое странничество и «сотворение себе кумира». Можно ли чем-нибудь поделиться оттуда, как опытом, — с теми, кто только вступает в жизнь. Кто-то (не помню, кто) сказал, что, двигаясь вперед, мы все время падаем, — каждый шаг это нарушение равновесия сил, вывод его из стабильности, падение корпуса то на правую, то на левую ногу. Если так, то ведь даже падение — пусть падение — выход из равновесия, — оно все-таки продвижение вперед, а продвижение вперед — не главный ли это закон развития?

Каков же был итог моего развития за годы 1908—1914? Мне кажется, он в части положительной, накапливаясь по мере продвижения вперед, дал мне понимание двух двигателей души человеческой, без которых не создается то целое, что мы называем в жизни одного лица — его «биографией», а в жизни всего человечества — его «историей». С какого конца ни посмотри на биографию любого икс-игрека, под сотней двигавших его сил мы всегда найдем эти два начальных, глубинных двигателя — убеждение и веру. К области убеждения относятся все оттенки работающего в человеке разума, все функции его мозговой деятельности: размышление, понимание, любознательность, критицизм; а к области веры — все чувства работающего в нем сердца: любовь, ненависть, самоотдача, преданность, привязанность, безоговорочное принятие. Разумеется, это лишь схема, и как все схемы — спорно, односторонне и надуманно. Однако в практической жизни такие упрощенные схемы, как простой и грубый инструмент в руке человеческой, помогают несколько разбираться в самых сложных переживаниях. К убеждению приходишь через разум, оно доказывается для тебя всем ходом познания той вещи, в которой ты должен убедиться, чтоб принять ее или отвергнуть. К вере приходишь через сердце и чаще всего через любовь, — и вера так сильна своим происхождением через любовь, через чувство, через предположение всего твоего характера и темперамента, что никакие рассуждения, никакие попытки разубедить, то есть подойти к вере с инструментом разума, не могут поколебать этой веры.

Здесь, кстати сказать, кроется главный недостаток нашей антирелигиозной пропаганды. За исключением тех, кто пришел к вере от невежества и по традиции, большинство «верующих», иной раз даже высокоинтеллектуальных, пришло к ней от чувства, неподвластного разуму. И стремиться «отрезать» их средствами разума и убеждений — абсолютная трата бумаги, печати, голоса, логических силлогизмов, исторических примеров, притягиваний палеонтологии, космологии, космонавтики, астрономии и всего прочего в качестве доказательств. Много раз хотелось мне написать в наши антирелигиозные журналы: дорогие товарищи, поучитесь у Фурье! Когда я познакомилась с Фурье, одним из умнейших предшественников коммунизма, меня поразило у него рассуждение о страстях. Какая это страшная вещь — страсти, — нарушающая благополучие любого общества, опрокидывающая его рамки. Страсть — в разных ее формах и видах — может вести к убийству, самоубийству, бесчинству, зазнайству, разбою, хулиганству, наконец — безумию! Страсть уничтожает любовь, —

вспомните хотя бы гениальную тему «Лейли и Меджнун», легшую в основу многих древних поэм. Там удивительное дело происходит: Меджнун до того любит Лейли, которую ему не дают в жены, что заболевает; тогда испуганная родня соглашается наконец дать ему Лейли,— на, бери, женись. Но Меджнун (что означает «безумный») продолжает рвать на себе волосы от безнадежной любви, он не замечает, что Лейли уже дана ему в жены, он не может уже быть счастлив, потому что любовь его, сама любовь, от долгого отказа приняла характер безнадежности. (Удивительная глубина психологизма у древних поэтов!) Так вот вредный, ужасный, разрушительный характер страсти — казалось бы — должен побудить Фурье изгнать ее из рамок будущего коммунистического общества, из гармонии житья в его «фалангах». Но я с изумлением прочтала у Фурье, что страсти никоим образом нельзя изгонять и уничтожать. Страсти — очень полезная вещь. Только надо пытаться изменять направление страстей на пользу человеку — значит поставить на службу обществу огромнейший запас энергии. Ветер в океане — бешеный враг шлюпки, если направлена она против его стихии. Но он — великий друг шлюпки, если дует в ее паруса. Прочитав у Фурье о направлении страстей на пользу человеку — этом мудрейшем приеме педагогического гения, — наши антирелигиозники поймут простую истину: клин вышибается клином, а не зубочисткой или фортепьянной клавиатурой.

Высокие страсти — великий дар у человека, это огромный запас душевной энергии. Направить его по другой дороге, например, — на служение народу, на сублимацию в творчестве, на подвиги и во имя новой, гуманной цели, на путь самоотдачи, связанный с верой в Добро, с деятельностью сердца, с любовью — вместо того, чтоб бесплодно топтаться этому чувству у божьего порога в ожидании приема или принести в жертву полезную людям активность бесполезным душевным изживаньем себя в молитвах и созерцаньях, — разве это не великое дело борьбы с фетишизмом для тех, кто занимается у нас «антирелигиозной пропагандой?»

Но я свернула с дороги. Мне хочется передать читателю первый положительный итог моего опыта 1908—1914 годов прежде чем рассказать о всех его фактических перипетиях. Поняв шкурно всю разницу убеждения и веры в деятельности человеческой я много раз впоследствии умела их «скрещивать» в своих делах и решениях, вот как скрещивают ткачи уток и основу в создании ткани: не путая их, не пуская одно в поле действия другого, не пытаюсь заменить вертикальную нитку горизонтальной, а сохраняя за каждой ее отдельную роль, — чтобы взаимоотношение их, как будто фактически противодействующее (уток пересекает поперек основу), на самом деле привело к созданию прочной ткани. Достичь понимания и управления этой двойцей в моей долгой жизни я смогла, конечно, из двойственности своей практики тех лет, упорной, постоянной, каждодневной. С одной стороны, переходя от любви к любви, от веры к вере, от создания одного кумира к созданию другого, я жила огромной деятельностью сердца все эти годы. С другой — жизнь заставляла меня учиться, зарабатывать, ежедневно определенное количество часов иметь дело с книгой. Книжные и учебные занятия, слушанье лекций, подготовка к докладам на семинарах, уроки с ученицами («по всем предметам» и «по трем языкам», впитывание всех умственных веяний и процессов, происходивших в те годы не в замкнутых пространствах обществ и салонов, а как бы в самом воздухе Москвы, передававшихся словно на слух и на глаз, все это обостряло деятельность жадного моло-

дого мозга, тренировало его на выработке суждений, на схватывании впечатлений, на той важной способности, которую я впоследствии называла у себя «даром апперцепции», — умением целостно отпечатывать в мозгу сложное явление во всех его взаимосвязях. Тут художественные способности начали у меня более явственно сталкиваться с умственными склонностями, искусство с наукой.

Практически — очень важным связующим звеном между разнообразием наших тогдашних «деяний духа» — была переписка. Недавно, прочитав три тома писем Белинского, я увидела, какое огромное место в жизни людей сороковых годов девятнадцатого века занимало эпистолярное искусство. Письма делались душевной потребностью, их писали целыми тетрадами, они настолько приближались к профессиональному литературному труду, что почти переходили в особый жанр, — множество книг прошлого века написано в форме писем, не только политических, но и «романтических», — да и не только прошлого века, — а и предыдущего, — Монтескье в «Lettres persanes», гётевский «Вертер», недавно прекрасно переведенные у нас А. М. Шадриным письма к сыну англичанина Честерфилда...

Выше я говорила о своих переходах «от любви к любви, от создания одного кумира к другому». Я прошу читателя помнить, что речь тут идет именно о «духовных деяниях», о труде духа. Ни атома всего того, что присуще земной человеческой любви, ни малейшего дуновенья эротики — в этих моих увлечениях не было, они возникали, как необходимость для ученичества, послушничества, поиска путей познания, и носили, в сущности, не личный, а сверхличный характер, форму важного духовного опыта, о котором не только можно без всякой застенчивости, но и должно — с полным бесстрашием — поделиться с читателем, как полученным знанием. Письма, — потребность высказаться и сообщиться с себе подобным мыслящим существом, — были у многих из моего поколения, а у меня особенно, безмерно щедрой самоотдачей. Писались они часто совсем незнакомому человеку, фактическое знакомство приходило уже значительно позже и наслаивалось на создавшуюся еще раньше душевную близость. Все мои самые близкие духовные связи тех лет выросли из переписки, начались с переписки — до того, как адресаты обеих сторон увидели друг друга в лицо как таковые.

Критики указывают иной раз на «особый жанр» последних моих книг и особенно «Четырех уроков у Ленина», сближая его с манерой Герцена говорить с теплым присутствием личного «я» о самых отвлеченных и объективных предметах, то есть как бы автобиографически. Не знаю, насколько правы критики, но хочу обратить их внимание на высокопропагандистский момент в большой русской литературе вообще, у которой мы учились. Этот «пропагандистский момент», — слияние субъективной веры с объективным убеждением, неизбежно повернутое писателем в адрес его читателя, — с точки зрения профессиональной литературной технологии родился из колоссального распространения на Руси эпистолярного искусства, потребности писать письма. Так что даже и для тех, кто ставит себе простую научную задачу изучать стиль и жанры современной советской литературы — жизненно важно вспомнить о роли этой потребности у русских писателей. Духовная потребность, реализуемая на практике — если упражнять ее очень долго — приводит к привычке; а в привычке, подобно тому, как в куске янтаря застревает муха или сковывается паучок среди тонких волокон растенья, затвердевают и некоторые черты и качества, свойственные легкому, непосредственному характеру письма-эпистолы, — черты откровенности, искренности, прямого обращения к читателю, эмоционального воздействия на

него, поскольку автор обращается прямо, а не условно — к ощущаемому, близкому, — а не безликому множеству.

И тут я опять хочу — да прости мне мой терпеливый читатель! — свернуть по ассоциации в сторону, рассказать кое-что о привычке. Есть такая фраза-поговорка, знакомая из русской классики: «береги честь смолоду». Я бы прибавила к ней еще другую, практически не менее важную: создавай себе привычку смолоду, с первых дней молодости! Привычку к определенной форме, определенной технологии труда. Это скажется во всей жизни, это принесет огромные плоды на старости. С ужасом вижу я у части современной молодежи легкое и пустое отношение к времени; есть для него и слово, пустое и страшное, — «препровождение». Часы, дни проходят у молодого, полного сил существа — на ничего. Напоминают ему «надо же успеть выучить, надо к такому-то успеть сделать!» и получают в ответ: «Пустяки, наверстаю!» Наверстаю... Впереди много времени, вёрсты и вёрсты. Успеется. И время, материальное время, бежит, как пустой конвейер, на который ничего не положено. День не положено, месяц не положено, год не положено — впереди еще есть вёрсты, — наверстаю. Но когда пришел последний срок «наверстать», оказывается, — молодой, энергичный человек наверстать не может. Один-два раза выйдет, а вообще — не получается, не выходит, хотя есть еще и время для этого, и силы, и здоровье. Почему не получается? Попробуйте спросить у хорошего скрипача, месяцами не бравшего скрипку в руки: почему не выходит у него знакомый пассаж на фиоритурах? Да потому, что не было ежедневной тренировки пальцев, не было необходимой практики. Время не резинка, время действительно. Пустое время между вами и вашим делом, — пропущенное, препровожденное, — не оставляет за этот промежуток вас и ваши способности точь-в-точь такими, какими они были до промежутка. Они, ваши способности, за этот промежуток — пригупились, деквалифицировались, назад пошли. И наоборот, если б он, этот промежуток времени, заполнялся бы вами, как на конвейере, практикой и практикой, повторением, изучением, освоением определенной вещи, — то ваши способности и ваше умение за этот промежуток упрочились бы, приобрели квалификацию, вошли в привычку. Подобно тому, как формула в математике на все времена держит открытую и освоенную связь определенных действий, — привычка держит в вашем теле, в вашем мозгу, в ваших нервах автоматически ставшую как бы уже частью вас облегченную технологию вашего практического действия.

Сколько теряют наши молодые люди, не заручившись привычкой думать, работать, изучать, делать — с ранней молодости! Но я неверно сказала, что промежуток откладывания своих дел в надежде «наверстать» оказывается для них только пустым и потерянним временем. Время никогда не бывает пустым. Оно откладывает на своем конвейере для праздной молодежи по кирпичику «пустоты» и «потерянности», создавая постепенно привычку к ничегонеделанью. И уже эта самая привычка ничегонеделанья и мешает им впоследствии «наверстать».

### 3

Но возвращаясь к положительному итогу юных лет моей жизни по части «деятельности жадного молодого мозга». Что дала практика писания писем (относящаяся, кстати сказать, скорей к циклу создания кумиров и любвей), — я уже написала выше. Остается сказать еще об очень важной области выработки привычек, — к процессу чте-

ния. Часто встречается у студента-первокурсника наивный взгляд,— будто чтение, как дыхание, дается каждому грамотному само собой. Во второй книге моих воспоминаний я уже писала о том, что чтение настоящей книги должно быть взаимодействием с ней, то есть, ничего не вкладывая в читаемое от себя, вы рискуете и не получить ничего от книги. Но это касается глубинного, творческого чтения. А самый процесс чтения, его технология,— тоже не дается сразу. Одно дело читать дома, другое — в библиотеке. А чтение в библиотеке похоже на своеобразную школу.

Сперва вы как бы окунаетесь в хаос возможностей — сколько всего! Как много обо всем! И как интересно,— захватывает даже заглавиями в каталогах,— многое среди того, где вы ищете одну какую-нибудь, нужную для себя, книгу,— хотя это «захватывающее» в данный момент для вас совершенно не нужно. Кроме часов в аудиториях и на семинарах, в домах, где давала уроки,— главным местом моего бытия в те годы была библиотека. Изо дня в день, завернув в газету свою тетрадь, я шла в «Румянцевку»,— читальный зал при Румянцевском музее. Он совсем не был похож на огромную нынешнюю Ленинскую библиотеку с ее комфортом — различными залами, консультациями, буфетом, демонстрационными помещениями для выставок и концертов. Но, честно говоря, понятие о комфорте с годами у человека меняется и кое-что в прошлом кажется мне более комфортным, чем нынешнее. Мы приходили чаще всего вечером. Под зелеными бабочками настольных абажуров сидели читающие. Им ставились чернильницы, куда всякий раз подливались свежие чернила — чего нынче вряд ли допросишься, ведь наступил век авторучек, обезличивающих своим золотым пером все особенности вашего почерка, нивелирующих и огрубляющих тот внутренний жест, которым передается от мозга к руке, когда вы пишете, движение вашей мысли. Из деревянных подставок мы могли среди многих других выбрать себе ручку по душе и попросить, если понадобится, чистое школьное перо. Буфетов никаких не было, но в углу стоял бак, обыкновенный бак с кипяченой водой и кружкой, а у вас, в той же газете с тетрадью, был припасен кусок хлеба, если не с маслом, то хоть с солью (чудный ржаной с ароматной корочкой, посыпанный сверху солью!) — и вы тут же могли его съесть и запить из кружки. К каталогам вам никуда не нужно было ходить,— они лежали тут же, длинными ящичками, утоляя щедро вашу жажду.

Не было, правда, ученых консультаций для десятков тысяч читателей, как сейчас. Но было нечто другое: замечательнейшие библиотекари, оставившие потомству свои имена. Незадолго до меня в «Румянцевке» работал знаменитый Николай Федорович Федоров, автор «Философии общего дела». Он заведовал каталогами, а верней — заведовал чтением многих и многих читателей куда сердечней и осведомленней, чем нынешние консультанты, обремененные сотнями заявок. Прочитывая список книг, заказанных кем-нибудь из читального зала, Федоров имел обыкновение подкладывать к ним еще более нужные, новые по данной теме, с короткой запиской «это поможет» или «это еще более осветит вопрос». На свое скудное жалованье он прикупал в фонд библиотеки издания, которых в ней не было, а читатель спрашивал. Лев Николаевич Толстой, пользовавшийся книгами из «Румянцевки», называл его незаменимым библиографом-энциклопедистом. Умер Николай Федоров в 1903 году, но я застала другого интересного библиотекаря в «Румянцевке», — Петровского, поклонника Рудольфа Штейнера и антропософа. Он поэтически подходил к каждой книге, даже если это был учебник тригонометрии. Каким бы путаником он ни казался, пытаюсь изложить сокровенные «истины» Штей-



нера из его рукописных, недоступных для большинства, «курсов», — общение с ним и его удивительное знание книжных сокровищ библиотеки были полны интереса для меня. Вот этот своеобразный «комфорт» прошлого кажется мне сейчас не меньшим, а даже на много большим теперешнего. Он, сказать правду, более естествен, ближе для читателя к предметам знания, оставляет читателя лицом к лицу с этими предметами — в более активном, более свободном, более разностороннем и действенном духовном состоянии. Но я опять ушла в сторону!

Сперва мое чтение было хаотичным. Читаемая по теме книга включала в сносках и примечаньях ссылки на другие источники. Роясь в каталогах, чтоб найти их шифры и заказать себе эти другие источники, — я сплошь да рядом наталкивалась на интригующие названия. Не нужно по теме — а знать так хочется! И чтение разветвлялось, непрерывно множилось, — главная его магистраль переходила во встречные дороги, дороги в улицы, улицы в переулки, переулки в тропинки, тропинки в необъятную даль бездорожья... Главная тема охватывалась спиралями знаний, объяснений, споров, отзвуков, переходов в новые и новые проблемы, связанные с основной темой. Я пробиралась по лесу знаний, заходя в разные стороны. И чтоб не забыть прочитанное, стала конспектировать его в тетрадку, — сотни таких тетрадей скопились у меня в сундуках и ящиках. Конспектирование сперва велось вслепую, — от-до; потом я научилась отличать существенное от случайного, и записывать только существенное. Потом вспыхивало, утрамбованное накопленным опытом, — качественное суждение. Не только о самом тексте, — о его языке, стиле, удачном и неудачном месте, верной или неверной мысли, — и конспект стал превращаться в отклик, в разговор с книгой. Нельзя было писать на полях — книга библиотечная! А впечатленье, ответная мысль, резкое несогласие — рвались из меня, — осязаемые в абсолютной тишине читающего зала, как застрявший кусок в горле. И они неизбежно вторгались в конспект.

Шли дни, месяцы, годы такого чтения в поисках «истины — до конца» (которого, кстати сказать, и не бывает). И прочно, как возводимое каменное здание с цементом, скрепляющим камни, выростала привычка. Замечательная привычка, сделавшаяся моей «подругой» на всю долгую жизнь: Привычка — находить нужную книгу; а в книге находить ее самое нужное место; а нужное место правильно конспектировать, ставя номер страницы. Привычка вдумчивого чтения, открытия цитатной мысли у автора; усвоения побочных мест, могущих пригодиться; привычка чувствовать себя в книге, — любой и почти на любом иностранном языке, во всяком случае на трех из них, — не как в гостях, а как дома. Словом, привычка хорошо понять и отложить в записях для памяти нужную тебе книгу. Пусть она потом забудется. Но память хранит ее в своей кладовой для первого нужного случая. И вы остаетесь богачом знаний даже в периоды своих беспомытств, богачом знаний, потому что удерживаете в памяти связь между всем прочитанным, как нитку в ожерелье жемчужин. Постепенное обретение простого опыта, что изолированной науки в мире нет и все познанное человеком — переключается, — оно-то, в сущности, и составляет секрет «образованности». Хаотическое мое чтение первых лет, приведшее постепенно к этому опыту, оказалось исключительно полезным, научило привычке искать и находить связь.

К примеру — два случая. Об одном я много раз уже рассказывала читателю. Перебирая каталог — вдруг наткнулась на такую запись: «Аббат Галиани. Беседы о торговле зерном. Перевод с французского. Издано в Киеве». Небольшая книжечка, тотчас мною заказанная. Что

привлекло, что заставило заказать? Несоответствие автора с темой,— аббат, духовное лицо,— какое ему дело до торговли зерном? Странность заглавия,— как это можно «беседовать» на такую тему? Что там хорошего для беседы?! И я начала читать книгу,— одну из самых блистательных в гениальной литературе XVIII века, покорявшую самых сильных читателей своего времени, державшую очарованными ею умы друзей и врагов, докатившуюся до Екатерины Второй, никогда не пропускавшей мировых книжных новинок... Начала читать, ничего об этом не зная, как курьез,— и влюбилась, влюбилась, как люди восемнадцатого века. Это был первый образец — до Маркса, до Гегеля— гениального диалектического материализма в самой доходчивой форме, доведенной в древности Платоном до совершенства,— в форме диалогов, точнее именно «бесед». Несколько человек — несколько характеров. Тема — введение в Англии закона о продаже зерна. Хорошо это или плохо? К чему это приведет? Я читала в то время наряду со всеми существующими «историями философия», древних и современных; наряду с самими философами («Наукой логики» и «Феноменологией» Гегеля) — множество изданий символистов и модернистов разного толка, журнал «*Mercur de France*», очень в то время популярный среди «эстетской» молодежи, наши журналы «Весы», «Золотое Руно»... И набивая воображение всем, что воспевали Бальмонт, Брюсов, Федор Сологуб, всякие Соколовы-Кречетовы,— я совершенно ничего не знала об экономике, мире хозяйства, о том, что дает нам жить, создавая хлеб насущный. И вдруг этот мир хозяйства открылся передо мной в острой диалектической полемике «Бесед». Один говорит замечательно — ты хватаешься за его мысли, веришь ему. Начинает отвечать другой — и куда девались все аргументы первого! Провалились, уничтожены, нет их! Но вступает в беседу третий — и высмеивается опровержение, хотя не восстанавливается первая истина. Вы оказываетесь между ними. К вам надвигается третья реальность — новая, убедительная, спокойная... Боже мой, где границы человеческого ума? Что же все-таки правильно? За кем идти, с кем согласиться?.. Огромное впечатление от «Бесед» Галиани не проходило у меня десятки лет. И не кто другой, как почтенный аббат (его книги цитировал Карл Маркс), подковал меня для Гегеля, для позднейшего прочтения «Капитала», а главное — тренировал мозг для понимания проблематики хозяйства и поздней отразился чуть ли не во всех моих очерках о советской промышленности.

Другой пример — еще более странный. Однажды, свернув по сноске какого-то текста на дремучую тропинку библиографии, я неожиданно оказалась перед огромным, почему-то закапанным восковой свечкой, томом с заглавием «*Acta Sanctorum*». Это было средневековое издание католических «отцов церкви». Я раскрыла его на «*Confessiones*» Августина Блаженного<sup>3</sup> и влюбилась в свежее, облегченное звучанье средневековой латыни. Она мне запела, как прелюдии Баха, влажная по сравнению с сухой латынью классической, но еще строгая и не сентиментальная по сравнению с чувственной патетикой выросшего из нее итальянского языка. Я начала для себя, для собственного удовольствия, переписывать всю «*Acta Sanctorum*» в свои тетрадки,— несколько их сохранилось у меня до сих пор. Может показаться нелепым такой расход времени. Скажут: «Для чего?» А я знаю, что это не было зря. Это был сложный, нужный опыт, пригодившийся мне отнюдь не только для лингвистических размышлений. Он пригодился мне для понимания полифонии в музыке и перехода от нее к современному музыкальному строю у композитора Йозефа

<sup>3</sup> «Исповедь» Августина Блаженного.

Мысливечка, для понимания связи между развитием разговорного итальянского языка и — языка музыки в его развитии. Нет изолированных знаний! Все перекликается на том высоком уровне мышления, которое зовется проблемным.

Еще об одном хочется тут рассказать, прежде чем перейти к «фактическим перипетиям» этих сложных лет моей жизни. Часто задают вопросы о технике писателя, о том, как он строит свою работу в режиме дня, что именно служит ему технической помощью. Под уклон моих лет, когда книг моих набралось чуть ли уже не больше, чем этих лет,— часто спрашивают интервьюеры, есть ли и какие у меня «секретари», диктую или сразу стучу на машинке,— и даже какой-то лихой пародист нарисовал меня однажды летящей по воздуху с машинкой на коленях и что-то на ней выстукивающей. Мне вовсе не кажется таким уж значительным делом моей жизни, чтоб сообщать вслух о мелочах своей рабочей «лаборатории». Но есть в них нечто принципиальное, чем, думается мне,— совсем не худо поделиться с молодежью, вступающей в нашу очень ответственную, очень трудную профессию. И потому решаю кое-что рассказать, тем более что оно развивает мысль о создании прочных привычек труда смолоду.

В о-п е р-в ы-х, настоящих секретарей у меня никогда в жизни не было и хочу надеяться — не будет. Есть хорошая английская поговорка: хочешь, чтоб тебе совсем не служили,— держи дюжину слуг; хочешь, чтоб тебе плохо служили,— держи двух или одного; хочешь, чтоб тебе служили хорошо,— служи себе сам. Я свято придерживалась этой поговорки, хотя с годами, когда обрастаешь очень большой корреспонденцией, это очень трудно. Человеку во всех возрастах, если он сам себя не стесняется и не боится сохранить в своем характере кусочек детства, очень помогает игра. Я часто играла, помогая себе в трудные периоды: делила день на три дня, называя их понедельник первый, понедельник второй, понедельник третий — и так далее, все дни недели. В первый — допускалось только творчество,— никаких разговоров, никаких телефонов, никаких внезапностей,— сидеть и писать,— пусть в корзину, на разрыв, если не запишется, но писать непременно, повязав голову (чаще, за неимением шарфика, чулком). Никто не смел видеть меня в этом состоянии, немытую, нечесаную, сразу — из постели,— засевшую за письменный стол, хотя хотелось иной раз отчаянно жаловаться на «не выходит», «исписалась», «кончено»... И никогда кончено не было, от многих и многих усилий, многих и многих выбросов в корзину — возникала теплая, благодатная волна творчества в мозгу, и вы уже сами не властны были остановить ее... Счастье двух-трех часов этого творческого одержания, когда, как любили говорить романтики прошлого века и сам Гёте,— демон ваш (daimōn по-гречески) ведет человеческой рукой почти бессознательно, почти без участия засыпающего и как бы погруженного в сказочный сон мозга! Всякий раз трепещешь, что оно не повторится. И всякий раз переживаешь возврат его, как электрической искры от трения,— работа, работа, работа, хотя бы на разрыв в корзину, пока не вспыхнет и не погечет творчество. Честно могу признаться, что лишь эти «искры», рожденные упорной работой, и то, что явилось следствием творческого горения мозга,— я оставляла не уничтоженным.

И тут одно очень важное обстоятельство. У Энгельса есть замечательные строки о роли человеческой руки в процессе становления homo sapiens'a,— человеческого вида, в отличие от четвероногих. Рука для меня никогда не была самой по себе,— но всем человеческим «я», всей сутью, в которой (как в мягкой части коралла, растущего вперед) сосредоточено отличие человека от животного. Писать свсей рукой,

держа ручку в пальцах,— самое непосредственное соотношение ваше с листом бумаги, почти заменяющее кончики пальцев. Вы передаете себя в письме, передаете интимней, откровенней, излиянней,— через внутреннее движение всего вашего тела, ваших мускулов, биения пульса, течения крови, передающегося в свою очередь важнейшим фактором самовыраженья,— п о ч е р к о м. Есть целая наука определения характеров по почерку. Она эмпирична. Терять свой почерк, мешать его развитию, влиянию вашей воли на улучшение почерка, чтоб придать ему ясность,— это очень большая потеря для человека в целом и для писателя в частности. Поэтому — на «в о - в т о р ы х» — я отвечаю: никогда не могла и не хотела выстукивать свое творчество на машинке,— ненавидела машинку, изгоняла ее из своего обихода, как и огрубляющее, нивелирующее почерк автоматическое перо. Диктофон кажется мне ужасным присутствием соглядывая в комнате, а диктование — неизбежной формой самоторможенья, самооглядки, неискренности, смесью страха, конфуза, механического движенья мысли вместо творческого самозабвенья ручной записи.

Возможно, я тут отстала от века, становлюсь чем-то старомодным и уходящим в прошлое, но так оно есть и не просто есть,— так оно у меня глубоко принципиально. Десятки лет берегу драгоценный опыт писания от руки, даже ручного переписыванья где надо; берегу свою любимую многолетнюю ручку; покупаю, где могу, исчезающие школьные стальные перья; и страшно дорожу простенькой чернильницей, подаренной мне сестрой. Куда бы ни поехала, в дальние или близкие края, она всегда со мной, как и флакончик простых фиолетовых чернил стоимостью в тринадцать копеек. Привычки бывают разные, иной раз неразумные и даже вредные; но я пишу о привычках, имеющих п р и н ц и п а л ь н у ю основу.

*(Продолжение следует)*



---

---

ГЕНРИХ БЁЛЬ

★

## ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ С ДАМОЙ\*

Роман

VI

**Д**абы предотвратить неуместные предположения и не возбуждать ложных надежд, следует представить именно здесь, а не позже, второе из главных действующих лиц первой части книги, на сей раз главное действующее лицо мужского пола. Уже многие — а не только госпожа Ильза Кремер (правда, безуспешно!) — ломали себе голову над тем, почему русскому по имени Борис Львович Колтовский так повезло, почему он попал в 1943 году в немецкое цветоводство. Сама Лени, даже когда дело касается ее Бориса, по-прежнему несловоохотлива, но время от времени она все же кое-что сообщает. Три года ее пытали Лотта, Маргарет и Мария, и только после этого она согласилась назвать двух людей, которые могли дать некоторую информацию о Борисе. Знакомство первого из этих людей с Б. было весьма мимолетным, но зато он энергично вмешался в его судьбу; как раз это лицо сделало Колтовского «баловнем судьбы», ибо было облечено соответствующей властью, обладало упорством и готово было в случае крайней необходимости пойти на риск. Лицо это чрезвычайно высокопоставленное и имеет отношение к промышленности. И оно ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не желает раскрывать свое инкогнито. Авт. не может позволить себе здесь ни малейшей нескромности, ибо это чревато для него большими неприятностями; кроме того, он торжественно обещал Лени хранить тайну — обещал, разумеется, только на словах. Тем не менее авт. желает остаться джентльменом и сдержать свое слово. К сожалению, вышеупомянутое лицо напало на след Лени чересчур поздно, лишь в пятьдесят втором году, когда оно впервые узнало, что Борис был баловнем судьбы вдвойне: ведь ему не только дали возможность плести венки в садоводстве Пельцера, он еще, как видно, оказался тем «принцем», которого ждала Лени. Каких только подозрений ни вызывал Б. у окружающих; его считали подосланным немецким шпионом, который должен был наблюдать за Пельцером и за смешанной командой, собравшейся у него. Ну и, конечно, его принимали за русского шпиона, засланного в тыл. С какой целью? С целью раскрыть секреты плетения немецких венков в годы войны? Или с целью разведать, каков был дух все в той же компании? Ясно только одно: Б. в самом деле был баловнем судьбы. Все остальное не соответствует действительности. В конце 1943 года, когда Б. вышел на авансцену, рост его был примерно 1 м 76 см или 1 м 78 см — здесь нам придется довольствоваться приблизительными данными. Б. был худой блондин, весил он (почти наверняка) 54 кг, не больше, и носил очки. По-немецки изъяснялся свободно, но с легким прибалтийским акцентом, по русски говорил, как все русские. В Германию он приехал в начале 1941 года еще добровольно, а вернулся в эту диковинную страну (многим она кажется таинственной и жуткой) спустя полтора года уже в качестве советского военнопленного. Б. был сыном рабочего, которого выдвинули на дипломатическую работу, в 1941 году отец Б. стал служащим советского торгпредства в Берлине. Б. знал

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 2 и 3 с. г.

наизусть много стихов Тракля и несколько стихов Гёльдерлина, разумеется, в подлиннике. Как инженера, специалиста по дорожному строительству, его призывали в саперные войска и дали чин лейтенанта. Далее мы перечислим еще другие благоприятные предпосылки для судьбы Б., за которую авт. отнюдь не несет ответственности. Оговоримся заранее: отцы-дипломаты бывают далеко не у всех. Кроме того, мало кому покровительствует лицо, которое занимает крупный пост в военной промышленности.

Теперь возникает один важный вопрос. Каким образом получилось, что главное действующее лицо в этой книге не немец по национальности? Не Эрхард, не Генрих, не Алоис, не Гр.-старший, не старый Хойзер, не молодой Хойзер, даже не Пельцер, представляющий собой столь колоритную фигуру? И не Шолсдорф, любезный Шолсдорф, который до конца своих дней будет корить себя за то, что из-за него человеку пришлось сесть в тюрьму и пережить смертельную опасность? И все только потому, что он, Шолсдорф, был фанатиком-славистом и не мог допустить, чтобы в платежных ведомостях значился фиктивный Лермонтов, строивший фиктивные бункера в Дании. Справедливо ли — этот вопрос задает себе Шолсдорф, — справедливо ли, что человек, к тому же такой симпатичный, как Груйтен, стал кандидатом в смертники только из-за того, что фиктивный Раскольников таскал фиктивные мешки с цементом и хлебал в фиктивной столовке фиктивный перловый суп?

Ну так вот: виновата во всем Лени. Она захотела, чтобы героем здесь был не немец. Этот факт — так же как и многие другие поступки Лени — нужно просто принять к сведению. Кстати, Борис был вполне приличный человек, окончивший школу, а потом получивший диплом инженера-дорожника. Правда, латынь он не изучал, но два латинских слова все же выучил, поскольку хорошо знал Тракля. А именно: *de profundis*<sup>1</sup>. Несмотря на то, что школьный аттестат Б. никак нельзя сравнить с тем сокровищем, какое представляет собой немецкий аттестат зрелости, надо сказать (объективность прежде всего!), что Б. почти что мог бы получить и немецкий аттестат зрелости. Учтем, например, что, по свидетельству многих заслуживающих доверия лиц, Б. в ранней юности читал Гегеля по-немецки (он шел не от Гегеля к Гёльдерлину, а, наоборот, от Гёльдерлина к Гегелю). Таким образом, будем надеяться, что даже самые требовательные читатели согласятся с нами: Б. был не намного ниже Лени, возможно даже, он был ее достоин, а впоследствии и вовсе выяснится, что они друг друга стоили.

\* \* \*

Сам Б. ничего не понимал, он был совершенно сбит с толку неожиданными милостями судьбы; авт. почерпнул эти сведения из заслуживающего доверия источника, от некоего Богакова, бывшего товарища Б. по лагерю. Богаков, ныне шестидесятишестилетний мужчина, страдает тяжелым артритом; пальцы его настолько скрючены, что его обычно кормят с ложки, а когда ему удается раздобыть сигарету, то оную сигарету подносят Богакову ко рту. После войны Богаков служил конвойным у американцев, стал жертвой маккартизма и перекинулся к англичанам, где он также стоял на часах, но уже в синей английской форме. Ныне Богаков живет в инвалидном доме, который, видимо, содержится на средства благотворительной церковной организации; свою комнату он делит еще с двумя соседями. Богаков бегло говорит по-немецки, довольно ясно выражает свои мысли на этом языке, если не считать несколько неясного словечка «класно», которым пересыпана его речь. Из-за этого «вечного проклятого стояния на посту — я стоял так десятки лет, стоял по ночам, на холоде, а бывало, еще и с ружьем на плече» — руки Богакова и впрямь так ужасно скрючили, что авт. и сам Бог. потратили немало умственных усилий, рассуждая о возможностях облегчить Бог. процесс курения. «То, что я завишу от других при закуривании, еще куда ни шло, но при каждой затяжке... Нет, так не годится. А ведь я выкуриваю в день пять-шесть сигарет, а иногда и десять, если разживусь табачком». В конце

<sup>1</sup> Первые слова покаянной молитвы «Из глубины (господи, взываю я к тебе)».

концов авт. (он здесь в виде исключения выходит на передний план) решил попросить у дежурной сестры в коридоре штатив, на котором укрепляют капельницы для внутривенных вливаний, после чего, воспользовавшись куском проволоки и тремя прищепками для белья, воздвиг вместе с дежурной сестрой сооружение, названное обрадованным Богаковым «классной курительной виселицей»; придав проволоке форму петли, авт. и сестра прикрепили ее к штативу двумя прищепками для белья, а третью прищепку поместили на уровне рта Богакова; в нее-то как раз и зажимали кончик сигареты, которую Б. оставалось теперь лишь посасывать. Предварительно, правда, кто-либо из соседей по комнате должен был укрепить в прищепке сигарету и зажечь ее. Не стоит отрицать, что авт. воспользовался той симпатией, какую возбудил в Б. как конструктор «классной курительной виселицы», и что в итоге Богаков стал более разговорчив. Не стоит отрицать также, что своими сигаретными подношениями он помог Б., который получал на карманные расходы весьма скромную сумму в двадцать пять марок ежемесячно. Следует заверить, однако, что все это авт. делал не из одних только корыстных побуждений; последнее он готов подтвердить под присягой. А теперь перейдем к statements<sup>2</sup> Богакова, которые время от времени прерывались приступами удушья и курением. На бумаге они будут, впрочем, воспроизведены без всяких перебоев и сбоев в форме протокольной записи.

«Очень уж классным тогдашнее наше положение, понятно, не назовешь! Но, конечно, сравнительно классным оно было! Ну, а теперь насчет Бориса Львовича: он абсолютно, то есть абсолютно ничего не подозревал; он вообще считал, что родился в рубашке уже из-за одного того, что его перевели к нам в лагерь. Видно, он догадывался, что кто-то ему ворожит, но только много позднее узнал кто именно, хотя предполагать, конечно, мог и раньше. Всех нас под строжайшим конвоем водили рушить горящие дома или гасить пожары и еще ремонтировать шоссе и железнодорожные пути, на которых взорвались бомбы... И на том спасибо, конечно... Ну, а если ты рискнешь подобрать хоть гвоздь, обыкновенный гвоздь (для лагерника гвоздь — большая ценность), — если, говорю, рискнешь и тебя поймают, то можешь спокойно считать, что тебе крышка, как пить дать крышка... Нас, стало быть, таскали на пожары, а за этим невинным младенцем Борисом каждый божий день являлся добродушный дядя — немецкий солдат и отводил его в это совершенно классное садоводство. Там он весь день прохлаждался на легкой работе, а позже засиживался и до полуночи... И там он даже завел себе — это знал только я, а когда узнал, то прямо места себе не находил, беспокоился за голову Бориса, будто это была голова моего родного сына, — там он завел себе девушку, любимую девушку! Конечно, все это должно было вызвать у нас подозрения, а если и не подозрения, то зависть... Позже положение Бориса несколько улучшилось, но классным оно так и не стало; Борис Львович начал приносить нам хлеб, даже масло, иногда газеты и постоянно информировать о положении на фронтах; иногда к нему попадали на редкость солидные носильные вещи, такие вещи, какие покупают себе только капиталисты... Но тут появился Виктор Генрихович, который стал у нас в бараке старшим, и он не верил, что все эти классные дары судьбы сыпались на голову Бориса, как говорят капиталисты, «по капризу случая»; Виктор Генрихович считал, что это противоречит исторической логике. Самое удивительное, что в конце концов выяснилось: наш старший был прав. Как он все разузнал, один аллах ведает. Но что ни говори, месяцев через семь Виктор Генрихович доподлинно знал, что еще в сорок первом Борис познакомился на квартире у своего отца с этим человеком, с этим господином (здесь было названо имя, которое авт. обязался не разглашать). Но тут началась война и отца Бориса перевели в разведку, он стал одним из связных, которые передавали задания русским резидентам в Германии. Когда сын попал в плен, он использовал свои многочисленные связи и знакомства, чтобы сообщить об этом тому господину и попросить у него помощи... Однако некоторые предположения Виктора Генриховича оказались неправильными; он, например, считал,

<sup>2</sup> Показания (англ.).

что особо классные носильные вещи попадают к Борису прямо из рук того господина, о котором было, между прочим, известно, что он выступал против нападения на Советский Союз; этот господин был за крепкий, нерушимый договор между Германией и Россией. Он даже позволил себе такую вольность: проводил Бориса, его отца, мать и сестру Лидию на вокзал в Берлине, всех обнял и на прощание предложил отцу Бориса перейти с ним на ты. Имел ли Борис Львович прямые контакты с этим человеком в том дурацком садоводстве, где он плел венки и украшал их лентами, плел венки, которые клали на могилы убитых фашистов? Нет, нет и нет. С тем человеком у него никаких контактов не было. Контакты у него были только с рабочими и работницами... А чем они, так сказать, дышали?.. Нам хотелось извлечь хоть какую-то пользу из классного положения Бориса... Какое настроение было у немецких рабочих? Трое были явно за, трое держались нейтрально, а двое, наверное, были против, но прямо боялись это выразить... Виктора Генриховича, однако, эти сведения не удовлетворяли... Да, черт возьми, доложу я вам, Борис попал в сложный переплет; за классные подарки судьбы надо было дорого платить. Он оказался форменно за пределами исторической логики. А если бы к тому еще вышло наружу, что у него есть любимая девушка, очаровательная красотка, если бы вышло наружу, что ему действительно удавалось срывать цветы удовольствия, и притом не раз... тогда бог знает что произошло бы. Поэтому он упрямо повторял, что все подарки — а они стали позже еще шикарней, — что все подарки: носильные вещи, кофе, чай, сигареты, масло, какой-то таинственный незнакомец прячет для него в кучу торфа, а насчет известий с фронта — их ему будто бы пересказывает шепотом хозяйки ихней лавочки, торговец венками и цветами. Однажды Борис принес нам крохотную карту Европы, вырванную из карманного календарика; в сложенном виде эта карта — а ее кто-то ловко сложил — была не больше плоской конфетки... Это был классный подарок; наконец-то мы узнали, где находимся и что находится вокруг нас. А вскоре настало время, когда Борис начал снабжать нас классной и надежной информацией о линии фронта и о продвижении советских войск и войск союзников». Для того чтобы получить от Богакова такую обширную информацию, авт. пришлось пять раз беседовать с ним, выискивая для этого подходящие возможности. Далее: купить новую виселицу для внутривенных вливаний, поскольку старую все же использовали иногда по прямому назначению. И наконец, снабжать билетами в кино соседей Богакова по комнате.

\* \* \*

А сейчас, по мнению авт., самое время побеспокоить высокопоставленное лицо; достаточно сказать, что, когда произносилось имя этого господина, немцы становились навьтяжку. И так было на протяжении целого исторического этапа от 1900 года до 1970. Повторяем: авт. обещал Лени то, что сама она обещала ранее, — никогда в жизни, даже под страхом пытки, не называть имени важной персоны.

Чтобы снискать благосклонность высокопоставленного лица и попросить его снизойти до возможных дальнейших бесед информационного характера, попросить не слишком униженно, а всего лишь с подобающим случаем смирением, авт. пришлось ехать примерно три четверти часа по железной дороге в направлении — эту тайну можно раскрыть, — в направлении северо-востока, пришлось преподнести супруге лица букет цветов, а самому лицу переплетенное в кожу издание «Евгения Онегина»; в доме у лица авт. выпил несколько чашек довольно крепкого чая (чай был лучше, чем у монахинь, но хуже, чем у госпожи Хельтхоне), побеседовал о погоде и литературе, упомянул Лени (по подозрительному вопросу супруги: «А кто это такая?» — и по недовольному ответу супруга: «Ты ведь знаешь, это та женщина, которая во время войны была связана с Борисом Львовичем», он догадался, что супруга боится тайной любовной интрижки), наконец, поговорил о тяжелом финансовом положении в стране. А потом неизбежно наступил момент, когда разговор о погоде, литературе и о Лени больше не клеился; и тогда хозяин дома, надо признать, довольно резко и без всяких церемоний ска-



зал: «А теперь, киска, будь добра, оставь нас одних». На что киска, на сей раз уже твердо убежденная в том, что авт. исполняет роль *postillon d'amour*<sup>3</sup>, вышла из комнаты, даже не пытаясь скрыть, что она уязвлена.

Надо ли описывать внешность высокопоставленного лица? Ныне ему лет шестьдесят пять, он сед, благообразен, довольно любезен, но неизменно строг. Принимал авт. в чайном салоне всего раза в два меньшем, чем актовый зал школы на шестьсот учеников; окна — в парк: английские газоны, немецкие деревья, самому младшему из которых лет сто шестьдесят, куртины чайных роз... Но на всем, буквально на всем — на лице хозяина, на картинах Пикассо, Шагала, Уэрла, Уорхола и Раушенберга, Вальдмюллера, Пехштейна и Пурмана, — на всем, на всем лежала печать (авт. готов утверждать это даже с риском для жизни), — печать легкой грусти. И здесь Сл, Б<sub>1</sub>, С<sub>1</sub>. Но ни следа Б<sub>2</sub>.

«Вас, стало быть, интересует, правдива ли информация этого господина Богакова? Кстати, я готов оказать ему материальную помощь, не забудьте оставить его имя и адрес моему секретарю. Ну так вот, должен сказать, в общих чертах — да. Откуда этот старший в лагере Бориса все разузнал, откуда добыл эти сведения, понятия не имею. (Пожатие плеч)... Но сами факты правильны. Я познакомился с отцом Бориса в Берлине в период между тридцать третьим и сорок первым, подружился с ним... Для меня это было отнюдь не безопасно. Но с точки зрения международной политики и с точки зрения исторической я всегда стоял и стою за дружбу между СССР и Германией... Мы, мы та страна, которая нужна Советскому Союзу... Но не об этом сейчас речь. Так вот, в Берлине я тогда считался красным, и не без оснований. До сих пор я стою на тех же позициях... Если я и критикую восточную политику нынешнего федерального правительства, то лишь за то, что она чересчур слабая, чересчур мягкотелая... Ну, а теперь вернемся к господину Богакову. Сидя у себя в кабинете в Берлине, я действительно получил однажды конверт со вложенной в него запиской, в которой говорилось буквально следующее: «Лев сообщает Вам, что Б. находится в нем. плену». Кто принес эту записку, так и осталось неизвестным. Да я особенно и не допытывался, конверт передала привратнику внизу. Вы не можете себе представить, как я разволновался. К этому смышленому серьезному тихому юноше я всегда испытывал глубокую симпатию, много раз — наверное, свыше десяти — встречал его у отца, подарил ему стихотворения Георга Тракля, собрание сочинений Гёльдерлина, порекомендовал читать Кафку... Должен сказать, что я был одним из первых, если не первым читателем «Сельского врача», которого моя матушка подарила мне, в ту пору семнадцатилетнему гимназисту, на рождество. Это было в двадцатом году... А теперь я, значит, узнал, что тот юноша, который всегда казался мне на редкость тонким, вообще человеком не от мира сего, попал в Германию как военнопленный. Неужели вы полагаете (здесь высокопоставленный господин, который сперва, так сказать, ушел в активную оборону, непонятно почему — авт. даже глаз на него не поднял — ринулся в атаку), — неужели вы полагаете, будто я не знал, что происходит в лагерях для военнопленных? Неужели вы полагаете, будто я был слепой, глухой и бесчувственный? (У авт. и в мыслях этого не было!) По-вашему (в этом месте в голосе высокопоставленного господина появились почти угрожающие нотки), я считал все это правильным? Наконец-то у меня появилась возможность (переход от пиано к пианиссимо) что-то сделать. Но как найти юношу? Сколько тысяч советских военнопленных было в ту пору в Германии? А может, его вообще застрелили на месте? Или он тяжело ранен? Попробуйте разыщите некоего Бориса Львовича Колтовского среди миллионов пленных (голос высокопоставленного господина опять окреп и приобрел воинственность). Я его разыскал, можете быть уверены (угрожающий жест по направлению к авт., ни в чем, решительно ни в чем не повинному). Я его разыскал, разыскал с помощью моих друзей из ВКА и ВКВ (верховное командование армии, верховное командование вермахта. Авт.) Где? В каменоломнях, стало быть, не в концлагере, но в условиях, близких к условиям концлагеря. Знаете, каково было работать

<sup>3</sup> Посланец любви (франц.).

в каменоломнях? (Ввиду того, что авт. как раз работал три недели в каменоломнях, он воспринял подтекст, содержащийся в вопросе высокопоставленного лица, мягко выражаясь, как несправедливый, ведь лицо косвенно упрекало авт. за то, что он не знал, каково было работать в каменоломнях. Впрочем, авт. не получил возможности отвести этот упрек.) Знаете, что это значило? Каменоломни были равносильны смертному приговору. А пытались ли вы когда-нибудь вызволить заключенного из нацистского лагеря для советских военнопленных? (Тоже необоснованный упрек; авт. и пытаться не стоило, поскольку у него никогда не было нужных связей, чтобы кого-либо вызволить из лагеря; правда, у него иногда появлялась возможность не умножать числа пленных, то есть дать людям убежать подобру-поздорову, но этой возможностью он отнюдь не пренебрегал.) Даже мне и то понадобилось целых два месяца, прежде чем я смог существенно изменить судьбу мальчика. Из ужасающего лагеря со смертностью один к одному его перевели в менее ужасающий лагерь со смертностью один к полутора, а из менее ужасающего в еще менее ужасающий со смертностью один к двум с половиной, из этого ужасного лагеря он снова попал в менее ужасный со смертностью один к трем с половиной; условия в том лагере были неизмеримо лучше, чем в обычных лагерях, но Бориса опять перевели, и тут он попал в лагерь, который, хоть и с большой натяжкой, можно было назвать сносным: смертность там была сравнительно низкая — один к пяти и восьми десятым. В этот лагерь я смог поместить его только потому, что один из моих близких друзей, мой бывший однокашник майор Эрих фон Кам, потерял под Сталинградом руку, ногу и глаз и был послан комендантом в Шталаг (Шталаг?.. Сталаг? Стационарный лагерь для военнопленных. Авт.). Может, вы думаете, что Эрих фон Кам мог все сам организовать? (Авт. ничего такого не думал, единственным его желанием было получить объективную информацию.) Как бы не так! Пришлось подключить к делу Бориса нацистских бонз — одному из них дали взятку; он получил газовую плиту для своей любовницы, талоны на пятьсот с лишним литров бензина и триста французских сигарет, если хотите знать точно... (Именно это авт. и хотел. Авт.) В свою очередь, тот нацистский бонза привлек бонзу пониже рангом — Пельцера, которому можно было намекнуть, что Бориса надо щадить... Но тут возникла очередная трудность, нам понадобилась бумажка от начальника гарнизона: он ведь должен был прикрепить к Борису постоянного конвоира, а этот начальник, некий полковник Хуберти — когда-то он голосовал за немецкую консервативную партию, человек старой закалки, гуманный, но осторожный, несколько раз под него пытались подкопаться эсэсовцы, шили ему дело за «ложно понимаемую гуманность», — так вот этому полковнику Хуберти необходимо было положить на стол официальный документ: мол, деятельность Бориса в садоводстве имеет оборонное значение или «чрезвычайно важное осведомительное значение». И здесь нам помогла чистая случайность, или, скажем, счастливый случай, или веление судьбы, если хотите. (Авт. ничего не хотел. Авт.) Этот Пельцер когда-то давно был коммунистом и взял на работу свою старую знакомую, коммунистку, чей муж, может быть, даже незаконный — кажется, они жили в незарегистрированном браке, — чей муж бежал во Францию с документами огромной важности. И вот Борис был якобы приставлен — так тогда говорили — к той женщине; впрочем, ни сам он, ни Пельцер, ни женщина об этом даже не подозревали. А официальный документ я опять-таки получил от одного знакомого, служившего в отделе «Армия противника. Восток». Самое главное заключалось в том, чтобы держать все в секрете, решительно все, в частности и мою роль. Иначе результат был бы как раз обратный — эсэсовцы обратили бы на Бориса пристальное внимание. Как вы думаете (авт. опять ничего не думал. Авт.), — как вы думаете, легко было повернуть всю эту операцию и понастоящему, разумно помочь Борису? Ведь после 20 июля<sup>4</sup> все стало намного строже. Нацистский бонза потребовал новой взятки, дело висело на волоске. Кого вообще интересовала тогда судьба советского лейтенанта саперных войск по имени Борис Львович Колтовский?»

<sup>4</sup> 20 июля 1944 года было совершено покушение на Гитлера. В заговоре против Гитлера принимало участие довольно большое число людей.

\* \* \*

До некоторой степени усвоив, как трудно было помогать советским военнопленным, даже если им помогали высокопоставленные лица, авт. снова отправился к Богакову. За это время у Богакова появилось еще одно усовершенствование — длинный чубук от наргиле, который надевался на кончик сигареты, — теперь Богаков «классно курил», так как он мог держать чубук в своих скрюченных пальцах. «Мне уже не приходится без конца вытягивать губы и ловить кончик сигареты»; Бог. стал болтливым выше всякой меры и даже готов был посвятить авт. в самые интимные, можно сказать, интимнейшие подробности тогдашней жизни Бориса.

«Ну так вот, — начал Богаков, — не требовалось никакого строгого Виктора Генриховича, мальчик и сам понимал, что с исторической точки зрения его классная жизнь была совершенно неприемлема. Больше всего Бориса беспокоило то, что он все время ощущал невидимую руку. Эта рука перемещала его из лагеря в лагерь, а под конец устроила в садоводство, которое, кроме всего прочего, обладало еще одним ощутимым преимуществом: в садоводстве было тепло, там постоянно топили. А зимой сорок третьего — сорок четвертого это действительно было классно. В конце концов я шелнул, кто ему помогает, но Бориса это отнюдь не обрадовало; одно время он стал даже подозревать ту девчущку, думал, что она подслана и подкуплена. И еще одно обстоятельство чрезвычайно неприятно действовало на мальчика — он был прямо-таки сверхъестественно чувствителен, — на него действовала беспрестанная пальба рядом с его рабочим местом, хоть оно и было классное. Я не хочу сказать, не хочу даже отдаленно намекать, будто мальчик проявлял неблагодарность. Да нет же, ни в коем случае, он умел радоваться, но что было, то было — беспрестанная пальба действовала ему на нервы».

\* \* \*

Надо учесть, что на рубеже 1943—1944 годов в Германии было не так-то просто хоронить мертвецов различных категорий; тут всем приходилось ставить рекорды; и не только кладбищенским сторожам, садовникам, не только священникам и присяжным ораторам — обер-бургомистрам, ортсгруппенлейтерам, командирам полков, не только учителям, товарищам погибших и руководителям предприятий, но и солдатам из батальона караульной службы, которые не переставая палили в воздух. На Центральном кладбище между семью часами утра и восемнадцатью часами шла беспрестанная пальба, громкость которой зависела от числа покойников, причины их смерти, а главное, от их чинов и званий. (Далее авт. дословно цитирует высказывание Грундча.) «Обычно на кладбище стреляли, как на полигоне или, по меньшей мере, как в тире. Конечно, торжественный залп в честь покойного должен был восприниматься на слух как один выстрел — в семнадцатом году я сам, будучи фельдфебелем ландштурма, иногда командовал взводом, который давал прощальный салют. Но один выстрел — это была недостижимая мечта; в большинстве случаев звук салюта походил на стрекотанье автомата, а иногда казалось, что пристреливают новый пулемет. Кроме того, время от времени на кладбище падали бомбы, и тогда вступали зенитки; словом, для людей, не переносящих шума, пальба на кладбище была нешуточным испытанием, а когда мы открывали окно и высовывали голову, то явственно чуяли запах пороха, хоть и от холостых патронов».

\* \* \*

В виде исключения авт. позволяет себе краткое отступление: он обращает внимание читателя на то, что в похоронных церемониях нередко участвовали молодые, еще не искушенные в стрельбе солдаты и что им, видимо, представлялось довольно странным палить поверх голов священников, безутешных родственников, офицеров и нацистских бонз... Не исключено также, что нервы у солдат сдавали — навряд ли это можно поставить им в вину. Ну и, разумеется, на кладбище лились С<sub>1</sub>, раздавался П, все испытывали С<sub>2</sub>, никто из родственников и

друзей покойных не сохранял непоколебимость и чувство спокойной уверенности. На каждом лице читалась Бэ, каждый человек думал о том, что рано или поздно его также похоронят под прощальный салют. И все это, в свою очередь, не могло не отражаться на солдатах. Гордая скорбь в ту пору была не всегда столь уж гордой, на кладбище ежедневно с полной нагрузкой работало несколько сотен, а то и тысяча конъюнктивных мешков: многие участники похоронной церемонии и вовсе теряли контроль над своим мозговым стволом, ибо среди них были люди, которым казалось, что у них отобрали самое дорогое в жизни.

\* \* \*

Богаков: «Недоверие к той девушке продолжалось, конечно, недолго: всего день или два; а потом она возложила (??) на него руки, и все прошло... Я хочу сказать, что девушка просто положила свою руку на его руку: это случилось за тем столом, куда она приносила венки. Он мне сам рассказывал, как ужасно смешался, почувствовав нечто непонятное, но классное. Вы не можете себе представить, какой он был наивный; что такое секс, он вообще не ведал».

\* \* \*

Высокопоставленное лицо: «Должен признать: я здорово рассердился, когда мне задним числом доложили, что он завел шашни. Да, рассердился. Это уж слишком! Неужели он не понимал, как это было опасно, неужели не мог сообщить, что все мы, все его защитники, — а он знал, что находится под защитой, — все его защитники могли попасть из-за него в беду. Ведь сложную, созданную мною цепь можно было раскрутить в обратном направлении. А вы сами понимаете, что в таких случаях нельзя было ждать пощады. Ну, хорошо, все сошло благополучно, я натерпелся страху только задним числом... Но перед фрейлейн Пфейфер, я хочу сказать — перед фрау Пфейфер, я не стал скрывать, как меня поразила его неблагодарность. Именно неблагодарность, так я это квалифицирую... О боже, ради какой-то амурной истории! Разумеется, я постоянно получал через доверенных лиц информацию о его самочувствии, несколько раз с трудом устоял перед соблазном: так мне хотелось отправиться в те места под видом служебной командировки и взглянуть на него! Но в конце концов я не поддался искушению. Он и без того доставлял мне массу неприятностей, массу... Например, он явно провоцировал людей в трамвае, не знаю уж, сознательно или бессознательно. Но на него и на конвойного прямо-таки сыпались жалобы, и фон Каму приходилось их разбирать... Дело в том, что рано утром он напел в трамвае, обычно он, разумеется, мурлыкал себе под нос, но иногда пел громче. Так громко, что можно было разобрать отдельные слова. Знаете, что он пел? «Смело, товарищи, в ногу», вторую строфу: «Вышли мы все из народа, дети семьи трудовой. Братский союз и свобода — вот наш девиз боевой». Как вам это нравится? Петь такие песни рано утром измученным от бессонных ночей немецким рабочим и работницам? Да еще через год после Сталинграда, в битком набитом трамвае? Вообще, как можно было петь в то время, когда положение Германии стало настолько серьезным?.. Представьте себе, он спел бы и третью строфу — а я уверен, что он делал это без всякого злого умысла, — спел бы: «Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил, черные дни миновали, час искупленья пробил». Сами видите, меня не зря называют красным. Да, с ним была масса неприятностей, масса. Конвойного наказали, фон Кам в виде исключения позвонил мне — обычно мы держали с ним связь через курьера, — позвонил и сказал: «Что за провокатора ты подсунул мне?» Ну хорошо, все это удалось замять. Но сколько было хлопот! Новые взятки, новая ссылка на приказ отдела абвера «Армия противника. Восток»... А потом произошло самое страшное: с Борисом заговорил в трамвае какой-то рабочий, он шепнул ему: «Не падай духом, товарищ, считай, что война уже выиграна». Это услышал конвоир, и его с величайшим трудом удалось уговорить, чтобы он взял обратно свой рапорт... Рабочему это могло стоить головы. Нет, благодарности я воистину не дождался. Ничего, кроме неприятностей».

\* \* \*

Авт. счел необходимым еще раз встретиться с одной яркой личностью, настолько яркой, что этот человек, безусловно, мог бы оттеснить на задний план Бориса и сам стать в книге главным действующим лицом мужского пола; речь идет о семидесятилетнем Вальтере Пельцере, проживающем на своей желто-черной вилле у самого лесного массива. Одну стену виллы украшали на совесть позолоченные металлические лани, другую — на совесть позолоченные металлические кони. Пельцер держал лошадь для верховой езды, у него была конюшня для этой лошади, автомобиль (отличная марка), автомобиль для жены (средняя марка). Когда авт. разыскал его опять и посетил не один раз, он обнаружил, что Пельцер ушел, так сказать, в оборону, погрузился в меланхолию и чуть ли не предался раскаянию. «Всю жизнь кладешь на то, чтобы дети у тебя были ученые, посылаешь их в университет; сын у меня — врач, дочь — археолог, сейчас она в Турции, а к чему все это приводит? Они, видите ли, презирают родителей и ихнее прошлое... Старый наци, нажился на войне, конформист... Вы даже не представляете себе, что мне приходится выслушивать. Моя дочка рассуждает о третьем мире, а я говорю ей: «А что ты знаешь о первом мире? О мире, из которого сама вышла?» У меня, значит, теперь много свободного времени, могу читать сколько влезет и все обдумать... Посмотрите на Лени; когда-то она уперлась, не захотела продать свой дом мне, я был для нее человеком подозрительным... Ну, а потом продала этот самый дом Хойзеру. Что же мы видим сейчас? Что задумал Хойзер вкупе со своим делягой внуком? Он прикидывает, как бы выселить Лени, потому что она сдает комнаты иностранным рабочим и уже давно не может вносить плату в срок, да что там в срок, вообще не может платить за квартиру. А я? Неужели бы мне могла прийти в голову мысль вышвырнуть Лени из ее собственной квартиры? Да никогда в жизни. Ни при одном политическом режиме. Никогда в жизни! Я вовсе не скрываю, что нацелился на нее в первый же день, как она появилась. Конечно, я не был образцовым семьянином. Разве я это скрываю? Нет. А разве я скрываю, что поступил в нацисты, а до этого был коммунистом? Разве скрываю, что использовал для своего предприятя некоторые экономические выгоды, которые сумел извлечь из войны? Нет. Я всегда старался — извините за грубость, — всегда старался урвать где только можно. Признаю. Но разве я обижал кого-нибудь после тридцать третьего года у себя в садоводстве или где-нибудь еще? Нет. Конечно, до этого я не очень церемонился с людьми. Признаюсь. А после тридцать третьего? Ни-ни. После тридцать третьего я мухи не обидел. Может, кто-нибудь на меня жаловался? Из числа моих работников или людей, с которыми я был связан по работе? Нет. Никто на меня никогда не жаловался. Единственный, кто мог на меня обидеться, это Кремп, но его уже нет в живых. Да, этому молодчику я не давал спуска. Признаю. Этот тупой фанатик хотел поставить мое заведение с ног на голову и совершенно изгадить у нас обстановку. Когда пришел русский, Кремп решил, что с ним надо обращаться как с недочеловеком, и полагал, что все примут участие в этой травле; идиот, прости господи. Все началось с чашки кофе, которую Лени дала русскому. Как сейчас помню, это было в первый перерыв после девяти утра. День выдался на редкость холодный, это ведь произошло не то в конце декабря сорок третьего, не то в начале января сорок четвертого; кофе для всех варила Ильза Кремер. Если хотите знать, она была у нас самым надежным человеком, ей все доверяли; и дурак Кремп мог, между прочим, задуматься, почему старая коммунистка считалась самым надежным человеком. Каждый из нас приносил свой собственный молотый кофе, и уже от одного этого могла произойти куча недоразумений. Кое-кто приносил чистый суррогат, некоторые пили один к десяти, некоторые один к восьми; Лени заваривала кофе один к трем, я иногда позволял себе роскошь — выпить чашечку половинку на половинку, а иногда и просто чашечку натурального кофе; одним словом, в мастерской у нас было десять пакетиков с кофе, десять разных кофейников... Учитывая положение с кофе во всей стране, Ильза выполняла в высшей степени почетную задачу. Кто бы, в самом деле, заметил или заподозрил неладное, если бы она пересыпала щепотку из чужого пакетика с хорошим кофе

в свой пакетик с плохим? Ведь иногда она приносила чистый суррогат. Да никто! Но коммунисты — народ принципиальный. И этим очень здорово воспользовались наши нацисты — и Кремп, и Ванфт, и Шелф. Никому не могло прийти в голову возложить эту обязанность на Ванфт, на Шелф или на законченного кретина Кремпа; они бы обязательно перемешали весь кофе. Надо сказать, что Кремп был незавидным партнером — этот дурак принимал за чистую монету все, что говорили нацисты, и насчет кофе тоже; чаще всего он пил стопроцентную бурду. А какие ароматы поднимались, когда кофе разливали по чашкам! Человек в те времена сразу чухал носом даже самую малую примесь натурального кофе... И вот, лучше всего пахло от кофейника Лени... Ну ладно. Нетрудно себе представить, что церемония кофепития, которая происходила у нас ежедневно в четверть десятого утра, вызывала целую бурю чувств: зависть, недоброжелательство, ревность, даже ненависть и мстительность. Думаете, в начале сорок четвертого полиция или нацистская партия могли себе позволить допросить и притянуть к ответу человека из-за... как это там у них называлось... из-за «подрыва военной экономики»? Нацисты были до смерти рады, если люди пили свою чашечку кофе; никто не интересовался, откуда этот кофе взялся. Ну ладно... Так что же делает Лени в самый первый день, когда у нас появился русский? Она наливает ему чашечку кофе — и заметьте, один к трем. А Кремп в это время дует свою бурду. А Лени наливает кофе из своего кофейника и несет его к столу, где в тот первый день русский вместе с Кремпом работал в бригаде по каркасам. Лени казалось совершенно естественным угостить чашкой кофе человека, у которого нет ни своей чашки, ни своего кофе... Но она совершенно не понимала — тут уж поверьте мне, — совершенно не понимала, что это был политический акт. Я видел, даже Ильза Кремер побелела... Она-то знала, что это пахнет политикой. Шутка ли, дать русскому чашку кофе один к трем, аромат которого перешибал запахи всей прочей бурды. А что сделал Кремп? Обычно во время работы он отстегивал свой протез — еще не успел к нему привыкнуть, — и вот он снял свой отстегнутый протез с крюка на стене — как вы считаете, очень приятно было весь день любоваться его искусственной ногой на стене? — ну так вот, он снял свой протез и вышиб чашку с кофе из рук окончательно обалдевшего русского. Что за этим последовало? Гробовое молчание. Так, по-моему, это называется. Однако гробовое молчание — оно часто описывается в литературе, в тех книгах, которые я теперь читаю, — тоже имеет свои оттенки: у Шелф и у Ванфт оно было одобрительным гробовым молчанием, у Хейтер и Цевен — нейтральным, у Хельтхоне и у Ильзы — сочувственным к Лени. Но одну эмоцию испытали все мы, можете мне поверить: все мы испугались, даже старикан Грундч, который стоял рядом со мной в дверях конторы и смеялся. Хорошо ему было смеяться, ему это ничем особенным не грозило, он считался невменяемым, хотя второго такого пройдохи свет не видел. Грундч был феноменальный пройдоха. Ну, а что сделал я? Я так разнервничался, что, стоя в дверях, плюнул на пол. Не знаю, можно ли выразить свои чувства плевком и удалось ли мне это сделать. Мой плевок, во всяком случае, выражал сарказм, и упал он гораздо ближе к Кремпу, нежели к Лени. О боже, как трудно объяснять такого рода детали, а они ведь имели тогда первостепенную политическую важность. Попробуй докажи, что твой плевок выражает сарказм. И что он упал ближе к Кремпу, нежели к Лени. В мастерской все еще стояла гробовая тишина. А что делала Лени, в то время как все, так сказать, замерло в напряженном молчании, затаив дыхание от страха? Что она делала? Лени подняла чашку, которая не разбилась; вокруг лежали остатки раскрошенных торфяных брикетов, и чашка мягко упала на них; она подняла чашку, подошла к крану и начала тщательно мыть ее — уже в этой тщательности был скрытый вызов. Мне кажется, с той минуты она все делала нарочно, со скрытым вызовом. Боже мой, вы же понимаете, что чашку можно было вымыть в два счета, даже основательно вымыть, но Лени мыла ее с таким видом, будто у нее в руках священный сосуд, а потом она неизвестно зачем старательно вытерла эту чашку чистым носовым платком; вытерла ее, подошла к своему кофейнику и снова налила кофе — у нас у всех, знаете ли, кофейники были на две чашки кофе. И эту вторую чашку она как ни в чем не бывало

опять поднесла русскому, поднесла не молча, а со словами: «Прошу вас». Теперь настала очередь русского. А уж он-то понимал, что всё это пахло политикой... Нервный, тонкий молодой человек, такой деликатный, что кое-кому из наших не грех было бы у него поучиться, бедный мальчик в смешных очках, со светло-русыми волосами, слегка волнистыми, ну прямо вылитый ангелочек. Так что же он сделал? Как поступил? Тишина все еще стояла гробовая, и каждый чувствовал, что настал решающий момент. Лени сделала свое дело... Как теперь поступит он? И вот он взял чашку и сказал громко, четко, на безукоризненном немецком языке: «Большое вам спасибо», сказал и отхлебнул кофе. А на лбу у него выступили капли пота. Сами понимаете, этот парень давненько не пил натурального кофе или чая, на его истощенный организм это подействовало как живительный шприц... К счастью, однако, нестерпимая гробовая тишина наконец-то прервалась: Хельтхоне с облегчением вздохнула. Кремп прорычал какую-то фразу, где слышались слова: «...большевику... вдова солдата... кофе большевику», — Грудч рассмеялся во второй раз, а я во второй раз сплюнул, так неаккуратно сплюнул, что чуть было не угодил в протез Кремпа... А в те времена это было святотатством. Шелф и Ванфт возмущенно зашипели, а все остальные с радостью перевели дух. Теперь, стало быть, Лени осталась без кофе... Как вы думаете, что тут сделала моя Ильза, я хочу сказать, Кремерша? Она взяла свой кофейник, налила кофе и дала чашку Лени. И притом сказала довольно-таки внятно: «Не резон жевать свой хлеб всухомятку»... А кофе у Ильзы в тот день тоже оказался не такой уж дрянной. У нее, надо сказать, был брат наци, занимал какой-то важный пост в Антверпене. И вот этот брат часто привозил ей кофе в зернах... Факт остается фактом. А для Лени это была решающая битва».

\* \* \*

Решающий демарш Лени в конце 1943 или в начале 1944 года показался авт. настолько важным, что он счел необходимым собрать подробную дополнительную информацию и еще раз опросить всех живых свидетелей сцены в мастерской. Прежде всего авт. занялся «гробовым молчанием», он решил, что оно не могло быть таким долгим, как это утверждал Пельцер. Исходя из собственного опыта и здравого смысла, авт. считает, что Пельцер допустил здесь литературную гиперболу, о которой надо сказать прямо: «гробовое молчание» не может длиться больше тридцати — сорока секунд. Кремер, которая, кстати сказать, не отрицала наличие брата-нациста, снабжавшего ее кофе, — Кремер оценила продолжительность «гробового молчания» в три — пять минут. Ванфт сказала: «Эту сцену я помню так, как будто она произошла только вчера; до сегодняшнего дня я упрекаю себя в том, что мы не вмешались и тем самым словно бы одобрили дальнейшие события... Гробовое молчание? По-моему, это было скорее презрительное молчание. А сколько оно продолжалось? Неужели это так важно? Ну что ж, раз важно, то скажу: оно продолжалось минуту или две. Но главное — это то, что мы не должны были молчать, не имели права молчать. Ведь наши юноши сражались как львы, мерзли и непрерывно гнали большевиков (в 1944 году все уже было не так: именно большевики «непрерывно гнали» тогда наших юношей. Историческая поправка авт.), а этот большевик сидел в тепле и пил кофе один к трем, кофе, который ему поднесла шлюха Лени...» Хельтхоне: «Меня прямо дрожь пробрала, ей-богу; у меня начался форменный озноб, уверяю вас. И уже тогда я задала себе вопрос, который задавала потом неоднократно: неужели Лени не ведает, что творит? Я восхищалась Лени, ее мужеством, ее естественностью, ее спокойствием, да, черт возьми, восхищалась спокойствием, с каким она мыла и вытирала свою злосчастную чашку во время этого гробового молчания. В тот день она продемонстрировала... я сказала бы... продемонстрировала не экзальтированную, а хладнокровную душевность и человечность. Да, черт возьми. А что касается продолжительности этой сцены, то повторяю: мне казалось, что она длится вечность... Уж не знаю, сколько все молчали на самом деле: три минуты, пять или всего восемь — десять секунд. Но для меня прошла целая вечность. И впервые в жизни я почувствовала что-то вроде симпатии к Пельцеру, он ведь явно был на стороне Лени,

явно был против Кремпа... Ну, а эти его плевки, разумеется, он был хам... Но в ту минуту, ей-богу, это была единственная возможность выразить свои эмоции... И было совершенно очевидно, какие эмоции он выражает, — конечно, он бы с удовольствием плюнул Кремпу в лицо, но этого он сделать не мог».

Грундч: «Да, я бы с удовольствием громко выразил свой восторг, девчушка оказалась смелой. Она, черт подери, с самого начала пошла на решающую схватку... Наверное, она еще сама ничего толком не знала, но уже кое-что предчувствовала: с мальчиком она была знакома всего лишь полтора часа, наблюдала, как он беспомощно телепается с каркасниками... И никто, даже эта ищейка Ванфт, не мог ей ничего пришить, не мог сказать, что Лени завела с русским шуры-муры. Если вы позволите выразиться по-военному, то я скажу: Лени освободила себе сектор обстрела еще до того, как у нее вообще появилась надобность стрелять. Ее поступок никто не мог истолковать иначе чем проявление абстрактной, наивной человечности; правда, проявлять человечность к недочеловекам запрещалось... Но тут как раз и была вся заковыка... После поступка Лени даже прохвост Кремп и тот понял, что Борис — человек, у Бориса был нос, две ноги, очки на носу. И он воспринимал мир тоньше, чем весь персонал нашей шарашкиной конторы. Именно смелость Лени сделала Бориса человеком в наших глазах, открыто возвела его в ранг человека... И так оно у нас и повелось, несмотря на все неприятности, которые произошли потом... Сколько времени длилось гробовое молчание? Тогда мне показалось — минут пять, не меньше».

\* \* \*

Авт. счел своей обязанностью вычислить экспериментально возможную продолжительность гробового молчания. Ввиду того, что помещение мастерской существует до сего дня — теперь оно перешло в собственность Грундча, — ему удалось сделать все необходимые обмеры: расстояние между столом Лени и столом Бориса равно четырем метрам, расстояние от стола Бориса до водопроводного крана равно трем метрам, от крана до стола Лени (где стоял кофейник) — двум метрам; наконец, расстояние, которое Лени преодолела во второй раз, то есть расстояние до стола Бориса, опять-таки равно четырем метрам. Итого: Лени проделала путь общей сложностью в тринадцать метров, проделала его на вид совершенно спокойно, но в действительности, надо полагать, довольно поспешно. К сожалению, процесс вышибания чашки не удалось восстановить, или, вернее, удалось восстановить лишь умозрительно, поскольку авт. не располагает ни знакомым с ампутированной ногой, ни, соотв., протезом. Зато удалось полностью восстановить процесс мытья и вытирания чашки и процесс наливания кофе. Он (авт.) проделал эксперимент трижды, чтобы добиться максимальной точности и иметь возможность вычислить некую среднюю величину. Результаты таковы: первый эксперимент продолжался 45 секунд, второй — 58 секунд, третий — 42 секунды. Средняя цифра — 48 секунд.

\* \* \*

В виде исключения авт. снова непосредственно вмешивается в действие: дело в том, что событие с русским он оценивает как рождение, или, вернее, как второе рождение Лени, как своего рода главное переживание ее жизни, и поскольку он не располагает другим таким же важным материалом, то и позволяет себе подбить здесь некоторые итоги. Итак, Лени представляла собой, быть может, несколько ограниченную особу, в ее голове причудливо перемешались романтизм, чувственность, материализм, обрывки Клейста, игра на рояле, дилетантские, но глубокие или скорее глубоко запятанные знания о деятельности гормонального аппарата и т. д. и т. п. Лени можно рассматривать так же как несостоящуюся возлюбленную (из-за трагической судьбы Эрхарда), как неудавшуюся жену, и, наконец, как сироту на три четверти (мать умерла, отец в тюрьме), можно рассматривать ее и как малообразованную, а то и вовсе необразованную женщину... Но кто объяснит нам тогда, каким образом человек, обладавший столь сомни-



тельными качествами и сочетанием качеств, сумел повести себя так естественно во время эпизода, который мы назовем по совокупности «эпизодом с чашкой кофе»?

Конечно, Лени трогательно, с большой теплотой ухаживала за Рахелью, ухаживала вплоть до того дня, когда старую монахиню закопали в монастырском саду. Но Рахель была для Лени близким человеком; никого она так не любила в юности, как Рахель, если не считать Эрхарда и Генриха.

Каким образом, однако, Лени отважилась угостить кофе Бориса Львовича, поставив его в совершенно немыслимое, опасное для жизни положение? И почему Борис, который был советским военнопленным, воспринял в высшей степени наивный поступок Лени как нечто естественное и тем самым проявил такую же наивность? Понимала ли Лени вообще, что такое коммунист? Ведь, по мнению Маргарет, она даже не понимала, что такое еврейка.

Ван Доорн, так же как Маргарет и Лотта, ничего не знала об «эпизоде с чашкой кофе» (Лени, очевидно, сочла этот эпизод не столь важным и никому о нем не рассказывала), так вот, ван Доорн предложила авт. весьма простое объяснение поступка Лени: «У Груйтенгов, знаете ли, существовало одно правило: они всех угощали кофе. Всех без исключения — и нищих, и босяков, и бродяг; всех, приходивших к ним по делу, приятных и неприятных. Я хочу быть справедливой: это железное правило установил не он, а она. В старину каждый прохожий получал у монастырских ворот свою миску супа, и это казалось естественным, никто не спрашивал у него, какой он веры, и никто не читал ему морали. Вот так же и Елена потчевала всех кофе. Думаю, она дала бы чашку кофе даже самому страшному наци. Иначе эта женщина просто не могла... Да, она была... Конечно, несмотря на все свои недостатки, Елена Груйтен была человеком великодушным и отзывчивым. Этого у нее не отнимешь. Она была душевная и человеческая. Только в одном — вы ведь знаете, о чем идет речь, — только в одном она оказалась не той женщиной, которая была ему нужна...»

\* \* \*

А теперь необходимо со всей решительностью заявить следующее: неправильно было бы считать, будто в конце 1943, в начале 1944 года в садоводстве Пельцера появились или хотя бы наметились русофильские и даже просоветские тенденции. Естественное поведение Лени с исторической точки зрения имеет лишь относительную ценность, только с точки зрения самой Лени оно имеет абсолютное значение. Не надо забывать, что некоторые немцы (единицы) рисковали и зачастую платились тюрьмой, виселицей и концлагерями за куда менее значительные услуги, оказанные советским людям; поэтому следует признать, что здесь мы имеем дело не с сознательным и абсолютным актом человечности, а лишь с относительным как объективно, так и субъективно. И рассматривать «эпизод с чашкой кофе» можно только в связи с личностью Лени и с исторически-конкретным местом действия этого эпизода. Правда, будь Лени менее наивной (свою наивность она показала уже в отношении Рахели), она поступила бы точно так же — поведение Лени во время позднейших событий позволяет сделать подобный вывод. Ну, а если бы Лени не сумела выразить свои естественные чувства в сугубо материальном поступке, в том, что она дала русскому чашку кофе, если бы она не сумела их выразить таким образом, то, наверное, эти ее чувства вылились бы в беспомощный и невразумительный лепет. И этот лепет с изъяснением симпатий к русскому мог бы привести к гораздо более дурным последствиям, нежели чашка кофе, поднесенная наподобие священного сосуда. Надо полагать, что Лени испытывала просто-таки чувственную радость, когда она тщательно мыла чашку и тщательно вытирала ее. В этом не было ничего демонстративного. А поскольку Лени сперва действовала, а потом уже думала (Алоис, Эрхард, Генрих, сестра Рахель, отец, мать, война), поскольку она думала много позднее, то можно почти с уверенностью сказать: Лени осознала то, что она сделала, лишь спустя некоторое время. Нет, она не просто угостила чашкой кофе русского, она принесла ему, так сказать, в дар эту чашку и, избавив от унижения русского, од-

новременно унизила безногого немца. Стало быть, Лени родилась, вернее, родилась во второй раз не в те пятьдесят секунд (примерно пятьдесят секунд!) гробового молчания. Рождение, или, вернее, второе рождение, Лени было не единовременным действием, а длительным процессом. Коротко говоря, только когда Лени что-то делала, она понимала смысл своих действий. Ибо по своей природе она воспринимала мир сугубо материально. И не надо забывать, что ей был двадцать один год и шесть месяцев. Лени принадлежала к натурам — здесь это следует повторить, — Лени принадлежала к натурам, предельно зависящим и от своих органов внутренней секреции, и от своего пищеварения, натурам, совершенно не способным ко всякого рода «переключениям». И еще: в ней дремал талант прямоты, который Алоис не смог угадать и раскрыть, а Эрхард не успел или не хотел разбудить. За те короткие минуты, которые Лени была близка с Алоисом, ее внутренние качества не успели полностью выявиться, ибо у самого Алоиса недоставало таланта понять парадоксальность Ленинского естества — понять, что Лени была чувственной именно потому, что чувственность эта не распространялась на всех.

\* \* \*

Существовали только два свидетеля последующего важного события, которое мы назвали выше «возложением рук». Богаков, уже описавший его, и Пельцер, единственный, который при нем присутствовал и стал как бы его соучастником.

Пельцер: «С тех пор, конечно, русский ежедневно получал свою чашку кофе. И клянусь вам, уже на завтра, когда Лени принесла ему кофе — в тот день он работал не с каркашиками, я успел перевести его за стол Хёльтхоне, — клянусь вам, на следующий день Лени уже не по святой наивности и отнюдь не бессознательно, а вполне сознательно, с улыбкой оглянувшись по сторонам и проверив обстановку, положила левую руку на его правую. Прикосновение это продолжалось секунду, но пронзило его насквозь, как электрический заряд. Он просто-таки подскочил. Я видел это собственными глазами и могу поклясться, что так оно и было; только она не знала, что я за ними наблюдаю; я стоял на пороге моей темной конторы и заглядывал в мастерскую, хотел посмотреть, что будет с кофепитием. Знаете, что я подумал, — конечно, это звучит грубо, но мы, цветоводы, не такие уж эфирные создания, как вообразили некоторые, — я подумал: «Ах ты черт побери, вот дает, ну и ну, да она прямо вешается ему на шею». Вот что я подумал и, честно говоря, позавидовал русскому и приревновал к нему Лени. Надо сказать, Лени была сексуально прогрессивной особой, ее не интересовало, что по традиции инициатива принадлежит мужчине; она сама захватила инициативу, положила свою руку на его. Правда, она точно знала, что в его положении он не мог быть активной стороной; и все же она проявила смелость, если хотите, нахальство — и с точки зрения секса, и с политической точки зрения».

С того самого дня в сердцах наших героев, как стало известно авт. (о Лени через Маргарет, о Борисе через Богакова), «вспыхнула страстная любовь» — означенные свидетели показали это слово в слово.

\* \* \*

Пельцер о деловых качествах Бориса: «Можете мне поверить, я хорошо разбираюсь в людях, с первого же дня я понял, что этот русский был человеком высокоинтеллектуальным, к тому же хорошим организатором. Неофициально он уже через три дня стал заместителем Грундча по бригаде приемки: с Хёльтхоне и Цевен он прекрасно ладил; фактически они были его подчиненными, хотя, разумеется, не должны были знать, что подчинены ему. На свой лад он был художник, тем не менее довольно скоро смекнул, в чем состоит вся наука: надо экономить сырье. Надписи на лентах тоже не вызывали у него особых переживаний, хотя, на мой взгляд, они были ему не по нутру: «Ты пал за фюрера, нацию и отечество», «...отряд СА-112» и так далее. День-деньской через его руки проходили свастика и немецкие орлы, но это, как ни странно, не выводило его из равновесия. Однажды в сугубо частной беседе у меня в кабинете — шкаф с лентами и с соответствующими бухгалтерскими книгами, который там стоял, перешел позже в его ве-

дение, — так вот однажды я спросил у него: «Борис, скажите мне как на духу, все эти эмблемы — свастики и орлы — вас не смущают?» И он ответил мне, ни минуты не мешкая. «Господин Пельцер, — сказал он, — вы, конечно, не обидитесь, иначе вы не завели бы этот разговор, вы не обидитесь, если я скажу: для меня своего рода утешение не только догадываться, не только знать, но и своими глазами видеть, что и военнослужащие войск СА — люди смертные. А что касается свастики и орлов, то я совершенно ясно отдаю себе отчет, где нахожусь». Вскоре и он и Лени стали просто незаменимыми работниками. Этот факт я хочу подчеркнуть особо. Вот почему я не только не пакостил ему, но и здорово помогал — это же относится и к Лени, — я поступал так, исходя из интересов дела. Не такой уж я филантроп, человек не от мира сего. Разве я когда-нибудь это утверждал?.. Парень обладал прямо-таки фантастической любовью к порядку и к тому еще организаторскими способностями. Кроме того, он умел ладить с людьми, даже Ванфт и Шелф, видя, как он вкалывает, примирились с ним. Уверяю вас, в условиях свободного предпринимательства этот парень пошел бы далеко. Знаю, он был инженером и, наверное, разобрался в своей математике, но это особая статья... Удивительно, что он первый обратил внимание на одно обстоятельство, хотя я уже лет десять был хозяином садоводства, а Грундч почти сорок лет протрубил на этой работе. Но никто из нас ничего не заметил, даже эта умница-разумница Хельтхоне; никто не заметил, а он заметил. Каркасники — я имею в виду бригаду по каркасам — снижали общий ритм. А почему? Да потому, что бригада отделочников давала высочайшую производительность труда. Это раз. А бригада по приемке благодаря Борису и Хельтхоне была у меня такая, что лучшей я не мог бы себе и пожелать. Это два. Следовательно, надо было перегруппировать силы. Цевен я отослал обратно к столу каркасников; она немножко поворчала, но я компенсировал ее деньгами; результаты не заставили себя ждать: выработка сразу поднялась на двенадцать—пятнадцать процентов. Надеюсь, вас теперь не удивляет, что я был заинтересован в работе русского и в его благополучии. Кроме того, люди наверху говорили мне иногда прямо, а иногда намеками: дескать, я должен следить за тем, чтобы с ним не случилось ничего дурного; наверху у него был мощный покровитель. Понятно, такие истории легко сказываются, но не просто делаются. Это ничтожество — шпик Кремп — и истеричка Ванфт могли буквально в два счета погубить мое заведение. Между прочим, ни одна живая душа — ни Лени, ни Грундч — не знала, что я выделил Борису шесть квадратных метров хорошо удобренной земли в моей личной маленькой теплице, выделил ему шесть квадратных метров, чтобы он выращивал на них табак, огурцы и помидоры».

\* \* \*

Авт. должен признать, что по отношению к свидетелям из цветоводства Пельцера, встречавшихся с Лени во время войны, он избрал путь наименьшего сопротивления, то есть посещает свидетелей в зависимости от их доступности. Поскольку при втором визите авт. к Ванфт та еще более демонстративно повернулась к нему спиной, он перестал к ней обращаться. Пельцер, Грундч, Ильза Кремер и Хельтхоне оказались доступны в равной степени и в равной степени разговорчивы — правда, Кремер была несколько менее общительна. Но именно из-за равной доступности свидетелей авт. затрудняется в выборе, или, если хотите, в избрании очередной жертвы. Хельтхоне привлекает его своим исключительно вкусным чаем и строго, со вкусом обставленным домом, а также своей как бы законсервированной холеной красотой. Авт. нравится, что Хельтхоне не скрывает своих сепаратистских взглядов и что она до сих пор их придерживается; отпугивает его от Хельтхоне только одно: крошечная пепельница и то обстоятельство, что Х. явно не жалуется заядлых курильщиков.

«Ну хорошо, наша земля (под «нашей землей» Хельтхоне понимает одну из земель ФРГ, Северный Рейн — Вестфалию. Авт.) имеет, стало быть, самые высокие налоговые поступления и поддерживает другие бедные земли, которые получают мало налогов. Жаль, что никому не придет в голову пригласить к нам в гости граждан из так называемых бедных земель, например из Шлезвиг-Голь-

штейна или из Баварии. Очень жаль! Может, они прекратили бы тогда считать гроши в чужом кармане. Пусть только подышат нашим зачумленным воздухом, воздухом, который как раз и является одной из причин того, что здесь зарабатывают много денег. А чего стоит наша невкусная, просто-таки отвратительная вода!.. Пусть какой-нибудь баварец, который привык к своим чистым, как слеза, озерам, или гольштинец, который гордится своими огромными пляжами, пусть они придут к нам и выкупаются в Рейне. Уж конечно, они вылезут оттуда черные от дегтя, а может, даже вывалывшиеся в перьях! А теперь взгляните на их Штраусса! Вся его карьера — сплошное темное пятно... В ней все неясно. Впрочем, и выяснять нечего, он просто темный субъект; неясные моменты всегда темные... И этот тип набрасывается на нашу землю (Северный Рейн — Вестфалию. Авт.) буквально с пеной у рта! Почему, собственно? Да потому, что у нас немножко более прогрессивные порядки... Его бы заставить прожить года три в Дуисбурге, Дормаже или Весселинге. Пожить со всей его родней. Тогда он узнает, как достаются деньги и почему фунт лиха... Деньги, которые после поступают к нему в казну и которые он еще имеет наглость поносить... Поносить только потому, что наше земельное правительство — хоть и оно не такой уж подарок, но все же, все же наше правительство не проводит курса ХДС, а тем паче ХСС. Вы понимаете, что я хочу сказать? Почему, собственно, я должна испытывать пресловутое «естественное чувство единства»? Почему, собственно? Разве германскую империю основывала я? Или, может, я выступала за ее основание? Нет! Какое мне дело до того, что происходит на севере, на юге и в центре Германии? Вспомните только, как мы попали в эту самую империю. Только из-за проклятых пруссаков. А что у нас с ними общего, кто продал нас в 1815 году? Может быть, мы сами? И разве они спросили наше мнение? Разве они устроили какое-то подобие плебисцита? Нет, уж поверьте мне. Так пусть Штраусс поплавает в Рейне и подышит воздухом Дуисбурга... Но он себе прохладается в своем здоровом баварском климате. Зато как только этот тип всходит на трибуну, как он тут же обливает помоями «Рейн и Рур». Что общего у нас с разными темными элементами, с дремучими провинциалами? У нас у самих достаточно темных элементов. Порамыслите надо всем этим хорошенько! (Авт. обещал Хельтхоне выполнить ее просьбу.) Нет, я была и буду сепаратисткой! Не возражаю, если к нам примкнут вестфальцы. Впрочем, что они могут дать? Клерикализм, ханжество и свой картофель... Кажется, они специализируются на картофеле, точно не знаю да и не хочу знать... А что касается их лесов и полей, ну что ж, на здоровье! Но их я тоже не могу привезти к себе домой — они останутся там, где были... Да, против вестфальцев я не возражаю. Пускай примкнут, а больше нам никого не надо. Кстати, эти вестфальцы вечно обижаются, считают, что их дискриминируют; вечно они ноют и хнычут из-за «дискриминации в продолжительности радиовещания», будто бы им дают слишком мало времени. Словом, чепуха! С этими вестфальцами одна морока... Знаете, чем мне так нравится Лени? Она типичная рейнка. И еще доложу вам насчет Бориса, хотя знаю, что вас это поразит. Борис казался мне больше рейнцем, чем мои земляки. Не считая, конечно, Пельцера. В Пельцере так органично уживается жуликоватость с человечностью, что он уж точно уроженец нашего края. Истинная правда, что он никому не делал зла, только Кремпа он изводил. Из этого можно заключить, что Пельцер был не такой уж беспринципный, ведь он преследовал нациста Кремпа. Ложное заключение! Изводить Кремпа в условиях нашей мастерской как раз и являлось верхом беспринципности. Кремп заслужил всеобщую неприязнь, даже два других наци его недолюбливали, он был просто очень противный — бабник, вообще мерзкий тип. И все же объективность — прежде всего. Кремп был совсем молод. Уже в сороковом году двадцатилетним мальчишкой он потерял ногу. Я не знаю таких людей, которые согласились бы признать, что жертвы, которые они принесли, были в конечном счете бессмысленны. И еще постарайтесь представить себе, как развивались события: в первые месяцы таких парней чествовали, для всех они были героями, девушки буквально осаждали их. Но война шла дальше, и положение изменилось; одноногие стали обычным, массовым явлением. А позже те же девушки и вовсе отдавали предпочтение парням со здоровыми ногами; одно-

ногие и безногие оказались в загоне. Как женщина просвещенная и передовая, я пытаюсь объяснить вам сексуальный и эротический статут этого Кремпа и ту психологическую ситуацию, в какой он очутился. Скажите на милость, что представлял собой в начале сорок четвертого года парень с ампутированной ногой? Бедолагу с нищенской пенсией! И вообразите себе, каково было человеку, если в решающий момент он должен был отстегивать ногу? Кошмарное положение и для него и для его партнерши, даже если партнерша — девица легкого поведения. (Чай у госпожи Х. был дивный. И при третьем визите пепельница уже приблизилась по величине к блюдцу от чашки для кофе мокко. Авт. расценил этот факт как знак симпатии к его особе.) А теперь возьмем этого Пельцера, здорового как бык Пельцера; можно считать, что он являлся классической иллюстрацией к древнему изречению: «*Mens sana in corpore sano*»<sup>5</sup>. Сочетание это встречается только у преступных натур, я хочу сказать, у людей совершенно бессовестных. Бессовестность — залог идеального здоровья, поверьте мне. Пельцер не пропустил ни одной возможности, он наживался на всем. Конвойные, которые утром приводили Бориса, а вечером отводили, обеспечивали Пельцера коньяком, кофе и сигаретами — примерно раз в неделю эти солдаты сопровождали составы во Францию или в Бельгию; коньяк, сигареты и кофе они привозили целыми ящиками, и еще они спекулировали тканями; у этих ребят можно было просто заказать товар, как его заказывают в магазине. Один из солдат — его звали Колб, и он был постарше остальных, кстати сказать, скользкий тип — привез мне однажды из Антверпена отрез бархата на платье; другого солдата звали Болдиг, он был помоложе, эдакий рубаха парень, отпетый нигилист, с начала сорок четвертого таких парней было хоть пруд пруди. Настоящий весельчак, ей-богу, один глаз у него был стеклянный и одна рука ампутирована, зато на груди — целый иконостас. Этот парень совершенно цинично расценивал свой потерянный глаз, свою отнятую руку и свои регалии как козыри в игре. Ему было наплевать на фюрера, нацию и отечество. Пожалуй, даже в большей степени, чем мне. Конечно, я могла свободно обойтись без фюрера, но я была за рейнский народ и за рейнское отечество. Этот Болдиг время от времени уединялся с Шелф — после Лени она была среди нас самой аппетитной, — уединялся в теплицу позади мастерской якобы для того, чтобы с разрешения Пельцера срезать несколько цветков. Он говорил, что они с Шелф «пошли поиграть в кошки-мышки» или «послушать, как поет синичка». Для него все это было раз плюнуть, и он не переставая острил. В общем, он был неплохой парень. Только от его цинизма и нигилизма становилось как-то жутковато. Иногда он старался подбодрить Кремпа, на ходу совал ему несколько сигарет, хлопал по плечу и громко произносил лозунг, который был тогда в ходу: «Наслаждайся войной, братец, мир будет ужасен». Его напарник Колб был противный тип, всех лапал, всех тискал. Ну, а что касается Пельцера, то, выражаясь современным языком, он использовал те возможности, которые предоставляла ему конъюнктура на рынке сбыта похоронных принадлежностей; в ту пору все продавалось из-под полы: венки, ленты, цветы и гробы; кроме того, Пельцер неплохо наживался на венках для бонз, воинов-героев и жертв воздушных налетов. Никто не хотел хоронить дорогих покойников без приличного венка. А число похорон в Германии как военных, так и штатских неуклонно росло; гробы поэтому начали использоваться по несколько раз, в конце концов они превратились в чистую бутафорию. Дно гроба выдвигалось, и очередной покойник, зашитый в парусину, позже просто в дерюгу, еще позже кое-как обернутый, почти голый, падал в голую землю. Ради соблюдения приличий, бутафорский гроб короткое время выдерживали в могиле, для виду его слегка забрасывали землей. Но стоило удалиться друзьям и близким покойника, солдатам, дававшим залп, обер-бургомистру и нацистским бонзам — словом, всем «профессиональным и непрофессиональным плакальщикам», как выражался Пельцер, — стоило им удалиться на почтительное расстояние, а затем скрыться из виду, как бутафорский гроб вытаскивали, очищали от земли и быстро наводили на него глянec, могилу

<sup>5</sup> В здоровом теле здоровый дух (лат.).

в это время поспешно засыпали... Повторяю, поспешно, что принято только у евреев. Итак, на кладбище все шло примерно как в парикмахерской; впору было возвестить: «Кто следующий?» Легко догадаться, что Пельцеру, который не мог нагреть руки на прокате гробов и прочих похоронных принадлежностей, пришла в голову мысль использовать по нескольку раз и венки. В свою очередь, использование одних и тех же венков по два, по три, а то и по пять раз влекло за собой взятки и сговор с кладбищенскими сторожами. Конечно, все зависело также от прочности материала, употреблявшегося для каркасов, и от качества зелени. В процессе работы мы могли досконально изучить методы конкурентов, узнать, кто из них халтурит. Все это, разумеется, требовало соответствующей организации, сообщников, а также соблюдения тайны. Пельцер мог положиться на Грундча, на Лени, на меня и на Кремер... Признаюсь, все мы в этом участвовали... Иногда из сельских местностей присылались венки прямо-таки довоенного качества. Чтобы остальные наши товарищи ничего не заметили, была создана специальная бригада по «обновлению»; обновлялось буквально все, даже ленты. Пельцер зорко следил за тем, чтобы ничего не пропадало; принимая заказ у клиента, он сразу прикидывал, как бы сделать надпись более стандартной. Ведь тем самым увеличивались шансы на повторное использование ленты. Конечно, такие надписи, как «твой папа, твоя мама», в военное время не залеживались, но и сравнительно индивидуальные надписи, например «твой Конрад» или «твоя Ингрид», и те могли рано или поздно пригодиться. Надо было только хорошенько выгладить ленту, немного подкрасить буквы и фон и спрятать в специальный шкаф — пусть себе лежит до той поры, пока очередной Конрад или очередная Ингрид не потеряют кого-нибудь из близких. Любимым изречением Пельцера в те времена, как, впрочем, и во все другие, было: «Что сбережешь, то и найдешь». В конце концов Борис сделал предложение, которое оказалось прямо-таки кладом. Кстати, оно доказывало, что наш русский хорошо знал немецкую мещанскую литературу. Он посоветовал возродить старинную надпись на венках: «Любимому, единственному, незаменимому». Выражаясь современным языком, эта надпись стала бестселлером. С того времени каждую ленту можно было пускать в дело до тех самых пор, пока ее еще удавалось подновлять и отглаживать. Но даже явно нестандартные надписи, например «твоя Гудула», и те Пельцер сохранял».

\* \* \*

Показания Кремер. «Да, все правда, и я в этом участвовала. Мы работали сверхурочно, чтобы наши хитрости не так бросались в глаза. Пельцер уверял, что это вовсе не осквернение могил, он будто бы подбирал венки в мусорных кучах. Но меня это вообще не интересовало. Подновление давало неплохой приработок. И я не видела здесь ничего зазорного. Разве, если венки сгниют на помойке, кому-то будет лучше? Кто от этого выиграет? Но потом на Пельцера все же наступали — его обвинили в осквернении праха и в ограблении трупов. Все открылось очень просто: кое-кто из родственников, придя на кладбище дня через три-четыре после похорон, удивлялся, где венки... Пельцер вел себя порядочно, никого из нас он в эту историю не впутал, сам ходил к следователю, даже Грундча он не стал впутывать... Потом я узнала от одного знакомого, что он очень ловко играл на чувствах нацистов, пугая их жупелом тех лет, так называемой «нищей могилкой». В конце концов Пельцер признал некоторые «допущенные им ошибки» и пожертвовал тысячу марок на лечебные учреждения... До суда дело не дошло, он держал ответ перед нацистской комиссией, а потом перед нацистским судом чести... И тот знакомый рассказывал мне, что Пельцер произнес целую речь: «Господа, товарищи по НСДАП, я сражаюсь на том фронте, который большеинству из вас незнаком, но ведь и на тех фронтах, которые многие из вас знают, смотрят сквозь пальцы на некоторые обстоятельства...» После скандала Пельцер прекратил свои махинации, прекратил до конца сорок четвертого, когда наступила полная неразбериха и никто уже не обращал внимания на такие мелочи, как венки и ленты».

## VII

Старик Грундч не только с большой сердечностью пригласил авт. к себе, но и заявил, что тот всегда будет у него желанным гостем. Поэтому авт. посетил его несколько раз подряд и воистину вкусил неземной покой. Ибо ясно, что на кладбище в летние вечера после закрытия царит покой. Приведенные далее дословные показания Грундча — выборка из четырех бесед, начавшихся и закончившихся в отменно дружеской атмосфере. Собеседования проходили в разных местах: одно — на скамейке под бузиной, второе — на скамейке под олеандром, третье — на скамейке под кустом жасмина, четвертое — на скамейке под кустом раkitника (старик Грундч любит перемены и уверяет, что в его распоряжении еще много других скамеек); во время разговора Грундч и авт. курили, потягивали пиво и время от времени прислушивались к далекому уличному шуму, который на таком расстоянии казался даже приятным.

Краткое изложение первой беседы (под бузиной): «Так, значит, наш Вальтерхен рассуждает теперь о шансах преуспеть? Ну и потеха! Он всегда умел использовать любой шанс, даже во время первой мировой войны, когда ему минуло всего-навсего девятнадцать годочков и когда он служил в спецроте технического снабжения. Что такое спецрота технического снабжения?.. Это, знаете ли, рота, которая прочесывает поля битв после того, как битвы отгремели... На этих полях остается масса всякого добра, которое может пригодиться войскам: стальные каски, ружья, пулеметы, боеприпасы, иногда даже пушки. Спецроты подбирают все без исключения — каждую флягу, каждую фуражку, каждый потерянный ремень... Ну и, конечно, на полях битв валяются трупы, а у трупов в карманах обычно лежит всякая дребедень: фотографии, письма... бумажники. Часто, между прочим, не пустые, а с деньгами. Однопольчанин Вальтерхена рассказывал мне, что наш общий знакомый был отчаянный парень, сорвиголова, ничего не упускал, не упускал даже золотые зубы, золотые зубы любых национальностей... Ну, а под конец на европейских полях битв впервые появились американцы... И наш Вальтерхен впервые продемонстрировал на ихних трупах то, что сам он именует «деловой хваткой». Конечно же, все, что делал Вальтерхен, строго запрещалось. Но он не совершал ту ошибку, которую совершает большинство людей (надеюсь, и вы ее избегли), — Вальтерхен не обращал внимания на всякие запреты. Вся сила Вальтерхена в том, что для него законы и предписания не писаны; он придерживается только одного правила: не пойман — не вор. Уже с первой войны наш приятель вернулся с хорошими деньжатами; у этого девятнадцатилетнего паренька оказалась пачка долларов, пачка фунтов стерлингов, пачка бельгийских и французских франков, не считая мешочка с золотом. И тут он снова показал деловую хватку, обратив свои помыслы и свое сверхъестественное чутье на недвижимое имущество, на застроенные и незастроенные земельные участки; больше всего ему нравилась целина, но не в смысле агрономическом, а в архитектурном смысле, однако в иных случаях он не гнушался и застроенными участками. В ту пору долларам и фунтам цены не было, а пустоши в пригородах продавались за бесценок; и Вальтерхен отхватывал по моргену то тут, то там, стараясь держаться поблизости от главных магистралей; и еще он приобрел несколько домишек в центре, скупил их у разорившихся ремесленников и мелких торговцев. Ну, а после наш приятель перекаптался, перешел, так сказать, на мирные рельсы: он начал эксгумировать трупы американских солдат, укладывал их в цинковые гробы и отправлял в Штаты... И тут можно было легально делать то же, что он делал раньше нелегально, — ведь и у эксгумированных мертвецов попадались золотые коронки. Американцы, помешанные на гигиене, оплачивали эту работенку, то есть эксгумацию, просто фантастически; у Вальтерхена в это скудное безвалютное время опять завелась валюта. А раз у него завелась валюта, он снова стал скупать земельные участки, на сей раз он покупал крохотные клочки земли, но уже в самом центре города, где прогорали дотла многие хозяева лавчонок и мелкие ремесленники».

Краткое изложение беседы под олеандром: «Когда я поступил учеником к

старому Пельцеру, мне было четырнадцать, а Вальтеру ровно четыре годочка, его родители и все мы звали его Вальтерхен, так он и остался на всю жизнь Вальтерхеном. Старики Пельцеры были милые люди, только мамаша уж больно набожная. Она прямо пропадала в церкви, зато хозяин не верил ни в чох, ни в сон, и вполне сознательно, конечно, в том смысле, в каком это понимали в девятьсот четвертом году. Само собой, он почитывал Ницше и прочел Стефана Георге, нельзя сказать, что он был тронутый, просто он витал в небесах и садоводство его не волновало, куда больше его увлекала селекция, опыты, новые виды растений; он искал не столько «голубой цветок», сколько новый цветок; смолоду он участвовал в юношеском левом движении, и меня он тоже, конечно, туда вовлек. Я еще и по сей день могу спеть вам песню «Рабочий люд» от первого куплета до последнего (Грундч спел): «Кто золото копает, кто топь в лесу мостит? Кто ткет шелка и сукна, кто виноград растит? Кто, хлеб скормив свой богачам, всю жизнь голодает сам? Рабочий люд, пролетариат. Кто дотемна работает и до свету встает? Кто для других всю роскошь создает? Кто лично вертит шар земной, а сам забыт родной страной? Рабочий люд, пролетариат».

Ну так вот, четырнадцатилетним мальчонкой я попал в учение к Гейнцу Пельцеру, приехал из самой что ни на есть нищей деревушки в Эйфеле. Пельцер устроил мне жилье в оранжерее, комнату у самой печки, с кроватью, столом и стулом—он кормил меня и давал мне немного денег... Сам он ел то же, что и я, и в карманах у него было так же пусто. Мы с ним были коммунисты, хотя еще не знали этого слова и не понимали, что оно вообще значит. Когда меня забрили в солдаты, жена Пельцера Адельгейд посылала мне посылки; я служил от девятьсот восьмого по девятьсот десятый. И как вы думаете, куда меня послали? На «холодную родину», в Бромберг. А куда я ездил на побывку? Не в родную деревню, в захолустную дыру, где хозяйничали попы, а к Пельцеру... Время шло, Вальтерхен вертелся у нас под ногами—и в цветниках на открытом воздухе и в оранжерее; он был миловидный малыш, тихий, не то чтобы очень приветливый, но и не очень неприветливый... Я много раз задумывался, почему он вырос совсем не таким, как отец. И пришел, знаете ли, к выводу: не таким его сделал страх. Да, страх. У отца не переставая были неприятности с судебными исполнителями и с просроченными векселями; случалось даже, что мы, подмастерья, складывались и отдавали старику свои последние жалкие сбережения, чтобы предотвратить самое худшее; садоводство в ту пору не давало барышей. Какие там барыши! Оно стало прибыльным делом только после того, как вся Европа буквально помешалась на цветах. Да и Гейнц Пельцер, все время гнался за воображаемым цветком. Он считал, что в новые времена должны появиться новые цветы: в его голове жил чудо-цветок. Но он так и не сумел его вывести, хотя много лет подряд втайне от всех колдовал над своими цветочными горшками и грядками; день-деньской он удобрял землю, делал прививки, скрещивал. А выростали у него сплошные ублюдки, уродливые, выродившиеся тюльпаны и розы... О чем бишь я?.. Да, когда Вальтерхен в шесть лет пошел в школу, у него на языке было только одно слово—«исполнитель», так он называл судебного исполнителя. «Мама, сегодня придет исполнитель?.. Папа, сегодня опять придет исполнитель?» Уверяю вас, страх сделал его таким, каким он стал. Ну и, разумеется, с гимназией у него тоже ничего не получилось, из четвертого класса он вылетел, и сразу на него нацепили зеленый фартук подмастерья. Да, на образовании можно было поставить крест. Тем более шел четырнадцатый год... И, если хотите, можно было поставить крест не только на гимназической карьере Вальтера, но и на всем, решительно на всем. Мне тогда стукнуло двадцать четыре, и я знаю, о чем говорю. Поставить крест можно было на немецком социализме. Никак не возьму в толк, почему эти кретины так влипли, почему поверили своему ничтожному вонючему кайзеру? Гейнц, отец Вальтера, понял это не хуже меня. Кроме того, он наконец отказался от своих дилетантских опытов с цветами. И его тоже забрили в солдаты... Мы оба по чистой злости, поверьте мне, по злобе, тоске и ненависти стали фольдфебелями. Этих лопухих рекрутов военных призывов, пай-мальчишек, верноподданных засранцев, я нена-



видел всей душой. Ненавидел и муштровал нещадно. Да, я стал фельдфебелем и тиранил солдат как мог, через мои руки прошли тысячи новобранцев, множество батальонов... А казарма у нас была точно такая же, как в Бромберге; казармы были похожи как две капли воды... Я бы, например, мог с закрытыми глазами найти канцелярию третьей роты — она помещалась на том же самом месте, что и в Бромберге... Да, через мои руки проходили целые батальоны, и я отправлял их на фронт. А в кармане, в нагрудном кармашке кителя, я прятал маленькую фотографию Розы Люксембург. Для меня это была святая, с ней я никогда не расставался; не мудрено, что со временем фотография совсем поистрепалась. Ну, а после я не участвовал в солдатских советах, нет, не участвовал; в четырнадцатом, по моим понятиям, немецкая история кончилась. Конечно же, господа социал-демократы убили Розу Люксембург, выдали ее убийцам... Даже нашего Вальтерхена и то успели забрать; может быть, он избрал самый разумный путь, путь охотника за золотыми коронками и за долларами. Его мамаша Адельгейд была когда-то очень мила, в молодости ее считали красоткой, но она быстро отцвела, нос обострился, приобрел красноватый оттенок, у рта залегли горькие слезливые складки; терпеть не могу эти складки, они были у моей бабушки и у мамы; красивые черты наших деревенских портило кислое, хмурое выражение лица; проклятые попы вертели этими женщинами как хотели; ни свет ни заря те тащились на раннюю мессу, после обеда перебирали четки, по вечерам опять перебирали четки... Впрочем, и нам с Пельцером частенько приходилось захаживать в церковь или в часовню при кладбище. Дело в том, что мы давали напрокат кадки с пальмами и прочий цветочный реквизит, давали напрокат попам, а также различным «ферейнам» и предприятиям, устраивавшим праздники... Церковные связи Адельгейд были нам очень кстати... Я бы с удовольствием плюнул в алтарь, не делал этого только из-за Адельгейд... Ну, а потом Гейнц запил. Понятно, что Вальтерхен старался поменьше бывать дома; выкапывал мертвых штатников, да и все. Вскоре он на полгода ушел во «фрейкор»<sup>6</sup>, по-моему, в Силезию; после «фрейкора» еще некоторое время жил дома. Занялся боксом, но бокс не мог его прокормить; он стал альфонсом, сперва его подопечными были самые дешевые проститутки, которые получали за все про все чашку кофе ценой в двадцать пфеннигов, потом он перекинулся на дорогих шлюх... Это правда, что он якшался с коммунистами, но только совсем недолго. И до поры до времени он относился спокойно к тому, что недвижимое имущество не дает ему особых барышей... Садоводством Вальтерхен никогда всерьез не занимался. Чего не было, того не было. Ведь у садовника грязь въедается во все поры — руки ни в жизнь не отмоешь. А наш приятель был всегда пижонем, к тому же он очень заботился о своем здоровье: каждое утро пробежка, после этого душ — горячий и холодный. Домашние завтраки его не устраивали: на первое силос, вместо сладкого — дешевое повидло; сразу после душа Вальтерхен умывал в свое кафе со шлюхами — заказывал яйца, чашечку натурального кофе с коньяком; счет оплачивали поклонники девиц. Ну и, конечно, Вальтерхен один из первых завел себе машину. Правда, вначале это был всего лишь «ганомаг».

Краткое изложение беседы под кустом жасмина: «Он был хороший сын, в самом деле хороший, мне кажется, он по-настоящему любил своих стариков. Матери он в жизни не сказал грубого слова, не позволял себе даже посмеяться над ней, а между тем в Адельгейд с годами накапливалось все больше горечи (ее съело не горе, а горечь); да, она стала ужасной ханжой. А жаль, в молодости эта женщина была красивой и цветущей; в девятьсот четвертом, когда я поступил к Пельцеру, Адельгейд была просто хохотушкой. А какая она была чистюля! Иногда Вальтерхен заходил с нами в церковь, притаскивал кадку с пальмой. Вы бы только посмотрели, как он приседал перед алтарем, как опускал руку в чашу со святой водой... Этот парень умел всем угодить... Ну, а в тридцать вто-

<sup>6</sup> Милитаристская организация, созданная реакцией после ноябрьской революции 1918 года для подавления демократического движения.

ром он записался в СА, в начале тридцать третьего участвовал в облавах на известных политиков, но не задерживал их, а за деньги отпускал на все четыре стороны, отпускал за драгоценности и за наличные... Наверное, это оказалось прибыльным занятием, у Вальтерхена сразу появилась новая машина, новые шмотки; ну и, разумеется, в ту пору можно было по дешевке купить землю, принадлежавшую евреям, — приобрести еврейскую лавчонку, стройплощадку... После Вальтерхен признавал, что вел себя в тот год «грубовато». А потом все вдруг переменилось: наш приятель стал эдаким баринном, чистоплюем, чуть ли не с маникюром; в тридцать четыре года он женился, конечно, на деньгах; жена его Ева, дочь некоего Прумпеля, была, знаете ли, девица, которая вела в эмпиреях; впрочем, совсем не плохая, хотя немного истеричная. Папаша Евы содержал нечто вроде ссудной кассы, давал деньги под проценты, позже он открыл еще несколько ломбардов... Ну, а дочка зачитывалась Рильке и играла на флейте. Она принесла Вальтерхену в приданое несколько земельных участков и кругленькую сумму в наличных. После тридцать четвертого он стал почетным штурмфюрером, но во всякие грязные дела не лез, и не только в грязные, но тем паче в кровавые; вообще его не обвинишь в жажде крови, он жаждал всего лишь земельных участков. Интересная деталь: чем богаче он становился, тем человечнее вел себя. Даже в «хрустальную ночь»<sup>7</sup> он не захотел урвать свою долю. Теперь он сидел в аристократических кафе, посещал оперу, конечно, по абонементу; у него родилось двое детей, милые малышки: Вальтер и маленькая Ева; он их буквально обожал. А в тридцать шестом Вальтерхен досталось отцовское садоводство: папаша Гейнц в тот год сыграл в ящик из-за беспробудного пьянства, к тому времени от него остались кожа да кости и он стал старым ворчуном... Вальтер сразу нанял меня управляющим, и нацисты дали нам задание плести венки. Вальтер подарил мне часть садоводства. Я владею им по сей день. Надо признать — широкий жест. И ни разу он не сказал мне грубого слова, ни разу не был мелочным. Садоводство шло в гору, шло вверх, а Гейнц и бедная Адельгейд лежали внизу, в земле».

Краткое изложение беседы под кустом раkitника: «Есть люди, которые считают, что называть Вальтера нацистом — значит, оскорбить даже нацистов... Существенная перемена произошла с ним в середине сорок четвертого, когда началась эта история Лени с русским. Из-за телефонных звонков и устных намеков он чувствовал себя ответственным за благополучие обоих. А перемена с ним произошла вот какая: Вальтерхен начал задумываться. Он понимал, конечно, что война проиграна, понимал также, что после войны ему очень даже не помешает заверить, что он хорошо обращался с этим русским и с дочкой Груйтена. Но сколько времени продлится война? Вопрос этот сводил с ума всех нас! Как пережить последние несколько месяцев, когда буквально каждую минуту кого-то вздергивают на виселицу или ставят к стенке. Теперь дрожали все — и старые фашисты и антифашисты... Да, черт возьми, прошла уйма времени, почти полгода, прежде чем штатники из Аахена доползли до Рейна. Мне кажется, Вальтерхен, процветающий, остепенившийся Вальтерхен, обожавший своих детишек, впервые узнал тогда то, о чем раньше не ведал: узнал, что значит быть в разладе с самим собой. Он жил на лоне природы, в своей вилле, имел двух породистых псов, милых детишек, машину и большое количество земли, которой с каждым днем становилось все больше. Старые участки он продавал под рабочие поселки и под казармы, но отнюдь не за наличные деньги. Наш Вальтерхен никогда особенно не интересовался наличными; гораздо сильнее его волновали реальные ценности; за землю ему платили землей; он получал в два-три раза больше, чем имел; правда, новые участки находились немного дальше от центра. Но Вальтерхен был оптимист. Он по-прежнему до отвращения заботился о своем здоровье: каждое утро пробежка по саду, душ, обильный завтрак, только уже дома. А когда он забредал в церковь, то все еще — или скорее уже опять — удивительно ловко

<sup>7</sup> Так называлась ночь с 9 на 10 ноября 1939 года, когда во всей Германии по приказу нацистов были организованы кровавые погромы.

приседал и быстро осенял себя крестным знаменем... И вот вдруг появилась Лени и этот Борис; оба ему нравились, оба были его лучшие работники; их охраняли сильные мира сего; сильные мира, которых он не знал... Но были и другие сильные мира сего, и эти сильные мира тоже не дремали, они могли ментально схватить человека, расстрелять на месте или бросить в концлагерь. Здесь, однако, надо избегнуть одной ошибки: не следует думать, будто Вальтерхен внезапно обнаружил в себе некое инородное тело, известное многим людям под именем совесть, или же что он внезапно, дрожа от страха и любопытства, приблизился к диковинному, неведомому ему и поныне континенту с загадочным названием «мораль». Ни в коем случае! Он достиг богатства без каких-либо внутренних переживаний, переживания у него были только внешнего порядка (неприятности, разного рода склоки с нацистским начальством и СА). Часто он попадал в сложные переделки — это случалось и в молодости, когда он служил в спецро-те, и в тридцать третьем, когда участвовал в облавах на известных политиков и отпускал их за наличные и за фамильные драгоценности. На него писали доносы как на нациста и даже подавали на него в обычный суд, особенно в ту пору, когда он очень уж нахально начал использовать старые венки и ленты. Да, неприятностей у него хватало, но он умел с ними справляться, умел, не теряя хладнокровия, преодолевать их и отметать. В годы войны он беспрестанно указывал на большое государственное и экономическое значение его деятельности, становился в позу неутомимого борца против всеобщего жупела, против так называемой «нищей могилки». Да, у него были трудности, но он никогда не оказывался в разладе с самим собой, в каждый данный момент он знал, что ему полезно, а что нет. Нашему Вальтерхену на все было наплевать, никто его не интересовал: ни евреи, ни русские, ни коммунисты, ни социал-демократы, никто вообще. Но зато он совершенно не знал, что ему делать, когда одни сильные мира сего хотели одного, а другие — другого. Да еще, как на грех, Борис и Лени нравились ему и притом — вот дурацкое совпадение! — и притом приносили явную выгоду. На войну он плевал; Вальтерхена не интересовала ни высокая политика, ни «всемирно-историческая миссия немецкой нации». Единственно что его интересовало, черт возьми, это сколько времени отделяет июль сорок четвертого до конца войны. Неужели до конца войны пройдет еще целая вечность? Он был твердо убежден, что надо перестраиваться на проигранную войну. Но когда именно следует перестроиться?»

\* \* \*

Пожалуй, пришла пора зчерне суммировать приведенный выше материал, а также поставить несколько вопросов, на которые ответит сам читатель. Прежде всего обнародуем некоторые цифровые данные и сообщим внешние приметы Пельцера. Читатель, который представляет себе П. неопытным стариком, попы- хивающим вонючей сигарой, заблуждается. П. был (и есть) чрезвычайно чисто- плотный человек, он носит (и носил) хорошо сшитые костюмы и модные галсту- ки, которые, несмотря на его семьдесят лет, ему к лицу. П. курит сигареты, держится (и держался) баринном. Правда, на этих страницах П. был изображен плюющим. Однако оговоримся заранее: Пельцер плюет чрезвычайно редко, прак- тически вообще не плюет. В том конкретном описанном выше случае плевков П. выполнял функцию некоего исторического жеста, возможно также, он являлся выражением определенной политической платформы... Пельцер живет на соб- ственной вилле, которую он называет виллой. Его рост 1 м 83 см, вес, со- гласно показаниям сына-врача, пользующего П., — 78 кг; волосы у него очень густые, темные, с легкой, совсем легкой проседью. Надо ли и впрямь считать П. наилучшей иллюстрацией к известному изречению: «Mens sana in corpore sana»? Знал ли он, что такое Б<sub>2</sub> и П, проливал ли Сл? Несмотря на то, что для Пель- цёра характерна прямо-таки удивительная уверенность в собственной полноцен- ности, к нему нельзя применить ни один из восьми эпитетов, упоминаемых в параграфе, посвященном С<sub>2</sub>. А когда он улыбался, улыбка его походила скорее на улыбку Моны Лизы (а не на улыбку Будды): П. надо считать человеком, ко-

торый не боялся конфликтов с внешней средой, но не знал внутренних конфликтов; человеком, который, не будучи ни разу в разладе с самим собой, благополучно дожил в сорок четвертом году до сорока четырех лет и расширил предприятие отца в пять раз; человеком, свято придерживавшимся поговорки: «Что сбережешь, то и найдешь». Но из этого следует, что когда П. в возрасте сорока четырех лет, то есть уже далеко не первой молодости, впервые потерял абсолютную уверенность в собственной полноценности, его охватил вполне понятный страх перед неведомыми ему доселе опасностями.

К этому следует добавить, что у П. была одна ярко выраженная черта характера, а именно: он обладал излишней чувственностью (склонность П. к плотным завтракам точь-в-точь походила на соответствующую склонность Лени). Только учитывая все это, мы можем понять, что в середине 1944 года Пельцер пережил тяжелый внутренний конфликт. А для того, чтобы понять, какой тяжелый конфликт он переживал после июля 1944 года, надо упомянуть еще об одной ярко выраженной черте его характера — о его почти неприличном жизнелюбии.

В руки авт. попал важный документ, характеризующий позицию Пельцера в последние недели войны. 1 марта 1945 года, то есть за несколько дней до того, как американские части вошли в город, Пельцер в письменном виде, да еще в письме с пометкой «заказное», объявил о своем выходе из нацистской партии и из СА, а также о том, что ок осуждает преступления этих организаций; в том же письме (у авт. можно ознакомиться с заверенной копией этого письма) П. охарактеризовал себя как «порядочного немецкого гражданина, который попался на удочку нацистов и которого нацисты сбили с пути истинного». Со свойственной ему энергией Пельцер сумел разыскать в последний вечер перед тем, как город взяли американцы, все еще функционировавшее почтовое отделение или, по меньшей мере, немецкого почтового чиновника, не сложившего с себя полномочия, и отправить означенное письмо. Существует даже соответствующая почтовая квитанция, правда обезображенная штемпелем с изображением того самого «орла-стервятника».

Таким образом, когда американцы вошли в город, Пельцер с полным правом мог сообщить им, что он не состоит ни в одной из нацистских организаций. Не мудрено, что ему сразу же дали лицензию на ведение садоводства и на поставку венков. Ведь в городе по-прежнему производились захоронения, хотя в значительно меньшем масштабе. Сам Пельцер следующим образом прокомментировал неизбежность своей профессии: «Что-то, а умирают люди всегда».

На весь последний военный год П. пришлось помучиться. Обстоятельства с каждым днем складывались для него все более неблагоприятно. На протяжении этого года сотрудники часто обращались к своему шефу со всякого рода просьбами (об отпусках, авансах, прибавках, бесплатных цветах и т. д.) и всякий раз слышали от него слова: «Разве я изверг какой?» Все ныне здравствующие свидетели из садоводства Пельцера, которых авт. удалось разыскать, подтверждают, что выражение это не сходило с языка у П. «Он беспрестанно бормотал фразу об «изверге», как некоторые люди бормочут молитвы. Казалось, он заклинал кого-то или просто уговаривал себя в том, что он и впрямь не изверг; свою притяжку Пельцер произносил иногда совершенно невпопад; например, как-то раз я спросила у него, как самочувствие его домашних, и в ответ услышала: «Разве я изверг какой?» Однажды кто-то (сейчас уже не помню кто именно) спросил: «Какой сегодня день — понедельник или вторник?» — и Пельцер ответил: «Разве я изверг какой?» Все начали его поддразнивать, даже Борис, хотя, понятно, очень осторожно; один раз, к примеру, я отдала Борису венок, чтобы он прикрепил к нему ленты, и Борис сказал: «Разве я изверг какой?» В ту пору за Вальтером Пельцером очень интересно было бы понаблюдать психоаналитику» (Хельтхоне).

Госпожа Кремер целиком и полностью подтвердила, что в устах Пельцера означенная фраза звучала как заклинание и по тону и по манере произнесения. «Да, он так часто повторял эту фразу, что мы вообще пропускали ее мимо ушей,

Он говорил ее, как люди говорят: «Господь с вами» — или как верующие бормочут в церкви: «Господи, помилуй...» А позже он произносил это свое заклинание в двух вариантах: «Разве я изверг какой?» и «Я ведь не изверг какой».

Грундч (показания, данные много позже, во время одного визита, настолько краткого, что авт., к сожалению, не удалось посидеть со стариком ни под бузиной, ни под другими деревьями): «Правильно, правильно, Вальтер все время бормотал себе под нос: «Разве я изверг какой?» и «Я ведь не изверг какой»; даже наедине с собой он бормотал эти слова. Я так часто слышал их, что начисто забыл. Для него они были такими же само собой разумеющимися, как вдохи и выдохи. Быть может (сердитый смех), — быть может, Вальтерхену не давали покоя золотые коронки, ворованные венки, ленты и цветы, а также земельные участки, которые он продолжал скупать в годы войны. Попробуйте представить себе на досуге, как две, три или четыре пригоршни золотых коронок, изготовленных в разных странах, превращаются сперва в довольно-таки неприглядный земельный участок и как потом, лет через пятьдесят, на этом участке вырастает очень важное и очень обширное здание, здание бундесвера, приносящее нашему Вальтерхену отличный доход, то бишь арендную плату».

\* \* \*

В конце концов авт. сумел напасть на след упомянутого выше видного политика веймарской республики; след этот привел в Швейцарию, где удалось, однако, разыскать лишь вдову означенного политика. Вдова, пожилая, в высшей степени хрупкая дама, жила в базельской гостинице. И она прекрасно помнила все обстоятельства дела. «Да, мы действительно обязаны ему жизнью. Это верно. Он спас нам жизнь... Но не забывайте одного: как высоко надо было подняться или, вернее, как низко надо было пасть в те времена, чтобы иметь возможность распоряжаться чужой жизнью. Все мы часто забываем изнанку нацистских благодеяний, даже Геринг утверждал позже, что он спас жизнь нескольким евреям. Но вспомните, кто вообще мог в ту пору спасти человеку жизнь и что это были за ужасные времена, когда человеческая жизнь зависела от милости диктаторов? А насчет нас это верно. В феврале тридцать третьего они схватили нас с мужем на вилле у друзей в Бад Годесберге, и этот человек... Пельцер? Вполне возможно, я никогда не знала его имени... Так вот, этот человек с хладнокровием профессионального грабителя потребовал все мои драгоценности, забрал всю нашу наличность, заставил выдать ему чек. И все это, по его словам, не было вымогательством. Знаете, как он выразился? «Я просто уступаю вам за деньги мой мотоцикл, вы найдете его внизу у ворот, и еще я дам вам добрый совет: поезжайте не по направлению к Бельгии или к Люксембургу, а прямо в Эйфель; за Саарбрюккеном держите путь к границе, там вы найдете человека, который переведет вас на другую сторону. Разве я изверг какой? — сказал он напоследок. — Весь вопрос в том, не пожалеете ли вы денег на покупку моего мотоцикла и умеете ли вы водить мотоцикл. Он марки «цюндап». К счастью, муж в молодости увлекался мотоциклетным спортом, но... Кстати, со времени его молодости уже прошло лет двадцать... Лучше не спрашивайте, как мы перебрались из Альтенара в Прюм, а из Прюма в Трир; я сидела позади... Слава богу, в Трире у нас нашлись друзья по партии, которые отвезли нас в Саарскую область, конечно, не сами, а через доверенных лиц... Да, мы обязаны ему жизнью... Верно. Но верно и то, что он держал в руках наши жизни... Нет, я не хочу больше вспоминать, не заставляйте меня, пожалуйста. И лучше уходите... Нет, я не желаю знать его имени».

\* \* \*

Сам Пельцер почти ничего не отрицает, просто его толкование событий несколько отличается от толкований других лиц. По природе он необычайно общителен и даже испытывает потребность в общении; вот почему авт. может в любое время позвонить П., посетить его и поболтать с ним сколько угодно. Здесь надо, однако, еще раз убедительно подчеркнуть следующее: Пельцер ни в коем случае не производит впечатления человека сомнительного, нечистоплотного или

подозрительного. Вид у него вполне солидный; его можно принять за директора банка или за председателя наблюдательного совета концерна. А если читателю представят Пельцера как вышедшего в отставку министра, читатель удивится только одному: почему министр так рано отправился на покой; П. никак не дашь его семидесяти лет, скорее его примешь за шестидесятичетырехлетнего<sup>8</sup>, который ухитряется выглядеть всего на шестьдесят один год!

Когда авт. упомянул о деятельности П. в спецроде, тот не стал увиливать от разговора, не стал ничего отрицать, но он также ничего не признал, его интерпретация этой деятельности была отвлеченно-философская. «Видите ли, я всю жизнь ненавидел бессмысленное расточительство, ненавижу его больше всего на свете; повторяю: бессмысленное... Расточительство как таковое — неплохая штука; хорошо, когда люди тратят деньги с толком и со смыслом; очень хорошо, когда они раскошеляются и преподносят дорогие подарки и тому подобное; но бессмысленное расточительство раздражает меня ужасно... А то, что американцы проделывали в те давние времена со своими мертвецами, иначе как бессмысленным расточительством не назовешь. Когда штатники хотели перевезти, скажем, останки некоего Джимми из Бернкастля, где он в девятнадцатом году умер в госпитале, в Висконсин, то они не жалели ни денег, ни труда, ни материальных ценностей? А зачем, собственно? И неужели надо было везти вместе с останками каждую золотую коронку, каждое обручальное кольцо, каждую золотую цепочку, которую покойник считал своим талисманом, — словом, каждую крупницу золота?.. А теперь насчет тех денег, которые мы насобирали по бумажникам за несколько лет до этого... после битвы на Лисе или после битвы на Камбре... Неужели вы думаете, что, если бы мы не изъяли эти доллары, они ушли бы дальше командного пункта роты или батальона? Да никогда в жизни! И еще одно разъяснение: подлинная цена мотоцикла зависит от исторической ситуации и от платежеспособности того субъекта, который при этой исторической ситуации нуждается в мотоцикле.

О боже, разве я не доказал свое великодушие? Не доказал, что могу пренебречь собственными интересами, когда речь идет о благополучии других людей? В нынешние времена вообще нельзя понять, в каком щекотливом положении я очутился в середине сорок четвертого. Да, я вполне сознательно, так сказать, намеренно нарушал свой гражданский долг; нарушал для того, чтобы дать возможность этим молодым людям насладиться их недолгим счастьем. Я ведь видел, как она возложила на него руку, позже наблюдал за тем, как они постоянно исчезали вдвоем, пусть на две, три или четыре минуты; исчезали в оранжерее за мастерской, где складывали торфяные брикеты, солому, вереск и зелень всех сортов... Может, вы думаете, я не замечал того, что другие, наверное, в самом деле не замечали? Не замечал, что во время воздушных налетов эта парочка исчезала иногда на час или на два? И я не только пренебрег ради них своим гражданским долгом, я еще действовал вопреки собственным интересам, вопреки своим мужским интересам. Да, я честно признаю и никогда не отрицал, что мужское начало играло в моей жизни немалую роль. Я ведь сам положил глаз на Лени, да что там положил глаз, я просто не мог оторвать от нее глаз. Даже сейчас я к ней неравнодушен, можете ей это спокойно передать... Мы, бывшие фронтовики и люди, связанные с землей, привыкли не очень-то церемониться в любовных делах; сейчас вокруг этого накрутили бог знает что, все стало сложным и необычайно тонким, а тогда мы выражались по-простому: дескать, неплохо было бы эту девицу «завалить». Я нарочно вспоминаю свой тогдашний язык и образ мыслей, хочу показать вам, что ничего не скрываю. Да, я был бы очень не прочь «завалить» Лени. Значит, я приносил жертвы не только как немецкий гражданин, не только как хозяин предприятия, не только как член нацистской партии, но и как мужчина. Вообще-то я был решительно против всяких ухаживаний, любовных связей и, так сказать, сожительства между начальником и подчиненными. Но нет правил без исключений, иногда я действовал по-мужски

<sup>8</sup> В ФРГ уходят на пенсию после шестидесяти пяти лет.

и... Ну да, иногда я, так сказать, шел на сближение... Так мы это тоже называли. Несколько раз у меня были из-за этого неприятности, мелкие и крупные; особенно крупные неприятности были у меня с Аделью Кретен; Адель меня любила, родила мне ребенка и хотела выйти за меня замуж. Обязательно! Хотела, чтобы я развелся с женой и тому подобное. Но я принципиальный противник того, чтобы люди разбивали семью; я считаю, что разводы не решают проблемы. В общем, я приобрел для Адели цветочный магазин на Гогенцоллерн-аллее и всегда заботился о ребенке. Сейчас мой Альберт отлично устроен, он учитель в реальном училище, а Адель стала на редкость практичной женщиной и живет в прекрасных условиях. Подумать только, фантазерка Адель — садовницей она стала не из материальных соображений, а, так сказать, по зову сердца, мы, профессионалы, это различаем, — так вот, фантазерка Адель, боготворившая природу и тому подобное, превратилась в рачительную, смелую и умную хозяйку садоводства... Ну, а теперь вернемся к Борису и Лени. Уже с начала сорок четвертого я из-за них погел от страха и буквально харкал кровью... И, прошу вас, найдите человека, хоть одного человека, который докажет вам с фактами в руках, что я был извергом».

\* \* \*

Авт. признает, что никто из опрошенных свидетелей не мог с уверенностью утверждать, будто Пельцер был тогда извергом. Здесь следует, однако, раз и навсегда установить другое обстоятельство: Пельцер очень неэкономно расходовал свои запасы пота и крови. Он начал харкать кровью по крайней мере на шесть месяцев раньше времени. Пусть читатель, если желает, поставит это ему в заслугу... А теперь давайте точно воспроизведем топографию пельцеровского заведения: как раз в центре его находилась застекленная будка, контора Пельцера (будка эта еще существует, только Грундч использует ее как экспедицию: он выносит туда уже проданные горшки с цветами и украшенные рождественские елочки для могил, которые потом забирают заказчики); так вот, к трем сторонам застекленной будки, с востока, севера и юга, стена к стене, примыкали три оранжереи; таким образом, Пельцер мог зарегистрировать у себя в книгах все выросшие в оранжереях цветы (позже их регистрировал Борис). После этого цветы распределяли по трем объектам — часть из них шла на венки, часть Грундчу, который в ту пору один выполнял всю работу по уходу за старыми могилами — постоянных клиентов было тогда мало, — и, наконец, часть цветов шла в открытую или скорее в закрытую продажу. К западной стороне будки примыкало помещение веночной мастерской, по ширине точно такое же, как каждая из трех оранжерей; из мастерской был прямой ход в две оранжереи. Что касается Пельцера, то, находясь у себя в конторе, он мог следить буквально за каждым движением работников садоводства. Что же он видел? Он видел, что Лени и Борис выходили друг за другом якобы в туалет — туалеты для мужчин и женщин были раздельные; видел также, что они иногда удалялись в какую-нибудь из двух оранжерей.

Противовоздушная оборона на предприятии Пельцера, согласно неоднократным заявлениям уполномоченного по противовоздушной обороне фон ден Дриша, была в «преступном состоянии». Ближайшее более или менее соответствующее инструкциям бомбоубежище находилось в здании конторы кладбища, примерно в двухстах пятидесяти метрах от мастерской. Далее: согласно той же инструкции, в бомбоубежище не имели доступа евреи, русские и поляки. Нетрудно догадаться, что на соблюдении этого параграфа инструкции особенно упорно настаивали Кремп, Ванфт и Шелф. Итак, возник вопрос, куда девать русского в то время, когда с неба сыпались английские и американские бомбы, которые, правда, не были предназначены этому русскому, но ненароком могли в него попасть? Впрочем, никого не беспокоило предположительное попадание бомбы в русского. Кремп выразил эту мысль так: «Одним больше, одним меньше. Какая разница?» (свидетельница Кремер). Проблема заключалась совсем в другом. Кто станет охранять советского военнопленного в то время,

когда немцы будут находиться в безопасности (разумеется, только в относительной безопасности)? Разве можно оставить его одного, без присмотра, и тем самым дать ему шанс добиться того состояния, о котором все слышаны, но не каждый испытал, — состояния свободы? Пельцер разрубил этот гордиев узел. Он наотрез отказался ходить в бомбоубежище, заявив, что оно «не дает ни малейшей защиты. Это просто мышеловка»; кстати, у городских властей спорное мнение П. неофициально считалось бесспорным. Во время налетов Пельцер сидел у себя в конторе, зато он гарантировал, что советскому военнопленному «никак не удастся ударить на свободу. «Я ведь был солдатом и сумею выполнить свой долг». Что касается Лени, то она за всю свою жизнь ни разу не переступила порога убежища или подвала (и в этом мы тоже видим сходство характеров Лени и Пельцера); Лени сказала, что будет «уходить на кладбище и ждать сигнала отбоя». Все дело кончилось тем, что «каждый из нас шел куда глаза глядят, и никакие протесты этого болвана фон ден Дриша не помогали, равно как и его письменные кляузы; эти кляузы один хороший приятель Вальтерхена клал под сукно» (Грундч). «Убежище в здании кладбищенской конторы оказалось полной липой, душегубка — и все, сплошное надувательство, обычный погреб, обмазанный пальца на два цементом; любая «зажигалка» пробил бы крышу этого погреба». Итог: при воздушных налетах в заведении Пельцера воцарялась полная анархия; работать не разрешали, надо было сторожить русского, и все сотрудники разбежались «кто куда»... Пельцер сидел в конторе — он отвечал за Бориса. — без конца смотрел на часы и жаловался, что теряет драгоценное рабочее время, за которое он должен платить, хотя оно и не приносит дохода. А поскольку фон ден Дриш все время предъявлял претензии к неисправным шторам для затемнения в мастерской, позже «Пельцер просто гасил свет, и весь мир погрузился в тьму кромешную» (Грундч).

Что же происходило в этой тьме кромешной? И неужели в начале 1944 года, когда П. начал «харкать кровью», Борис и Лени уже вступили в любовную связь?

Из показаний Маргарет, единственной свидетельницы, которая была посвящена в интимную жизнь Лени, можно довольно легко воссоздать все перипетии отношений между Борисом и Лени. После первого «возложения руки» Лени часто проводила целые вечера у Маргарет, под конец даже ночевала у нее; тогда она опять вступила в «разговорчивый период». Так же, впрочем, как и Борис, который, по словам Богакова, стал «чрезвычайно разговорчивым». Однако Борис рассказывал Богакову о Лени далеко не так подробно, как Лени рассказывала Маргарет о Борисе. И все же, несколько схематизировав канву обоих рассказов, мы получим почти синхронное изображение событий. Из него следует, однако, что Пельцер, чье чувство реальности казалось нам до сих пор безупречным, лишился его в данном конкретном случае. В начале 1944 года ему совершенно незачем было «харкать кровью». Только в феврале 1944 года, то есть примерно через полтора месяца после «возложения руки», было вообще произнесено первое слово: остановившись перед туалетом, Лени быстро шепнула Борису: «Я тебя люблю» — и он быстро шепнул ей в ответ: «Я тоже». Эту не совсем правильную фразу ему можно простить. В сущности, Борис должен был сказать: «Я тебя тоже», — но, возможно, это «ты» совершенно поразило его и он побоялся, что скажет: «Ты меня тоже». Так или иначе Лени его поняла, хотя «как раз в эту секунду пальба на кладбище, черт бы ее подрал, достигла своего апогея» (Лени, согласно сообщению Маргарет). Приблизительно в середине февраля влюбленные обменялись поцелуем, который привел обоих в экстаз. Доказано, что первый раз они «были вместе» (выражение Лени, засвидетельствованное Маргарет) только 18 марта, воспользовавшись дневным налетом, который продолжался от 14.02 до 15.18; во время этого воздушного налета, кстати, была сброшена всего одна-единственная бомба.

Настала пора снять с Лени подозрение, которое, хоть и могло возникнуть, лишено всяких оснований: подозрение в склонности к платонической любви. Лени обладала несравненной прямоотой, свойственной рейнским девушкам. (Да, Лени



была настоящей рейнской девушкой; даже госпожа Хёльтхоне признала ее рейнской девушкой, а это что-нибудь да значит!) Ну, а если настоящая рейнская девушка полюбит и сочтет, что она наконец встретила того, кто ей нужен, она готова на все вплоть до самых рискованных ласк. И она вовсе не намерена ждать официального разрешения на эти ласки ни со стороны церковных, ни со стороны светских властей. Лени и Борис были не просто влюблены друг в друга, они были буквально «охвачены любовью»; Борис догадывался о необычайной чувственности Лени и говорил Богакову: «Да, она просто чудо, чудо... Я вижу, она готова пойти до конца, до самого конца!» Можно с уверенностью предположить, что в обычных условиях молодые люди постарались бы как можно скорее достигнуть близости и как можно чаще бывать вместе. Но обстоятельства вынуждали их соблюдать осторожность, ибо Лени и Борис оказались в положении влюбленных, которые движутся навстречу друг другу из двух противоположных концов минного поля протяженностью в один километр, движутся, чтобы вкушать полную близость на трех-четырех квадратных метрах незаминированной земли.

\* \* \*

Госпожа Хёльтхоне обрисовала создавшуюся ситуацию нижеследующим образом: «Ей-богу, они устремились друг к другу со скоростью ракеты. И только чувство самосохранения или скорее желание сохранить другого спасло обоих от явно опрометчивых поступков. Я была принципиальной противницей всяких любовных интрижек. Но при тогдашнем историческом и политическом положении к Лени и к Борису надо было относиться снисходительно. Презрев все моральные нормы, я молила судьбу, чтобы она дала им возможность побыть вдвоем в какой-нибудь гостинице или хотя бы в парке, быть может, даже в парадном — словом, в любом закутке. Ведь во время войны хороши все способы, чтобы остаться наедине, хороши все укромные местечки, даже самые вульгарные... Хотя, признаюсь, случайные связи казались мне тогда непорядочными, сейчас я придерживаюсь гораздо более передовых взглядов».

Маргарет (выверенная стенограмма): «Лени говорила: «Знаешь, всюду мне мерещатся таблички с надписью: «Осторожно. Опасно для жизни!» Кроме того, учтите, возможность общаться у них была крайне ограничена. Лени вела себя молодцом, она точно знала, что до поры до времени ей надо держать инициативу в своих руках, невзирая на всякие там условности, которых даже я тогда придерживалась. Например, я никогда первая не заговаривала с женщиной. Ну, а Лени и Борису пришлось не только шептаться друг другу нежности, но и рассказывать о себе, сообщать самое важное. Однако остаться наедине даже на полминутки им и то было ужасно трудно. Позже Лени повесила между уборными и штабелями торфяных брикетов толстый занавес из мешковины, прикрепила его согнутым гвоздем; в случае надобности она устраивала с помощью этого занавеса нечто вроде закрытой кабинки, и там они могли иногда погладить друг друга по щеке или быстро поцеловаться. Однажды она шепнула ему: «Любимый». Целое событие! Боже, как много им надо было рассказать друг другу; рассказать о своем прошлом, о настоящем, о том, что происходит в лагере. И еще у них была уйма животрепещущих тем: политика, война, еда. Конечно, их связывали служебные дела, так сказать, профессиональные интересы. Лени передавала Борису готовые венки, и передача эта продолжалась, наверное, полминуты: из них десять секунд можно было урвать для себя, шепнуть друг другу несколько слов. Иногда они оба без особой предварительной подготовки встречались в конторе у Пельцера — Лени диктовала Борису цифры расходования цветов или брала что-нибудь из шкафа, где хранились ленты. Таким образом, удавалось выкроить еще лишнюю минутку, чтобы побыть вдвоем. Объясняться им все время приходилось сокращенными фразами. Но ведь для этого необходимо было договориться о сокращениях. Борис шептал: «Два» — и Лени уже знала, что в тот день в лагере погибли два человека. Конечно, они теряли много времени на совершенно ненужные вопросы, без которых влюбленные не могут жить. Например, на вопрос: «Ты меня еще любишь?» Но и здесь надо было при-

бегать к сокращениям. Когда Борис, к примеру, спрашивал: «Все еще... как я?» — Лени знала, что это означает: «Ты все еще любишь меня так же, как я тебя?» И она коротко отвечала. «Да, да, да», чтобы не терять драгоценное время. Иногда ей приходилось тратить сигареты не на Бориса, а на одноногого нациста — я уже позабыла, как его звали. Нациста обязательно надо было ублажать. Но делать это приходилось крайне, крайне осторожно; не дай бог он подумает, что Лени с ним заигрывает, или воспримет ее сигареты как взятку. Все должно было выглядеть совершенно безобидно — товарищи по работе помогают друг другу в трудное время. Словом, Лени совала тому наци в среднем четыре-пять сигарет в месяц, а раз так, то и Бориса она могла изредка открыто угостить сигаретой. Иногда сам Пельцер говорил: «Ну, детки, марш на улицу, перекур на свежем воздухе». Таким образом, Лени и Борис имели возможность открыто поболтать, разумеется тихо, чтобы никто не разобрал, о чем идет речь. Бывало также, что одноногий не выходил на работу по болезни и та противная баба тоже; иногда они отсутствовали оба; в особо счастливых случаях болели три-четыре человека одновременно, а Пельцер куда-нибудь отлучался; тогда половину бухгалтерских книг вел Борис, а другую — Лени. И им удавалось на законном основании посидеть минут десять, а то и все двадцать в конторе и поговорить обо всем на свете: о своих родителях, о своей прошлой жизни. Лени рассказала ему об Алоисе... Они с удовольствием поболтали бы целую вечность... По-моему... они уже спали друг с другом, а она еще не знала фамилию Бориса. «Зачем мне знать? — говорила Лени. — Зачем? Нам надо сообщить друг другу гораздо более важные вещи. Я сказала ему, что меня зовут Груйтен, а не Пфейфер, как записано во всех бумагах...» Вы даже не представляете себе, какой Лени стала специалисткой в военных вопросах, — ведь она все время должна была сообщать своему милому о положении на фронтах; мы слушали англичан, а потом Лени отмечала все по карте. Уверяю вас, она стала в этом деле докой, знала, что в начале января сорок четвертого линия фронта еще проходила у Кривого Рога, что в конце марта немецкие части оказались в окружении под Каменец-Подольском, а в середине апреля сорок четвертого русские уже стояли под Львовом. И еще она знала, что американцы вступили с запада в Авранш, в Сен-Ло и в Каен. А в ноябре — она уже была в то время беременна, — в ноябре она буквально задыхалась от злости из-за того, что штатники «топчутся на месте». Ее возмущало, что они потратили уйму времени, чтобы продвинуться от Моншо до Рейна. «Там ведь всего километров восемьдесят — девяносто, — говорила она. — Почему они продвигаются таким черепашьям темпом?» Да, все мы рассчитывали, что нас освободят не позже декабря — января, а война тянулась и тянулась. И Лени не могла с этим смириться. А потом она, как и все, впала в полный мрак из-за арденского наступления. Вдобавок еще бон в Хюртгенвальде казались нескончаемыми. Я объяснила ей, вернее, пыталась объяснить, что немцы теперь сопротивляются отчаянно, ведь штатники воюют на немецкой земле, и что американское наступление задерживается из-за ужасно суровой зимы. Все это мы тогда без конца повторяли, наши аргументы я помню до сих пор. Вы должны понять, что Лени уже была беременна и что мы искали человека, на которого можно положиться; этот верный человек должен был выдать себя за отца ребенка. На запись в метрике: «Отец неизвестен» — Лени решила согласиться только в самом крайнем случае. А теперь о другом: Борис совершенно напрасно — я и сейчас скажу вам, совершенно напрасно, так как голова у нас и без того была забита, — создавал еще дополнительные трудности. В один прекрасный день он, например, прошептал такое имя: Георг Тракль. Мы обе просто обомлели — не могли понять, что это могло значить. Может, он предлагал этого дядю в отцы ребенку? Но кто этот Тракль? И где его искать? Лени еще спутала фамилию, ей послышался не Тракль, а Тракель. К тому же она немного знала английский и решила, что это, возможно, Трукел или Трукл. До сего дня не понимаю, почему в сентябре сорок четвертого Борису так срочно понадобился Тракль. Ведь тогда все мы ежеминутно подвергались смертельной опасности. Целый вечер я висела на телефоне. — выясняла насчет Тракля. Лени сторала от нетерпения, она, видите ли, хотела узнать все немедленно. Ничего не помогло — ни

один из моих знакомых не клюнул на Тракля. Поздно вечером Лени уехала домой, чтобы допросить с пристрастием всех Хойзеров. Результат тот же. Это было весьма печально, так как на следующий день Лени пришлось потратить драгоценные секунды и спросить у Бориса, с чем кушают его Тракля. Он сказал: «Поэт, немецкий, Австрия, красный». Тогда Лени прямым ходом направилась в ближайшую публичную библиотеку и недолго думая написала на листке с требованием: «Тракль, Георг». Пожилая библиотекарьша всем своим видом выразила Лени порицание, но та все же добилась своего, это сокровище ей выдали. Маленький томик стихов, Лени начала читать его сразу в трамвае. Несколько строчек я помню до сих пор, ведь Лени декламировала их каждый вечер, каждый вечер: «И мрамор предков потускнел». Мне это нравилось, безумно нравилось. Но другие строчки нравились мне еще больше. «Девушки стоят у ворот, робко смотрят на яркую жизнь, их влажные губы дрожат, они ждут у ворот». На этом месте я редела как белуга, реву до сих пор, потому что мне это напоминает детство, напоминает юность. И чем старше я становлюсь, тем больше напоминает. Да, тогда я была до краев полна ожиданием, полна радости, ждала и радовалась. А к Лени подходило другое стихотворение, так подошло, что скоро мы и его выучили наизусть: «У колодца, чуть стемнеет, зачарованные бродят; влага льется, чуть стемнеет, ведра кверху, книзу ходят». Эти стихи из маленького томика Лени выучила наизусть, придумала к ним мотив и начала напевать их в мастерской, ей хотелось доставить удовольствие Борису. Ему она доставила удовольствие, но одновременно нарвалась на неприятности. Однажды на нее набросился одноногий и спросил, что это, мол, значит. Лени заявила, что она поет песни немецкого поэта, но тут в разговор сдуру вмешался Борис и сказал, что ему известен этот немецкий поэт, родом он из Остмарка<sup>9</sup> — он в самом деле сказал: из Остмарка. — зовут его Тракль и так далее. Нацист опять полез в бутылку, он, видите ли, не мог допустить, что какой-то большевик знает немецкую поэзию лучше него. По-моему, одноногий обратился к нацистскому руководству или куда-то еще и навел справки, не был ли Тракль большевиком. Ему ответили, что с Траклем все в порядке. Тогда одноногий захотел узнать, можно ли считать порядком тот факт, что советский военнопленный, коммунист и, стало быть, представитель низшей расы, так хорошо знаком с этим Траклем. На сей раз ему ответили, что к священному достоянию немецкой культуры не должны прикасаться представители низшей расы. Дело о Тракле принимало угрожающий оборот, Лени вела себя вызывающе, она стала очень самоуверенной и была на диво хороша — ведь ее любили, — меня никто никогда так не любил, даже Шлемер; может быть, меня любил бы так только Генрих... И вот Лени как раз в тот день спела стихотворение о Соне: «Старый сад окутал вечер, жизнь Сони — голубая тишина». В этих стихах Соня упоминается четыре раза. И одноногий опять раскричался: Соня, мол, типично русское имя, эта песня, мол, вражеская вылазка и так далее. Лени тут же нашлась: «А как же Соня Хени?<sup>10</sup> Ее тоже зовут Соня». Кроме того, всего год назад она видела фильм под названием «Почта», где действовали почти сплошь русские, в том числе одна русская девушка. Дискуссию прекратил Пельцер, заявив, что все это ерунда. Конечно, Лени имеет право петь во время работы. И раз ее песни не угрожают обороне родины, возражать нечего. Тогда решили проголосовать — петь Лени или нет. У Лени оказался очень приятный голосок — альт; настроение у всех было самое подавленное, в то время вообще никто не пел по собственному почину. Поэтому все, все без исключения проголосовали против нациста. И Лени разрешили петь дальше свои импровизированные песенки на слова Тракля.

\* \* \*

Хельтхоне, Кремер и Грундч подтвердили, хоть и в несколько уклончивой форме, что они одобряли пение Лени.

Хельтхоне: «О боже, в то мрачное время ее песни вносили приятное разнообразие; у девушки оказался милый голосок, альт. И она пела не по принужде-

<sup>9</sup> Так гитлеровцы официально называли оккупированную Австрию.

<sup>10</sup> Соня Хени — знаменитая фигуристка и киноактриса тридцатых годов.

нию. И на том спасибо! Ясно было, что своего Шуберта Лени знала вдоль и поперек, и она очень ловко перекладывала на шубертовские мелодии красивые трогательные стихи».

Кремер: «Ее пение было как солнечный луч. Когда она пела, даже Ванфт и Шелф прекращали воркотню; каждый видел, слышал и ощущал, что Лени любит и что она любима... Но никто из нас не догадывался, кого она любит и кто любит ее. Русский всегда держался на редкость тихо и работал не разгибая спины».

Грундч: «Над паршивым кретином Кремпом я хохотал до упаду и про себя и вслух. Как он злился из-за этой Сони. Между прочим, очень распространенное имя — так зовут сотни, тысячи женщин. Лени здорово утерла ему нос — сразу вспомнила Соню Хени... Да, когда она пела, казалось, что посреди зимы на голом поле вырос и раскрылся подсолнечник. Прямо чудо! И все мы чувствовали, что ее любят и что она тоже любит — как она расцвела в ту пору! Конечно, ни одна живая душа, кроме Вальтерхена, не догадывалась, кто ее избранник».

Пельцер: «Ну разумеется, меня радовало ее пение. Я и не подозревал, что у нее такой красивый голосок. Альт... Но разве можно описать, разве можно представить себе сейчас, сколько эта история приносила неприятностей? Мне без конца звонили, я сам без конца звонил; меня спрашивали: правда ли, что она поет русские песни? Имеет ли мой русский к этому отношение? И так далее. Потом, конечно, все более или менее уладилось. Но горя я хлебнул достаточно. И полной безопасности не достиг. Запомните раз и навсегда — в ту пору все было небезопасно!»

Здесь следует опровергнуть одно неправильное представление, которое могло по ошибке возникнуть: представление о том, будто Борис и Лени влачили свои дни в тоске и печали и будто Борис изо всех сил пытался обнаружить пробелы в образовании любимой женщины и приобщить ее к немецкой поэзии и прозе. Все было не так. Борис ежевечерне сообщал Богакову, как он рад, что утром опять встретится с Лени. Правда, он не был уверен в этом до конца; разве можно было быть в чем-нибудь уверенным в то время! После того как Борис получил страшную взбучку за пение в трамвае, у него хватило ума подавлять в себе стихийное желание запеть. Дело в том, что Борис знал огромное количество немецких народных и детских песен и любил напевать их на свой меланхоличный лад. Но у товарищей по лагерю это вызывало только нарекания. В то время их не очень-то привлекали (по вполне понятным причинам. Авт.) сокровища немецкой песни. В конце концов обе стороны пришли к соглашению: поскольку в лагере разрешалось и даже поощрялось пение «Лили Марлен» и поскольку голос Бориса получил признание, ему позволяли после исполнения «Лили Марлен» (самого Б. эта песня, согласно показаниям Богакова, не нравилась. Авт.) исполнить еще одну немецкую песню по собственному выбору. Любимые песни Бориса, согласно Богакову, были «У колодца, у ворот», «Мальчик видел» и «На лужке...». Нетрудно догадаться, что ранним утром в трамвае, битком набитом хмурыми пассажирами, Борис с наслаждением во весь голос спел бы песню «Прислушайтесь к тому, что слышно вдалеке». После ужасных неприятностей с пением «Смело, товарищи, в ногу», когда Бориса так грубо оборвали, после этого происшествия у нашего героя все же осталось одно утешение, а именно: немецкий рабочий, который в свое время прошептал ему несколько ободряющих слов, ездил с Борисом каждый день в одном трамвае. Конечно, они не осмеливались заговаривать друг с другом. Но иногда им все же удавалось заглянуть друг другу в глаза — глубоко и прямо. Только человек, переживший фашизм, может понять, что значит встретить товарища, которому можно глубоко и прямо заглянуть в глаза. Прежде чем запеть в мастерской, Борис предпринял весьма мудрые меры предосторожности (Богаков). Дело в том, что по роду работы почти все сотрудники садоводства время от времени должны были разговаривать с Борисом — даже Кремп и Ванфт (оба они, впрочем, ограничивались тем, что бормотали сквозь зубы «вот», «иди же» или «ну»). Самому Пельцеру, однако, приходилось вести с Борисом долгие беседы о лентах, о бухгалтерских книгах, куда заносились данные о расходовании венков и цветов, об

ускорении темпа работы и т. д. И вот в один прекрасный день Борнс обратился к Пельцеру с просьбой разрешить и ему изредка «исполнить какую-нибудь песню».

\* \* \*

Пельцер: «Я просто обалдел, честное слово. Никак не предполагал, что мальчик может думать в такое время о песнях. Положение у меня было, прямо сказать, аховое—ведь, запев в трамвае, он уже влип в ужасную историю; счастье еще, что никто не заметил, что он пел, все усекли только самый факт пения. Я спросил его: неужели было обязательно надо петь? Хотел, чтобы он понял: при тогдашнем военном положении пение русского военнопленного могло быть воспринято как провокация. Вспомните — это было в июне сорок четвертого, Рим уже захватили американцы, а в Севастополь уже опять вошли русские. Борнс сказал: «Мне это принесет огромную радость». Признаюсь, я был тронут, по-настоящему тронут тем, что ему все еще хотелось петь. И я ответил: «Послушайте, Борис, вы же знаете, я не изверг какой-то. По мне, можете заливатьесь хоть весь день, как ваш Шаляпин. Но вы ведь видели, что пение госпожи Пфейфер (в его присутствии я никогда не называл Лени по имени), — что пение госпожи Пфейфер вызвало целую бурю. Что же будет, если запоете и вы?..»

В конечном счете я все же пошел на риск, произнес даже короткую речь в мастерской. «Ну вот, друзья, послушайте, — сказал я, — наш Борнс — он работает с нами уже полгода, и все мы знаем его как хорошего работника и скромного человека, — наш Борис любит немецкие песни и вообще немецкое пение. Во время работы ему хотелось бы изредка пропеть немецкую песню. Предлагаю поставить это на голосование. Кто за — поднимите руку!» Сам я первый поднял руку... И что вы думаете? Даже Кремп, хоть он и не поднял руку, буркнул что-то в знак согласия. А я продолжал: «Борис будет исполнять песни, входящие в сокровищницу немецкой культуры. И я не вижу особой опасности в том, что военнопленный тоже приобщится к этой сокровищнице». У Бориса хватило ума не вылезать сразу со своим пением; несколько дней он подождал и только потом запел. Ей-богу, когда он исполнял арии из опер Карла Марии Вебера, его рулады не уступали руладам оперных певцов. А бетховенскую «Аделаиду» он пел совершенно безукоризненно и с точки зрения музыки и с точки зрения немецкого языка. Позже он, на мой взгляд, слишком злоупотреблял любовными песнями. А под конец начал петь эту самую: «Вперед же, в Махагони, где воздух свеж и чист, где виски, девки, кони и счастлив покерист». Это он пел очень часто. Только после войны я узнал, что это брехтовский сонг<sup>11</sup>. Признаюсь, что даже теперь, когда я вспоминаю его пение, меня от страха трясет. Мне этот сонг нравится. Я купил себе пластинку с сонгами Брехта. И с удовольствием ставлю ее... Но, ей-богу, меня трясет, стоит мне подумать, что осенью сорок четвертого русский военнопленный пел у меня в мастерской Брехта. Шутка ли, осенью сорок четвертого, когда англичане стояли у Арнхейма, когда русские вошли в предместья Варшавы, а штатники уже почти заняли Булонь... Да, тут можно задним числом схватить инфаркт. Но Брехта у нас тогда не знал ни один человек, включая Ильзу Кремер... Мне здорово повезло — ни Брехта, ни этого Траля не знал. И только позже я сообразил, что он и Лени исполняли нечто вроде любовного дуэта. Настоящий любовный дуэт!»

\* \* \*

Маргарет: «Они оба так расхрабрились, что я была в панике. Лени каждый день, буквально каждый день, приносила ему что-нибудь: то сигареты, то хлеб, то сахар, то масло, то чай, то кофе и обязательно газеты, которые она научилась складывать в крохотные квадратки. И еще она приносила ему лезвия и одежду — ведь дело шло к зиме. Считайте, что с середины марта сорок четвертого она не пропустила ни одного дня, каждый божий день что-нибудь да приносила Борнсу. В нижнем пласте торфа, который лежал в мастерской штабелями, она проде-

<sup>11</sup> Сонг (song) — песня (англ.).

лала дырку и заткнула ее чем-то вроде пробки из торфа; разумеется, отверстие тайника было повернуто к стене, иначе Борис не смог бы незаметно выгрузить его. Лени необходимо было также войти в доверие к конвойному, чтобы тот не устраивал Борису обыска... Да, с конвойным надо было держать ухо востро; парень этот оказался большим нахалом, хоть и весельчаком, большим нахалом. Он во что бы то ни стало хотел пригласить Лени потанцевать и тому подобное. Он называл это «сделать девушке нокаут». Нахал и свинья! Наверное, он знал о Лени и Борисе гораздо больше, чем хотел показать. Как-то раз он все же настоял, чтобы Лени провела с ним вечер. Ясно было, что этого не избежать, и она попросила меня пойти с ними. Несколько раз он водил нас в эти солдатские кабаре, которые я хорошо изучила, а Лени не знала вовсе. А потом этот нахал дал понять, что я больше в его вкусе, чем Лени. По его понятиям, Лени оказалась чересчур цирлих-манрих, его типом девушки была я — ветренная красотка... Случилось то, что должно было случиться. Ведь Лени дрожала от страха, боялась, как бы этот парень — его звали Болдиг — не докопался до всего и не натворил бы беды. Пришлось мне — уж не знаю как бы выразиться, — пришлось мне не то чтобы принести себя в жертву, а скорее просто взять его на себя. Это, пожалуй, точнее. Одним словом, я взяла его на себя. Особой жертвы я в этом не видела, да и в конце срок четвертого мне было, в общем, безразлично — одним больше, одним меньше. Молодой нахал жил на широкую ногу — водил меня в самые шикарные гостиницы, когда хотел «проиграть вместе пластинку», так он это тоже называл. Ну и, понятно, шампанское лилось рекой... Самое главное, этот парень был не только нахал, но и порядочный хвастун; в легком подпитии он выбалтывал свои тайны. Оказалось, он спекулировал всем чем только можно — спиртным и, конечно, сигаретами, кофе и мясом. Но самым прибыльным предприятием была торговля орденскими книжками... У него оказалась целая кипа бумажек с печатями, он захватил их во время одного из отступлений. Вы, конечно, понимаете, что когда я услышала про воинские документы, то насторожилась. Насторожилась из-за Бориса и Лени. Сперва я дала ему выболтаться, а потом стала подначивать. В конце концов он покаялся и дал мне свои бумажки; в самом деле у него оказалась картонная коробка примерно такого же объема, как том энциклопедического словаря, картонная коробка, битком набитая разными бланками с соответствующими печатями и подписями. Там были и увольнительные и даже водительские права. Ну ладно! Я не сказала ни слова, но теперь мы держали его в руках, а он о нас по-прежнему ничего толком не знал. Я очень осторожно выспросила его об отношении к русским. Он считал их беднягами. Но не прочь был содрать с них, несчастных, несколько марок, курево он им давал, не хотел навредить себе лишним врагов. За железный крест первой степени Болдиг брал три тысячи марок и считал, что это просто-таки по-божески, за воинскую книжку — пять тысяч, это ведь «в иных случаях спасает человеку жизнь», — говорил он. Что касается справок о ранении, то он спустил их все, когда из Франции хлынули отступающие части и в развалинах у нас засели дезертиры; дезертиры стреляли друг другу в руку или в ногу, разумеется с надлежащего расстояния; справки о ранении легализировали их положение. К тому времени я уже года два протрубила в госпитале и знала, как у нас относятся к «самострелам».

\* \* \*

Пельцер: «В ту пору предприятие начало хиреть. Сугубо временное явление. Счастье еще, что Кремпу, у которого не ладилось с протезом, пришлось лечь в госпиталь и что он пробыл там несколько месяцев. Я мог бы сразу уволить двух-трех человек. Парадокс заключался в том, что людей умирало не меньше. Но эвакуация города проводилась более строго и последовательно. Да и раненых к нам привозили уж не в таких количествах, их сразу переправляли через Рейн. К счастью, и Шелф и Цевен сами пожелали эвакуироваться в Саксонию... В конце концов мы очутились, можно сказать, «среди своих». Но мне все равно с трудом удавалось занять оставшихся рабочих. Под конец я пытался отыгаться на оранжереях... Ничего не получалось, дела шли через пень-колоду, я еле-еле покрывал

издержки производства. В сорок третьем приходилось работать в две смены, иногда вводить ночную смену. Теперь начался застой. Но потом вдруг опять наступило оживление, связанное с активизацией англичан, с увеличением числа воздушных налетов. Как-никак наша специальность была похороны, а в городе опять появилось много покойников. Я забрал своих людей из оранжерей, снова ввел вторую смену. И как раз в это время Лени, можно сказать, сделала одно открытие, которое значительно повысило производительность мастерской. Она разыскала несколько разбитых горшков с *calluna salisb*, то есть, попросту говоря, с вереском, и недолго думая начала плести небольшие венки из вереска, бескаркасные маленькие тугие венки. Конечно, они снова могли навлечь на нас подозрение в том, что мы выпускали так называемые римские венки, но с середины сорок четвертого только отъявленные кретины могли думать о такой чепухе... В своем деле Лени достигла совершенства: венки были небольшие, портативные, казались чуть ли не жестяными; позже мы стали покрывать их лаком, а Лени придумала еще одно новшество: она начала вплетать в венки инициалы умерших или инициалы заказчиков. Иногда даже имена, если они не были чересчур длинные, например такие имена, как Гейнц или Мария; больше букв уже не умещалось; в этих венках было красивое сочетание зеленого с сиреневым. И ни разу, ни единого разу Лени не нарушила основной закон отделки — центр тяжести всегда приходился на левую верхнюю треть венка. Я был в полном восторге, заказчики восхищались — учтите, в ту пору мы еще могли спокойно, не подвергаясь особой опасности, переправляться через Рейн; таким образом, вереск можно было завозить в мастерскую целыми тачками. Иногда Лени превосходила самое себя — вплетала в венки разные религиозные символы; якорь, сердце, крест...»

\* \* \*

Маргарет: «Разумеется, Лени начала плести венки из вереска не без задней мысли. Ведь она давно решила, что ее брачным ложем должен быть вереск. Конечно, это ложе никак не удалось бы устроить за пределами кладбища, поэтому оставался лишь один путь — приспособить для свиданий с Борисом какой-либо из просторных фамильных склепов; выбор Лени пал на склеп, принадлежавший семейству Бошанов, к тому времени он уже сильно пострадал от бомбежек. В склепе находились скамьи и небольшой алтарь, за которым она и скрыла постель из вереска. Кроме того, вынув камень, в алтаре можно было устроить тайник для припасов — сигарет, спиртного, хлеба и сладостей. В то время Лени вела себя очень хитро — перестала угощать Бориса традиционной чашкой кофе, вернее, наливая ему кофе не чаще чем раз в четыре-пять дней. Иногда сдавала готовый венок, минуя Бориса, перестала разговаривать и шептаться с ним за дверями мастерской. Тайник в штабелях торфа был перенесен в склеп Бошанов. И вот день 28 мая стал для Лени и Бориса счастливым днем; в тот день город бомбили дважды через короткие промежутки времени, и оба налета были дневные — они начались около двух и кончились в половине пятого. В общей сложности было сброшено не так уж много бомб, но вполне достаточно, чтобы налеты считались довольно тяжелыми. Во всяком случае, Лени явилась домой сияющая и заявила: «Сегодня была наша свадьба, а 18 марта всего лишь помолвка. И знаешь, что мне сказал Борис? «Слушай англичан». Потом для Лени и Бориса настали трудные времена. Больше двух месяцев не было ни одной дневной бомбежки. Обычно нас бомбили глубокой ночью, несколько раз незадолго до полуночи. Во время налетов мы с Лени лежали в постели, и она кляла все на свете. «Почему они не летают днем? Когда они опять прилетят днем? И почему штатники не продвигаются вперед? Прошло столько времени, а они все еще не могут допознать до нас. Хотя до нас им рукой подать». Лени уже была беременна, и мы ломали себе голову — не знали, как найти для ребенка отца. И вот наконец на вознесение опять был массированный дневной налет, он продолжался, по-моему, два с половиной часа, бомб было сброшено немало, некоторые даже упали на кладбище, несколько осколков пробили стекло в склепе семейства Бошанов и просвистели над головами влюбленных. А потом наступило время, которое Лени назвала

«Божьим благословением, месяцем, подаренным нам самим господом богом». Между 2 и 28 октября было девять массированных налетов. Лени говорила: «Рахель и мать божью — вот кого я должна благодарить. Они знают, как я их люблю».

\* \* \*

Настала пора, так сказать, суммировать некоторые факты и подвести некоторые итоги. Лени исполнилось двадцать два года, и если придерживаться общепотребительной терминологии, то между рождеством 1943 и 18 марта 1944 года они с Борисом были женихом и невестой, а начиная с праздника вознесения в 1944 году их надо рассматривать как молодоженов. В данном случае молодые целиком и полностью вручили свою судьбу совершенно неизвестному им тогда маршалу военно-воздушного флота Великобритании Гаррису. Для дальнейшего изложения нам не нужны ни Пельцер, ни Маргарет, поскольку мы можем оперировать точными цифрами: между 12 сентября 1943 года и 31 ноября 1944 года было 17 дневных налетов, за время которых на город было сброшено круглым счетом 150 осколочных бомб, 14 000 фугасных и приблизительно 350 000 «зажигалок». Совершенно очевидно, что в городе возникла анархия, которая была наруку нашим героям; власти уже не могли наблюдать столь пристально за тем, кто и куда прячется от бомб и кто с кем вылезает из укрытия, даже если этим укрытием служил фамильный склеп. Чопорные любовники держались в эти времена по-прежнему друг от друга, но ни Лени, ни Борис не страдали чопорностью. Таким образом, у них хватало теперь времени на то, чтобы поведать друг другу обо всем на свете — о своих родителях, братьях и сестрах, о детстве и школьных годах, а также обсудить военное положение. На основе статистических данных можно почти с математической точностью установить, что между августом и декабрем 1944 года Лени и Борис провели вместе двадцать четыре часа; только 17 октября того года они провели наедине целых три часа. Итак, если читатель счел их достойными сожаления, ему придется подавить в себе это чувство, ибо очень не много любовных парочек, законных и незаконных, свободных и несвободных, провело столько времени вместе в душевном согласии. Одним словом, наших героев надо рассматривать как баловней судьбы. Кошунственно призывая на головы немцев налеты английской авиации, они вкушали полное счастье в фамильном склепе Бошанов.

\* \* \*

Об одном Борис не подозревал и так никогда и не узнал: Лени попала в очень трудное финансовое положение. На ее жалование можно было купить в те времена всего двести пятьдесят граммов кофе, а на доходы от дома — приблизительно сотню сигарет, между тем Лени потребляла в среднем килограмм кофе в месяц и от трех до четырех сотен сигарет — сюда входят сигареты, которые ей непрерывно приходилось «совать» кому-то. Учитывая все это, надо признать следующее: Лени подпала под действие одного из простейших экономических законов, который неумолимо ведет к разорению, — ее расходы намного превышали доходы. По точным данным, вернее, по данным, приближающимся к абсолютно точным, Лени, при ее уровне потребления кофе, сахара, вина, сигарет и хлеба, требовалось, исходя из тогдашнего курса марки, от четырех тысяч до пяти тысяч марок ежемесячно. Доходы же ее, складывавшиеся из жалования и квартирной платы, вносимой жильцами, составляли примерно одну тысячу марок. Нетрудно угадать, к чему это привело: Лени влезла в долги. К этому надо добавить, что в апреле 1944 года стало известно местопребывание отца Лени и что ей удавалось иногда, хоть и весьма сложным путем, пересылать ему кое-что. В итоге с июня 1944 года расходы Лени возросли почти до шести тысяч марок ежемесячно, а ее доходы пребывали на том же уровне, на уровне одной тысячи марок. Лени никогда не копила на черный день. Более того, собственное потребление Лени до той поры, пока ей не понадобились дополнительные средства для Бориса и отца, намного превышало ее денежные возможности. Коротко говоря, доказано, что уже в сентябре 1944 года Лени задолжала двадцать тысяч марок и что ее кредитор



проявлял все признаки нетерпения. Но как раз в это время расточительство Лени достигло высшей точки — она начала охотиться за такими дефицитными товарами, как бритвенные лезвия, мыло, даже шоколад и вино. Вино стало прямо-таки ее пунктиком.

\* \* \*

Сообщение Лотты Х.: «У меня Лени никогда не пыталась стрелкнуть денег, она ведь хорошо знала, как трудно было прожить тогда с двумя детьми. Наоборот, Лени нередко сама подбрасывала мне что-нибудь: хлебные талоны, кусочек сахара, курево или несколько марок. Нет, нет! Она была человеком справедливым. Вот только начиная с апреля по октябрь она почти не являлась домой. По ней было видно, что она кого-то любит и что тот человек любит ее. Конечно, мы не знали, кто ее избранник. Мы думали, что она встречается с ним на квартире у Маргарет. К тому времени я уже год как не работала в фирме старого Груйтена, сперва вкалывала на бирже труда, потом поступила в попечительство по делам людей, лишившихся крова; зарабатывала сущие пустяки, на мои деньги можно было выкупить продукты по карточкам. И только. Фирму реорганизовали. После июня сорок третьим шефом у нас стал совершенно новый человек из министерства, служака; все мы звали его «новые веяния», так как фамилия его была Новеен и так как он без конца повторял, что из фирмы надо «выветрить дух патриархальности и убрать всю плесень». К «плесени» относились мой свекор и я. Шеф говорил совершенно открыто: «Оба вы здесь засиделись, здорово засиделись, и я не желаю с вами нянчиться, особенно теперь, когда нам предстоит рыть окопы и возводить укрепления на западной границе. Тут уж нельзя будет церемониться с русскими — с украинскими и русскими женщинами, а также с немцами-штрафниками. Нет, это занятие не для вас. Самое лучшее, уходите по собственному желанию». Новеен был классическим типом исполнительного чинуши и большим циником, хотя и не лишенным некоторых симпатичных черт... Такие люди часто встречаются. «От всех вас еще пахнет Груйтеном». Словом, мы ушли — я на биржу труда, а мой свекор на железную дорогу. Ну вот. Не знаю уж, как правильно сказать, — может быть, именно тогда Хойзер показал свое истинное нутро, а может быть, тогдашние обстоятельства преобразили его истинное нутро. Во всяком случае, вел он себя довольно низко и ведет себя низко по сей день. В доме у нас, мягко выражаясь, царил ад. После ареста Груйтена все мы начали жить коммуной — поселились под одной крышей, питались из одного котла; в свою коммуны мы приняли и Генриха Пфейфера, который ждал призыва. Сперва Мария и моя свекровь закупили провизию и заботились о детях; Мария иногда отправлялась в деревню — в Толцём или в Люссемих — и привозила картошку и другие овощи, изредка даже одно яйцо. До поры до времени все шло прекрасно, но потом мой свекор начал приносить домой суп, который ему выдавали без карточек на железной дороге; вечером он подогревал суп и, причмокивая от удовольствия, рубал его на наших глазах, рубал, так сказать, дополнительно, сверх той доли, какую получал из общего котла. После этого моя свекровь, как острила Мария, «спятила на граммах» — она начала все взвешивать, проверяя нас. Наступила новая стадия — каждый запирает свои продукты в ящик с большим висячим замком. И конечно, все начали обвинять друг друга в воровстве. Свекровь взвешивала свой маргарин до того, как запереть его в ящик, и во второй раз после того, как вынимала его из ящика. При этом она обязательно, совершенно обязательно говорила, что у нее украли кусок. Что касается меня, то я выяснила вот что: моя свекровь ни перед чем не останавливалась, она разбавляла водой молоко, детское молоко, чтобы испечь себе и старику что-нибудь отличное. Тогда я сговорила с Марией — она начала мне покупать и стряпать. Отношения у нас оставались самые мирные, ни Лени, ни Марию нельзя было обвинить в мелочности. Однако стоило кому-нибудь в квартире приступить к стряпне или поставить на стол еду, как старики Хойзеры начинали шнырять вокруг; это был вариант номер два, еще почище первого, — всеобщая зависть. Лично я завидовала только Лени, ведь она могла удрать из дому и повеселиться у Маргарет. Так я думала, по крайней мере. Старый Хойзер, который работал на железной дороге,

по его выражению, приступил «к установлению связей». Дело в том, что в его ведении как бухгалтера находились паровозные машинисты, которые в сорок третьем еще заезжали почти во все уголки Европы: и вот они отвозили туда дефицитные товары и привозили сюда столь же дефицитные товары. За мешок соли они получали на оккупированной Украине целую свинью; за мешок манной крупы в Голландии, где тогда был ужасающий голод, или в Бельгии — сигары; во Франции они покупали, разумеется, вино и еще раз вино — шампанское и коньяк. Одним словом, Хойзер нашел себе неплохую кормушку; позже, когда на него возложили составление производственных планов и расписаний товарных поездов, он и вовсе стал крупным деятелем; старик разузнавал, в каком именно товаре особенно нуждались в той или иной европейской стране, и начинал им спекулировать: голландские сигары он выменивал на масло в Нормандии, понятно до вторжения... А потом за это масло получал в Антверпене или где-нибудь еще вдвое больше сигар, чем в Нормандии или где-нибудь еще. Кроме того, от него зависело, в какой рейс поедут коچهгары и машинисты. Стало быть, все они оказались у него в руках; самых отъявленных мошенников он посылал в самые выгодные рейсы. И конечно, внутри Германии цены на черном рынке на одни и те же товары тоже были совершенно различные. В больших городах спекулянты выгодно сбывали решительно все — жратву и предметы роскоши; кофе, конечно, пользовался особым спросом в сельских местностях. Таким образом, с помощью обменных операций — например, масло в обмен на кофе и так далее — можно было, по выражению Хойзера, «удвоить свои финансы». Как-то само собой получилось, что он наживал больше всех на Лени; для вида он ее предостерегал, но когда ей требовались деньги, ссужал деньгами. В конце концов он стал не только ее кредитором, но и поставщиком. Таким образом, он еще дополнительно зарабатывал на ней, так как немножко накидывал на каждый товар. Но Лени ничего не замечала; она без слов подписывала долговые расписки. Это он установил местопребывание старого Груйтена, сперва тот был рабочим во Франции, на берегу Атлантического океана, обслуживал бетономешалку, потом его отравили с другими штрафниками в Берлин для расчистки развалин после налетов... Словом, мы изыскали возможность посылать ему время от времени посылки и получать от него весточку; большей частью он передавал нам: «Не беспокойтесь. Я скоро вернусь». Но и на посылки Груйтену требовались деньги. И случилось то, что должно было случиться: приблизительно к августу сорок четвертого Лени задолжала Хойзеру двадцать тысяч марок. И знаете, как он повел себя? Начал на нее наседать, говорил ей: «Если я не получу обратно мои деньги, детка, все сделки у меня могут сорваться». И знаете, чем это кончилось? Лени взяла закладную на дом на сумму в тридцать тысяч марок, вернула старикану его двадцать тысяч и еще получила свободные десять тысяч. Я ее предупреждала, говорила, что во время инфляции закладывать реальные ценности — безумие. Но Лени только смеялась в ответ. Получив закладную, она подарила детям немного еды и сунула мне пачку десяток; помню, как раз в эту минуту в комнату заглянул вечно голодный Генрих, и ему тоже кое-что перепало от Лени; после этого она схватила совершенно оторпевшего юношу и закружилась с ним по комнате. Поразительно, как она вдруг расцвела, какой стала беззаботной и веселой. Я завидовала не только ей, но и тому молодому человеку, которого она любила... Вскоре Мария уехала на некоторое время к себе в деревню, Генриха призвали в армию; я оказалась наедине со стариками, и мне пришлось даже оставлять на них детей. А с Лени опять случилось то, что должно было случиться: она взяла вторую закладную на дом. Ну, а после, да, после... Мне просто стыдно об этом рассказывать... после он и впрямь откупил у нее груйтеновский дом, не очень сильно пострадавший от бомбежек. И это произошло в конце сорок четвертого, когда деньги превратились в бумажки, на которые почти ничего нельзя было приобрести... Он еще раз дал ей двадцать тысяч марок, перевел закладные на свое имя и немедленно заплатил по ним. Теперь он стал тем, кем, наверное, уже давно видел себя в мечтах — домовладельцем. Заполучил недвижимость, которая стоит сейчас добрых полмиллиона марок! Уже в тот самый первый раз, когда он начал брать

квартирплату, то есть 1 января сорок пятого, я поняла, что этот дом — золотое дно. Видимо, это была его мечта: первого числа каждого месяца обходить квартиры и взимать плату... Правда, в январе сорок пятого ему не удалось насобирать много денег — большинство жильцов эвакуировалось, два верхних этажа пострадали от «зажигалок». Но этот жадюга даже меня включил в список жильцов. И Пфейферов, конечно, тоже, хотя те вернулись лишь в пятьдесят втором. Только после того, как он взял у меня первые деньги за мои две пустые комнаты — как сейчас помню, тридцать две марки шестьдесят пфеннигов, — только после того я вдруг поняла, что все эти годы мы жили у Лени бесплатно. Раньше я думала, что Лени поступила чрезвычайно неразумно, я ее не раз предупреждала... Но теперь мне кажется, что она поступала очень разумно, когда пускала все на ветер ради своего любимого. А с голоду она не умерла. И после войны тоже.

\* \* \*

Маргарет: «Вскоре Лени провела то, что сама она обозначила «вторым генеральным смотром». Первый смотр прошел, по ее словам, когда началась история с Борисом. Уже тогда Лени перебрала всех своих родных и знакомых, сходила даже несколько раз в бомбоубежище, чтобы устроить там проверку домашним, дать им своего рода «тесты»; так она «испытала» Хойзера, Марию и Генриха, а потом товарищей по мастерской. И кто же был признан «годным» после генерального смотра? Кто оказался единственно достойным? Я. Ей-богу. В Лени прелюбимый талант большого стратега... Представьте себе только, что она проверяла каждого, буквально каждого в отдельности... Сперва ее выбор пал, конечно, на Лотту, но потом Лени отвергла ее из-за того, что та ее «ревновала». Старика Хойзера и его жену она вычеркнула из списков, как «слишком старомодных людей, к тому же русофобов», Генриха Пфейфера — как «чересчур пристрастного». Она точно знала, что ее потенциальной союзницей была госпожа Кремер, сходила к ней в гости, чтобы поговорить по душам, но потом убедилась, что Кремер была чересчур запуганная. «Запуганная и уставшая; она ни во что не хочет вмешиваться, и я ее понимаю». Лени подумала и о госпоже Хельтхоне, но отказалась от нее из-за «старомодной морали Дамы, других причин нет». И «главное, главное», надо было, конечно, «взвесить, кто достаточно силен, чтобы это узнать и выстоять при всех обстоятельствах». Лени твердо решила победить. И для нее было совершенно очевидно: для ведения военных действий необходимы деньги и опорные пункты. Единственным опорным пунктом, который она нашла после своего первого генерального смотра и оценки обстановки, была я... Большая честь для меня. И одновременно большая ответственность. Я, стало быть, оказалась достаточно сильной. В бомбоубежище, у себя дома, у Хойзеров и у Марии Лени систематически проверяла взгляды своих ближних, теперь у нее развязался язык, и она рассказывала разные истории: сперва про одну немецкую девушку, которая будто бы завела роман с англичанином, с военнопленным. Результаты ее рассказа оказались самые удручающие — большинство людей в бомбоубежище высказались за немедленный расстрел девушки, за стерилизацию, за изгнание из «народной общности» и так далее. Но Лени это не обескуражило — она рассказала аналогичную историю, героем которой был француз; француз сравнительно «легко отделался», поскольку «французские мужчины представляют интерес как любовники» (очевидно, из-за особой склонности французов к «*fait l'amour*<sup>12</sup>». Авт.), рассказ Лени был встречен улыбкой, но потом француза заклеили окончательно и бесповоротно как «врага». Однако Лени продолжала гнуть свою линию — она рассказала и про поляка и про русского, вернее, бросила им на растерзание поляка и русского. Тут мнения не разделились — все потребовали «отрубить девушке голову». В узком семейном кругу, включая сюда Хойзеров и Марию, высказывания были, конечно, гораздо откровеннее, речь шла начистоту и без всякой политики. Как это ни дико звучит, Мария одобрила поляка, заявив, что поляки бывают «бравыми офицерами», французов она считала «испорченными», англичан —

<sup>12</sup> Здесь: любовным утехам (франц.).

«негодными любовниками», а русских «слишком непонятными». Лотта придерживалась того же мнения, что и я, для нее все эти рассуждения были чепухой, я, правда, называла их не чепухой, а чушью собачьей. «Мужчина есть мужчина», — сказала Лотта и отметила, что Мария, а также ее свекровь и свекор отчасти заражены националистскими предрассудками, зато совершенно свободны от политической предвзятости. Французов они называли чувственными, но кровожадными, поляков — очаровательными, темпераментными, но вероломными, русских — верными, очень верными, страшно верными. При всем том решительно все, даже Лотта, заявили, что завести в данной ситуации интрижку с западным европейцем по меньшей мере опасно, а с восточным опасно для жизни».

\* \* \*

Лотта Х.: «Однажды, когда Лени пришла к нам, чтобы обсудить с моим свекром какие-то денежные дела, я застала ее врасплох: закрыв дверь ванной, Лени стояла обнаженная и рассматривала себя в зеркале; я накинула на нее сзади купальное полотенце и подошла ближе, и тут Лени покраснела как рак — я никогда в жизни не видела, чтобы она краснела. Потом я положила ей руку на плечо и сказала: «Радуйся, что ты сумела полюбить, после того как уже любила, если ты его вообще любила, а этого ничтожного Пфейфера можешь и вовсе забыть. Вот я не могу забыть Вилли... И держись за того нового, даже если он англичанин». Я была не такой уж наивной; после того как она начала рассказывать свои дурацкие, шитые белыми нитками истории, я, конечно, догадалась, что у нее был серьезный роман, и, видно, с иностранцем. Честно говоря, от русского, поляка или еврея я бы отговаривала ее, изю всех сил отговаривала. Ведь за это можно было поплатиться головой. Сейчас я рада, что она мне ничего толком не рассказала. В то время было опасно знать слишком много».

\* \* \*

Маргарет: «При первом генеральном смотре Лени не исключила даже Пельцера, и его она сочла своим возможным союзником. О Грундче она тоже подумывала, но тот был отъявленный болтун. И вот начался второй генеральный смотр. И что вы думаете? Единственным надежным человеком опять оказалась я — сейчас дело шло о беременности Лени и последствиях этого. В конце концов мы зачислили Пельцера в своего рода стратегический резерв и окончательно вычеркнули из списков пожилого конвоира, который чаще всего приводил Бориса в садоводство, — он был подхалим и трепач; делягу Болдига мы на всякий случай держали в поле зрения, я все еще с ним изредка встречалась, он процветал. Впрочем, не так уж долго: Болдиг явно зарвался и в ноябре сорок четвертого его схватили со всеми его причиндалами — формулярами и бланками, и недолго думая расстреляли за вокзалом, там они застукали его во время совершения очередной сделки. Итак, Болдиг отпал, к сожалению, отпали и его солдатские книжки».

\* \* \*

Здесь следует восстановить справедливость по отношению к Лени и Маргарет, отметив некоторые существенные особенности, которые определяли их мораль и поведение. Строго говоря, Лени не была вдовой, ее можно считать всего лишь скорбящей родственницей Эрхарда; иногда она даже сравнивала его с Борисом: «Оба они поэты, если хочешь знать, оба». Для двадцатидвухлетней женщины, уже потерявшей мать и своего возлюбленного Эрхарда, потерявшей брата и законного мужа, пережившей приблизительно двести воздушных тревог и по меньшей мере сотню бомбежек, для женщины, которая не только прохлаждалась со своим мужем в часовнях фамильных склепов, но и вставала ежедневно в полшестого утра, закутавшись, бежала на трамвайную остановку, а потом ехала на работу через весь затемненный город, — так вот, для этой молодой женщины победная болтовня Алоиса, возможно, все еще под сурдинку звучавшая у нее в ушах, должна была казаться старинной сентиментальной песенкой, под которую она лет двадцать назад протанцевала целую ночь, — и мелодия этой песенки неиз-

бежно становилась все глуше и глуше. Да, Лена была в то время вызывающе веселой вопреки ожиданиям и назло обстоятельствам. Веселой, несмотря на то, что люди вокруг нее стали мелочными, ворчливыми и угрюмыми. Напомним также, что добротными дорогими носильными вещами отца она не торговала с выгодой для себя на черном рынке, а дарила их. И притом дарила не одному лицу, а множеству лиц, множеству замерзающих и голодающих представителей страны, объявленной вражеской. Таким образом, к Лени можно применить еще один эпитет «великодушная». И будем надеяться, что с этим эпитетом согласятся самые скептически настроенные читатели.

А теперь несколько слов о Маргарет. Было бы глубоко ошибочным считать ее проституткой. Она не продавала себя за деньги, только вышла замуж из-за денег. С 1942 года Маргарет отбывала трудовую повинность в огромном эвакогоспитале, дни и ночи у нее были куда более тяжкие, чем у Лени, которая тихо и мирно плела венки, огражденная от всех неприятностей Пельцером, и к тому же постоянно лицемерила своего любимого. Исходя из этого, Лени нельзя считать о с о б е н н о й героиней или даже просто героиней, только в сорок восемь лет она впервые проявила милосердие к мужчине (к турку по имени Мехмед, которого благосклонный читатель еще, быть может, не забыл). Что касается Маргарет, то она только тем и занималась, что «проявляла милосердие»; будучи сестрой в госпитале и дежуря там днем и ночью, она «жалела каждого мужчину с приятной внешностью и с печальным выражением лица»... А с конвойным Болдигом, нахалом и циником, Маргарет вступила в связь только для того, чтобы оградить счастье Лени, которое та вкушала на ложе из вереска в семейном склепе Бошанов, и отвлечь внимание вышеупомянутого Болдига от Лени. Наша задача — по мере сил помочь восторжествовать справедливости и зафиксировать факт, который сама Маргарет осознала лишь после того, как она в течение долгих лет уступала почти каждому, движимая милосердием: «Меня любили многие, но сама я любила лишь одного. Только раз я испытала ту безумную радость, которую так часто читала на лицах других». Нет, Маргарет ни в коем случае нельзя причислить к бабловням судьбы, она перенесла куда больше горя, чем Лени, так же, впрочем, как и ожесточившаяся Лотта. И все же ни у одной из этих женщин авт. не удалось обнаружить чувства зависти к Лени.

*(Продолжение следует)*

*Перевела с немецкого Л. ЧЕРНАЯ.*



# О ЧЕРЖИ ИАШИХ ДЖЕИ

## НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

НИГМАТУЛЛА АБДУЛЛИН,  
бригадир комплексной бригады  
управления «Металлургстрой»

★

### ТОВАРИЩИ

**М**ое детство и юность прошли в Удмуртии, в городе Воткинске. Меня спросят: как же ты оказался за тысячи километров от родной Татарии? Я скажу: а как мои земляки оказались на Днепротгэсе, на Магнитке, в Кузнецке? В наших местах до сих пор помнят письмо знаменитого бригадира бетонщиков Хабибуллы Галиуллины, в котором он звал своих земляков на Магнитострой. (Кстати, сейчас, говорят, в Магнитогорске есть улица Галиуллины.)

Удмуртия была моей родиной, но про деревню Казакларово в Сармановском районе Татарии у нас в семье помнили всегда. Отец в 1960 году мне говорит:

— Поехать надо в Казакларово, сынок.

А я говорю:

— Да ведь привыкли. Плохо ли тут?

Отец опять говорит:

— Поехать надо в Казакларово, сынок. Тебе уже двадцать четыре года, жениться надо.

И, верно, встретил я там девушку, только не в Казакларове, а в соседнем селе Подгорное Дрюшево. Почти сразу же после свадьбы я с Майсарой вернулся в Удмуртию. Стали работать на стройке, Майсара у меня в бригаде — сама напросилась. Я, честно говоря, не хотел этого, но Майсара говорит:

— Я по-русски не шибко хорошо говорю, другой-то бригадир и не поймет.

Я рассмеялся:

— Ладно хитрить! Никуда я от тебя не денусь.

Так вот жили мы в Воткинске, сынишка у нас родился, там я закончил машиностроительный техникум, по вечерам учился. И вдруг известие: в наших краях будут строить автомобильный завод!

Майсара говорят:

— Поедем на Каму. Что здесь на машзаводе, что там — какая тебе разница?

Я к начальству, а меня не отпускают, дело до ругани доходит. Майсара еще решительнее:

— Ты мямля, не умеешь разговаривать с ними. Ты им сказал, что стройка от Казакларова в двадцати километрах?

Я рассмеялся и отвечаю:

— Про это не сказал.

— Вот иди и скажи!

Словом, собрался я и поехал. Майсара осталась дочку нянчить, — дочке в то время второй годик пошел. Приехал в мае, а в августе семья приехала. Сына в школу, дочку в ясли, а Майсара, конечно, ко мне в бригаду. Жили сперва в общежитии, потом решили перебраться в вагончик. Подумали: у нас семья, лучше отдельно жить.

Вагончик цельнометаллический — зимой с потолка сосульки свисают, летом жара, как в аду. Там, наверное, и простудили мы дочку. Не уберегли...

Поселок Энтузиастов был первым поселком Автозаводстроя. Там многие из нашей бригады жили, и там свела нас судьба с Дельнуром Хаматуллиным. Сам он из Башкирии, в Уфе закончил автодорожный техникум и в жестокие морозы 1968 года подался в знойную Киргизию, в город Ош. А когда услышал про стройку на Каме, с женой и двумя детишками приехал в Набережные Челны. Венера — учительница по образованию, но пока работает штукатуром-маляром, а он, техник-механик, у нас в бригаде. (Впрочем, сразу по приезде он записался работать на будущем автозаводе.)

Я никогда не жалел о том, что позвал Дельнура в свою бригаду. Потому что ни у нас в бригаде, ни у соседей нет такого мастера по плотницкой части, как Дельнур Хаматуллин. Он со своим звеном не раз выручал бригаду.

Вот был случай в январе нынешнего года. Морозы грянули свирепые. Я в эти дни болел. Хожу из угла в угол с термометром под мышкой и думаю: хорошо, хоть в морозы хвораю, все равно бетон сейчас не идет. Я-то думаю, что на стройплощадке затишье, а бригада Коли Шемякина, оказывается, занялась подготовительными работами: монтировала каркасы, собирала опалубку. Наши тоже кое-что подельвали по мелочи, но, наверно, в бытовку частенько бегали греться.

Явился я на работу как раз в тот день, когда флаг трудовой славы поднимали в честь бригады Шемякина. Ребята мои огорчаются: мы, дескать, тоже от морозов ежались, а флаг — у шемякинцев.

Я только усмехнулся:

— Кто вкалывает, того мороз не возьмет. Ну, ладно, бригадир теперь на ногах...

И во второй декаде мы показали, на что годимся. Особенно наши плотники. Шемякин сам признавался: если речь про опалубку идет, тут нам за вами не угнаться. Словом, кончилась вторая декада — флаг трудовой славы был поднят в нашу честь. Но по итогам за месяц шемякинцы все-таки нас обогнали.

Эх, думаю, нет у нас таких сварщиков, какие есть у Коли Шемякина! Они на своем потоке чудеса выделывают, а когда нужно, то и к нам идут монтировать анкерные болты. Досадно — мы на сварке проценты большие теряем, эта работа высоко ценится. Да и по самолюбию удар: у Шемякина на буксире тащимся, а ведь спор с его бригадой ведем: кто лучше, кто быстрее.

Конечно, поддаваться самолюбию вроде и нельзя: ребята очень зорки на всякие перемены в настроении своего бригадира. И для них совсем не безразлично, как ты лично относишься к своим «конкурентам». Вот если бы в свое время Коля Шемякин дал волю обиде, разве не пробежала б кошка между его бригадой и ребятами Алексея Новолодского?

В ту зиму шемякинцы работали на ФЛМ — фундаменте ленточно-массивном, они скребли и скоблили каждый сантиметр ленты и терпеливо ждали: вот потеплеет, вот прибавят механизмов, и пойдет большой бетон — только поспевай! Но не тут-то было: с наступлением тепла на ФЛМ перевели бригаду Алексея Новолодского, а Шемякина вдруг послали в «гнилой угол». Гнилым углом мы прозвали место, где под фундаментом оказался пльвун. Из-за него те «подошвы», что бетонировали зимой, пошли наперекосяк. Вот Колю и послали исправлять там дело. Некоторые «подошвы» пришлось взрывать, потом выскрести осколки бетона, засыпать ямы гравием.

Словом, «гнилой угол». Конечно, работу шемякинцев называли ударной, но большой бетон между тем идет себе на ФЛМ, а заработки у шемякинцев, стало быть, не ахти какие.

Ребята ворчат, Николай только брови сдвигает к заострившемуся носу.

А на массивном фундаменте всюю идет бетон. Опалубки там огромные, двести и триста кубов вмещают, и Алексей Новолодский приспособился с четырех точек заливать — с трех кранов и прямо из самосвалов.

— Новолодский-то на пятьсот кубов замахнулся, — говорят ребята и вроде не очень верят в это.

Возьмет, думаю я. Уж если мы в наши маленькие посудяны — «башмаки» укладываем за смену двести девяносто кубов, то Алексей в свои огромные опалубки пять-

сот возьмет уж точно. В общем, бригада Новолодского приняла шестьсот восемьдесят кубов.

В тот самый день пошел слух, будто появился в котловане Коля Шемякин и сказал что-то язвительное насчет Новолодского. Я думаю: не может такого быть. Однако стал его искать. Он в бытовке один сидит.

— Плохо, Нигматулла,— говорит он.

— Что плохо? — спрашиваю.

— Плохо то, что ребята мои не понимают... Не готова еще наша бригада к таким рекордам. И если бы мы остались на ФАМ, то не дали бы столько. сколько Новолодский.

— Не прибедайся, Коля,— говорю я.

— Я не прибедаюсь, хотя мы и не богато сейчас выглядим. У Новолодского, видишь, как складно получилось? Сам он арматурщик-сварщик, и ребята у него мастера по этому делу, а он еще бетонщиков и плотников взял в свою бригаду. Такой бригаде, конечно, по силам большой бетон.

— Значит, не обижаешься на него? — спрашиваю я.

— Да не про то я, не про то! — с досадой говорит Николай и смотрит на меня, как на чурбан.

И тут я подумал: а ведь мы действуем вразлад. Судите сами: мои ребята-плотники разбирают опалубку, чинят, строят, пока бетон не идет. А у бетонщиков в это время «перекур с дремотой». Арматурщики тоже — одиночники: связали каркас, поставили, а там поглядывают, как бетонщики семь потов проливают.

— Что ж,— говорю,— выходит, надо объединять бригады?

— Вот так и выходит,— отвечает Коля.

В один прекрасный день явились мы к начальнику стройуправления Рапопорту.

— Анатолий Борисович,— говорит Коля,— разрешите нам, чтобы наши с Абдулиным потоки рядом шли.

— Драчук не против?

А технологический поток Драчука как раз между нашими проходил.

— Что ж,— говорит Рапопорт,— если не против, то становитесь рядом.

С тех пор стали про нас с Шемякиным говорить: «У них один колхоз, не поймешь, где чье». Нужен мне каркас, Николай обязательно даст, хотя, может быть, назавтра он ему самому будет нужен. Или ему понадобились электроды для прогрева бетона в «башмаках» — я никогда не откажу, хотя это тебе не деревянные щиты, которые взял да и сколотил,— электроды достать надо. А когда нужда — часть людей из бригады Шемякина на мой поток переходит и наоборот.

Хозяйство у нас сложное: бригады укрупнили, в каждой по тридцать пять человек, народ отовсюду, еще не притерлись друг к другу. После смены сидим мы с Шемякиным в бытовке, обсуждаем дела. Иной раз Новолодский подсядет. Бывает, и поспорим. Шемякину не нравится, что наши ребята иногда собачатся из-за пустяков: кто-то бадью у другого перехватил, кто-то крепежную проволоку припрятал.

— Нельзя этого допускать,— говорит Шемякин,— нельзя.

— На работе и поспорить не грех,— басит Новолодский,— это по-моему! В работе поспорят, а там опять друзья.

— Нельзя,— опять говорит Шемякин,— в барахольщиков превратятся ребята. Споры-то о чем: чья бадья, чья тележка. А молодежь думает: вот так и надо действовать. И действуют, замечал я за своими такие замашки.

Словом, не во всем у нас с иными бригадами полное согласие...

Я уже говорил, что шемякинский и мой технологические потоки рядом, каждая бригада ведет по три ряда фундаментов. Но придут монтажники и, как обычно, начнут свою работу с какого-то одного угла, допустим — с моего. Нам тогда достанется, а у соседей — затишье. Вот мы и договорились: если у меня жарко — подкинет своих ребят Шемякин, а если у него — мои перейдут на шемякинский поток.

Так и сделали. Но на стройке, наверно, никогда не бывает, чтобы все шло как по маслу. С перестановкой людей решили, а тут бетон пошел всюю — нам механизмов не хватает. Моя Майсара говорит:



— Чем пропадать бетону, будем вручную кидать.

Я не отвечаю ей. Иногда она очень уж раздражает меня. Что, разве не кидаем и вручную? Кидаем. Да сейчас такую прытью не много возьмешь. Нужны «миксеры» — вот что! Когда заливают фундамент с буро-набивными сваями, только «миксеры» и выручают. Но там иначе и нельзя — специальный бетон идет, литой, намного жиже, чем у нас. А дадут ли нам? Дали. Ну, уж тут дело пошло. Объем крепежной опалубки невелик, на один-два куба, а «миксер» тем удобен, что залили сколько надо, закрыли щиток — и двинулись к соседней колонне.

Монтажники едва-едва успевали плиты выставлять. Только выставят — мои ребята с шемякинцами тут же крепят опалубку и заливают. Монтажники только кончат приваривать — мы опять тут как тут. В соседних бригадах весело скалятся: «Ну, опять всем колхозом навалились. Трудодни-то как считать будете?» Что ж, на подливке все в общем пользовании: и крепежная проволока, и сварочный аппарат, вибраторы, пилы и молотки. Но колхоз колхозом, а каждая бригада еще и свой поток ведет и отвечает за свои три рядочка.

Словом, на подливке опорных плит мы и бетона сэкономили немало, и время сократили почти вдвое, и каждая бригада на своем потоке далеко продвинулась. Когда подводила итоги за месяц, оказалось, что мы по объему работ даже чуть-чуть вперед ушли. Но флаг трудовой славы все-таки был поднят в честь шемякинцев. Мои ребята опять с недовольством, а я объясняю:

— Вы знаете, что парни Шемякина в оперативном комсомольском отряде действуют как бойцы? Они на риск идут, когда хулиганов укрощают. У них скулы, бывает, трещат. А может, скажете, сколько у них прогулов было? Вот в том-то и дело, что ни одного. А как у нас на этот счет, помолчим лучше. Теперь судите сами, кому первое место, а кому второе.

Альберт Алимов проворчал:

— По работе-то мы умеем кое-кого обогнать.

Обидно стало, что уступил. И мне обидно. Обидно за прогулы, за то, что обогнали мы соседей не намного, и за то, что опять звали шемякинцев болты приваривать. А ведь есть у нас в бригаде Ильяс Саттаров — в свое время сварщиком работал. Один он, конечно, не в силах приваривать болты, но надо же, в конце концов, приставить к нему двух-трех молодых парней — пусть учатся...

Уж не знаю, сколько просидел я, рассуждая сам с собой. Наконец поднялся и вышел из домика. Вижу: несется Алексей Новолодский.

— Шемякина не выдал?

— А что случилось?

— Срочно, понимаешь... Может, встретишь Колю, скажи: пусть готовит справки на сынишку. С детсадом, понимаешь, выгорело! — и дальше мчится.

Для Николая просто страданием было оставлять малыша одного в доме. Но что поделаешь, если оба с женой работают, а в садик устроить ребенка совсем не просто. Новолодский, стало быть, через партком добился. Вот он какой — наш конкурент.

Подгорное Дрюшево в двадцати восьми километрах от поселка энергетиков, где мы теперь живем. Майсара нередко бывает у родителей. Как-то говорит мне, смеясь:

— А меня работать зовут. На ферму.

— Да ты небось разучилась коров доить. Как-никак двенадцать лет прошло.

— Не разучилась, — говорит она уже без смеха, и сам черт не поймет ее, Майсару: то ли она шутит, то ли всерьез.

Конечно, она не бросит работу на стройке, чтобы ездить в Дрюшево коров доить. Но, может быть, ей хочется коров доить, а? Может, на старости-то лет тосковать стала по сельским видам? Ерунда все, какая там старость в тридцать с небольшим!

Впрочем, ничего наперед знать невозможно. Я, например, за Майсару поручиться не могу. Вот в пригородной зоне строится поселок Новый (наш трест строит). Там скоро встанут четырех- и восьмиквартирные кирпичные дома, больницы, магазины, административные здания — все из камня. Жители села Гордели переселятся сюда, а Гордели снесут — как раз в том месте пройдет теплотрасса (наш трест будет строить). В поселке Новый разместится центральная усадьба совхоза «Гигант» — огромного мясо-

молочного комплекса. Он вместе с другими хозяйствами должен снабжать Набережные Челны продуктами. Так вот я думаю, может, моя Майсара прельстится жизнью в поселке Новый? Там тебе и городской комфорт, там тебе и буренки.. А пока для нас с нею и для всех строителей важно одно: закончить строительство корпуса серого ковкого чугуна. Начальник Metallургстроя Алексей Анатольевич Болдырев говорит:

— Надо наращивать темпы. Такова необходимость. Уже сегодня мы должны думать о том, как принять первую партию оборудования... Нас волнуют взаимоотношения бригад. Совместные действия по отделочным, монтажным и шоферов — вот что двинет дело и не потребует дополнительных ресурсов.

Да, не за горами весна, вскроется Кама, а там в один прекрасный день придет оборудование. В челнинском порту идут работы, расширяется порт, чтобы встретить большегрузные суда...

Темпы строительства таковы, что заставляют думать о новых профессиях. Уже скоро бетонщиков потребуется гораздо меньше, чем сейчас. Но зато возрастет нужда в монтажниках, специалистах по отделочным и мозаичным работам. А там и на автозавод потянутся люди. Дельнур Хамагуллин перейдет в отдел главного механика автомобильного завода. Валерий Неверов закончит институт — тоже не задержится в бригаде, да и сам я — машиностроитель...

С год назад шемякинцы предложили: каждому строителю — вторую профессию. Тогда казалось, не скоро еще наступят такие дни, чтобы вторая специальность пригодилась. Но вот они ближе и ближе.

— Слышал, — говорю я Шемякину, — набирают желающих учиться на плиточников и мозаичников?

— Слышал, — отвечает он вяло.

— Ты как будто бы и не рад. А помнишь: каждому строителю — вторую профессию?

Он грустно поглядел на меня:

— Все я помню. Да жалко... Такую бригаду сколотили, опыту набрались. А опыт очень пригодится, когда фундаменты печей будем класть.

— Там, — говорю, — фасонная опалубка пойдет, тонкая работа.

— В том-то и дело. А если мои ребята разбредутся по курсам, что я с новичками сделаю? — Он помолчал, потом лицо его оживилось: — А Наташа Бусс говорит: из бригады никуда не уйду, нам еще печи бетонировать...

— Не женская эта работа.

— Да, — согласился он. — Я и сам втолковал ей, что мозаичное дело в самый раз для девчонки. А все равно жалко отпускать!..

Сейчас на стройке нет точки более горячей, чем наша. Прав Болдырев: очень важно, если смежные бригады станут работать рука об руку, помогая друг другу.

И вот на очередном совете бригадиров Рапопорт говорит:

— В марте мы должны уйти с потока. Поток строителей совпадает с потоком монтажников, монтажники идут по той же самой захватке, что и мы. Это хорошо. До двадцатого марта надо закончить фундамент, к двадцать пятому сдать. Важно состыковаться с монтажниками. И чтобы взаимные обязательства между бригадами не были формальностью...

— Надо сюда же подключить механизаторов и шоферов, — замечает Болдырев.

— Так дайте нам фронт работ, — восклицает бригадир шоферов, — чтобы не вертелись мы на пяточке!

— Это не плотина, — отвечает Болдырев, — тут сумей на пяточке обернуться.

Рапопорт говорит:

— За три дня надо засыпать захватку до сто седьмой оси. А там уж дадим фронт работ. Ну как, годятся сроки?

— Двадцать пять тысяч? — с сомнением переспрашивают механизаторы.

— Меньше, — говорю я, — тысяча пятнадцать.

— Сделаем.

— Засыпьте поскорей, чтобы мы краны могли вернуть на площадку.

Подъезды для машин трудные, думаю я. Тяжеловесные КраЗы то задом пятятся, то свернут неловко. Надо, пожалуй, регулировщиков из наших ребят выставить, крас-

ными флажками пометить опасные места. Это и будет началом совместных действий. Чтобы шофера не обижались — дескать, подъезды не делаете, не обеспечиваете работой.

Совет закончился, но люди не расходятся. Вон в углу Алексей Новолодский что-то доказывает бригадирю монтажников Ивану Ефименко и бригадирю шоферов Петру Плугину. Все чувствуют приближение ответственного момента. Конечно, хорошо состязаться в работе с умелыми и сильными ребятами, приятно быть впереди. Но если мы без заминки поведем свой поток вперед и вперед, а механизаторы сплошают, а монтажники застрянут, — пострадает дело. Не сдадим мы тогда вовремя корпус серого ковкого чугуна.

Надо вместе, рука об руку работать. Я ишу глазами Михаила Соболева, бригадира монтажников. Его бригада тоже на втором потоке, вот-вот мы откроем его ребятам фронт работ. Мы закончим заливку бетона, но не уйдем с потока. Часть людей останется помогать монтажникам, вместе будем работать. Может, когда-нибудь и про нас с монтажниками скажут: «Да у них один колхоз, не поймешь, где чье».



---

# ПУБЛИЦИСТИКА

В. Г. КЛЮЕВ,  
первый секретарь  
Ивановского обкома КПСС



## НАСЛЕДНИКИ КРАСНЫХ ТКАЧЕЙ

**В** Иванове много мемориальных досок. Небольшая мраморная плита на стене. Протокольное извещение о событии, разыгравшемся близ дома много лет назад — бурном, яростном, подчас кровавом. Здесь разогнали демонстрацию рабочих, свистели казацкие нагайки. Здесь громоздилась баррикада, гремели выстрелы. В этом доме прятался от полицейских ищеек большевик-подпольщик...

Земля Ивановская, край суровых и славных революционных традиций, именитых пролетарских династий, исчисляющих свою родословную многими поколениями...

В 1905 году на тихой реке Талке собрались забастовавшие ткачи. Они выбрали первый в России Совет рабочих депутатов. Во главе его встал Федор Афанасьевич Афанасьев. Семьдесят два дня держались забастовщики. Ровно столько, сколько продержались парижские коммунары.

Владимир Ильич Ленин дал высокую оценку этой небывалой политической стачке. Он подробно расспрашивал делегата IV съезда партии М. В. Фрунзе о том, как ткачи создали в ходе забастовки политический университет на Талке, как организовали помощь голодающим женщинам и детям, как отбивали наскоки царских опричников.

На перекрестке улиц Фридриха Энгельса и Садовой высится гранитный памятник Афанасьеву. Товарищи по борьбе звали Федора Афанасьевича Отцом. Пробегают мимо школьники, спешат студенты, домохозяйки...

В стародавние времена «отцами-попечителями города» называли себя толстосумы. Другие отцы встали у истоков истории красного Иванова.

Здесь созрел полководческий гений М. В. Фрунзе, так блистательно проявивший себя в годы гражданской войны.

Ивановская земля вскормила великолепную плеяду профессиональных революционеров — О. А. Варенцову, А. С. Бубнова, Ф. Н. Самойлова, П. П. Постышева, А. С. Киселева...

Ленин не раз ставил ивановских ткачей в один ряд с рабочими Москвы и Петрограда. «...пролетариат московский, питерский и иваново-вознесенский... — писал он, — доказал на деле, что никакой ценой не уступит завоевания революции»<sup>1</sup>.

Перечисляя жестокие испытания, выпавшие на долю пролетариата в 1918—1920 годах, он отмечал: «Иваново-вознесенские, питерские и московские рабочие перенесли за эти два года столько, сколько никогда не переносил никто другой в борьбе на красных фронтах»<sup>2</sup>.

Не успела остынуть кровь на полях сражений, как ивановские текстильщики начали возрождать к жизни замершие фабричные корпуса. Их дерзкая инициатива еще раз привела в восхищение В. И. Ленина: он лично принимал делегатов ударного комитета по пуску предприятий, оказывал ивановцам ощутимую помощь, подбадривал, вдохновлял.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, стр. 321.

<sup>2</sup> Там же, стр. 296.

А 9 апреля 1921 года на собрании секретарей и ответственных представителей чечек РКП(б) Москвы и Московской губернии Владимир Ильич говорил, что ивановским текстильщикам «задание-план был определен в 150 миллионов аршин... И является чудом, что они топлива получили только половину, а программу выполнили на 117 миллионов из 150...»<sup>3</sup>.

Владимир Ильич тут же и раскрыл тайну этого чуда: энтузиасты текстильного края, отметил он, отличились невиданною производительностью и организацией труда.

Это «задание-план» впервые в истории текстильщиков явилось испытанием их коллективной воли и высокой ответственности перед государством. Можно решительно утверждать, что славный трудовой путь ивановцев начался именно с ленинского «задания-плана».

Всего тринадцать суток понадобилось бы теперь ивановским предприятиям, чтобы его выполнить. Станки с ручным ременным приводом, на которых красные ткачи выткали эти трудные и такие нужные стране аршины тканей — их можно увидеть разве что в музее. И ничто в облике тех, кто нынче стоит у станков, даже и отдаленно не напоминает тех, кто работал тогда, перепоясавши рваную телогрейку обрывком веревки и сунув за пазуху пайку хлеба. Но революционный дух красных ткачей, их энергия, энтузиазм, умение преодолевать трудности и чувствовать веяние времени — они живы, они проявляются во всем.

Третий решающий год пятилетки ивановская текстильная промышленность встречает в своеобразный период своего развития.

Как известно, производство тканей зародилось в нашем крае давно. «Полотна знатные... состоят и белят,— писалось в рукописи XVIII века,— и множество тех полотен отвозят торговые по разным странам».

В прошлом веке часто в здешних местах путешествовал академик В. П. Безобразов. Искусство «полотнянщиков» приводило его в восторг, в особенности же то обстоятельство, что «весь этот мануфактурный мир, этот русский Манчестер создан единственно русскими крестьянами, и притом еще крепостными крестьянами».

Давние исторические корни ткацкого промысла предопределили и нынешнюю экономическую и демографическую структуру области. В старину ткали в деревнях, слободах, посадах. На их месте выросли небольшие городки. 46 таких небольших городков в области (29 из них носят названия рабочих поселков). 30—40 тысяч населения, полтора десятка улиц. В других областях такие городки тяготеют к сельскому хозяйству, от деревни не оторвались. Не то у нас. У нас деревни тяготеют к городу. Въезжая, не сразу заметишь фабрику: корпуса многих строены до революции, иным по сто и более лет. Снаружи бывают и неказисты. А войдешь внутрь — и будто наяву, переступив лишь порог, из прошлого века переносишься в современность. Яркий свет, поточные линии, деловой и насыщенный ритм работы. Многие из парней и девушек, что стоят у автоматов, живут в окрестных деревнях; по утрам на работу их собирает рейсовый автобус.

В городах у нас проживает 75 процентов населения, в промышленности занято и того более. Кстати, может создаться впечатление об однонаправленности областной индустрии. Этого нет. Наряду с товарами народного потребления на предприятиях области производятся сложные расточные металлорежущие станки, экскаваторы, автомобильные краны, торфоуборочные машины, испытательные приборы, электротехнические изделия. Область стала одним из центров текстильного машиностроения. Все большее развитие получают химическая и энергетическая промышленность. Ведется строительство филиала Московского завода малолитражных автомобилей имени Ленинского комсомола. (Такое равномерное распределение предприятий тяжелой и легкой индустрии, замечу попутно, позволяет решать многие социальные вопросы, например сократить диспропорцию между мужским и женским населением.)

У нас работают все взрослые здоровые люди. Нередко в семье из трех-четырех человек работают все — и чаще всего на одном предприятии. Разумеется, это свидетельствует о большом трудолюбии ивановцев (а их рабочая ловкость и сметка отмечались исстари), но вместе с тем порождает ряд проблем. Людские

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 152.

ресурсы области, что называется, на пределе, и мы не можем добиваться увеличения производства продукции за счет увеличения рабочей силы.

Таким образом, самую жизнь, самым ходом исторического развития мы поставлены перед задачей всемерного роста производительности труда. Иного источника увеличения производства продукции в области нет.

После подробных и неспешных консультаций с учеными и производственниками был выработан перспективный план развития нашей промышленности. Он включает в себя целый комплекс мероприятий по обновлению техники, модернизации оборудования, механизации производственных процессов, более полного использования старой техники и совершенствованию организации и управления производством.

Экономисты подсчитали, что претворение в жизнь всех намеченных мероприятий позволит повысить к 1975 году (сравнительно с 1969-м) производительность труда на 41 процент. Это будет немалое достижение, ведь и в 1969 году производительность труда на наших предприятиях была высокой.

Быть может, то, что сейчас происходит, историки когда-нибудь назовут преобразованием текстильной промышленности края. Пожалуй, лучшего слова не подобрать.

Преобразование охватило все сферы производства, службы, цехи, участки. Причем, нужно сразу отметить, сложный процесс этот нисколько не отражается на выпуске продукции. Планы предприятий остаются по-прежнему напряженными.

Морально устаревшие станки заменяются новыми. Поставлены сотни поточных линий, сотни приборов автоматического регулирования технологических процессов. Повсеместно улучшена транспортировка сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. Только за годы прошедшей пятилетки внедрено 23 тысячи единиц нового технологического оборудования и 80 тысяч действующего модернизировано. Подавляющее большинство нового оборудования — отечественного изготовления, многие станки произведены у нас, в Иванове. Но там, где это сочтено целесообразным, установлено оборудование, приобретенное за границей.

Типичная картина нынче в цехах многих предприятий: кругом шумят станки, а на каком-либо участке — безмолвствуют. Присмотревшись, вы увидите, что они другой марки. Более совершенной. Вокруг суетятся наладчики. Идет замена оборудования. Разумеется, план цеху не снижен. Не довольствуясь этим, узнаете вы, коллектив приняв повышенные обязательства и трудится сейчас по напряженному плану.

Опыт ивановских текстильщиков по модернизации оборудования и более полному использованию старой техники привлек внимание специалистов далеко за пределами области. Совет Министров РСФСР счел возможным рекомендовать его для использования на предприятиях Федерации.

Большое внимание областной комитет партии уделяет совершенствованию организации производства и управления.

В Отчетном докладе на XXIV съезде КПСС Л. И. Брежнев указывал, что только крупным объединениям под силу сосредоточить достаточное число квалифицированных специалистов, обеспечить быстрый технический прогресс, лучше и полнее использовать все ресурсы.

В нашей области созданы и успешно работают производственные объединения «Ивтехноткань», «Ивхлоппром», «Иваномясопром», «Ивановомолпром» и ряд других, объем промышленного производства которых составляет почти половину общего объема производства. Одновременно осуществлено слияние (надо сказать, тоже вполне себя оправдавшее) ряда предприятий текстильной промышленности, пищевой, автомобильного транспорта и других отраслей.

Опираясь на накопленный опыт, областная партийная организация стремится придать работе по созданию крупных специализированных производств более широкий характер, рассматривает это как важное государственное дело. Именно к этому обязывает нас принятое недавно Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров СССР постановление «О некоторых мероприятиях по дальнейшему совершенствованию управления промышленностью».

По инициативе обкома создано мощное производственное объединение «Союзтекстильотделмаш», которое будет производить 80 процентов всего красильно-отделочного оборудования, выпускаемого в стране.

Мы рассматриваем создание объединений как важнейшую задачу по переходу к качественно новой форме управления производством; в недалеком будущем в объединениях и комбинатах будет выпускаться 65 процентов от общего объема промышленного производства области.

Конечно, в таком сложном деле, как создание объединений, нельзя сразу и без дискуссий между специалистами решить все проблемы. Не все еще ясно в вопросе о количестве ступеней руководства. Иногда «дополнительная» ступень идет на пользу, иногда — нет. Сошлюсь на ивановское объединение «Союзтекстильотделмаш». Когда оно создавалось, шли споры: подчиняться ли ему непосредственно министерству, или отраслевому главному управлению? Министерство выбрало второй вариант: отраслевое управление. Жизнь показала: это лишняя ступень. Она порождает ненужную переписку и волокиту.

Вряд ли можно согласиться также и с чисто формальным подходом к созданию небольших «карликовых» объединений не по производственному, а по территориальному принципу — в рамках отдельных городов. Такие объединения не располагают достаточной производственно-технической базой, квалифицированными кадрами, возможностью рационально использовать сырьевые, материальные и денежные ресурсы.

В условиях нашей Ивановской области в связи с этим было бы целесообразно, как нам представляется, провести следующую реорганизацию. В настоящее время руководство предприятиями хлопчатобумажной промышленности осуществляется двумя государственными промышленными хозрасчетными объединениями — «Ивтехноткань» и «Ивхлоппром». Следовало бы на базе их создать единое государственное хозрасчетное объединение. В его состав, кроме предприятий и организаций, уже входящих в указанные объединения, непременно должны быть включены Ивановский научно-исследовательский институт хлопчатобумажной промышленности с экспериментальным заводом «Ивмашприбор», специальное конструкторское бюро средств механизации, Ивановская база «Ростекстильторга» Министерства торговли РСФСР и товарно-конъюнктурная лаборатория.

Создание такого сверхкрупного объединения таят в себе немалые дополнительные возможности. Оно расширит возможности планирования и управления с помощью математико-экономических средств, позволит централизовать средства на капитальное строительство, объединить усилия технических и экономических служб. А это, в свою очередь, позволит ускорить технический прогресс, повысить эффективность и углубить специализацию производства, в конечном итоге — значительно увеличить выпуск добротных товаров народного потребления.

Хотелось бы рассказать еще об одном новшестве, идея которого сейчас дебатруется. В области по методу щекинцев работают три предприятия: Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2, Кинешемская прядильная фабрика «Красная ветка» и Ивановский камвольный комбинат.

Учитывая очевидные преимущества щекинского метода в повышении эффективности производства, следовало бы — пусть пока в порядке эксперимента, но эксперимента широкого, научно обоснованного — перевести на работу по этому методу целые объединения. Не отдельные предприятия, как это было до сих пор, а оба наших объединения хлопчатобумажной промышленности — «Ивхлоппром» и «Ивтехноткань». Предприятия, входящие в них, на протяжении многих лет успешно справляются с напруженными планами по всем технико-экономическим показателям и «созрели» для такого эксперимента.

В связи с этим следует затронуть вопрос о стабильности планов. Известно, что успех в работе предприятия по щекинскому методу прямо зависит от постоянства, прочности заранее утвержденных планов. А для этого нужно, чтобы министерства и ведомства, совершенствуя практику планирования, не допускали такого положения (а оно, увы, возникает довольно часто), когда планы в течение года меняются по нескольку раз и предприятиям устанавливаются дополнительные задания. Кроме этого, необходимо коренным образом улучшить материально-техническое обеспечение производства. Работники предприятий и организаций должны быть твердо уверены в том, что они получают в срок и полностью все, что запланировано к поставкам по выделенным фондам.

Многообразные и сложные, подчас остродискуссионные вопросы, связанные с развитием промышленности, постоянно в центре внимания областного комитета партии. Это особенно бросается в глаза, если пролистать протоколы пленумов обкома. «Об улучшении использования основных производственных фондов», «О дальнейшем росте производительности труда», «О повышении технического уровня и качества продукции», «Об эффективности работы научных учреждений» — вот названия тем, рассмотренных на пленумах только за последние годы.

Однако наивно было бы думать, что одними совещаниями, пусть прекрасно проведенными, одними организационными реформированиями, пусть тщательно обдуманными, одними технико-экономическими мероприятиями, как бы они ни были необходимы, можно успешно двигать промышленность вперед. Нет, только тогда, когда все эти «проблемы», «планы», «вопросы» становятся частью жизни каждого рабочего и работницы, когда каждая цифра в плане и обязательстве наполняется сердечным смыслом, когда «мероприятия» увлекают коллектив, — только тогда можно рассчитывать на прочный и непрерывный успех. Существует годами проверенная, прекрасная, можно прямо сказать — великая форма, в которой находит свое выражение трудовая инициатива масс. Я говорю, разумеется, о социалистическом соревновании.

Нам, ивановцам, незачем далеко ходить, чтобы увидеть великолепные образцы соревнования, подлинно патриотического отношения к труду.

В 1935 году ткачиха Вичугской фабрики имени Ногина Евдокия Виноградова вызвалась одна обслуживать 52 станка. Вскоре на ее участок перевелась Мария Виноградова. Вдвоем они обслуживали 90 станков. По тем временам это была невиданная производительность труда. Виноградское движение охватило всю текстильную промышленность страны, немало способствовало ее подъему. Дуся и Маруся Виноградовы.. Легендарные имена. Они были не сестрами, а лишь однофамилицами. В памяти народной они породнились. Их имена навеки вписаны золотыми буквами в историю рабочего класса Советской России.

В летописи первых пятилеток остались также славные имена Елены Рыкуновой, Татьяны Одинцовой, Таисии Шувандиной и многих других новаторов, зачинателей социалистического соревнования текстильщиков.

Никогда не оскудевал наш рабочий класс на ценные начинания, которые затем подхватывались всей страной. Инициатором социалистического соревнования в новой пятилетке за выпуск продукции отличного качества на каждом рабочем месте стала ткачиха Яковлевского альякомбината, делегат XXIV съезда партии Алевтина Смирнова. По ее призыву соревнуются свыше 80 тысяч ивановцев, представителей разных отраслей народного хозяйства. Тысячи последователей у прядильщицы Ивановского меланжевого комбината Анастасии Ерофеевой. Она призвала соревноваться за досрочное достижение уровня производительности труда, запланированного на конец пятилетки.

А кто в стране не знает имени Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета СССР знатной ткачихи Зои Павловны Пуховой? В третьем решающем году пятилетки она обязалась выполнить годовой план к 10 октября. Нет сомнения, слово свое она сдержит. В декабре 1972 года нам с Зоей Павловной посчастливилось присутствовать на торжественном заседании в Кремлевском Дворце съездов, посвященном 50-летию образования СССР. Зоя Павловна сидела в президиуме. Уже самый этот факт, признаюсь, переполнял радостью и гордостью сердца всех ивановцев, следивших за ходом заседания по телевизору. Во время перерывов мы встречались с Зоей Павловной, обсуждали взволновавший нас доклад Леонида Ильича Брежнева. Какие глубокие, верные мысли были высказаны им:

«Энергия высокоорганизованного труда, помноженная на любовь к своей стране, социалистической Родине, способна творить чудеса. Так было у нас в годы первых пятилеток, в годы Великой Отечественной войны, в годы послевоенного восстановления и мирного строительства, в годы, полные героизма и трудового энтузиазма масс».

Всей своей историей ивановский пролетариат подтвердил правду этих слов.

В настоящее время на передовых предприятиях в социалистическом соревновании упор делается на интенсивные факторы роста производства.

Коллективы ордена Ленина Камвольного и ордена Ленина Меланжевого комбинатов разработали встречные напряженные планы на 1971—1975 годы. Здесь все работ-



них участвовали в обсуждении контрольных заданий; в ходе обсуждений поступило множество предложений, как наиболее выгодно использовать оборудование, повысить его производительность, экономить сырье, материалы и т. д.

Экономисты предприятий отказались от устаревших форм техпромфинплана. За основу новых форм планирования была взята «типовая методика», разработанная Госпланом СССР на 1971—1975 годы. В ней учтены новейшие указания партии и правительства по совершенствованию планирования и усилению экономического стимулирования производства. Показатели проекта пятилетнего плана в целом и по годам пятилетки на обоих комбинатах были тщательно увязаны по всем разделам.

На Камвольном комбинате создано принципиально новое положение о премировании из фондов заработной платы и материального поощрения. Основное, что отличает это положение от старого, заключается в том, что премии выдаются с учетом не только количественных, но и качественных показателей в выполнении напряженного плана, кроме того, учитывается само напряжение в плане и рост производительности труда каждого рабочего, смены, цеха и производства в целом.

Бюро обкома КПСС одобрило опыт организаторской и политической работы на Камвольном и Меланжевом комбинатах. Инициатива камвольщиков и меланжистов нашла поддержку и одобрение Коллегии Министерства легкой промышленности РСФСР и ЦК профсоюза работников текстильной и легкой промышленности.

Широкое участие коллективов в разработке и выполнении встречных напряженных планов — это новая форма привлечения трудящихся к управлению производством. Она позволяет лучше использовать инициативу, лучше сочетать интересы каждого отдельного работника и предприятия в целом с государственными интересами. А это соответствует духу решений XXIV съезда партии и декабрьского (1972 года) Пленума ЦК КПСС.

Примеру камвольщиков и меланжистов сейчас в области последовало 36 предприятий текстильной промышленности, которые приняли на 1973 год — третий, решающий год пятилетки встречные планы, предусматривающие дополнительный выпуск товаров народного потребления на 16,5 миллионов рублей. И, как показывают итоги первого квартала, с этими напряженными планами ивановские текстильщики успешно справляются.

Теперь мы убедились: практика планирования и оценки работы предприятий нуждается в пересмотре; существующий порядок фондообразования совершенно недостаточно поощряет коллективы за выполнение оптимальных планов. По-видимому, было бы целесообразно судить о «напряженности» плана не по показателю сверхпланового выпуска продукции, а по тем дополнительным объемам производства, которые предприятия включают в него. Но и тогда огульно оценивать все предприятия нельзя. Новые критерии, отражающие «напряженность» планов (а значит, и борьбу коллективов за повышение эффективности производства) должны быть дифференцированы по отраслям народного хозяйства, должны зависеть от характера производства, его технического уровня.

Вместе с тем опыт ивановских текстильщиков по разработке и осуществлению напряженных планов, высоко оцененный Центральным Комитетом КПСС в постановлении «О дальнейшем улучшении организации социалистического соревнования», заставляет по-новому взглянуть на нынешнюю практику организации соревнования.

В. И. Ленин, развивая идеи социалистического соревнования, рассматривал его в тесной связи с проблемами организации управления, с уровнем всей экономической работы. Исходя из этого, следовало бы, по нашему мнению, пересмотреть условия Всесоюзного социалистического соревнования, привести их в соответствие с тем новым, что появилось в практике работы предприятий за последнее время. При сравнении итогов соревнования между коллективами необходимо прежде всего учитывать «напряженность» принятых и выполненных планов, а также уровень производственных затрат. Высокую оценку, моральное и материальное поощрение получит тот коллектив, который действительно внес наибольший вклад в общенародную борьбу за создание материально-технической базы коммунизма.

Подчас у нас кое-где забывают о высоком нравственном, духовном предназначении соревнования. Видят в нем могучий стимул повышения производительности труда —

это верно, но этого мало. Следят за цифрами, рекордами — и забывают за ними про «душу живу». Лучшие, благороднейшие черты советского человека раскрываются в труде на благо Родины, на благо людей, это общеизвестно. В трудовом же соперничестве эти лучшие черты раскрываются с особой красотой и силой, которую заранее трудно бывает предположить.

Трудовое соперничество — состязание особого рода. На конкурентную борьбу оно несколько не походит. Никто не желает победы за счет унижения соперника. Напротив! Это состязание в доброжелательности и рабочей взаимовыручке. В борьбу вступают мастерство, рабочая сметка, любовь к делу. А выигрывает прежде всего — и результат этот заранее известен соревнующимся! — коллектив, общество. Соперничество происходит на совершенно особом психологическом накале, неведомом людям прошлого и людям несоциалистической формации. И в этом кроется громадная воспитательная сила социалистического соревнования. Как же можно не замечать ее?

Формализм в таком деле вдвойне недопустим. Он губит воспитательную сторону соревнования, он подавляет задор, живость, веселье, я бы сказал, рабочий темперамент, который всегда возникает в ходе здорового трудового соперничества и который, конечно, необходим.

Стремление выделиться в труде, побить трудовые рекорды — естественное стремление. Его можно только приветствовать. Но приветствовать в том случае, если рекорд достигается за счет роста производительности труда и культуры производства. К сожалению, бывает так, что рекорд для нерадивых руководителей служит ширмой, за которой пытаются укрыть от народного глаза бездушие и формализм в соревновании. Громкой «показушной» цифрой пытаются прикрыть отсутствие живинки в соревновании, огонька.

Мы всегда помним о том, что в социалистическом соревновании, если рассматривать его широко, в этом поистине всенародном движении, идущем из глубины народной и охватившем все слои общества, проявляются лучшие черты интернационализма, дружбы народов, пролетарской спайки. Однажды из-под пера Дмитрия Фурманова вылились прекрасные слова, посвященные своим землякам: «И где их, бывало, где ни встретишь: у китайской ли грани, в сибирской тайге, по степям оренбургским, на польских рубежах, на Сиваше у Перекопа, — где они не были, красные ткачи, где они кровью не полили поле боя? То-то их так берегли, то-то их так стерегли, то-то их так любили и так ненавидели: оттого им и память — как песня сложена по бескрайним равнинам советской земли».

Жизнь бесконечно пополнила перечень мест, где можно было встретить и где встретишь сейчас ивановцев — на стройках Комсомольска и Братска, в Каракумах и в Набережных Челнах. В 1936 году в Ташкенте начал возводиться крупный текстильный комбинат: Узбекистан издавна славится своими ткацкими традициями. Бухарский шелк знаменит на весь мир. Но для того чтобы поставить ткацкое производство на современном уровне, одних вековых традиций мало. И вот в Узбекистан помогать своим далеким друзьям выехала большая группа ивановцев. Они трудились и на возведении корпусов, и на монтаже оборудования. Они пускали в работу первые станки и снимали первые метры ткани. С тех пор ивановцев связывает добрая дружба с узбекскими текстильщиками и хлопкоробами. Многие из них соревнуются между собой, ведут переписку, встречаются друг с другом.

Ежегодно немало девушек из республик Средней Азии и Закавказья приезжают к нам. Многие хотят учиться именно в наших училищах ФЗО, многие хотят поработать на наших знаменитых фабриках. Потом они возвращаются в родные места. Но не все. Иные остаются у нас навсегда, находят свое счастье на ивановской земле. Все наши коллективы — многонациональные. На некоторых предприятиях можно встретить рабочих тридцати национальностей. Разумеется, сами рабочие об этом вспоминают только тогда, когда читают отчеты отдела кадров. В нашей стране, как отметил XXIV съезд КПСС, стала реальной действительностью новая историческая общность людей — советский народ. И в этом можно лишний раз убедиться, переступив порог любой из наших фабрик.

Стаз ивановцами, юноши и девушки из Ферганы и Тюмени, Казани и Тобольска принимают на себя ответственное звание наследников красных ткачей. А те, кто, по-

работав или поучившись у нас, возвращаются в родные места, уносят в душе своей теплоту приобщенности к революционным святыням.

Я убежден, что в наши дни складываются новые трудовые и житейские традиции, которым через десятилетия будут уважительно поклоняться, как поклоняемся сейчас мы традициям, которые восприняли от наших отцов и дедов.

Хочется рассказать в этой связи о коллективе Камвольного комбината. Несколько слов о самом предприятии. Камвольный представляется блистательным Дворцом труда. Этим я вовсе не хочу сказать, что работать здесь легче, чем на других фабриках. Нет, труд ткачихи везде нелегок, хотя много сделано и делается для его облегчения. Введение так называемого «ивановского» графика избавило ткачиху от ночных смен (их теперь всего две в месяц), и она может больше времени уделять семье и себе. Построено множество домов отдыха, туристских баз, детских садов и ясель; при каждом предприятии — отличные столовые, душевые, бытовки, читальни; не выходя наружу, можно приобрести продукты питания, кулинарные изделия и т. д. И все же сам труд ткачихи нелегок. В этом мы лишний раз убедились знойным летом минувшего года, когда в иные дни температура в цехах поднималась до 35 градусов. Ткачихи еще раз показали себя героинями — не побоюсь этого слова.

Ощущение праздничности возникает, когда еще только приближаешься к комбинату; вероятно, его создают фрески на ограде — вереницы легких стремительных фигур, выписанных ленинградскими художниками. Оно усиливается в вестибюле — цветы, зеркала, чистота почти стерильная. Когда комбинат строился, была организована комиссия по эстетике оформления; она действует и по сию пору, без ее разрешения гвоздя в стену не вобьешь. Цехи — истинно живописны: красные поливинилацетатные полы, шеренги станков, крашенных в нежную зелень с полосами белого и черного. Камвольщицы одеты в синие халатики, на головах алые или синие косынки (на косынках лебедь — эмблема комбината). Рабочие-мужчины в одинаковых комбинезонах; никто не может появиться в цехе «не в форме». Но почему, спросите вы, на одних ткачихах косынки синие, на других алые? О, это особая примета!

Когда-то в красных косынках ткачихи выходили на демонстрации против царизма. Покрывались ими, когда объявлялась политическая стачка. В них уходили на фронт во время гражданской войны. Теперь красная косынка вручается ударнице коммунистического труда. И в этом видится и дань глубокого уважения к тем, кто сражался за рабочее счастье, и знак признания личных заслуг.

Оригинально оформлены стенды. Стенд вообще место необычное во всяком цехе, на любом предприятии. Здесь узнают последние новости о работе бригады, участка, фамилии отличившихся товарищей и тех, кто ленится... Это своеобразный маленький клуб. Камвольщики используют все его возможности.

Превосходно выполненные фотографии передовиков. Фотографии детей, которые учатся на «четыре» и «пять» и чьи родители работают в цехе. Объявления написаны красиво (немаловажная деталь!). Некоторые из них поражают человека, попавшего на комбинат впервые. Например: «Мария Трифоновна! Ваша дочка исправила двойку по арифметике». Легко представить то радостное настроение, с которым мама приступила к работе, прочтя объявление. Текст его передали по телефону из школы прямо в цех.

Поздравления, чествования, ритуалы посвящения в рабочие, вручение трудовой книжки и первой зарплаты — все это на людях, все это на виду у всех. Разумеется, и на других предприятиях такие церемонии проводятся торжественно, но у камвольщиков они проходят как-то по-особому празднично. Взять хотя бы фестивали профессий. Люди, далекие от нашего дела, подчас не ведают, что ткань создается совместными усилиями ткачих, прядильщиц, сновальщиц, отделочниц, рабочих других массовых профессий. На этой почве даже недоразумения возникают. Приедет девушка издалека: «Хочу стать ткачихой». А предложат ей обучиться на прядильщицу — обиды, разочарование... Камвольщики и придумали фестивали, дабы наглядно показать важность любой профессии в текстильном деле. И проводят их с выдумкой, находчиво.

Дня не проходит, чтобы по комбинату не проводили какую-нибудь экскурсию. Многие приезжают из-за границы. Идет группа по цеху — и вдруг остановится, залобутся: как ловко, сноровисто и в то же время мягко и спокойно работают ткачихи. В

ткацком труде **есть** особая красота. Вот у станка Нельвира Васильевна Корчагина. Как неуловимо-размерены и слитны ее движения. Хронометристы подсчитали, что на ликвидацию обрыва основной нити она затрачивает 32 секунды (вместо 38 по норме), а уточную нить связывает за 14 секунд (положено 19). Видно, не случайно в предсъездовском соревновании завоевала она звание лучшей ткачихи страны, получила диплом, подписанный министром легкой промышленности СССР.

Нельвира Васильевна и ее муж Владимир Алексеевич, помощник ткацкого мастера, некоторое время назад перешли в отстающую бригаду; там часто «трепало» оборудование и производительность была низкой. Несколько месяцев понадобилось Владимиру Алексеевичу, чтобы наладить оборудование. Нельвира Васильевна взялась обучить молодых ткачих Галю Котову и Фариду Хажиеву скоростным методом работы. Дело пошло. Теперь бригада числится уже в самых передовых.

И это не какое-нибудь выдающееся событие; напротив, оно никого не удивило. Когда задумываешься над тем, почему люди идут на такое, то понимаешь, что ставшие привычными выражения: рабочая спайка, рабочая совесть, взаимовыручка — не пустые слова, за ними живое и глубокое содержание. И еще — любовь к ткани. Да, без этого текстильщику нельзя. Она тоже завещана нам красными ткачами.

Говорят, журналисты любят запах типографской краски. Для ткача нет ничего приятней запаха пряжи. А приходилось ли вам когда-нибудь видеть, как ткач прикасается к ткани? Он прикасается нежно и в то же время строго, пристрастно, чтобы ощутить каждую ворсинку, каждый рубчик...

Наши текстильщики ежегодно вырабатывают миллиарды метров ткани. Они работают самоотверженно, осмысленно и радостно. Они по праву гордятся ивановской землей, ставшей громадным текстильным цехом Советской Родины.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

*Дважды Герой Советского Союза,  
Маршал Советского Союза*

**А. М. ВАСИЛЕВСКИЙ**

★

## ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ\*

ПЕРЕД «БОЛЬШОЙ ВОЙНОЙ»

**В**плоть до июня 1939 года я ведал в Генеральном штабе оперативной подготовкой. Основное время уходило у меня в ту пору на выполнение разнообразных по форме, но примерно сходных в целом по содержанию заданий Б. М. Шапошникова. В первую очередь это была тщательная разработка годовых приказов и директив наркома обороны СССР по оперативно-стратегической подготовке руководящего состава РККА. В этих документах подводились годовые итоги и на их основе определялись задачи на новый год. При этом каждому военному округу давались конкретные задания с учетом его дислокации, характерных особенностей, материальных возможностей и общей роли, которую он играл в системе Вооруженных Сил. К тому, что я знал по прежней работе в Управлении боевой подготовки, добавлялось немало нового. Это и понятно: за это время утекло много воды, Красная Армия стала другой, качественно вырос ее потенциал. Так началось мое постепенное вхождение в круг тех важных вопросов, которыми я стал заниматься перед Великой Отечественной войной.

Работа эта была несравненно сложнее и ответственнее той, с которой мне довелось иметь дело до 1937 года. В Генеральном штабе рядом с Б. М. Шапошниковым и под его руководством росли мой опыт, знания и кругозор. Пожалуй, именно тогда мне в полной мере раскрылась та роль, которая отводилась каждому из видов и родов войск в системе Вооруженных Сил, в связи с обострявшейся международной обстановкой, Германия развязывала одну агрессию за другой. В марте 1938 года она захватила Австрию, а в сентябре состоялось подписание позорного Мюнхенского соглашения об аннексии судетской части Чехословакии. Все сложнее становилась обстановка в Испании, где положение республиканцев ухудшалось. Нарастала угроза и со стороны Японии. В июле 1938 года японские милитаристы предприняли вооруженное нападение на нашу территорию у озера Хасан. Они хотели проверить нашу боевую готовность. Получив приказ военного командования, советские войска 2 августа перешли в наступление. Боевые действия продолжались неделю. Японские войска в составе двух пехотных дивизий, пехотной и кавалерийских бригад и нескольких отдельных танковых частей и пулеметных батальонов, поддерживаемых действиями 70 боевых самолетов, были разбиты, а остатки их выброшены с советской территории. По приказу начальника Генерального штаба почти все эти дни я провел на дежурстве у телеграфного аппарата, в комнате, оборудованной для этой цели напротив кабинета наркома К. Е. Ворошилова.

По просьбе японского правительства 11 августа боевые действия в районе озера Хасан были прекращены. Войска Красной Армии в этих боях показали свою возросшую боевую мощь, высокие моральные и боевые качества. 25 октября 1938 года Советское правительство наградило участвовавшие в этой операции 40-ю стрелковую дивизию орденом Ленина, 32-ю стрелковую дивизию и пограничный отряд орденами

\* Главы из книги, готовящейся к изданию в Издательстве политической литературы.

Красного Знамени. 26 участников боев получали звание Героя Советского Союза. 95 бойцов и командиров были награждены орденами Ленина, 1985 — орденами Красного Знамени, многие — другими орденами и медалями.

Бои у озера Хасан подтвердили правильность основных положений советских военных уставов и наставлений и их соответствие требованиям обстановки и новой боевой техники. В то же время они выявили и некоторые недостатки в боевой подготовке войск Дальневосточной (Приморской) армии, особенно во взаимодействии родов войск в бою, управлении войсками и в их мобилизационной готовности. Анализ опыта операций у озера Хасан позволил внести в боевую и оперативную подготовку войск и штабов необходимые коррективы. Проект приказа, разработанный в связи с этим Генеральным штабом, по заявлению Б. М. Шапошникова с удовлетворением воспринял нарком и одобрило Политбюро ЦК партии. При рассмотрении проекта в него, естественно, вносились поправки, существенные добавления и разъяснения. В разделе о недостатках в тактической подготовке бойца у меня осела в памяти, свежа и до сих пор поправка, внесенная рукою любимого нами полководца — наркома К. Е. Ворошилова. Там, где говорилось о недостаточном умении бойцов при наступлении пользоваться малой шанцевой лопатой, о неумении быстро окапываться при перебежках, о пренебрежительном отношении к ней, что приводило к излишним потерям в людях, К. Е. Ворошилов вписал в приказ (привожу по памяти): «Наш долг добиться от бойца уважения и любви к своей лопате и научить его пользоваться ею так же быстро и сноровисто, как быстро и сноровисто он орудует ложкой за столом».

Общая обстановка в Генеральном штабе оставалась все то время, как это понятно каждому, весьма сложной. Пожалуй, никогда ранее, даже в период первой мировой и гражданской войн, я не испытывал такого напряжения.

И на западе и на востоке пахло порохом. В этих условиях на приграничные военные округа возлагалась особая задача — быть готовыми к моментальным действиям. Им давались напряженнейшие задания, проводились оперативно-стратегические игры. В одной из них — летом 1938 года — я принимал участие. Это была сложнейшая игра руководящего состава войск Киевского военного округа, переименованного к тому времени в Киевский Особый военный округ (КОВО). Летом 1938 года в нем сформировали четыре армейские группы: кавалерийскую, Одесскую, Винницкую и Житомирскую. Первая являлась довольно сильным по тому времени подвижным объединением, состоявшим из двух кавкорпусов, а также артиллерийских, танковых и иных частей, предназначенных для нанесения удара или контрудара по врагу в любом месте округа. Три остальные группы представляли собой объединения армейского типа из стрелковых дивизий, танковых бригад, различных частей и войск обеспечения.

Игру руководящего состава проводили командующий КОВО командарм 2-го ранга С. К. Тимошенко и начальник его штаба комбриг Н. Ф. Ватулин. В сентябре 1938 года, когда над Чехословакией нависла опасность, а мы еще не знали, что мюнхенское предательство сорвет ее оборону, и собирались оказать ей вместе с Францией, как это предусматривалось договором, помощь, штаб КОВО получил директиву наркома К. Е. Ворошилова привести в боеготовность Винницкую армейскую группу и вывести ее к государственной границе СССР. На территории Каменец-Подольской и Винницкой областей пришли в движение 4-й кавалерийский, 25-й танковый и 17-й стрелковый корпус, две отдельные танковые бригады, семь авиационных полков. Тем временем Житомирская армейская группа (2-й кавалерийский, 15-й и 8-й стрелковые корпусы), завершая учения на территории Киевской, Черниговской и Житомирской областей, сосредотачивалась возле Новоград-Волынского и Шепетовки. Оперативная группа штаба КОВО разместилась в Проскурове.

Все это достаточно ясно характеризует напряженную обстановку того времени, которую чутко ощущал Генштаб. Вся его работа протекала под непосредственным руководством Б. М. Шапошникова. Авторитет Бориса Михайловича как видного военного деятеля и опытного специалиста, особенно в вопросах штабной службы, рос тогда с каждым годом. Его обширные и разносторонние знания были особенно необходимы в то сложное время. Действуя непосредственно под его руководством, я, как и другие штабные работники, получал все новые теоретические и практические навыки по организации, планированию и проведению операций армейского и фронтового масштаба.

В августе 1938 года мне присвоили звание — комбриг. Осенью 1938 года мои скромные заслуги вновь были отмечены. Приказом по Генеральному штабу мне была объявлена благодарность за «добросовестное и высококачественное выполнение ряда больших ответственных поручений». Основным из них было мое участие в разработке итогового приказа народного комиссара обороны СССР по вопросам боевой подготовки и директивы на зимний период по оперативной подготовке руководящего состава и в подготовке проекта приказа наркома по итогам боевых действий на Дальнем Востоке, в районе озера Хасан. В 1939 году произошло мое частичное перемещение: оставаясь на прежней должности, я был назначен по совместительству заместителем начальника Оперативного отдела Генерального штаба.

1939 год оказался до предела насыщенным событиями, резко осложнившими международную обстановку; дело шло ко второй мировой войне. Оперотдел Генштаба трудился не покладая рук, приходилось иметь в виду возможность различных военно-политических комбинаций империалистических держав. Следовало принимать во внимание также изменения в военно-экономическом потенциале стран-агрессоров в результате захвата ими все новых и новых территорий, приобретения их войсками дополнительного боевого опыта. Не останавливаясь долго на общеизвестных фактах, напомним лишь некоторые, поскольку они непосредственно отражались на нашей повседневной работе.

В начале 1939 года франкистам с помощью фашистской Германии и Италии удалось сломить республиканцев; в Испании установился фашистский режим. В марте гитлеровцы оккупировали Чехословакию. Закарпатскую Украину Гитлер отдал Венгрии. 22 марта он вынудил буржуазное правительство Литвы передать Германии Мемельскую (Клайпедскую) область, а вскоре потребовал включения в состав Германии Данцига (Гданьска) и особых привилегий в «польском коридоре». Было навязано кабальное экономическое соглашение Румынии. 7 апреля Италия напала на Албанию. 28 апреля Германия расторгла англо-германский морской договор. 22 мая Германия и Италия заключили военно-политический союз. В мае же Япония осуществила крупное вторжение на территорию советского союзника — Монголии в районе реки Халхин-Гол. Там развернулись напряженные боевые действия, в результате которых к концу лета Красная Армия и Монгольская народно-революционная армия совместными ударами нанесли захватчикам сокрушительный удар. Все агрессивные акции фашистских держав стали возможными только потому, что капиталистические страны, прежде всего Англия, Франция и США, проводили политику «невмешательства», рассчитанную на то, чтобы втянуть СССР в войну с агрессорами, и после того, когда воюющие стороны ослабнут, продиктовать им свои условия. Осенью 1939 года английская буржуазная газета «Ньюс крикль» проговорила: «Некоторые влиятельные лица в Англии надеялись, что рано или поздно Россия и Германия будут спровоцированы на уничтожение друг друга, в то время как мы организуем тотализатор и начнем собирать ставки». Определались три линии международной политики: фашистский курс захватнических войн; англо-франко-американский отказ от противодействия агрессии и поощрения германо-итало-японского блока к новым атакам на мирные страны, в первую очередь на СССР; советская политика коллективной безопасности и борьбы с агрессией объединенными усилиями миролюбивых народов.

Генеральный штаб с неослабным вниманием следил за тем, как разворачиваются события.

Испытывая нажим со стороны общественного мнения и опасаясь, как бы Гитлер их не обманул, британский премьер Н. Чемберлен и французский премьер Э. Даладье начали зондировать советскую позицию. Еще не имея тогда всех данных об их закулисных махинациях, Советское правительство тем не менее догадывалось о двойной игре капиталистических держав и было начеку.

В августе 1939 года по инициативе СССР в Москве начались переговоры военных представителей трех держав. Нашу делегацию возглавляли нарком обороны К. Е. Ворошилов и начальник Генштаба Б. М. Шапошников. Секретарем делегации был первый заместитель начальника Генштаба командарм 2-го ранга И. В. Смородинов, рукой которого записаны все протоколы заседаний. Основной доклад нашей делегации сделал по поручению правительства Б. М. Шапошников. Он изложил в общих чертах план стратегического развертывания Советских Вооруженных Сил. Из него следовало, что Со-

ветский Союз в состоянии одновременно выставить на западной границе 120 пехотных и 16 кавалерийских дивизий, 9—10 тысяч танков, 5 тысяч средних и тяжелых орудий и от 5 до 5,5 тысячи боевых самолетов. Излагались также возможные варианты совместных действий СССР, Англии и Франции в случае фашистской агрессии в Европе. Все предложения делегации СССР носили конкретный, обоснованный характер и по замыслу в целом могли служить образцом военного планирования. Заключение договаривавшимися сторонами военной конвенции против блока агрессоров на предложенных советской стороной условиях могло бы в корне изменить сложившуюся в 1939 году обстановку в Европе. Но Англия и Франция сорвали переговоры и продолжили тайно от СССР договариваться с фашистской Германией, предлагая ей заключить пакт о ненападении и соглашение о разделе сфер влияния в мировом масштабе. Все это поставило нашу страну перед реальной угрозой войны не только с гитлеровской Германией, но и со всем капиталистическим миром. Во всяком случае, японская агрессия у Халхин-Гола свидетельствовала о том, что Япония вела необъявленную войну против СССР и МНР.

Центральный Комитет партии и Советское правительство соблюдали указания XVIII съезда ВКП(б) не дать провокаторам втянуть нашу страну в войну. Убедившись в нежелании Англии, Франции и Польши заключить соглашение о совместной борьбе против гитлеровской агрессии, Советский Союз принял предложение Германии заключить пакт о ненападении. Подписав 23 августа этот пакт, СССР расстроил планы международной реакции и повернул ход событий в более благоприятную для себя сторону. Теперь и Япония была вынуждена, потерпев поражение у Халхин-Гола, пойти на подписание с нами 15 сентября 1939 года соглашения о ликвидации конфликта.

1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу началась вторая мировая война. В тот же день в СССР был опубликован Закон о всеобщей воинской обязанности. Красная Армия окончательно стала кадровой.

Как известно, даже после начала войны Англия и Франция все еще надеялись остаться в стороне, столкнуть Германию с СССР. Поэтому они позволили Гитлеру быстро разгромить Польшу, вели «странную войну», выжидая советско-германского конфликта. Быстрое продвижение немецко-фашистских войск на восток, угроза захвата ими Западной Украины и Западной Белоруссии усилили стремление трудящихся этих областей к воссоединению с советскими республиками и выдвинули перед Советским Союзом задачу оказать помощь братским народам. В середине сентября 1939 года Советское правительство, беря их под защиту, отдало приказ перейти границу и освободить Западную Украину и Западную Белоруссию. Берлин вынужден был согласиться на проведение демаркационной линии примерно на восточном рубеже польской этнографической территории. Лондон и Париж перенесли свои надежды на Финляндию и стали настраивать ее против Советского Союза. Потерпели провал попытки Англии и Франции вовлечь в войну против СССР Эстонию, Латвию и Литву. Под давлением демократических сил положительно решился вопрос о размещении советских воинских гарнизонов, аэродромов и военно-морских баз в отдельных местах Прибалтики. Этим удалось предотвратить в тот момент предполагавшийся захват Германией трех малых государств и использование их в качестве плацдарма для нападения на СССР. Однако сильнейшее беспокойство вызывало положение на нашей северо-западной границе.

В то время советско-финская граница на Карельском перешейке проходила всего в тридцати двух километрах от Ленинграда. Под непосредственной угрозой артиллерийского обстрела находилась и база Балтийского военно-морского флота Кронштадт. Вход в Финский залив оставался незащищенным. Все попытки Советского правительства решить эту проблему путем обоюдного, взаимовыгодного соглашения наталкивались на отказ со стороны правящих кругов Финляндии, за спиной которых стояли империалистические державы, надеявшиеся использовать ее территорию как плацдарм для нападения на нашу родину.

Центральный Комитет партии и Советское правительство в условиях тревожной обстановки, складывавшейся на северо-западных рубежах нашей страны, требовали от Наркомата обороны выработки необходимых контрмер для обеспечения безопасности страны.

Главный военный совет РККА рассмотрел вопросы боеготовности Советских



Вооруженных Сил на случай, если правящим кругам Финляндии удастся развязать вооруженный конфликт с СССР. Генеральный штаб предложил разработанный им еще ранее с учетом возможности возникновения такого конфликта и одобренный народным комиссаром обороны частный план отражения агрессии. При разработке этого плана Генеральный штаб исходил из имевшихся в его распоряжении данных о составе и боевой готовности финской армии, о природных особенностях советско-финского театра военных действий, о системе инженерных укреплений на нем, о мобилизационных возможностях Финляндии и о той помощи, которую она могла бы получить от империалистических держав. Правда, как обнаружилось в дальнейшем, некоторые из данных особой точностью не отличались. Но эти неточности не имели существенного значения. Более серьезным оказалось то, что в наших войсках слабо знали особенности организации, вооружение и тактические приемы борьбы финской армии.

По долгу службы я тоже имел прямое отношение к разработке плана контрудара. Его основные идеи и главное содержание определил Б. М. Шапошников.

Докладывая план Главному военному совету, Б. М. Шапошников подчеркнул, что сложившаяся международная обстановка требует, чтобы ответные военные действия были проведены и закончены в предельно сжатые сроки. Однако Главный военный совет не принял этого плана и дал командующему войсками Ленинградского военного округа (ЛВО) командарму 2-го ранга К. А. Мерецкову указание разработать новый вариант плана прикрытия границы и контрудара по Финляндии в случае ее нападения на СССР.

Разработанный командованием и штабом Ленинградского военного округа вариант контрудара был представлен в указанный срок И. В. Сталину и утвержден. По этому варианту основные войска округа объединились в 7-ю армию двухкорпусного состава (19-й и 50-й корпуса), на которую и возлагалась задача прорвать в случае агрессии на Карельском перешейке «линию Маннергейма» и разгромить здесь главные силы финской армии. Непосредственное командование войсками 7-й армии возложили на К. А. Мерецкова. А севернее на огромном фронте протяженностью около тысячи пяти-сот километров предусматривались действия крайне слабых по своему составу 8-й армии командира И. Н. Хабарова, 9-й армии комкора В. И. Чуйкова и 14-й армии комкора В. А. Фролова.

26 ноября 1939 года возле селения Майнила с финской стороны был открыт огонь по советским пограничникам. В последующие дни эти провокационные действия возобновлялись. 30 ноября части Красной Армии начали военные действия по отражению противника и обеспечению безопасности нашей границы. В течение декабря войска ЛВО, преодолевая ожесточенное сопротивление и неся серьезные потери, смогли пройти лишь зону заграждений и приблизиться к главной полосе обороны «линии Маннергейма». Попытки прорвать ее с ходу успеха не имели. Требовалось значительно усилить действующие войска дополнительными соединениями, вооружением и боевой техникой. Эти и другие немаловажные обстоятельства планом не предусматривались, поэтому ряд вопросов пришлось решать наспех.

В конце декабря 1939 года Главный военный совет вынужден был приостановить наступление наших войск, чтобы внести в их состав и группировку существенные коррективы, более надежно организовать управление, заново спланировать операцию по прорыву «линии Маннергейма». Политическое бюро ЦК ВКП(б) назначило рассмотрение этих вопросов на первые числа января 1940 года. Приглашались командующий войсками и члены Военного совета ЛВО, командующие войсками Западного и Киевского Особых военных округов (они находились в декабре в качестве наблюдателей и советников в войсках ЛВО), а также ряд ответственных лиц из Наркомата обороны и Генерального штаба. Подготовку заседания возложили на Б. М. Шапошникова. Первого заместителя начальника Генерального штаба И. В. Смородинова с первых дней конфликта распоряжением наркома обороны направили на фронт для оказания помощи ЛВО. В связи с этим меня решением начальника Генерального штаба временно привлекли к работе в должности его заместителя по оперативным вопросам.

В те дни состоялись первые мои поездки вместе с Борисом Михайловичем в Кремль, первые встречи с членами Политбюро ЦК ВКП(б) и лично с И. В. Сталиным.

Вспоминая то время, я снова испытываю чувство глубокой благодарности к дорогому Б. М. Шапошникову за огромную помощь мне добрым словом, советами и наставлениями в выполнявшейся мною напряженной работе. Я полностью убежден в том, что только ему я обязан тем внимательным отношением ко мне со стороны членов Политбюро и И. В. Сталина, которое я ощутил в первые же дни своего пребывания в Кремле. Не могло остаться незамеченным, что сам Б. М. Шапошников пользовался там особым уважением. {

7 января 1940 года Политбюро ЦК ВКП(б) по предложению Генерального штаба создало на Карельском перешейке для прорыва «линии Маннергейма» Северо-Западный фронт, командование войсками которого возложили на командарма 1-го ранга С. К. Тимошенко. Членом Военного совета фронта назначили А. А. Жданова, а начальником штаба — командарма 2-го ранга И. В. Смородинова. В созданный фронт вошли 7-я армия (пять стрелковых корпусов) под командованием К. А. Мерецкова и 13-я армия комкора, в последующем командарма 2-го ранга В. Д. Грендаля (три стрелковых корпуса). Значительно усилили также войска между Ладожским озером и Баренцевым морем. Всего от Финского залива до Баренцева моря решили развернуть шесть общевойсковых армий, из них две — на Карельском перешейке и четыре (15-я, 8-я, 9-я и 14-я) — к северу от Ладожского озера.

Окончательную разработку плана прорыва «линии Маннергейма» возложили на С. К. Тимошенко и Генеральный штаб. После утверждения пересмотренного плана командование фронта, армий, Генеральный штаб и аппарат Наркомата обороны проделали огромную работу по подготовке прорыва и наступления в целом. На фронт доставили новые войска и все необходимое. Действовавшие ранее войска, пополнившись, получили передышку. Кроме того, произвели необходимую перегруппировку. Особое внимание уделили обеспечению войск средствами усиления, особенно артиллерией большой мощности и авиацией. В течение января войска вели практические учения на созданных в ближнем тылу полевых макетах вражеских укреплений, репетируя выполнение предстоящих боевых задач. В начале февраля подготовительные работы в войсках и штабах были закончены. 11 февраля 1940 года фронт перешел во второе наступление, прорвал оборону противника и успешно стал продвигаться вперед.

Видя неизбежность краха своих замыслов, правительство Финляндии обратилось к Советскому Союзу с просьбой о заключении мира. В Москву прибыла финская правительственная делегация во главе с премьер-министром Р. Рюти. Начались мирные переговоры. В состав советской делегации вошел и я. После общих указаний И. В. Сталина мне под руководством В. М. Молотова и Б. М. Шапошникова пришлось готовить все предложения относительно новых границ, которые после рассмотрения на Политбюро выносились на обсуждение при переговорах. В марте 1940 года был подписан мирный договор, состоявший из девяти статей. Согласно ему военные действия прекращались с 13 марта.

Для демаркации принятой новой государственной границы назначили смешанную комиссию, которой поручили окончательно уточнить, провести и оформить границу на местности. Возглавить комиссию с нашей стороны Советское правительство поручило мне. В течение двух месяцев пришлось основательно потрудиться. Тщательно изучались участки проведения погранлинии и с точки зрения природной характеристики местности, и с учетом экономической целесообразности для той и другой стороны. При этом некоторые вопросы решались на месте, в условиях довольно острых разногласий.

В конечном счете работу комиссии признали удовлетворительной. Ее результаты вполне обеспечивали государственные интересы СССР и в то же время позволяли нам сохранять добрососедские отношения с Финляндией.

Заключение мирного договора СССР с Финляндией сорвало планы англо-французских империалистов. Советский Союз сумел упрочить безопасность своей территории на северо-западе, что имело немаловажное значение во время Великой Отечественной войны. Коммунистическая партия и Советское правительство, трезво анализируя события, всемерно стремились укрепить свои Вооруженные Силы, поднять обороноспособность страны, уделяя особое внимание западным границам и отдавая себе отчет в том, что решающая схватка с фашистским блоком впереди.

## ПОСЛЕДНИЕ МИРНЫЕ МЕСЯЦЫ

Подписание мирного договора между Финляндией и СССР вызвало глубокое разочарование наших недругов. Однако они не оставляли своих агрессивных планов против нашего отечества. Гитлеровская клика продолжала активно готовить нападение на СССР. Вооруженным Силам СССР следовало торопиться. В апреле 1940 года в Кремле по решению мартовского Пленума ЦК ВКП(б) для подведения итогов зимней кампании и внесения необходимых коррективов в организацию, вооружение и боевую подготовку Красной Армии состоялось расширенное заседание Главного военного совета. В его работе участвовали члены Политбюро ЦК партии, руководители Наркомата обороны, командующие войсками, члены Военных советов и начальники штабов военных округов и армий, командиры корпусов и дивизий, бывших на фронте, руководители высших военно-учебных заведений и ответственные работники Генерального штаба.

На совещании в ходе обсуждения темы «Об основных принципах организации боевой подготовки войск и штабов» был выработан ряд принципиальных решений, направленных на усиление обороноспособности и боеготовности Красной Армии. Особое внимание обращалось на подготовку войск к действиям в сложных условиях, на штабную подготовку командиров частей и соединений, работников штабов. Увеличилось число учений и маневров.

ЦК ВКП(б) и Советское правительство произвели значительные перемещения в руководящем составе Наркомата обороны. Эта реорганизация длилась фактически вплоть до начала Великой Отечественной войны. В мае 1940 года действовавший при Совнаркоме СССР Комитет обороны возглавил К. Е. Ворошилов, а наркомом обороны стал Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко. Перестановка затронула, естественно, также аппарат наркомата и Генерального штаба. Меня примерно тогда же назначили первым заместителем начальника Оперативного управления Генштаба. С середины апреля 1940 года я включился в ответственнейшую работу Генерального штаба — работу над планом по отражению возможной агрессии. Справедливость требует отметить, что главное к тому времени было уже выполнено. В течение всех последних лет подготовкой плана непосредственно руководил Б. М. Шапошников, и Генштаб к тому времени завершал его перед представлением на утверждение в ЦК партии. Основные установки по составлению доклада давал нам Б. М. Шапошников. Над проектом доклада мы работали вместе с Н. Ф. Ватутиным и Г. К. Маландиным.

Генерал-майор Николай Федорович Ватутин, один из видных полководцев Великой Отечественной войны, уже в то время был хорошо известен руководящему составу РККА. Пройдя в течение двадцатилетней службы в Красной Армии через ряд командных и штабных должностей, он приобрел солидный опыт, особенно в Киевском Особом военном округе, где был начальником штаба, одним из руководителей Украинского фронта в период освобождения Западной Украины. Н. Ф. Ватутин имел прекрасную теоретическую подготовку. Он закончил Полтавскую пехотную школу, Киевскую высшую объединенную военную школу, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генштаба.

Генерал-майор Герман Капитонович Маландин, ранее заместитель Н. Ф. Ватутина в штабе КОВО, также обладал значительным опытом. В 1940 году они пришли в Генштаб: Н. Ф. Ватутин в качестве начальника Оперативного управления, а затем назначается первым заместителем начальника Генштаба, Г. К. Маландин — заместителем начальника Оперативного управления, а затем стал начальником.

Работали мы очень дружно и напряженно. Оперплан занимал в те месяцы все наши мысли. Наиболее вероятным и главным противником в нем называлась гитлеровская Германия. Предполагалось участие в войне и Италии, но оно, как отмечалось в плане, скорее всего ограничится действиями на Балканах, создавая косвенную угрозу нашим государственным границам. По всей видимости, на стороне Германии могут выступить Финляндия (чьи руководители после разгрома Франции и краха английских войск под Дюнкерком взяли ориентацию на Берлин), Румыния (типичный «сырьевой придаток» Германии с 1939 года, а летом следующего года вообще отказавшаяся от нейтралитета в пользу фашистского блока) и Венгрия (в то время участник «Антикоминтерновского пакта»). Б. М. Шапошников считал, что военный конфликт может ограничиться запад-

ными границами СССР. На этот случай оперплан предусматривал концентрацию основных сил страны именно здесь. Не исключая нападения Японии на наш Дальний Восток, он предполагал сосредоточение там таких сил, которые гарантировали бы нам устойчивое положение.

Говоря далее о предполагаемом направлении главного удара противника, Б. М. Шапошников считал, что самым выгодным для Германии, а следовательно, и наиболее вероятным, является развертывание основных сил немецкой армии к северу от устья реки Сан. Соответственно в плане предлагалось развернуть и наши главные силы в полосу от побережья Балтийского моря до Полесья, то есть на участках Северо-Западного и Западного фронтов. Обеспечить южное направление должны были, согласно плану, также два фронта, но с меньшим количеством сил и средств. В целом предполагалось, что Германии потребуется для развертывания сил на наших западных границах десять — пятнадцать дней от начала их сосредоточения. О возможных сроках начала войны в докладе ничего не говорилось. Таковы его общие контуры.

Этот проект и план стратегического развертывания войск Красной Армии докладывались непосредственно И. В. Сталину в сентябре 1940 года в присутствии некоторых членов Политбюро ЦК партии. От Наркомата обороны план представляли нарком С. К. Тимошенко, начальник Генерального штаба К. А. Мерецков и его первый заместитель Н. Ф. Ватутин. Мы с генералом А. Ф. Анисовым, доставив в Кремль план, во время его рассмотрения в течение нескольких часов находились в комнате секретариата И. В. Сталина. Прежде чем рассказывать о дальнейшем ходе событий, упомяну о том, почему в представлении руководству страны важнейшего оперативного документа не участвовал один из его основных составителей и автор главных его идей. Дело в том, что в августе 1940 года на должность начальника Генерального штаба вместо Б. М. Шапошникова был назначен генерал армии К. А. Мерецков. На Бориса Михайловича возложили руководство созданием оборонительных сооружений, и он стал заместителем наркома обороны, направляя деятельность Главного военно-инженерного управления и Управления строительства укрепленных районов.

Для нас, работников Генштаба, причина перевода Б. М. Шапошникова на другую должность осталась непонятной. Не скрою, мы очень сожалели о его переводе. Каждый из нас отлично сознавал, какой весомый багаж ценных знаний, особенно в области оперативного искусства, и какой богатейший опыт штабной службы приобрел он, работая с Борисом Михайловичем и повседневно участь у него.

Добавлю, что, занимаясь разработкой военной теории, он неустанно стремился довести до широких кругов командного состава последние достижения теории. Будучи начальником Генштаба, он регулярно выступал с докладами на курсах усовершенствования командного состава, при разборах войсковых маневров, учений и всюду на конкретных примерах умело наставлял высший командный состав в теории штабной службы, прививал культуру руководства войсками.

Работа с ним являлась действительно постоянной и неоценимой школой. И я, признаюсь, всегда испытывал чувство гордости, когда И. В. Сталин впоследствии, рассматривая тот или иной вопрос, говорил обо мне: «А ну, послушаем, что скажет нам шапошниковская школа».

Б. М. Шапошников обладал всеми качествами, необходимыми для работы в Генеральном штабе: отличным знанием военного дела, широкой эрудицией, огромным трудолюбием, усидчивостью и высоким чувством ответственности. Опыт крупной оперативно-штабной работы в годы первой мировой и гражданской войн, практика командования войсками в трех военных округах, высокое доверие со стороны Центрального Комитета партии и Советского правительства позволили Б. М. Шапошникову превратить Генеральный штаб в подлинный центр руководства военным планированием, боевой и оперативной подготовкой Красной Армии. Его личный пример влиял на подчиненных. Выдержанность, вежливость и скромность, такт в общении с людьми, дисциплинированность и предельная исполнительность — все это воспитывало у лиц, работавших под его началом, чувство собственного достоинства, ответственность и точность, высокую культуру поведения. Подчеркну, что, при всей своей безукоризненной вежливости, Б. М. Шапошников являлся олицетворением долга. В безупречном, инициативном и своевременном выполнении заданий партии и правительства по укреплению обороноспособ-

ности страны он видел свою первейшую обязанность и самый смысл существования Генерального штаба.

К. А. Мерецков, возглавивший Генштаб после Б. М. Шапошникова, прошел несколько иную школу жизни, хотя и не менее насыщенную событиями. Он тоже обладал немалым опытом работы — политической (член партии с дооктябрьского времени, комиссар отряда, дивизии и штаба округа), штабной (начальник штабов в бригаде, дивизии, корпусе, армии и округах) и командной (райвоенком, командир отряда и дивизии, командующий армией и округами). Талантливый практик, Кирилл Афанасьевич внес в штабную работу почерк командующего, опирающегося прежде всего на опыт. Оба они были близки к жизни, к биению ее пульса, но каждый по-своему. Первый — несколько выдержаннее, аналитичнее, пожалуй, чуть суше; второй — подвижнее (сказывалась, конечно, и разница в годах), экспансивнее, попроще, с народной хитрецей и чувством юмора.

Вернемся, однако, к плану по отражению агрессии. При его рассмотрении, как нам рассказал К. А. Мерецков, И. В. Сталин, касаясь наиболее вероятного направления главного удара потенциального противника, высказал свою точку зрения. По его мнению, Германия постарается направить в случае войны основные усилия не в центре того фронта, который тогда возникнет по линии советско-германской границы, а на юго-западе, чтобы прежде всего захватить у нас наиболее богатые промышленные, сырьевые и сельскохозяйственные районы. В соответствии с этим Генштабу было приказано переработать план, предусмотреть сосредоточение главной группировки наших войск на юго-западном направлении.

Требовалось в предельно сжатые сроки выполнить весь объем колоссальной работы, связанной с переработкой плана. Маландина, Анисова и меня обязали не позднее 15 декабря закончить разработку всех соответствующих вопросов, касавшихся Наркомата обороны и Генерального штаба, учтя при этом проблемы, связанные с Наркоматом путей сообщения, и задания соответствующим военным округам, чтобы с 1 января 1941 года командование и штабы округов могли приступить к разработке окружных планов.

...Шли месяцы, когда германский фашизм при попустительстве империалистов Англии и Франции шагал по Европе. Капитулировавшая летом 1940 года Франция была расчленена. На британских морских коммуникациях хозяйничали немецкие надводные и подводные рейдеры. Германская авиация совершала массированные налеты на Англию. В августе 1940 года Италия захватила Британское Сомали, часть Судана и Кении, затем вторглась в Египет, а в октябре напала на Грецию.

Япония расширяла военные действия в Китае. 27 сентября в Берлине был подписан пакт трех держав (Германия, Италия, Япония), направленный, как это ясно каждому здравомыслящему человеку, в первую очередь против СССР. Вскоре к этому пакту присоединились Венгрия, Румыния и Словакия. Мы не могли пассивно выжидать, как развернутся события дальше. Промедление смерти подобно. Поэтому Коммунистическая партия и Советское правительство в условиях растущей военной опасности спешно наращивали усилия по перевооружению и переоснащению армии, росту ее боевой готовности.

К маю 1940 года были созданы моторизованные дивизии, а затем девять механизированных корпусов. Количество стрелковых дивизий увеличилось с осени 1939 года к 1941 году более чем в два раза, а число авиационных полков к июню 1941 года по сравнению с началом 1939 года выросло более чем на четыре пятых. Кроме того, формировались танковые бригады непосредственной поддержки пехоты. Системы оперативной и боевой подготовки максимально приближались к требованиям военного времени.

Большое внимание уделялось партийно-политической работе. В начале 1940 года Центральный Комитет партии направил на политическую работу в армию и флот 1500 коммунистов, а в июне 1941 года еще 3700. Идейное воспитание бойцов заметно усилилось. Ряды армейских партийных организаций росли за счет передовых красноармейцев и командиров. К 1941 году члены партии и кандидаты в члены партии насчитывали 12,7 процента ее личного состава, а комсомольцы — 39,5 процента.

Организация, обучение и воспитание воинов строились на основе советской воед-

ной науки, самой передовой, базирующейся на общих принципах марксистско-ленинского учения о войне и армии. Эта наука прошла испытания в огне революции и гражданской войны. Прочной базой советской военной науки явились труды В. И. Ленина, а также теоретические работы выдающихся полководцев и военных деятелей нашей родины М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевского, А. И. Егорова, Б. М. Шапошникова, И. Э. Якира, И. П. Уборевича, С. С. Каменева. Изучению военно-теоретического наследия придавалось большое значение в военных академиях, в соединениях и частях.

Советская страна создала необходимые материальные предпосылки для максимального подъема своей обороноспособности. В годы, непосредственно предшествовавшие войне, в восточных районах страны воздвигались новые предприятия оборонного значения. Увеличивались бюджетные ассигнования на военные нужды. Создание государственных трудовых резервов позволило обеспечить молодыми кадрами растущую промышленность, в том числе оборонную. Успехи добывающих отраслей и сельского хозяйства гарантировали создание необходимых сырьевых и хлебных резервов.

Большим достижением советской внешней политики явилось вступление в братскую семью народов СССР летом 1940 года эстонцев, латышей, литовцев, бессарабских молдаван и буковинских украинцев. Увенчалась победой революционная борьба трудящихся Литвы, Латвии и Эстонии. В результате свержения буржуазных правительств избранные народом сеймы этих республик вынесли решение о вхождении в состав Советского Союза. Упрочение в связи с этим наших западных границ стало важным фактором, способствовавшим укреплению безопасности СССР, дальнейшим благоприятным для нас изменением в географическом, экономическом и политическом отношении. Перенос государственной границы на двести пятьдесят — триста километров к западу резко улучшил стратегическое положение наших Вооруженных Сил и страны в целом, но в то же время осложнил обстановку: требовалось серьезно и срочно перестраивать оборону страны, в кратчайшие сроки освоить и укрепить новые приграничные районы. Были приняты решения об их инженерно-техническом оборудовании с постройкой в них хорошо развитых в глубину, современных по тому времени оборонительных рубежей, о развитии железнодорожных путей с перешивкою их с западноевропейской колеи на отечественную, с созданием дополнительного числа железнодорожных станций, о строительстве грунтовых дорог, линий связи и всего необходимого для быстрого сосредоточения, размещения и развертывания войск, а также для ведения ими боевых действий при отражении нападения противника.

Однако времени для реализации этих важных решений оказалось очень мало. Нас, работников Оперативного управления Генерального штаба, беспокоила слабая пропускная способность железных дорог, особенно тех из них, которые лежали западнее старых границ. К западу от железнодорожной рокады Овруч — Коростень — Шелетовка — Каменец-Подольский шло только пять линий с пропускной способностью в 2,5 раза меньшей, чем к востоку от нее. Немногим лучше обстояло дело на территории Западной Украины, а также в Прибалтике. Еще одно немаловажное обстоятельство сыграло отрицательную роль. Чтобы ускорить создание оборонительных сооружений на новых рубежах, приняли решение о разоружении и демонтаже большей части укреплений, с таким трудом и огромными затратами средств создававшихся на протяжении ряда лет вдоль нашей прежней государственной границы.

Нецелесообразно было строить аэродромы и размещать военные склады в непосредственной близости от новой границы. Генеральный штаб и лица, непосредственно руководившие в Наркомате обороны снабжением и обеспечением жизни и боевой деятельности войск, считали наиболее разумным иметь к началу войны основные запасы подальше от государственной границы, примерно на линии реки Волги. Некоторые же лица из руководства наркомата, особенно Г. И. Кулик, Л. З. Мехлис и Е. А. Шадренко, категорически возражали против этого. Они считали, что агрессию удастся быстро отразить и война во всех случаях будет перенесена на территорию противника. Видимо, они находились в плену неправильного представления о ходе предполагавшейся войны. Такая иллюзия имела место. Весной 1940 года Центральный Комитет партии на совещании по вопросам идеологической работы в Вооруженных Силах подверг критике тезис о легкой победе. Из него вытекало, что действия советских войск обязательно будут носить с самого начала только наступательный, и притом непременно успешный,

характер, а раз это так, то и склады должны быть уже в мирное время придвинуты поближе к войскам, следовательно, и размещать их следует, готовясь к войне, на территориях новых приграничных районов. Не нашел этот вопрос окончательного решения и у наркома обороны: С. К. Тимошенко колебался и не занял верной позиции.

Исключительно напряженной была в те месяцы и дипломатическая деятельность. 7 ноября 1940 года после военного парада и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве генерала В. М. Злобина, состоявшего для особо важных поручений при наркомате обороны, и меня вызвали к С. К. Тимошенко. Нарком сообщил нам, что в ближайшие дни по решению правительства нам надлежит отправиться в составе правительственной делегации в Берлин в качестве военных экспертов и что необходимые указания мы получим непосредственно от главы делегации. Возглавил ее Председатель Совнаркома и нарком иностранных дел В. М. Молотов. Инициатором поездки был Берлин.

Специальным поездом, шедшим вне расписания, делегация выехала 9 ноября. Ее сопровождал в том же поезде немецкий посол в СССР граф Ф. Шуленбург. С Москвою поддерживалась постоянная радиосвязь. В первый же день поездки помощник В. М. Молотова И. И. Лапшин пригласил В. М. Злобина и меня к главе делегации. Из состоявшейся беседы мы уяснили, что переговоры в Берлине будут носить чисто политический характер и что основной целью нашей поездки является стремление Советского правительства определить дальнейшие намерения Гитлера и содействовать тому, чтобы как можно дольше оттянуть германскую агрессию.

Вечером 10 ноября поезд прибыл на пограничную станцию. На приграничной немецкой станции Эйдкунен местные военно-железнодорожные власти долго настаивали на том, чтобы делегация перешла в «специально подготовленный» ими железнодорожный состав. Советская делегация через начальника своего поезда категорически отказалась от этого, так как наш поезд на последней советской станции уже поставили на тележки западноевропейского образца. После длительных дебатов, которые вел с немцами начальник советского поезда, немцы уступили, к нашему составу прицепили два немецких салон-вагона, и поезд направился дальше. По ночам ехали почти в полной темноте: сказывалось затемнение (ведь Германия вела войну), нам пока еще не привычное.

Утром 12 ноября состав прибыл в Берлин. На Ангальтском вокзале нас встретила группа государственных деятелей Германии во главе с министром иностранных дел фон Риббентропом и генерал-фельдмаршалом Кейтелем. После должного в таких случаях церемониала нас разместили во дворце Бельвю. В тот же день глава делегации в сопровождении советского посла в Берлине, наших переводчиков и фон Риббентропа отправился в здание имперской канцелярии для встречи с Гитлером.

Как мы вскоре узнали, Гитлер попытался вовлечь советскую делегацию в грязную игру, предложив обсудить план «раздела мира» (после поражения Англии в войне) между Германией, Италией, Японией и СССР. Отвергнув политические инсинуации, Молотов потребовал конкретных ответов на наши вопросы о политике Берлина в Восточной Европе и целях Германии в Финляндии и Румынии. Не найдя общего языка, стороны разошлись. А вечером состоялся прием в советском посольстве на Унтер ден Линден. Явились рейхсмаршал Г. Геринг, заместитель Гитлера по руководству НСДАП (нацистская партия) Р. Гесс, министр иностранных дел фон Риббентроп и другие. Не успели усесться за стол, как раздался вой воздушной тревоги: к Берлину приближались английские самолеты. Прием прервался.

Состоялась вторая встреча с Гитлером. И она не дала никаких результатов. Противная сторона настаивала на абсурдных для СССР политических комбинациях явно с целью впутать нас в выгодную ей игру. Советская делегация твердо держалась избранного курса и, хотя не добилась желаемых ответов, вынесла твердое убеждение, что Германия готовится к резкому ухудшению отношений.

Вечером 13 ноября фон Риббентроп принимал у себя на Вильгельмштрассе В. М. Молотова. Не удалась предпринятая и здесь попытка навязать нам свои планы...

Следующим утром мы покидали Берлин. От помпезности и от показной приветливости хозяев не осталось и следа: холодные проводы, сухой обмен официальными словами. По всему видно, что крах берлинской затеи воспринят гитлеровской вер-

хуцкой нервозно. Расставались непримиримые враги, лишь внешне придерживавшиеся необходимого дипломатического этикета. Позднее всему миру стало известно, что уже 5 декабря Гитлер, рассмотрев план «Отто» (о нападении на СССР), одобрил его в принципе, а 18 декабря дал указание о замене его более детальным планом «Барбаросса» со сроком готовности удара по СССР к 15 мая 1941 года.

Покидая фашистскую Германию, члены нашей делегации были убеждены: затеянная по инициативе фашистской стороны, эта встреча явилась лишь показной демонстрацией. Главные события лежат впереди. Сорвав попытку поставить СССР в условия, которые связали бы нас на международной арене, изолировали бы от Запада и развязали бы действия Германии для заключения перемирия с Англией, делегация сделала максимум возможного. Общей для всех членов делегации являлась также уверенность в том, что неизбежность агрессии Германии неимоверно возросла, причем в недалеком будущем. Соответствующие выводы должны были сделать из этого и наши Вооруженные Силы...

За дни поездки и пребывания в Берлине у меня установились со многими из членов делегации довольно близкие, а с некоторыми даже дружеские отношения, особенно с наркомом черной металлургии Иваном Федоровичем (Ованесом Тевадросовичем) Тевосяном. Уроженец Нагорного Карабаха, выходец из бедной семьи, член партии с шестнадцати лет и участник гражданской войны в Закавказье, Тевосян окончил в 1927 году Горную академию и стал инженером-сталеваром. Поработав на заводе «Электросталь», он в 1929 году в группе советских специалистов поехал стажироваться на одно из рурских предприятий Круппа. Тевосян успешно прошел практику в Эссене, после этого стал главным инженером «Электростали», затем в двадцать девять лет возглавил государственное объединение «Спецсталь», руководившее рядом крупных заводов, а с 1937 года по 1939-й был последовательно начальником главка и заместителем наркома в Наркомате оборонной промышленности, а потом народным комиссаром судостроения. Как раз в том году, когда состоялась наша поездка в Берлин, Тевосяна назначили наркомом черной металлургии. Он знал хорошо Германию, и его участие в поездке принесло безусловную пользу.

Еще на пути в Берлин Иван Федорович рассказал много интересного о жизни и быте германского рабочего класса. Охотно делился Тевосян своими интересными и, как оказалось впоследствии, весьма верными выводами относительно положения в тогдашней Германии. Он утверждал, что фашистская пропаганда, обещавшая раздел несметных богатств при захвате чужих земель, и те подачки, которые гитлеровское правительство бросало разным слоям немецкого населения, находили отклик среди значительных кругов мелкой буржуазии и даже среди наименее сознательных слоев рабочего класса. Касаясь отношений гитлеровцев к СССР, он заверял, что все военные помыслы Гитлера прямо направлены на восток и что вопрос о нашем военном конфликте с Германией — дело ближайшего времени.

И в дни поездки и впоследствии я имел возможность не раз оценить высокие деловые и человеческие качества Тевосяна, его заражавшее всех трудолюбие, умение работать с людьми, его организаторские способности. Оставаясь до 1953 года министром черной металлургии, Тевосян с 1949 года был, кроме того, заместителем Председателя Совмина СССР. Дел ему хватало. Но я не помню ни одного случая, когда правильно поставленный перед ним вопрос не получил бы быстрого и должного разрешения. Заслуги Ивана Федоровича в развитии отечественной металлургии, в обеспечении Советской Армии необходимым вооружением и техникой, в организации победы над фашизмом высоко оценены Советским правительством.

Все члены делегации вынесли общее впечатление от поездки: Советский Союз должен быть как никогда готов к отражению фашистской агрессии...

В декабре 1940 года состоялось Всеармейское совещание руководящего состава. В конце декабря провели и оперативно-стратегическую игру, к участию в которой привлекли наиболее ответственных лиц из этого состава. На самом высоком уровне, в Кремле, подводились итоги совещания и разбор игры. Я в этих важных мероприятиях не смог участвовать, так как с конца ноября серьезно болел. Вступил в строй в феврале 1941 года, как раз в тот день, когда вместо К. А. Мерецкова пост начальника Генштаба занял генерал армии Г. К. Жуков.



Я очень хорошо знаю Георгия Константиновича. На протяжении ряда лет он был моим близким коллегой. Во время Великой Отечественной войны мы провели вместе не одну бессонную ночь; не раз, сидя рядом, сообщая размышляли о неотложных мероприятиях государственного значения; разрабатывали вдвоем и с привлечением других лиц десятки операций различного масштаба. Г. К. Жуков широко известен советскому народу, поэтому вряд ли я сумею добавить что-нибудь к общераспространенной и в основном справедливой его характеристике. Могу лишь подчеркнуть: один из самых выдающихся советских полководцев, крупный военный талант и стратег. Обладая качествами незаурядного военачальника, он и на посту руководителя Генерального штаба, конечно, делал много полезного. Но наиболее полно его талант раскрылся в ходе стратегических сражений...

Всю первую половину 1941 года Генштаб работал с неослабевающим напряжением. Еще и еще раз анализировались операции первых лет второй мировой войны и принципы их проведения. Глубоко изучались как наступательные операции, так и вопросы стратегической обороны. В директивах наркома обороны руководящему составу Красной Армии одновременно с задачами по отработке наступательных операций обязательно, причем конкретно и подробно, ставились задачи и по оборонительным операциям. В качестве практических мероприятий предусматривалось проведение зимой в каждой армии и округе армейского предназначения оперативной игры на тему армейской оборонительной операции, а в штабах округов фронтового предназначения — фронтовой оборонительной операции. Летом армии и округа осуществляли на тех же основаниях армейские или фронтовые двусторонние полевые поездки. Основной, конечно, была наступающая сторона, а противоположная решала задачи оборонительного характера.

Однако нельзя не сказать при этом, что правильная в принципе установка на то, чтобы вести войну на территории агрессора и что при нападении врага на СССР боевые действия советских войск должны быть до предела решительными, кое-где пропагандировалась неумно; это способствовало распространению иллюзий легкой победы в войне.

С февраля 1941 года Германия начала переброску войск к советским границам. Поступавшие в Генеральный штаб, Наркомат обороны и Наркомат иностранных дел данные тем более свидетельствовали о непосредственной угрозе агрессии.

В этих условиях Генштаб в целом и наше Оперативное управление вносили коррективы в разработанный в течение осени и зимы 1940 года оперативный план сосредоточения и развертывания Вооруженных Сил для отражения нападения врага с запада. План предусматривал, что военные действия начнутся с отражения ударов нападающего врага, что самые эти удары сразу же разыграются в виде крупных воздушных сражений, с попыток противника обезвредить наши аэродромы, ослабить войсковые и особенно танковые группировки, подорвать тыловые войсковые объекты, нанести ущерб железнодорожным станциям и прифронтовым крупным городам. С нашей стороны предусматривалась необходимость силами всей авиации сорвать попытки врага завоевать господство в воздухе и нанести, в свою очередь, решительные удары с воздуха по нему. Одновременно ожидалось нападение на наши границы наземных войск с крупными танковыми группировками, во время которого наши стрелковые войска и укрепленные районы приграничных военных округов совместно с пограничными войсками будут обязаны сдерживать первый натиск, а механизированные корпуса, опирающиеся на противотанковые рубежи, своими контрударами вместе со стрелковыми войсками должны будут ликвидировать вклинившиеся в нашу оборону группировки и создать благоприятную обстановку для перехода советских войск в решительное наступление. К началу вражеского наступления предусматривался выход на территорию приграничных округов войск, подаваемых из глубины СССР. Имелось также в виду, что наши войска вступят в войну во всех случаях в полной мере из готовившимися и в составе предусмотренных планом группировок, что отобилизование и сосредоточение войск будет произведено заблаговременно.

Оперативный план отражения агрессии был тщательно увязан с мобилизационным планом Красной Армии и страны в целом; отработаны расчеты и графики по перевозке войск и всего необходимого для них из глубины СССР в районы сосредото-

точения и приняты должные меры для обеспечения перевозок по линии Наркомата путей сообщения. План отработали не только Генеральный штаб с соответствующими управлениями Наркомата обороны, но и командование войск приграничных военных округов. Для этой цели в феврале — апреле 1941 года в Генштаб вызывались командующие войсками, члены Военных советов, начальники штабов и оперативных отделов Ленинградского военного округа, Прибалтийского, Западного и Киевского особых военных округов. Вместе с ними намечались порядок прикрытия границы, выделение для этой цели необходимых сил и формы их использования. При этом предусматривалось, что войска эшелонов прикрытия, полностью укомплектованные по штатам военного времени, развернутся на подготовленных оборонительных рубежах вдоль границы к началу действий врага и вместе с укрепленными районами и пограничными войсками смогут в случае крайней необходимости прикрыть от мобилизации войск второго эшелона приграничных округов, которым по мобилизационному плану отводили для этого от нескольких часов до одних суток.

В связи с возрастающей угрозой агрессии со стороны фашистской Германии Наркомат обороны и Генеральный штаб не только вносили коррективы в разработанные оперативный и мобилизационный планы для отражения возможного нападения на нашу страну, но и по указаниям ЦК партии и правительства проводили в жизнь целый ряд очень важных мероприятий из этих планов с целью усиления обороноспособности наших западных границ. Так, с середины мая 1941 года, по директивам Генерального штаба, началось выдвижение ряда армий — всего до 28 дивизий из внутренних округов в приграничные, что и явилось началом выполнения плана сосредоточения и развертывания советских войск на западных границах. В начале июня 1941 года на учебные сборы было призвано из запаса около 800 тысяч человек, и всех их направили на пополнение войск приграничных западных военных округов и их укрепленных районов. Центральный Комитет партии и Советское правительство проводили ряд и других серьезнейших мероприятий в целях дальнейшего повышения боевой готовности и боеспособности Вооруженных Сил, по развитию военно-промышленной базы, по укреплению обороноспособности страны в целом. К середине 1941 года общая численность армии и флота достигла более 5 миллионов человек и была в 2,8 раза больше, чем в 1939 году. Однако полностью провести в жизнь и завершить намеченные мобилизационные и организационные мероприятия не удалось. Сказалась здесь и просчет в оценке возможного времени нападения гитлеровской Германии на нашу страну, да и экономические возможности страны не позволили выполнить их в сроки, отведенные нам историей. Сыграли, конечно, в этом свою роль и недочеты, которые допустило военное руководство при планировании и в практическом осуществлении этих мероприятий.

Отмобилизование, сосредоточение и развертывание Советских Вооруженных Сил осуществлялось уже после того, как большинство районов, предназначенных для этого в приграничных округах, занял враг. Сосредоточивавшиеся войска вынуждены были в большинстве случаев выгружаться при непредвиденных обстоятельствах.

Из-за недочетов в планировании и в практическом осуществлении мероприятий, а также из-за недостатка времени далеко не полностью удалось подготовить новые приграничные районы к обороне.

### ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ...

О том, сколь много удалось сделать Советской стране в годы и месяцы, непосредственно предшествовавшие войне, свидетельствовали и невиданные в мире успехи в области экономики, и мудрые шаги во внешней политике. Народ, руководимый партией, не терял времени зря: укреплял обороноспособность родины, готовился к неизбежной схватке с врагом. Но, как и всякое большое несчастье, война обрушилась внезапно, фашистские орды вероломно вторглись на нашу землю...

В мае — июне 1941 года по железной дороге на рубеж рек Западная Двина и Днепр были переброшены 19-я, 21-я и 22-я армии из Северокавказского, Приволжско-

го и Уральского военных округов, 25-й стрелковый корпус из Харьковского военного округа, а также 16-я армия из Забайкальского военного округа на Украину, в состав Киевского особого военного округа. 27 мая Генштаб дал западным приграничным округам указание о строительстве в срочном порядке полевых фронтовых командных пунктов, а 19 июня — вывести на них фронтовые управления Прибалтийского, Западного и Киевского Особых военных округов. Управление Одесского округа по ходатайству окружного командования добилось такого разрешения ранее. 12—15 июня эти округа получили приказ вывести дивизии, расположенные в глубине округа, ближе к государственной границе, а 19 июня — замаскировать аэродромы, воинские части, парки, склады и базы и рассредоточить самолеты на аэродромах.

В Генеральный штаб от оперативных отделов западных приграничных округов и армий непрерывно шли донесения одно другого тревожнее. Сосредоточение немецких войск у наших границ закончено. Противник на ряде участков границы приступил к разборке поставленных им ранее проволочных заграждений и к разминированию полос на местности, явно готовя проходы для своих войск к нашим позициям. Крупные танковые группировки немцев выводятся в исходные районы. Ночами ясно слышен шум массы танковых двигателей.

Все работники нашего Оперативного управления без каких-либо приказов сверху почти безотлучно находились на своих служебных местах.

В первом часу ночи с 21 на 22 июня нас обязали в срочном порядке передать постушившую от начальника Генерального штаба Г. К. Жукова подписанную наркомом обороны и им директиву командованиям Ленинградского, Прибалтийского Особого, Западного Особого, Киевского Особого и Одесского военных округов. В директиве говорилось, что в течение 22—23 июня возможно внезапное нападение немецких войск на фронтах этих округов. Указывалось, что нападение может начаться с провокационных действий, поэтому задача наших войск — не поддаваться ни на какие провокации, которые могли бы вызвать крупные осложнения. Однако далее подчеркивалась необходимость округам быть в полной боевой готовности встретить возможный внезапный удар противника. Директива обязывала командующих войсками: а) в течение ночи на 22 июня скрытно занять огневые точки укрепленных районов на государственной границе; б) перед рассветом рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать; в) все части привести в боевую готовность, войска держать рассредоточенно и замаскированно; г) противовоздушную оборону привести в боевую готовность без дополнительного подъема приписного состава, подготовить все мероприятия по затемнению городов и объектов. Никаких других мероприятий без особых распоряжений директива не предусматривала. В 00.30 минут 22 июня 1941 года ее направили в округа.

В роковую ночь начала войны командование приграничных округов держало непрерывную связь с руководством Наркомата обороны и Генеральным штабом. В 4 часа с минутами нам стало известно от оперативных органов окружных штабов о бомбардировке немецкой авиацией наших аэродромов и городов. Одновременно или несколько ранее эти данные стали известны руководству Наркомата обороны и почти тут же Советскому правительству. Тогда же отборные фашистские орды, обладавшие двухлетним опытом ведения современной войны, обрушились на наши пограничные войска и войска прикрытия.

Так началась Великая Отечественная война. На всем протяжении границы от Баренцева до Черного моря вскоре завязалась ожесточенная и кровопролитная борьба.

Руководство Вооруженными Силами СССР с 22 июня 1941 года осуществлялось Главным военным советом. В тот же день Прибалтийский, Западный и Киевский Особые военные округа были преобразованы соответственно в Северо-Западный, Западный и Юго-Западный фронты, а Одесский — в 9-ю армию. 24 июня Ленинградский округ преобразовали в Северный фронт. 25 июня на базе управления Московского военного округа, переброшенного на юг, образовали Южный фронт.

23 июня была организована Ставка Главного Командования в составе наркома обороны Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (председатель), начальника Генерального штаба генерала армии Г. К. Жукова, Председателя Совнаркома СССР И. В. Сталина, его первого заместителя В. М. Молотова, маршалов К. Е. Ворошилова,

С. М. Буденного и наркома Военно-Морского Флота адмирала Н. Г. Кузнецова. Одновременно при Ставке создали институт постоянных советников в составе Н. Ф. Ватутина, Н. А. Вознесенского, Н. Н. Воронова, А. А. Жданова, П. Ф. Жигарева, Г. И. Кулика, К. А. Мерецкова, А. И. Микояна, Б. М. Шапошникова и других военных, партийных и государственных деятелей. В тот же день Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение об организации Советского информационного бюро. Подготовку правительственных сообщений о событиях на фронтах руководство Генерального штаба возложило на начальника Разведывательного управления генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова и на меня. 30 июня Президиум Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР создали Государственный Комитет Обороны (ГКО) под председательством И. В. Сталина.

По указанию Ставки в помощь командованию фронтов из центрального аппарата Наркомата обороны направили группу ответственных работников. От Генерального штаба: первого заместителя его начальника генерал-лейтенанта Н. Ф. Ватутина — на Северо-Западный фронт, где вскоре он был назначен начальником штаба этого фронта; заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта В. Д. Соколовского и начальника Оперативного управления генерал-лейтенанта Г. К. Маладина с группой работников этого управления — на Западный фронт. Вместо Маладина начальником Оперативного управления стал состоявший для особо важных поручений при наркоме обороны генерал-лейтенант В. М. Злобин. А начальник Генштаба генерал армии Г. К. Жуков с вечера 22 июня до 27 июня по приказанию И. В. Сталина находился на Юго-Западном фронте. В первый же день войны на Западный фронт отбыли заместители наркома обороны маршалы Б. М. Шапошников и Г. И. Кулик.

В те дни, когда обрвалась мирная жизнь нашей страны, сразу все помыслы обрattились к одной общей для всех цели: выдержать, выстоять, как бы ни было трудно.

Мы знали, что враг силен и беспощаден. Но каждый из нас — и военных руководителей и рядовых тружеников — ни на минуту не сомневался в победе. Даже в самые мрачные времена. Глубокая вера в силу социалистического строя, Советского государства, в мудрость Коммунистической партии, любовь к своей родине укрепляли нашу волю к победе.

Да, многое мы не успели завершить, многое упустили, не предусмотрели. Нельзя все списывать только на время. И теперь, когда враг топтал нашу священную землю, мы, стиснув зубы, делали срочные выводы из горьких уроков...

Наше Оперативное управление превратилось в некий улей, куда прилетавшие с линии фронта «пчелы» доставляли информацию, подлежащую немедленной обработке. Информация распределялась по трем отделам, сложившимся соответственно трем главным направлениям боевых действий: северо-западному, западному и юго-западному. Не переставая работали «бодо» — телеграфные аппараты, отправлявшие сразу несколько телеграмм по встречным курсам. Бывшие окружные штабы, а ныне фронтовые управления, слали нам донесения. Мы передавали распоряжения центра в войска. Людей не хватало. Главная работа сосредоточилась в большом зале, куда стянули основные кадры, обслуживавшие связь с войсками. Всюду карты — географические и топографические, разных масштабов и предназначений. Непрерывные донесения: телеграфные или самолетами связи, самолетами-разведчиками. Информация, как можно более полная и точная, необходима как воздух. Что происходит на фронтах, где находятся войска — наши и вражеские, на каком рубеже идут бои? Куда направить подкрепления, где и какая необходима боевая техника?

Лишь бы не сбиться с ритма, не опоздать, вовремя дать сведения Ставке...

Генеральный штаб в целом постепенно превращался в рабочий орган Ставки. Никакого другого своего специального аппарата для этой цели она не имела. Генштаб поставил нужную информацию, обрабатывал ее и готовил предложения, на основе которых Ставка давала затем директивы. Сначала И. В. Сталин высказывал резкое неодобрение деятельностью Генштаба. Система обслуживания Ставки только еще вырабатывалась. Чем дальше, тем слаженнее и согласованнее трудились оба этих органа, хотя идеальной гармонии, вероятно, никогда не было. Но разве возможна она на войне?

Вызывая к себе то одно, то другое ответственное лицо как с фронта, так и из

тыла, Верховный Главнокомандующий требовал исчерпывающих сведений по любому обсуждавшемуся вопросу и, получив таковые, иногда спрашивал совета, а иногда сразу решал сам. Спокойно и неторопливо, но чрезвычайно внушительно и авторитетно, отдавая четкие распоряжения без единого лишнего слова. Взвалив на свои плечи огромную ношу, И. В. Сталин не щадил себя, не щадил и других. В годы Великой Отечественной войны, как, пожалуй, ни в какое иное время, проявилось в полной степени самое сильное качество И. В. Сталина: он был отличным организатором. А организаторские способности играли тогда, конечно, огромную роль, ибо непосредственно от них зависело принятие верного оперативного плана, обеспечение фронта и тыла материальными и людскими ресурсами, действия с учетом перспективы длительной и тяжелой войны.

Возглавляя одновременно Государственный Комитет Обороны, Центральный Комитет партии, Советское правительство, Верховное Главнокомандование, Сталин изо дня в день очень внимательно следил за всеми изменениями во фронтовой обстановке, был в курсе всех основных событий, происходивших в народном хозяйстве страны. Он отлично знал руководящие кадры, очень умело использовал их при решении очередных и перспективных задач, получая от них все полезное, что они могли дать, каждый по специальности.

Первоначальные неудачи Красной Армии показывали многих командиров в невыгодном свете. Не все, конечно, зависело от них, и многое объяснялось сложнейшими объективными трудностями. Порой человек даже с выдающимися военными способностями не мог проявить их в должной мере. Но Сталин не делал никакой уступки и во всех случаях требовал срочной замены. Перемещения касались всего аппарата Наркомата обороны, Генерального штаба и руководства войсками.

В конце первой декады боевых действий командующий Западным фронтом генерал армии Д. Г. Павлов и его начальник штаба генерал-майор В. Е. Климовских были сняты с занимаемых должностей. Командующим войсками этого фронта назначили Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, начальником штаба — генерал-лейтенанта Г. К. Маландина, потом Маршала Советского Союза Б. М. Шапошникова, а затем генерал-лейтенанта В. Д. Соколовского. 10 июля ГКО преобразовал Ставку Главного Командования в Ставку Верховного Командования под руководством И. В. Сталина. В нее вошли В. М. Молотов, С. К. Тимошенко, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников, Г. К. Жуков.

Для координации действий фронтов, флотов и для объединения усилий войск на основных стратегических направлениях решением ГКО было образовано три главных командования: Северо-Западное (главнокомандующий — Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов, член Военного совета — А. А. Жданов, начальник штаба — генерал-майор М. В. Захаров, с подчинением этому направлению Северного и Северо-Западного фронтов, Северного и Балтийского флотов), Западное (главнокомандующий — Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, член Военного совета — Н. А. Булганин, начальник штаба — генерал-лейтенант Г. К. Маландин, с подчинением Западного фронта и Пинской военной флотилии) и Юго-Западное (главнокомандующий — Маршал Советского Союза С. М. Буденный, член Военного совета — Н. С. Хрущев (последний — с 5 августа 1941 г.), начальник штаба — генерал-майор А. П. Покровский, с подчинением Юго-Западного, Южного фронтов и Черноморского флота).

19 июля И. В. Сталин назначается народным комиссаром обороны, а 8 августа 1941 года — Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами СССР. Именно с этого дня высший орган стратегического руководства стал именоваться Ставкой Верховного Главнокомандования. Одновременно шла реорганизация Наркомата обороны, направленная на то, чтобы более четко, в соответствии с требованиями военного времени определить функции всех его органов.

Хочу несколько подробнее остановиться на работе Ставки. Это намерение вызвано многочисленными просьбами, высказанными авторами писем ко мне, а также тем, что в нашей литературе, как мне кажется, недостаточно четко освещена эта тема. Некоторые товарищи настойчиво просят у меня фотоснимки хотя бы одного из заседаний Ставки. Мой ответ, что таких снимков вообще не существует, что их не было и быть не могло, вызывает недоумение, а может быть, у некоторых и обиду.

Итак, была ли Ставка постоянно действующим органом при Верховном Главнокомандующем? Да. Была. Но при этом надо представить себе, что работа ее стрсилась по-особому. Верховный Главнокомандующий для выработки того или иного оперативно-стратегического решения или для рассмотрения других важных проблем, касающихся ведения вооруженной борьбы, вызывал к себе ответственных лиц, имевших непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу,— тут могли быть члены и не члены Ставки, но почти всегда здесь при участии всех или некоторых лиц из состава Политбюро ЦК партии и ГКО принимались необходимые решения, которые тут же и оформлялись в виде директив, приказов или отдельных распоряжений Ставки. Понимать под Ставкой орган, действующий в буквальном смысле слова постоянно при Верховном Главнокомандующем в том составе, в каком он был утвержден, нельзя. Ведь большинство из ее членов выполняло одновременно сугубо ответственные обязанности, часто находясь далеко за пределами Москвы, главным образом на фронтах. Уже говорилось, что входившие в Ставку С. К. Тимошенко был главнокомандующим Западным направлением, К. Е. Ворошилов — главнокомандующим Северо-Западным направлением, С. М. Буденный — главнокомандующим Юго-Западным направлением, Б. М. Шапошников с 21 по 29 июля был начальником штаба Западного направления. Но каждый из членов Ставки держал с Верховным Главнокомандующим постоянную связь. Сталин, зная, насколько ответственна деятельность членов Ставки по их основной должности, не считал возможным и необходимым собирать всех их в полном составе, а периодически вызывал отдельных членов Ставки, командующих войсками и членов Военных советов фронтов, независимо от того, состояли они членами Ставки или нет, для выработки, рассмотрения или утверждения того или иного решения, касающегося руководства боевой деятельностью Вооруженных Сил на данном этапе борьбы. Могу доложить, что за тридцать два — тридцать три месяца моей работы в должности начальника Генерального штаба, а в дальнейшем и в бытность членом Ставки, Ставка полностью в утвержденном ее составе при Верховном Главнокомандующем ни разу не собиралась.

На протяжении всей войны стратегические решения, направляемые в войска в виде директив Ставки, определялись и принимались высшим партийным органом — Политбюро ЦК нашей партии и Государственным Комитетом Обороны, всецело осуществлявшими руководство вооруженной борьбой и деятельностью тыла страны с привлечением в каждом отдельном случае необходимых для данной цели ответственных военных и гражданских работников.

Во всех случаях объем и задачи стратегических планов на тот или иной период, на ту или иную крупную стратегическую операцию вытекали из политических целей, определяемых высшими партийными и государственными органами, то есть Политбюро ЦК партии и Государственным Комитетом Обороны, исходя из тех реальных экономических возможностей, которые могли предоставить к тому времени усилия советских людей.

Как правило, предварительная наметка стратегического решения и план его осуществления вырабатывались у Верховного Главнокомандующего в узком кругу лиц по его усмотрению; обычно ими были некоторые из членов Политбюро ЦК и ГКО, а из военных — заместители Верховного Главнокомандующего, начальник Генерального штаба и его первый заместитель. Нередко эта работа требовала нескольких суток. В ходе этой работы Верховный Главнокомандующий, как правило, вел беседы (получал необходимые справки и советы по разрабатываемым вопросам) с командующими и членами Военных советов соответствующих фронтов, с ответственными работниками Наркомата обороны, с наркоматами, особенно руководившими той или иной отраслью военной промышленности. Огромная работа в этот период проводилась ответственными работниками Генерального штаба и Наркомата обороны. В результате всестороннего обсуждения принималось решение и утверждался план его проведения. Как правило, там же, в Кремле, отработывались соответствующие директивы фронтам и назначался день встречи Ставки с командующими фронтами, привлекаемыми к реализации намеченных операций.

При этой встрече происходили окончательные уточнения плана, устанавливались сроки проведения операций, подписывалась директива Ставки, отправляемая фронтам.

Теперь наступал самый ответственный период — подготовка войск к осуществлению задуманного плана.

Так работала Ставка при подготовке большинства крупных стратегических операций группы фронтов. Но иногда, в зависимости от обстановки, допускались и отступления от этого порядка. Так, в ряде случаев Верховный Главнокомандующий и Генеральный штаб, будучи крайне ограничены временем, вынуждены были согласовывать все вопросы с командующими фронтами в неоднократных беседах по телефону. Отступления были, но незыблемым оставалось одно: при выработке стратегических планов и при решении крупнейших экономических проблем Политбюро ЦК партии, руководство Вооруженными Силами всегда опиралось на коллективный разум. Вот почему принимаемые Верховным Главнокомандованием и коллективно выработанные стратегические решения, как правило, отвечали конкретной, складывающейся на фронтах обстановке, а требования, предъявляемые им к исполнителям, были реальными и потому правильно воспринимались командованием и войсками.

Вернусь, однако, к лету 1941 года. Первые два месяца войны я продолжал выполнять обязанности только в Генштабе. В разгар Смоленского сражения, 30 июля, чтобы надежнее прикрыть направление на Москву и создать здесь более глубокую оборону, Ставка образовала Резервный фронт. Его командующим стал Г. К. Жуков, начальником штаба фронта — генерал-майор П. И. Ляпин, которого сменил 10 августа генерал-майор А. Ф. Анисов, прежний заместитель начальника Оперативного управления Генштаба по Юго-Западному и Ближневосточному направлениям.

Начальником Генерального штаба в ночь на 30 июля вновь был назначен Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников. И. В. Сталин предпочел использовать командный опыт Г. К. Жукова непосредственно в войсках, а во главе всего штабного аппарата опять поставил того, кто в те месяцы мог, пожалуй, лучше чем кто-либо обеспечить бесперебойное и организованное его функционирование. В тот момент Ставка располагала данными, что на Северо-Западном направлении враг (его наступление здесь, хотя и с большим трудом, было временно приостановлено) спешно готовится с целью овладения Ленинградом три ударные группировки: одну — для наступления через Копорское плато, вторую — в районе Луги для удара вдоль шоссе Луга — Ленинград, третью — северо-западнее Шимска для наступления на новгородско-чудовском направлении.

30 июля для рассмотрения мероприятий, проводимых по усилению обороны Ленинграда, в Ставку вызвали главкома Северо-Западного направления К. Е. Ворошилова и члена Военного совета А. А. Жданова. В обсуждении вопроса принимал участие и Б. М. Шапошников. По возвращении из Ставки в Генштаб (около 4 часов утра 31 июля) Борис Михайлович объявил мне, что в Ставке среди других вопросов стоял вопрос об усилении аппарата командования Северо-Западного направления и что Ворошилов по окончании заседания предложил назначить меня на должность начальника его штаба. Б. М. Шапошников поинтересовался моим мнением. Я совершенно искренне считал, что если Климента Ефремовича не удовлетворял в этой должности такой способный, всесторонне подготовленный оперативный работник, как М. В. Захаров, то уж я, безусловно, вряд ли ему подойду. Б. М. Шапошников предупредил меня, что вечером Ставка вновь будет заниматься Северо-Западным направлением и что, видимо, вопрос о моем назначении будет решен. Поэтому он порекомендовал мне использовать оставшееся время для более детального изучения оперативной обстановки на этом направлении.

Весь день я просидел, погружившись в карты и бумаги. Глубокой ночью Борис Михайлович, вернувшись из Кремля, ознакомил меня с новым решением Ставки: я назначался начальником Оперативного управления и заместителем начальника Генштаба.

1 августа я приступил к исполнению обязанностей. Ставка и Генштаб помещались тогда на Кировской улице, откуда быстро и легко можно было во время бомбежки перебраться на станцию метро «Кировская», закрытую для пассажиров. От вагонной колеи ее зал отгородили и разделили на несколько частей. Важнейшими из них являлись помещения для И. В. Сталина, для генштабистов и для связистов. Както очередная воздушная тревога застала меня во время переговоров с Юго-Западным

фронтом как раз возле подземного телеграфа. Мне срочно потребовалось подняться наверх, чтобы захватить с собой некоторые документы. Возле лифта я встретил членов ГКО во главе с И. В. Сталиным. Поравнявшись со мной, Сталин, показывая на меня шедшему рядом с ним В. М. Молотову и улыбаясь, сказал: «А, вот он где, все неприятности от него», — а затем, здороваясь со мной, спросил: «Где же вы изволили все это время прятаться от нас? И куда вы идете? Ведь объявлена воздушная тревога?» Я ответил, что иду захватить необходимые для работы материалы, после чего возвращаюсь...

Эта встреча произошла до моего назначения начальником Оперативного управления и заместителем начальника Генштаба, когда я редко видел И. В. Сталина.

Начиная с 31 июля я, сопровождая Б. М. Шапошникова, ежедневно, а иногда и по несколько раз в сутки бывал у Верховного Главнокомандующего. В августовские и сентябрьские дни 1941 года эти встречи, как правило, происходили в Кремле, в кабинете И. В. Сталина. Одним из основных вопросов, который тогда решался, было формирование и сосредоточение наших главных резервов. В первой половине августа Верховное Главнокомандование и Генеральный штаб, после того как были сорваны отчаянные попытки врага овладеть Москвой лобовым ударом с ходу, полагали, что и в дальнейшем его усилия преимущественно будут направлены на первоочередной захват Москвы. При этом считалось наиболее вероятным, что противник на сей раз нанесет фланговые удары мощными танковыми группировками в обход главных сил Западного фронта и самой Москвы, с севера — через Калинин, с юга — из района Брянска, через Орел и Тулу. Поэтому в августе Ставка продолжала уделять основное внимание центральному направлению. Гитлеровское же командование, как это стало известно впоследствии, 30 июля приняло решение временно прекратить наступление на Москву, а несколько позднее, во изменение плана «Барбаросса», 2-ю танковую группу Гудериана и 2-ю полевую армию, входившие в группу армий «Центр», повернуло с московского направления на южное, чтобы нанести удар в тыл основным силам нашего Юго-Западного фронта, которые продолжали удерживать Коростеньский укрепленный район, рубеж Днепра и Киев.

Разумеется, Гитлера вынудило к тому положение на фронте.

История сохранила нам имена героев, которые первыми приняли на себя удар фашистских полчищ. Это пограничники 9-й заставы 92-го отряда, стоявшие насмерть у моста через реку Сан недалеко от Перемышля, во главе с начальником заставы лейтенантом Н. С. Слюсаревым. Это и обессмертившая себя своим героическим подвигом 13-я пограничная застава лейтенанта А. В. Лопатина 90-го Владимир-Волынского пограничного отряда.

В течение месяца защищалась Брестская крепость под командованием капитана И. Н. Зубачева и полкового комиссара Е. М. Фомина. Ныне эта крепость по справедливости считается символом стойкости и мужества советского солдата.

На море враг встретился с негнбаемой волей моряков-черноморцев и балтийцев. Фашисты, силы которых были неизмеримо больше, до июля не могли овладеть военно-морской базой Лиепая, оборону которой возглавили командир 67-й дивизии генерал Н. А. Дедаев, секретари горкома партии М. Бука и Я. Зарс.

Мы знали о подвигах и наших летчиков. Уже в начале июля Героями Советского Союза стали применившие таран летчики С. И. Заоровцов, М. П. Жуков, П. Т. Харитонов. Звания дважды Героя Советского Союза посмертно удостоен С. П. Супрун. 2 августа звание Героя Советского Союза получил старший лейтенант И. И. Иванов, совершивший в истории войны один из первых таранов в бою с немецкими бомбардировщиками.

...Первые герои. Тогда еще не были известны имена многих из них. Но они первыми преградили дорогу наглomu, привыкшему к победам агрессору. Он имел четырех- и пятикратное превосходство в силах на важнейших направлениях. Используя фактор внезапности и отсутствие сплошного фронта обороны советских войск, враг обходил узлы сопротивления наших войск и наносил им удары во фланги и с тыла. Наши части отходили.

Ставка и Генштаб не всегда имели полное представление о том, что происходило в приграничной полосе: связь с войсками систематически нарушалась. Уже к



25 июня передовые части противника углубились на сто двадцать — сто тридцать, а затем и на двести пятьдесят километров... К середине июля Красная Армия оставила Латвию, Литву, часть Эстонии, почти всю Белоруссию, Молдавию и часть Украины. Но недешево дались врагу эти успехи. Даже заниженные цифры потерь официальных немецких источников показывали 92 тысячи человек, убитых и раненых за три недели войны, а к исходу второго месяца сухопутные войска вермахта потеряли около 400 тысяч человек. Немецкие войска лишились половины своих танков и около 1300 самолетов уже к середине июля 1941 года.

Центральный Комитет партии и Советское правительство не скрывали от народа правду и призывали его напрячь все силы на борьбу с коварным врагом. Принимались срочные меры по преодолению ошибок и просчетов, мобилизации советского народа на священную войну.

К августу, несмотря на неудачи советских войск под Смоленском, мероприятия Советского командования и срыв лобового удара немецких войск на Москву, а также упорное, непрерывно возраставшее наше сопротивление на юге, особенно в районе Киева, впервые оказали серьезное влияние на всю фронтовую обстановку. В гитлеровской ставке начались серьезные дискуссии о необходимости изменения всего замысла кампании. Директивой от 30 июля фашистское командование предусматривало остановить наступление группы армий «Центр» на Москву. Несколько позже 2-я танковая группа и 2-я армия были повернуты на юг, чтобы начать там операцию по окружению советских войск к востоку от Киева.

Это решение Гитлера и верховного главнокомандования фашистской Германии ОКВ<sup>1</sup> вовсе не означало отказа их от взятия Москвы. Напротив, в меморандуме от 22 августа Гитлер указывал, что поворот на юг должен создать более благоприятные условия для взятия Москвы: «Возражение, что мы потеряем время... является несостоятельным. И после уничтожения русских войск, как и прежде угрожающих правому флангу группы армий «Центр», наступление на Москву будет провести не труднее, а легче». Этот поворот на юг был обусловлен реальной обстановкой на фронте и неудачами командующего группой армий «Юг» генерал-фельдмаршала фон Рундштедта, который не смог сломить сопротивление нашего Юго-Западного фронта. 6-я немецкая армия, действовавшая на главном направлении в полосе группы армий «Юг», оказалась неспособной выбить 5-ю армию из Коростеньского укрепрайона и овладеть Киевом, что серьезно тормозило дальнейшее развитие немецких операций, в том числе на московском направлении. Угроза правому флангу группы армий «Центр» генерал-фельдмаршала Т. фон Бока считалась в гитлеровской ставке не только реальной, но и опасной для продолжения в этих условиях удара на Москву. К тому же на севере командующий группой армий «Север» генерал-фельдмаршал В. Риттер фон Лееб не смог захватить Ленинград, что опять-таки срывало замысел по плану «Барбаросса».

В первых числах августа 1941 года во всей полосе Юго-Западного и Южного фронтов шли ожесточенные оборонительные бои. На правом крыле Юго-Западного фронта 6-я и 37-я армии, отражая отчаянное стремление фашистов овладеть Киевом, упорной обороной и непрерывными контратаками и контрударами сковали на участке Коростень — Киев 6-ю немецкую армию и часть сил 1-й танковой группы. На левом крыле фронта противник продолжал наступление в направлении Днепропетровска и Запорожья, тесня войска 6-й и 12-й армий. 2 августа главным силам 1-й танковой группы фашистов совместно с войсками 17-й армии удалось перехватить наши коммуникации, а затем в районе Умани окружить 6-ю и 12-ю армии. Тяжелая обстановка складывалась и на Южном фронте.

Ставка Верховного Главнокомандования вынуждена была чуть ли не ежедневно заниматься ходом событий на Юго-Западном направлении. Вечером 4 августа при обсуждении в Ставке фронтовой обстановки я получил указание вызвать к телеграфному аппарату для переговоров командующего Юго-Западным фронтом генерал-полковника М. П. Кирпоноса и члена Военного совета Н. С. Хрущева. Телеграфная переговорная для обслуживания Ставки в Кремле находилась в непосредственной близости от рабочей комнаты А. Н. Поскребышева, заведующего Особым

<sup>1</sup> Oberkommando der Wehrmacht. (Главнокомандование Вооруженных сил).

сектором ЦК ВКП(б) и личного секретаря И. В. Сталина. Рядом с нею была библиотека И. В. Сталина, которой пользовались мы, работники Генштаба, при обработке документов в Кремле. При телеграфных переговорах с фронтами в Кремле непосредственная работа на аппарате «бодо» возлагалась на одного из лучших специалистов этого дела в Генштабе техник-лейтенанта А. М. Викулова. В упомянутый вечер переговоры с М. П. Кирпоносом и Н. С. Хрущевым шли в присутствии некоторых членов ГКО и Б. М. Шапошникова.

И. В. Сталин начал с вопроса о целесообразности создания Военного совета при главкоме Юго-Западного направления и о включении в него Н. С. Хрущева. Затем он спросил, кого, по их мнению, назначить в таком случае членами Военных советов Юго-Западного и Южного фронтов. Назвал он при этом Л. Р. Корнийца и М. А. Бурмистенко. Затем И. В. Сталин подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы немецкие войска перешли на левый берег Днепра, и потребовал совместно с главнокомандующим этим направлением С. М. Буденным и командующим Южным фронтом И. В. Тюленевым теперь же наметить план создания крепкой оборонительной линии, проходящей приблизительно от Херсона и Каховки через Кривой Рог, Кременчуг и далее на север по Днепру, включая район Киева на правом берегу Днепра. «Если эта примерная линия обороны будет всеми вами одобрена,— говорил И. В. Сталин,— нужно теперь же начать бешеную работу по организации линии обороны и удержанию ее во что бы то ни стало. Хорошо было бы в этих целях теперь же подвести к этой оборонительной линии новые дивизии с тыла, устроить артиллерийскую оборону, устроить окопы и основательно зарыться в землю. Если бы это было вами сделано,— продолжал Сталин,— то вы могли бы принять на этой линии отходящие усталые войска, дать им оправиться, выспаться, а на смену держать свежие части». (Имелись в виду не только новые стрелковые дивизии, но и новые кавалерийские дивизии в пешем строю.)

Кирпонос и Хрущев доложили, что ими приняты все меры к тому, чтобы не позволить противнику как перейти на левый берег Днепра, так и взять Киев. Они попросили пополнения людьми и вооружением, чтобы восстановить существующие дивизии. Они согласились также с предложением Сталина об организации нового оборонительного рубежа и пообещали немедленно приступить к его созданию. К 12 часам 5 августа они должны были представить Ставке свои окончательные соображения в связи с этим. Одновременно они доложили, что главнокомандующий Юго-Западным направлением дал им задание оказать помощь войскам 6-й и 12-й армий, готовящимся с утра 6 августа нанести удар из района Корсунь в направлении Звенигородки и Умани. Теперь они хотели уточнить, не возражает ли против этого Ставка, так как они усиленно готовятся к выполнению этого задания.

Сталин ответил, что Ставка не только не будет возражать, а, наоборот, приветствует наступление, имеющее своей целью соединиться с Южным фронтом и вывести на простор наши две армии. При этом он заметил, что считает директиву главкома Юго-Западного направления дельной, однако настаивает на создании предложенной линии обороны, ибо на войне надо рассчитывать не только на хорошее, но и на плохое и даже на худшее. Это единственное средство не попадать впросак. В заключение Сталин сказал, что примет все меры для того, чтобы оказать Юго-Западному фронту помощь, но в то же время просил их рассчитывать в этом вопросе больше на себя. «Было бы неразумно думать,— говорил он,— что вам подадут все в готовом виде со стороны. Учитесь сами снабжать и пополнять себя. Создайте при армиях запасные части, приспособьте некоторые заводы к производству винтовок, пулеметов, пошевеливайтесь как следует, и вы увидите, что можно многое создать для фронта в самой Украине. Так поступает в настоящее время Ленинград, используя свои машиностроительные базы; и он во многом успевает, имеет уже большие успехи. Украина могла бы сделать то же самое. Ленинград успел уже наладить производство зресов. Это очень эффективное оружие типа миномета, которое буквально крошит врага. Почему бы и вам не заняться этим делом?»

Кирпонос и Хрущев передали: «Товарищ Сталин, все ваши указания будут нами проводиться в жизнь. К сожалению, мы не знакомы с устройством зресов. Просим вашего приказа выслать нам один образец зреса с чертежами, и мы организуем у

себя производство». Последовал ответ: «Чертежи есть у ваших людей и образцы имеются давно. Но виновата ваша невнимательность к этому серьезному делу. Хорошо, я вышлю вам батарею эресов, чертежи и инструкторов по производству... Всего хорошего, желаю успеха».

5 августа во время телеграфных переговоров начальник штаба Юго-Западного направления генерал-майор А. П. Покровский передал мне для доклада Ставке просьбу главкома направления С. М. Буденного разрешить ему в связи со сложившейся обстановкой отвести войска Южного фронта на линию реки Ингул. Я доложил эту просьбу начальнику Генштаба Б. М. Шапошникову, а тот — Верховному Главнокомандующему. Нам обоим приказали немедленно явиться в Ставку. Верховный Главнокомандующий продиктовал нам директиву, которую мы должны были срочно передать главкому Юго-Западного направления и командующему Южным фронтом. В директиве указывалось, что Ставка не может согласиться с предложением Буденного об отводе войск Южного фронта на линию реки Ингул и приказывает при отводе войск занять линию от восточного берега Днестровского лимана до Беляевки, от Беляевки на Березовку, Вознесенск и далее на Кировоград, Чигирин. При этом указывалось, что отводить войска следует в ночное время, этапами, прикрываясь сильными аррьергардными боями, и закончить отвод не позже 10 августа. Требовалось также Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности, привлекая на помощь Черноморский флот. Далее в директиве разъяснялось, что указанную в ней линию отвода никак нельзя смешивать с оборонительной линией, о которой 4 августа И. В. Сталин говорил с Кирпоносом и Хрущевым. Линия отвода должна проходить на сто — сто пятьдесят километров западнее оборонительной линии. Б. М. Шапошников получил приказ связаться с Буденным по телеграфу и лично разъяснить ему содержание передаваемой директивы Ставки. Буденный же сообщил Шапошникову, что утром 5 августа противник, продолжая наступление, овладел районом Кировограда...

8 августа 2-я армия и 2-я танковая группа фашистов перешли в наступление в направлениях Могилев — Гомель и Рославль — Стародуб против войск Центрального фронта, прикрывавших брянское, гомельское и черниговское направления. Было очевидно, что враг стремится выйти во фланг и тыл войскам Юго-Западного фронта. Начались ожесточенные бои. Особенно сильный удар наносил противник по войскам 21-й армии. До пяти фашистских пехотных дивизий стремились здесь развить наступление на Гомель и не менее трех дивизий начали 12 августа форсирование Днепра южнее Жлобина. С целью ликвидации угрозы, нависшей над войсками Центрального и правого крыла Юго-Западного фронта с севера, и прикрытия направления на Брянск, 14 августа Ставка приняла решение образовать Брянский фронт в составе 13-й и 50-й армий. Командующим фронтом был назначен генерал-лейтенант А. И. Еременко, членом Военного совета — дивизионный комиссар П. И. Мазепов, начальником штаба — генерал-майор Г. Ф. Захаров. Мне приказали обязать А. И. Еременко к вечеру того же числа прибыть в Ставку для получения указаний по новой должности лично от Верховного Главнокомандующего. При этой встрече в кремлевском кабинете И. В. Сталина, кроме него самого и некоторых членов ГКО, присутствовали Б. М. Шапошников и я. Тогда я впервые увидел генерала Еременко. В какой мере знали его ранее И. В. Сталин и члены ГКО, мне неизвестно.

Верховный Главнокомандующий весьма тепло и радушно встретил Андрея Ивановича, расспросил его о здоровье, заинтересовался впечатлениями о противнике, мнением об основных причинах наших серьезных неудач на фронте. А. И. Еременко держался с большим достоинством, очень находчиво отвечал на все вопросы. Да, сказал он, враг, безусловно, очень силен и сильнее, чем мы ожидали, но бить его, конечно, можно, а пороку и не так-то уж сложно. Надо лишь уметь это делать. Спесь врага за последнее время стала далеко не той, какой была в первые недели войны. При этом Еременко сослался на ряд боевых эпизодов на Западном фронте, участником которых ему пришлось быть.

И. В. Сталин кратко, но четко обрисовал в целом сложившуюся на советско-германском фронте обстановку, особенно внимательно остановившись при этом на Западном и Юго-Западном направлениях. Поделился он вкратце своим мнением и об оценке врага, и о том, чего можно ожидать от него в недалеком будущем. Он заме-

тил, что вероятнее всего противник и в дальнейшем свои основные усилия направит на взятие Москвы, нанося главные удары крупными танковыми группировками на флангах — с севера через Калинин и с юга через Брянск, Орел. Для этой цели фашисты на брянском направлении в качестве основной ударной группировки держат 2-ю танковую группу Гудериана. Это направление для нас является сейчас наиболее опасным еще и потому, что оно прикрывается растянутым на большом участке и слабым по своему составу Центральным фронтом.

Сказал Сталин и о том, что хотя возможность использования группы Гудериана для флангового удара по правофланговым войскам Юго-Западного фронта маловероятна, но опасаться этого все же надо. Исходя из всего этого, говорил Сталин, основная и обязательная задача войск Брянского фронта состоит в том, чтобы не только надежно прикрыть брянское направление, но во что бы то ни стало своевременно разбить главные силы Гудериана. Тут же определили состав войск Брянского фронта: вновь формируемая 50-я армия, командующим которой назначался генерал-майор М. П. Петров (восемь стрелковых и одна кавалерийская дивизии), 13-я армия (командующий — генерал-майор К. Д. Голубев; семь стрелковых, одна танковая, две кавалерийские дивизии и две бригады 4-го воздушно-десантного корпуса); три стрелковые и одна кавалерийская дивизии будут находиться в резерве фронта.

Выслушав Сталина, вновь назначенный командующий Брянским фронтом очень уверенно заявил, что «в ближайшие же дни и безусловно» разгромит Гудериана... «Вот тот человек, который нам нужен в этих сложных условиях», — бросил Сталин вслед выходящему из его кабинета Еременко...

В последующие дни оперативно-стратегическая обстановка на Юго-Западном направлении продолжала быстро осложняться. Войска Южного фронта, ведя ожесточенные бои, 15 августа оставили Кривой Рог, а 17 августа Николаев. 16 августа войска Брянского фронта тоже вступили в тяжелые оборонительные бои против 2-й танковой группы и 2-й армии фашистов, наносивших удар на Конотоп и Чернигов. В Генштабе поняли, что командующий Брянским фронтом явно поторопился со своими заверениями. С каждым часом нарастала угроза правому крылу Юго-Западного фронта и особенно его 5-й армии, продолжавшей оборонять Корсуньский укрепленный район. 17 августа Б. М. Шапошников и я решили при докладе Верховному поставить вопрос об отводе войск правого крыла Юго-Западного фронта на левый берег Днепра. Сталин был уверен, что если Еременко и не разобьет 2-ю танковую группу фашистов, то, во всяком случае, задержит ее, не выпустит на юг, и отклонил наше предложение.

19 августа Г. К. Жуков, являясь членом Ставки и будучи командующим Резервным фронтом, направил Верховному Главнокомандующему следующий документ: «Противник, убедившись в сосредоточении крупных сил наших войск на путях к Москве, имея на своих флангах Центральный фронт и великолукскую группировку наших войск, временно отказался от удара на Москву и, перейдя к активной обороне против Западного и Резервного фронтов, все свои ударные подвижные и танковые части бросил против Центрального, Юго-Западного и Южного фронтов. Возможный замысел противника: разгромить Центральный фронт и, выйдя в район Чернигов, Конотоп, Прилуки, ударом с тыла разгромить армии Юго-Западного фронта. После чего — главный удар на Москву в обход Брянских лесов и удар на Донбасс. Я считаю, что противник очень хорошо знает всю систему нашей обороны, всю оперативно-стратегическую группировку наших сил и знает ближайшие наши возможности... Для противодействия противнику и недопущения разгрома Центрального фронта и выхода противника на тылы Юго-Западного фронта считаю своим долгом доложить свои соображения о необходимости как можно скорее собрать крепкую группировку в районе Глухов, Чернигов, Конотоп. Эшелон прикрития сосредоточения сейчас же выбросить на р. Десна...<sup>2</sup>.

В тот же день Ставка в ответе Г. К. Жукову сообщила, что его соображения насчет вероятного продвижения немецких войск в сторону Чернигов — Конотоп — Прилуки считает правильными. «Продвижение немцев... будет означать обход нашей киевской группы с восточного берега Днепра и окружение наших 3-й и 21-й армий... В пред-

<sup>2</sup> Архив МО СССР, ф.219, оп. 178510, д. 29, л. 1-8.

видении такого нежелательного казуса и для его предупреждения создан Брянский фронт во главе с Еременко. Принимаются и другие меры, о которых сообщим особо»<sup>3</sup>.

Вслед за этим Шапошников и я под диктовку Сталина записали следующую директиву в адрес главкома Юго-Западного направления Буденного, члена Военного совета Хрущева и начштаба Покровского (копии — командирующему Юго-Западным фронтом и командирующему Южным фронтом). Приведу выдержки из этой важной директивы:

«1. Противник сосредоточил превосходные силы на Украине, имея целью овладеть Киевом и Одессой, занять всю Правобережную Украину и нанести отдельные поражения нашим войскам. Упорно обороняющиеся наши части заставили противника понести тяжелые потери под Киевом, Каневом, Черкассами и Одессой... Создавая из Правобережной Украины плацдарм для дальнейшего наступления, противник, по-видимому, поведет его: а) в обход Киева с севера и юга с целью овладения Киевом и выхода в район Чернигов, Конотоп, Пирятин, Черкассы; б) в направлении Кременчуг, Полтава, Харьков; в) с фронта Кременчуг, Николаев на восток для захвата Донбасса и Северного Кавказа; г) на Крым и Одессу... 3. На Юго-Западный и Южный фронты возлагаются задачи: упорно обороняясь за р. Днепр по восточному его берегу от Лоев иск. до устья, прочно удерживать Киевский и Днепровский районы, тет-де-пон (предмостное укрепление.— *Рег.*) у Берислава, Днепровский лиман и прикрыть с суши и воздуха Левобережную Украину, Донбасс и Северный Кавказ. 4. Юго-Западный фронт в составе: 29 стр. дивизий, 5 мотодивизий, 3-х танковых дивизий и кавалерийских дивизий. Задача — обороняясь за р. Днепр по восточному его берегу от Лоев иск. до Переволочная, во что бы то ни стало удерживать за собой Киев и прочно прикрыть направления на Чернигов, Конотоп и Харьков. При занятии новой оборонительной линии выделить в резерв фронта не менее 8 стрелковых дивизий... Штаб фронта — Прилуки. 5. Южный фронт в составе: 20 стр. дивизий, 1 танковой и кавалерийских дивизий. Задачи — обороняясь по восточному берегу р. Днепр от Переволочная до устья и на тет-де-понах у Днепропетровска, Херсона, Берислава, не допустить противника на восточный берег р. Днепр и прочно прикрыть Днепропетровск, Запорожье и Херсон. Во фронтовом резерве иметь не менее пяти стр. дивизий... Штаб фронта — ст. Синельниково...»<sup>4</sup>.

Таким образом, этой директивой Ставка разрешила Юго-Западному фронту ответить войска 5-й армии за Днепр и в то же время требовала во что бы то ни стало удерживать Киев. 20 августа из телеграфных переговоров с начальником оперативного отдела штаба Брянского фронта полковником Аргуновым Генеральному штабу стало известно, что в течение предыдущих суток в районе Унечи шел сильный бой 45-го стрелкового корпуса 13-й армии с окружившими его войсками противника. Корпус должен был нанести удар по коммуникациям врага между Мглином и Унечей, прорваться и, выйдя из окружения, занять фронт по линии Ветлипка, Павловка. Из донесения командарма 13-й К. Д. Голубева известно, что части корпуса к полудню 20 августа прорвались в район Шамочки. Истинное положение и состояние корпуса, других соединений и частей армии уточняется. Но известно, что войска 13-й армии в предыдущих боях и в боях в районе Унечи понесли большие потери в людях и материальной части. Сейчас 13-я армия имеет задачу отойти и занять оборону по реке Судость<sup>5</sup>.

Итак, ситуация продолжала ухудшаться. Наши попытки убедить Сталина в том, что нависла очень серьезная угроза всему правому крылу и тылу Юго-Западного фронта с севера, привели лишь к тому, что нам было предложено в связи с обстановкой у Стародуба и образовавшимся разрывом между правифланговой 21-й армией Центрального фронта и левифланговой 13-й армией Брянского фронта разрешить командирующему Центральным фронтом отвести 21-ю армию на фронт Лумки, Новое Место и далее по рекам Ипуть и Сояс до Бабовичей. При этом мы должны были особо отметить необходимость обеспечения стыка 21-й и 3-й армий. В этих целях правый фланг 3-й армии должен находиться на западном берегу реки Уза от Бабовичи исключительно до Телешей и далее на Чернов. Кроме того, за стыком нужно иметь резерв. Командующему

<sup>3</sup> Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. М. 1969, стр. 308—309.

<sup>4</sup> Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 29, лл. 52—55.

<sup>5</sup> Архив МО СССР, ф. 202, оп. 5, д. 67, л. 5.

Брянским фронтом предписывалось отвести левое крыло 13-й армии на линию Солово, Борцево, Погар и далее по реке Судость. За стыком фронтов тоже должен быть резерв<sup>6</sup>. Указания Генштаба передали 20 августа уже после 22 часов. (Должен заметить, что при описании больших операций я не могу не называть большого числа географических пунктов и военных рубежей. Видимо, в этих случаях читателю нелишне заглянуть в карту.)

Все последующие дни Ставка и Генеральный штаб занимались проблемой ликвидации опасности, нависшей с севера над Юго-Западным фронтом; они укрепляли это направление, и прежде всего Брянский фронт, своими резервами — танками, артиллерией, пополнением людьми, вооружением, привлекали сюда авиацию соседних фронтов, резерва Главного Командования и части дальнебомбардировочной авиации. 24 августа при обсуждении вопроса пришли к заключению о целесообразности объединить усилия войск, действовавших против 2-й танковой группы и 2-й немецкой армии, наступавших с севера на конотопском и гомельском направлениях, расформировав Центральный фронт, передав его войска Брянскому фронту и возложив на А. И. Еременко ответственность за ликвидацию опасной группировки врага. Прежде чем окончательно принять это решение, Верховный Главнокомандующий решил запросить мнение самого Еременко. В телеграфных переговорах с ним вместе с И. В. Сталиным и в моем присутствии принимал участие Б. М. Шапошников, уточнявший не вполне ясную к тому моменту обстановку на Брянском фронте.

Приведу несколько выдержек из разговора Верховного Главнокомандующего с Еременко.

«Сталин... — У меня есть к вам несколько вопросов. 1) Не следует ли расформировать Центральный фронт, 3-ю армию соединить с 21-й и передать в ваше распоряжение соединенную 21-ю армию?.. 3) Мы можем послать вам на днях, завтра, в крайнем случае послезавтра, две танковые бригады с некоторым количеством «КВ» в них и 2—3 танковых батальона; очень ли они нужны вам? 4) Если вы обещаете разбить подлеца Гудериана, то мы можем послать еще несколько полков авиации и несколько батарей РС. Ваш ответ?»

Еременко... — 1) Мое мнение о расформировании Центрального фронта таково: в связи с тем, что я хочу разбить Гудериана и безусловно разобью, то направление с юга нужно крепко обеспечивать. А это значит — прочно взаимодействовать с ударной группой, которая будет действовать из района Брянска. Поэтому прошу 21-ю армию, соединенную с 3-й, подчинить мне... Я очень благодарен вам, товарищ Сталин, за то, что вы укрепляете меня танками и самолетами. Прошу только ускорить их отправку, они нам очень и очень нужны. А насчет этого подлеца Гудериана, безусловно, постараемся разбить, задачу, поставленную вами, выполнить — т. е. разбить его. У меня к вам больше вопросов нет...»<sup>7</sup>.

После окончания этих переговоров в ночь на 25 августа Ставка издала подготовленную нами тут же в Кремле директиву, по которой Центральный фронт с 26 августа упразднялся. Его войска передавались Брянскому фронту. Таким образом, он имел теперь в своем составе 50-ю, 3-ю, 13-ю и 21-ю армии; управление войсками, действовавшими на брянском направлении, и войсками гомельского направления объединялось в руках командующего Брянским фронтом. Предусматривала директива и объединение войск, действовавших на гомельском и мозырском направлениях, с передачей войск 3-й армии в состав 21-й армии. По просьбе Еременко управление 3-й армии разрешалось использовать на мглинском направлении с передачей ей части дивизий из 50-й и 13-й армий. Командующий Центральным фронтом генерал-лейтенант М. Г. Ефремов назначался заместителем командующего Брянским фронтом; командующим 21-й армией стал командующий 3-й армией генерал-лейтенант В. И. Кузнецов; временно командовавшему 21-й армией генерал-майору В. Н. Гордову приказано было вернуться к исполнению своих прямых обязанностей в должности начальника штаба 21-й армии; командующим 3-й армией назначался командир 1-й мотодивизии генерал-майор Я. Г. Крейзер; командующим 13-й армией — командир 129-й дивизии генерал-майор

<sup>6</sup> Архив МО СССР, ф. 48-А оп. 1554, д. 9, лл. 345, 346.

<sup>7</sup> Архив МО СССР, ф. 96-А, оп. 2011, д. 5, лл. 45—52.

А. М. Городнянский вместо генерал-майора К. Д. Голубева, который должен был поступить в распоряжение ГКО<sup>8</sup>.

Таким образом, понимая всю сложность обстановки на Брянском фронте, Ставка Верховного Главнокомандования принимала все возможные меры помощи его войскам.

28 августа Ставка решила провести 29—31 августа воздушную операцию против 2-й танковой группы противника на брянском направлении. К операции привлекались ВВС Брянского и Резервного фронтов и авиация резерва Главного Командования. В выполнении задания должно было участвовать не менее 450 боевых самолетов. В ночь на 30 августа в адрес Еременко направили директиву, которая обязывала войска Брянского фронта перейти в наступление, уничтожить группу Гудериана и, развивая в дальнейшем наступление на Кричев, Пропойск (Славгород), к 15 сентября выйти на фронт Петровичи, Климовичи, Новозыбков, Щорс. Это означало бы крах правого фланга немецкой группы армий «Центр». Но попытка фронта выполнить эту директиву оказалась безуспешной.

2 сентября Верховный Главнокомандующий продиктовал Генеральному штабу по телефону для немедленной передачи командиру Брянским фронтом следующие указания: «Ставка все же недовольна Вашей работой. Несмотря на работу авиации и наземных частей, Почеп и Стародуб остаются в руках противника. Это значит, что вы противника чуть-чуть пощипали, но с места сдвинуть его не сумели. Ставка требует, чтобы наземные войска действовали во взаимодействии с авиацией, вышибли противника из района Стародуб, Почеп и разгромили его по-настоящему. Пока это не сделано, все разговоры о выполнении задания остаются пустыми словами. Ставка приказывает: Петрову<sup>9</sup> оставаться на месте, а всеми соединенными силами авиации способствовать решительным успехам наземных войск. Гудериан и вся его группа должна быть разбита вдребезги. Пока это не сделано, все ваши заверения об успехах не имеют никакой цены. Ждем ваших сообщений о разгроме группы Гудериана»<sup>10</sup>.

Но несмотря на все категорические требования Верховного Главнокомандующего к командованию Брянского фронта, наступательные действия последнего оказались малоэффективными. Не дала ожидаемых результатов и воздушная операция против группы Гудериана. Сопrotивление наших войск было героическим. Однако остановить врага они не смогли. Танковым соединениям врага удалось прорваться на левом фланге Брянского фронта за реку Десну. 7 сентября они вышли к Конотопу. Противник сумел активизировать свои действия во всей полосе Юго-Западного фронта за исключением киевского направления, где он тогда активности не проявлял.

Вечером 7 сентября в докладе главному Юго-Западного направления и в адрес начальника Генерального штаба Военный совет Юго-Западного фронта сообщил, что в результате сильных боев в течение 5—7 сентября обстановка на фронте еще более осложнилась. Противник сосредоточил превосходящие силы, развивает успех на конотопском, черниговском, остерском и кременчугском направлениях. Ясно обозначилась угроза окружения основной группировки 5-й армии. Фронт прилагал основные усилия на кременчугском направлении, чтобы ликвидировать здесь вражеский плацдарм. Резервов в составе фронта больше не оставалось. В связи с создавшейся обстановкой Военный совет фронта просил разрешения отвести 5-ю армию и правый фланг 37-й армии на рубеж реки Десны. Военный совет Юго-Западного направления подтвердил свое согласие с данным предложением.

Получив это тревожное донесение и обсудив его, Шапошников и я направились к Верховному Главнокомандующему с твердым намерением убедить его в необходимости немедленно отвести все войска Юго-Западного фронта за Днепр и далее на восток, то есть оставить Киев. Мы считали, что подобное решение в тот момент уже довольно запоздало и дальнейший отказ от него грозил неминуемой катастрофой для войск Юго-Западного фронта в целом. Разговор был трудный и серьезный. Сталин упрекал нас в том, что мы, как и Буденный, пошли по линии наименьшего сопротивления: вместо того чтобы бить врага, стремимся уйти от него... Итак, все оставалось, как решила Ставка.

<sup>8</sup> См. архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 29, лл. 82—83.

<sup>9</sup> Заместитель командующего ВВС Красной Армии генерал-майор авиации И. Ф. Петров.

<sup>10</sup> Архив МО СССР, ф. 132-А, оп. 2642, д. 12, лл. 31—32.

И только 9 сентября нам разрешили наконец передать командующему Юго-Западным фронтом в копии главному Юго-Западного направления следующий ответ: «Верховный Главнокомандующий санкционировал отвести 5-ю армию и правый фланг 37-й армии на реку Десна на фронте Брусилово, Воропаево, с обязательным удержанием фронта Воропаево, Тарасовичи и киевского плацдарма». Иными словами, было принято половинчатое решение. При одном упоминании о жестокой необходимости оставить Киев Сталин выходил из себя и на мгновение терял самообладание. Нам же, видимо, не хватало необходимой твердости, чтобы выдержать эти вспышки неудержимого гнева, и должного понимания всей степени нашей ответственности за неминуемую катастрофу на Юго-Западном направлении.

В тот же день в связи с тяжелым положением под Ленинградом состоялось решение Ставки о назначении командующим Ленинградским фронтом генерала армии Г. К. Жукова. Главкомом Юго-Западного направления назначался вместо С. М. Буденного С. К. Тимошенко, а командующим Западным фронтом стал командующий 19-й армией генерал-лейтенант И. С. Конев. Нам приказали вызвать Тимошенко в Ставку и продумать вместе с ним предложения по Юго-Западному фронту, чтобы затем посоветоваться с Военным советом фронта и принять окончательное решение. Разговор с Военным советом Юго-Западного фронта состоялся в присутствии Тимошенко 11 сентября. Вел переговоры с М. П. Кирпоносом непосредственно Сталин. Остановилось на основных моментах переговоров. Верховный Главнокомандующий отмечал, что отвод войск фронта в данной обстановке на восточный берег Днепра будет означать окружение наших войск, так как противник станет наступать не только со стороны Конотопа, то есть с севера, но и с юга, то есть со стороны Кременчуга, а также с запада, со стороны Днепра. «Если конотопская группа противника соединится с кременчугской группой, Вы будете окружены. Как видите, Ваши предложения о немедленном отводе войск без того, что Вы заранее подготовите рубеж на реке Псел — во-первых, и во-вторых, повести отчаянные атаки на конотопскую группу противника во взаимодействии с Брянским фронтом, — повторяю, без этих условий ваши предложения об отводе войск являются опасными и могут привести к катастрофе. Каков же выход? Выход может быть следующим. Первое. Немедля перегруппировать силы, хотя бы за счет Киевского укрепленного района и других войск, и повести отчаянные атаки на конотопскую группу противника во взаимодействии с Еременко, сосредоточить в этом районе девять десятых авиации. Товарищу Еременко уже даны соответствующие указания. Авиационную же группу Петрова мы сегодня специальным приказом передислоцировали на Харьков и подчинили Юго-Западу. Второе. Немедленно организовать оборонительный рубеж на реке Псел или где-либо по этой линии, выставив большую артиллерийскую группу фронтом на север и на запад и отведя 5—6 дивизий за этот рубеж. Третье...

Только после создания кулака против конотопской группы противника и после создания оборонительного рубежа на реке Псел — словом, после всего этого начать эвакуацию Киева. Подготовить тщательно взрыв мостов, никаких плавсредств на Днепре не оставлять, а разрушить их и по эвакуации Киева закрепиться на восточном берегу Днепра, не давая противнику прорваться на восточный берег. Четвертое: перестать наконец заниматься поисками рубежей для отступления, а искать пути сопротивления, и только сопротивления».

Кирпонос ответил: «...У нас мысли об отводе войск не было до получения предложения дать соображения об отводе войск на восток с указанием рубежей, а была лишь просьба — в связи с расширившимся фронтом до восьмисот с лишним километров усилить наш фронт резервом... Указания Ставки Верховного Главнокомандования, только что полученные по аппарату, будут немедленно проводиться в жизнь. Все». Сталин тут же сказал: «Первое: предложения об отводе войск с Юго-Западного фронта исходят от вас и от Буденного — Главкома Юго-Западного направления. Передаю выдержки из телеграммы Буденного от 11 числа: «Шопошников указал, что Ставка Верховного Командования считает отвод частей ЮЗФ на восток пока преждевременным... Если Ставка Главного Командования не имеет возможности сосредоточить в данный момент такой сильной группы, то отход для Юго-Западного фронта является вполне назревшим. Как видите, Шопошников против отвода частей, а Главком за отвод, так же как и Юго-Западный фронт стоял за немедленный отвод частей. Второе: о мерах ор-



ганизации кулака против конотопской группы противника и подготовки оборонительной линии на известном рубеже — информируйте нас систематически. Третье: Киева не оставлять и мостов не взрывать без разрешения Ставки. Все. До свидания»<sup>11</sup>.

Этот очень характерный для понимания обстановки разговор приводит в своих воспоминаниях и Г. К. Жуков. Из него ясно видно, как И. В. Сталин относился к предложению об отводе войск Юго-Западного фронта. Вплоть до 17 сентября он не только отказывался принять, но и серьезно рассмотреть предложения, поступавшие к нему от главкома этого направления, члена Ставки Г. К. Жукова, Военного совета Юго-Западного фронта и от руководства Генерального штаба. Объяснялось это, на мой взгляд, тем, что он преуменьшал угрозу окружения основных сил фронта, переоценивал возможность фронта ликвидировать угрозу собственными силами и еще больше переоценивал предпринимаемое Западным, Резервным и Брянским фронтами наступление во фланг и тыл мощной группировки врага, наносившей удар по северному крылу Юго-Западного фронта. Сталин, к сожалению, всерьез воспринял настойчивые заверения командующего Брянским фронтом А. И. Еременко в безусловной победе над группировкой Гудериана. Этого не случилось. И Б. М. Шапошников и я с самого начала считали, что Брянский фронт не располагает для этого достаточными силами. Но, видимо, тоже поддались уверениям его командующего. Незадолго до приведенного разговора Сталина с Кирпоносом в мою рабочую комнату зашел генерал армии Г. К. Жуков. Он улетал в Ленинград и хотел побеседовать об обстановке там, о войсках этого фронта. Георгий Константинович спросил меня, как я расцениваю ситуацию на Юго-Западе. Я ответил, что мы уже опоздали с отводом войск за Днепр и что в этих условиях избежать катастрофы, нависшей над Юго-Западным фронтом, удастся только в том случае, если приказ об отводе войск на рубеж реки Псел будет отдан немедленно. Но этого не было сделано...

Обстановка на Юго-Западном фронте продолжала катастрофически осложняться. Наступательная операция Брянского фронта на рославльском и новозыбковском направлениях, имевшая целью ликвидировать разрыв между 13-й и 21-й армиями, завершилась неудачно. В результате контрудара врага в районе Новгород-Северского разрыв между армиями возрос до шестидесяти—семидесяти пяти километров.

Тяжелые оборонительные бои вела 38-я армия Юго-Западного фронта, с 12 сентября она начала отход на восток. Начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-майор В. И. Тупиков в донесении на имя начальника Генерального штаба от 13 сентября сообщал, что положение войск фронта осложняется нарастающими темпами: прорвавшемуся на Ромны, Лохвицу и на Веселый Подол, Хорол противнику пока, кроме местных гарнизонных и истребительных отрядов, ничто не противопоставлено и продвижение его идет без сопротивления. Фронт обороны 21-й армии взломан окончательно, и армия фактически перешла к подвижной обороне. 5-я армия также не может стабилизировать фронт и ведет подвижную оборону. В стык с 37-й армией противник прорвался на Кобыжчу. «Начало понятной Вам катастрофы,— докладывал он далее,— дело пары дней»<sup>12</sup>.

Ознакомившись с этим донесением, Верховный Главнокомандующий спросил Шапошникова, что он намерен ответить Тупикову. И тут же, не дождавшись ответа, сам продиктовал следующий ответ, адресованный командующему Юго-Западным фронтом, в копии — главкому Юго-Западного направления: «Генерал-майор Тупиков номером 15614 представил в Генштаб паническое донесение. Обстановка, наоборот, требует сохранения исключительного хладнокровия и выдержки командиров всех степеней. Необходимо, не поддаваясь панике, принять все меры к тому, чтобы удержать занимаемое положение и особенно прочно удерживать фланги. Надо заставить Кузнецова и Потاپова прекратить отход. Надо внушить всему составу фронта необходимость упорно драться, не оглядываясь назад. Необходимо неуклонно выполнять указания т. Сталина, данные вам 11.9. Б. Шапошников. 14.9.1941 г. 5 ч. 00 м.»<sup>13</sup> После этого руководству Юго-Западного фронта оставалось лишь исполнить свой долг до конца.

<sup>11</sup> Архив МО СССР, ф. 96-А, оп. 2011, д. 5, лл. 96—99.

<sup>12</sup> Архив МО СССР, ф. 48-А, оп. 1133, д. 7, лл. 139—140.

<sup>13</sup> Там же, оп. 1554, д. 9, л. 431.

13 сентября в штаб Юго-Западного направления прибыл маршал Советского Союза С. К. Тимошенко. А 15 сентября после пересечения путей отхода наших армий и без того тяжелая обстановка в полосе Юго-Западного фронта вновь ухудшилась. Та же картина наблюдалась на Южном фронте, войска которого отошли к Чонгарскому мосту и Арабатской стрелке. Крымский полуостров оказался отрезанным. Только 17 сентября Верховный Главнокомандующий, окончательно убедившись в невозможности разрядить ситуацию на Юго-Западе немедленными активными мероприятиями, разрешил Юго-Западному фронту оставить Киев. В ночь на 18 сентября командование фронта отдало приказ выходить с боем из окружения. Однако вскоре связь штаба фронта со штабами армий и со Ставкой была утеряна. Войска отходили с ожесточенными боями. 5-я, 37-я, 26-я армии, часть сил 21-й и 38-й армий были окружены. Выход из окружения осуществлялся в крайне сложных условиях. Войска раздробились на многочисленные отряды и группы, которые пробивались самостоятельно. Десятки тысяч бойцов, тысячи младших командиров, сотни командиров и политработников пали тогда смертью храбрых в неравной борьбе с врагом. Большое число воинов попало в плен, среди них имелось немало раненых. 20 сентября погибли в бою командующий войсками Юго-Западного фронта генерал-полковник Кирпонос, член Военного совета, секретарь ЦК КП(б)У М. А. Бурмистенко и начальник штаба генерал-майор В. И. Тупиков. В разное время того же горького лета попали во вражеский плен командующие армиями Юго-Западного фронта генерал-лейтенант И. Н. Музыченко, генерал-майор М. И. Потапов, генерал-майор П. Г. Понеделин, дивизионный комиссар, член Военного совета фронта Е. П. Рыков. Враг добился успеха дорогой ценой. Красная Армия в ожесточенных боях за Киев разгромила свыше 10 кадровых дивизий противника. Он потерял более ста тысяч солдат и офицеров. Потери врага продолжали расти.

Серьезная неудача, постигшая этот наш участок боевых действий, резко ухудшила обстановку на южном крыле всего советско-германского фронта. Создалась реальная угроза Харьковскому промышленному району и Донбассу. Немецко-фашистское командование получило возможность усилить группу «Центр» и возобновить наступление на Москву. Ставка вскоре произвела реорганизацию Юго-Западного направления, и в конце сентября оно было расформировано. С. К. Тимошенко стал командующим Юго-Западным фронтом, войска которого в составе 40-й, восстановленной 21-й, 38-й и переданной из Южного фронта 6-й армий задержали врага на линии Белополье, Лебедин, Красноград, Новомосковск. Там им было приказано перейти к жесткой и упорной обороне.

*(Продолжение следует)*



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Я. БИЛИНКИС,  
доктор филологических наук

★

## ДРАМАТИЗМ И ЭПИЧНОСТЬ

(К 150-летию со дня рождения А. Н. Островского)

1

**Е**ще самому Островскому, написавшему на протяжении своей жизни около полусотни пьес, с редкой последовательностью и неизменно творившему только и исключительно для сцены, пришлось неоднократно слышать и читать о себе, что он «не драматург в тесном смысле этого слова» (формулировка Е. Эдельсона в «Библиотеке для чтения», 1864, № 1), что «в сущности он писатель эпический» (И. Гончаров).

Возражая против утверждений подобного рода, Добролюбов настаивал, что у Островского и лишние, ненужные как будто для драматического действия лица на самом деле к этому действию причастны, что развязки здесь органически вытекают из особенностей воспроизводимой жизни и т. д. и т. п. К написанному Добролюбовым «в защиту» Островского как драматурга в советские уже годы добавлено разными исследователями немало. Мы, однако, до сих пор не задумывались как следует над тем, почему же могли возникать такие суждения. Ведь тот же Эдельсон не то чтоб упрекал Островского — он скорей недоумевал. А Гончаров свои слова об Островском адресовал как высокую похвалу.

Можно, конечно же, согласиться, например, с Е. Холодовым, доказывающим, что экспозиция у Островского «втягивается» в завязку, что в «Грозе», скажем, еще до появления Катерины начинает определяться противостояние сил. Но ведь важно, наверное, и то, что действие в привычном смысле возникает все-таки не сразу, что Катерину мы увидим впервые не раньше пятого явления, а встреча ее с Борисом произойдет на наших глазах лишь в третьем акте,

что силен, ярок в языке Островский не столько искусством развертывания диалогических общений, сколько воссозданием пластов русской речи... Что бы там ни говорилось, усмотреть в Островском писателя, поглощенного только тем, как жизнь обостряет, доводит свои противоречия до драматического предела, трудно. Драматическое у него выступает, даже на первый взгляд, в очень непростых связях и опосредованиях.

Понятно, что Добролюбов, которому так страстно, так невероятно хотелось пробуждения, энергии, активности, действенности личности в современной ему России, сосредоточивался; читая Островского, на драматическом начале. Но, следя и следуя за этим, он обнаружил у Островского и картины «темного царства»: личность здесь рождается в гуще и толще слежавшегося быта, в постоянных и разветвленных отношениях с ним.

Когда в «Грозе» страница Феклуша в доме Кабановой заводит речь о каких-то невероятных землях и об «умалении» времени, то открывается, сколь многое в существующих понятиях людей противостоит порывам Катерины. Однако Катерина вспоминает из своего детства рассказы странниц как нечто заветное и совсем другое для нее, чем вся атмосфера кабановского дома. Те давние, принесенные странницами рассказы неотделимы для нее от Волги, от радости детского, юношеского освоения мира, от народного прошлого, от веры в жизнь... Так возникает у Островского дыхание эпоса. Его картины жизни не только вводят быт как средоточие косности и неподвижности, а еще и дают органическое ощущение бытия народа, его нравственной истории.

Не сужаем ли мы искусственно свои представления об авторе «Грозы» (а заодно и о некоторых существенных особенностях всей отечественной литературы вообще), почти не замечая в нем великого эпического художника?

2

У всех в памяти, что Белинский парадоксальным вроде бы образом отказал пушкинскому «Борису Годунову» в драматической природе. Он не находил в русском прошлом, в XVI—XVII веках, характеров, способных к подлинно драматическому выбору, к подлинно самостоятельному и новому историческому решению.

Белинский при своем анализе пушкинской трагедии кое-чего не учел, иного просто еще не мог знать. Многие тут можно сейчас оспорить. Нельзя только отмахнуться от острого ощущения, испытанного великим критиком: в сущности, лишь в его пору русская жизнь поднималась к драматическому своему самовыражению. Исследования покойного Г. А. Гукковского показали, что в «Борисе Годунове» русская культура, русский быт действительно предстают крепко объединяющими, крепко удерживающими в своем лоне еще едва ли не всех людей России — от царской дочери Ксении, по-народному оплакивающей жениха, которого она не сама выбрала и сама даже не знала, до Пимена, слитого всей жизнью с тем, о чем он как летописец повествует. Отделён и отделён здесь разве что царь, Борис Годунов (почему, кстати, он и может все-таки оказаться главным драматическим лицом).

Разумеется, уже и при Годунове Русь отнюдь не была ни единой, ни целостной. Но так виделась она Пушкину при соотнесении с Западом той же поры и перед лицом противоречий дальнейшего исторического пути. Однако героем его был Борис, и писал он все же драму.

Белинский не признал и «Горе от ума» органически драматическим произведением. Мы и в этом случае сходимся с Белинским отнюдь не во всем. Но ведь и в самом деле: драматический конфликт в «Горе от ума» рождается во многом из потрясенности поэта тем, что люди России, Фамусов и Чацкий, так вроде не ожидают друг друга «и слушают — не понимают» и, даже совпадая, скажем, в отношении к моде на французов и французское, в действительно-

сти и тут расходятся. А рождалось опять же произведение драматическое.

История шла все быстрее, и свидетельством тому была уже самая неудовлетворенность, самое нетерпение Белинского.

И вот «Свои люди — сочтемся» — первая пьеса, принесшая Островскому на исходе 40-х годов известность и славу.

Героя ее Самсона Сильча Большова вчера «Самсошкой звали, подзатыльниками кормили», он «голицами торговал на Балчуге». А сегодня, сам создавший свое состояние, свое богатство, он сам уверенно и решает, как ему быть дальше. А рядом исхитряется устроить свою судьбу большовский приказчик Подхалюзин. И Липочка, дочь Большова, претендует на «образованность».

Личность формируется, свой выбор утверждает тут в каждом уродливо, происходит все это в самом «непросветленном», что называется, виде. Однако совершается повсеместно в каждом — путь для драматического действия открыт. Но Большов оказывается у Островского лицом драматическим постольку, поскольку новейшее эгоистическое своекорыстие и произвол встречаются в нем с приверженностью к нравственным установлениям, еще недавно действенным. Он жертва не только собственного злого умысла, но и незыблемости своей веры в то, что хоть свой-то своего обмануть в самом деле не должен и не может. В финале Большов хмелеет от горя, он предстает обманутым отцом, Попранным оказывается и то, без чего жизнь просто не может стоять. Старое состояние и течение жизни разламывается, взрывается, но именно при этом оно и драматически обнаруживает свое достоинство и цену, даже когда речь идет о чем-то достаточно ограниченном, вроде расчетов со «своим».

В современной Островскому России моральные ценности, создаваемые народной историей, и повседневный быт выступали часто в сложнейших переплетениях. И писателю по разным причинам не всегда давалась определенность разграничений. Его пьесы 1852—1855 годов, например, уже своими заглавиями отстаивают всеобязательность неких моральных правил и заповедей, властных как будто всегда и неизменно: «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется» — прямо настаивают они, не допуская ни малейших сомнений. Во всех этих пьесах спасение героинь, благополучное разрешение конфликтов приходит от торжества, несмот-

ря ни на что, начал купеческой старозаветности. Писатель тут и в самом деле соприкоснулся со славянофильской догмой.

Драматическое у Островского, казалось, совсем поглощалось неизменной устойчивостью форм быта, и Чернышевский, чрезвычайно резко отзываясь о пьесе «Бедность не порок», не без оснований опасался, если говорить прямо, что автору ее угрожает распад самой драматической формы, утрата почвы под ней. Однако распада этого все же не произошло, и в той самой пьесе, которая так озадачила Чернышевского, появился один из замечательнейших в XIX веке драматических характеров — Любим Торцов.

Да, увлечение Дуни Русаковой в пьесе «Не в свои сани не садись» налетело в самом деле как вихрь, пленило ее в Вихореве «благородство» весьма невысокого пошиба. Но в отличие от И. Л. Вишневецкой<sup>1</sup>, готовой усматривать чуть не главную беду, а может быть, и вину всех героинь писателя вплоть до Катерины в том, что выбирают они «не того», «антигероя», как она выражается, сам Островский пристально внимателен ко всему, что в той же Дуне действительно происходит. В основе сюжета пьесы — попытка такой вот Дуни все же по-своему определить собственную судьбу, как бы у нее это ни выглядело.

В пьесе «Бедность не порок» последнее слово отдано Гордею Торцову, главе семьи. От него ожидается и в конце концов изойдет справедливое и желанное для всех решение. Дочь его и не думает выйти из-под его воли. Она сама повторяет это шестикратно. Получает она своего Митю, когда это позволено отцом. Но имя ее — Любовь. Чувство ее к Мите — это не короткое увлечение, а стойкое и неизменное устремление ее сердца, это в самом деле любовь. До развитого индивидуального чувства и, таким образом, до уровня личности вырастает девушка, ничего в жизни, кроме старозаветности, не знавшая.

Островский еще надеется согласовать это новое чувство личности с сохранением тех форм отношений между людьми, которые давно сложились в купеческих домах. Однако действие открывает нам, что когда подымается Любовь, оставить все в прежних границах можно лишь при прямом насилии. И отец Любви не Русаков, не Бородин. Он — Гордей, крепко и неизменно

удерживающий все в своих руках, навязывающий всем привычные требования уже как самодур. Исполнение его желаний и воли становится ему уже важнее и нужнее соблюдения всякого канона.

Любим Торцов призван автором свести в одно старые установления быта и судьбу Любви, и это ему как будто удается. Но художественная правда и драматизм характера определяются тем, что сам Любим оказывается раздавленным меж несходящихся все-таки начал.

После сказанного читатель вправе судить сам, насколько основательны сомнения замечательного нашего театроведа Б. В. Алперса в том, что ранние пьесы Островского могут и сегодня жить на сцене<sup>2</sup>. Нет, и в них есть драматический опыт напряженнейшего соотнесения личностного развития с состоянием и характером связей между людьми.

1856 год, конец николаевского времени открыл Островскому фигуру убежденного противника прежней жизни, и писатель устремился к нему почти самозабвенно.

«Доходное место» — едва ли не единственная из пьес Островского этой поры, где национально-историческое прошлое в его положительном содержании обойдено начисто, не присутствует никак. Прошлое здесь — это лишь то ближайшее вчерашнее и еще сегодняшнее, от чего надо поскорей и безусловно избавиться. Это система взяточничества и круговой поруки на государственной службе да еще представления о том, что семья следует содержать в довольстве, для чего все средства годны. Весь свет тут — от одного Жадова. И он первый среди героев писателя так сознательно, так горячо отстаивающий новые убеждения.

Зло в «Доходном месте» действительно посрамлено — Вышневецкий наказан. Случилось это только совсем не благодаря Жадову. Больше того — в последний момент Жадов, оказывается, сам было не устоял и пошел за «доходным местом».

Островский не дал пылкому просветителю изменить высоким принципам. Но и открыл, как мало одних только даже самых горячих, самых искренних желаний для действительного противодействия злу. Жизнь оставляет носителя новых убеждений просто в стороне от главного, что в ней происходит, что она свершает иными силами и на иных путях.

<sup>1</sup> Сборник «Мастерство русских классиков». М. «Советский писатель», 1969.

<sup>2</sup> Б. Алперс. Об Островском. «Театр», 1972, № 11.

Б. М. Эйхенбауму в 30-х годах<sup>3</sup> представилось, что благополучный конец для Жадова неправдоподобен, пожалуй, фальшив. Сейчас думается, что Островский был прозорлив: трагического потенциала в этом герое в самом деле, очевидно, не было.

Трезвостью своей оценки Жадова, его исторической судьбы писатель открывал себе путь к Катерине, к «Грозе».

3

Чем изумляет «Гроза» до сих пор? Почему это действительно особенная русская пьеса, русская трагедия?

При первом же появлении Катерины мы узнаем, сколь обязательными считает она все привычные для ее среды семейные порядки. Она готова принимать требования свекрови так же, как принимала бы волю родной матери. Но в самом этом уравнивании Катериной требований свекрови с волей матери сразу же видно: молодая женщина хочет сама освятить для себя свои семейные отношения, возвышая их до чего-то действительно безусловного и непреложного. Освятить усилиями, напряжением души, которая без такой освященности принять ничего не хочет и не может.

А в самих этих отношениях, в самом кабановском быте живой духовной наполненности уже нет совсем. Поэтому так и следят здесь за соблюдением порядка, внешней, обрядовой стороны во всем.

Кабаниха — ханжа, подлинной веры у нее нет. По-настоящему привязать к себе не только Катерину, но и родную дочь или сына ей нечем. Оттого-то Кабаниха и смотрит спокойно на то, как Варвара, не бросая вызова порядку, чину, тишком поступает по своему, в свое удовольствие, а над слабым Тихоном она нависает постоянно грозой. Старые формы быта вполне и окончательно исчерпали себя. Поэтому любая подвластность им становится для человека губительна.

Кабаниха заставляет уезжающего Тихона всего лишь произнести как будто ничего не значащие наставления остающейся дома Катерине. Катерине надо вроде бы только их выслушать. Но все знают — и сама Кабаниха, и Тихон, и Катерина, — что внутрен-

ней правды в этих наставлениях нет никакой ни для кого. И поэтому, добываясь, чтоб они обязательно были произнесены и выслушаны, Кабаниха утверждает безоговорочную, рабскую, основанную только на силе зависимость Тихона. Тихон испытывает тут чувство неизбежного стыда и перед Катериной и перед самим собой и готов теперь бежать от любимой жены хоть за тридевять земель<sup>4</sup>. В глазах Катерины Тихон навсегда теряет здесь все, их семейный союз как нечто высокое и охраняющее ее даже от нее самой рушится безысходно<sup>5</sup>.

Спасения от рождающегося в ней чувства к Борису Катерина ищет в клятве, которую должен взять от любимой жены хоть за тридевять земель. Но может ли она уже в самом деле Тихоном спастись?

Старая жизнь, кроме того, что она гнетет Катерину руками Кабанихи, превращает в ничто ее мужа, еще заставляет ее страшиться и грозы и — не менее, чем грозы, — собственного порыва, считать грехом рождение в себе личности. Катерине кажется, что все силы мира, сама природа против того, чтоб она, мужняя жена, полюбила другого.

Только ли опутана, однако, Катерина прошлым, как это повторяется и посейчас едва ли не во всех без исключения работах об Островском? Вот уже совсем недавно драматург Виктор Розов прямо объявил, что согласен посчитать Катерину лишь «прекрасной жертвой», однако никак не «лучом света»<sup>6</sup>.

Пройдут после появления «Грозы» считанные годы, чуть не месяцы, — и тургеневский Базаров попробует освободиться от всего, на чем основывались до сих пор отношения человека с другими людьми, самое пребывание человека в мире, от лю-

<sup>4</sup> Сергей Васильев в первой постановке «Грозы» в Малом театре, играя Тихона, делал именно сцену прощания с матерью и женой кульминацией роли, здесь у него и решалась бесповоротно судьба его героя.

<sup>5</sup> Невозможно понять, как Ю. Оснос, автор книги «В мире драмы» (М. «Советский писатель». 1971), после ряда достаточно точных наблюдений сумел усмотреть в действиях Кабанихи в этой сцене... проявление заботы о прочности молодой семьи. Высказался он по этому поводу так: «Кабаниха столь настойчиво требует от сына соблюдения домостроевских правил не только потому, что стремится укрепить калиновские порядки, но и потому, что ей отлично известна полная неприспособленность Тихона к семейному быту».

<sup>6</sup> «Комсомольская правда», 3 января 1973 года.

<sup>3</sup> См. его статью в программе-газете, выпущенной Ленинградским Большим драматическим театром к премьере «Доходного места» в 1933 году.

бых над и сверхличных ценностей<sup>7</sup>. Базаров будет личностью гигантской, он возьмет все целиком на одного себя, но даже он почувствует себя при этом и признает «самоломанным». А потом Раскольников дозволит себе преступить через давно определившиеся условия человеческого общежития — и это окажется для него непереносимым.

Вместе со всей старой жизнью, с крепостнической системой рушилась и прежняя иерархия нравственных оценок, менялись место и роль личности в ее собственном самоощущении и в реальности. И нередко совсем изжитым, полностью и навсегда отодвинутым представлялось в се, что так или иначе сложилось когда-то раньше.

Но жизнь и отстаивала свои накопления, она не могла отдать того, что было собственным ее, жизни, богатством, неизменно собиравшимся во все времена.

У самого начала 60-х годов совсем рядом с «Грозой» стояли «Дворянское гнездо» того же Тургенева, который затем создаст Базарова, и гончаровский «Обломов». В «Дворянском гнезде» в авторском тексте с совершеннейшей откровенностью было сказано все о несправедливостях, об ужасах крепостнической поры. Ведь и это все «отзывает» Лизу из мирской жизни. Но душевное превосходство Лизы, Лаврецкого, Марфы Тимофеевны над всеми остальными в романе прямо проистекало из кровной их связи с несуетным, неспешным ритмом того уходящего мира, где в самом деле «имели место» — и в какой мере имели! — и несправедливости и ужасы. Илья Ильич Обломов, родившийся, выросший при прежних условиях, так и не сумел встать с дивана, он кончает физическим распадом, неотступно воспроизводимым Гончаровым. Но кто как не Илья Ильич, расплатившись за это по полному счету — неприспособленностью и обреченностью, — сохранил душу живую, так и остался единственной любовью двух лучших в этой книге, двух совсем по-разному замечательных женщин — Ольги и Агафьи Матвеевны? А потом еще будут «Мороз, Красный нос» с его равной самой природе вечностью народной жизни, с его высотой и неколебимо строгой сдержанностью чувств, «Война и мир» — книга о том, чем

<sup>7</sup> См. об этом в статье В. М. Марковича «О проблематике романа «Отцы и дети». «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», 1971, вып. 6.

вообще во все времена живут в конечном счете люди...

Душу Катерины теснят всяческие суеверия. Но совсем не только они делают действительно мучительными для нее короткие часы ее счастья. Если бы не было здесь этих душевных мук, нам бы не оставалось ничего иного, как счастье самое объединение людей в семейные союзы, самое существо семейных связей не высоким обретением общественной истории, но чистой условностью, легко и просто преодолимой и уже преодолеваемой в новую пору.

Катерина напрасно боится грозы — она просто не знает о громоотводах, о которых уже знает Кулигин. Но не напрасно — для всего дальнейшего многосложного хода истории — непреклонно убеждена она, что за неверность Тихону (вот такому, какой он есть!) на нее двинется сама природа и обрушится небо: так она наивно и иступленно, сама того не сознавая, но потому с особую, неодолимой силой заслоняет собою себя самое и все последующие поколения от невозможных нравственных утрат...

Островский не вершит над Катериной суд — в ее же душе он находит наиболее безусловные для себя критерии нравственной требовательности, наследуемые Катериной именно как личностью из всего опыта народного бытия. Катерина для него героиня столько же эпическая, сколько драматическая. И гибель ее обнажает трагически коллизии в движении истории.

#### 4

В «Грозе» жизнь взята была Островским в крайнем натяжении. Смерть Катерины отметила собою неизбежность предстоящих размежеваний и разрывов. Пути тут возникали разные.

На одном из них Островский попытался было взглянуть непосредственно на историческое прошлое России, стремясь определить, как же согласовывались отдельный человек и общность людей тогда, прежде.

В «Козьме Захарыиче Минине, Сухоруке» драматурга привлекло прежде всего состояние общенационального подъема, участие чуть не всех на Руси в общем деле спасения своей земли от иноземного нашествия. Воодушевленность самого писателя пафосом единства, солидарного, совместного действия всех стала здесь почвой стиха, основой эпического звучания пьесы. Но все личное, все собственное, в сущности, снято тут в

героях их общей устремленностью. В Минине места личному просто не оставлено. А Марфа Борисовна, любимая Пospelовым и любящая его, по первой редакции пьесы прячется от своего чувства в монастырь, по второй редакции — дает себе волю лязгать к концу драмы, когда приходит всенародное торжество. Сам Островский о главном герое писал Ф. А. Бурдину, игравшему эту роль: «...лучше меньше чувства и больше резонерства, но твердого... он — резонер в лучшем смысле этого слова, то есть энергичский, умный и твердый». Так простое исключение личностного начала из некоей целостности национального бытия (хотя бы и в давних и совершенно особых исторических обстоятельствах) непреложно влекло ныне за собой резонерство, а вместе с ним подчас перерождение высокого эпоса в холодноватую риторичку.

В «Василисе Мелентьевой», драме из времен Ивана Грозного (написанной совместно с С. А. Гедеоновым), завязывает и ведет действие именно невозможность примирить, связать единой целью очень разные личности, столкнувшиеся друг с другом у русского престола. Личность с ее устремлениями оказывалась и в прошлом не менее значима, чем чаемое всеобщее согласие.

На современном, пореформенном «материале» противоборство разных тенденций и начал, когда старые «устои» рухнули и вместе с ними многое потеряло всякую определенность, давало себя знать чем дальше, тем острее.

В пьесе «Грех да беда на кого не живет» уже само название сразу подчеркивает незакрепленность, непредвидимость, катастрофичность течения жизни. И причина тому — незакрепленность, непредвидимость, катастрофичность совершающегося, нарастающего в человеческих душах.

Давно уж и думать позабыла Татьяна Краснова о барине Бабаеве, которого знала когда-то. Она замужем за купцом, и муж любит ее до самозабвения. Стоит, однако, Бабаеву только появиться, позвать Таню, как та кинется к нему.

Барин Бабаев — совершеннейшее ничтожество и нисколько не заслуживает этого женского порыва. Но Татьяна ни секунды ни на что и не рассчитывает, ничего не взвешивает. Она, вероятно, подозревает, чем могут обернуться для нее гнев и отчаяние Краснова, вложившего в отношения с женой всю свою страсть. Однако и это не может

остановить Татьяну или хоть заставить ее задуматься.

А Краснов находится в состоянии душевной растерзанности почти рогожинского накала. (Кстати, как известно, на Краснова в очень сильном исполнении Павла Васильева обратил особое внимание Достоевский, и весьма вероятно высказывавшееся уже предположение, что это нашло в «Идиоте» свой отзвук.) Ради Татьяны, ради своей любви к ней он пренебрегает в своем доме стародавними устоями быта, идет на унижения, сам этого не замечая. Обманутый же, он убивает жену и тут же кричит: «Вяжите меня! Я ее убил». За свою любовь и за свое преступление он тоже платит самую большую, самую полную человеческую цену.

Слепому деду Краснова, старику Архипу, который пытался как-то все остановить и удержать и уповал на бога да всеобщее примирение, суждено только подвести итог тому, что произошло вопреки всем его стараниям. Уберечь от греха и беды никого не удалось, старые нравственные нормы здесь просто смяты и вытеснены.

Патриархальность в «Пучине» оказывается не только бессильной перед лицом новых времен. Из-за несоответствия нынешним обстоятельствам она окончательно утрачивает свое внутреннее наполнение: для того же кисельниковского тестя она становится лишь покровом, под которым удобно творятся всяческие самоновейшие обман да жестокость — и по отношению к близким (Боровцов обездолил не одного зятя, а и родных внуков и радуется тому, как ловко все у него вышло).

Вера Островского в высокие нравственные ценности, накопленные народной жизнью, уже навсегда отделялась от надежд на старые формы.

## 5

В вышедшем в прошлом году посмертно чрезвычайно значительном исследовании С. Владимировой «Действие в драме» приводится диалог двух персонажей, Ахова и Агнии из пьесы Островского «Не все коту масленица», относящейся уже к 1870-м годам.

Ахов, собирающийся жениться на Агнии, рассказывает ей, как хорошо, по его мнению, должно жить молодой женщине со старым мужем. И слышит от Агнии в ответ:



«Очень весело. Да и то еще приятно думать, что вот через год, через два, муж умрет, не два же века ему жить; останешься ты молодой вдовой с деньгами, на полной свободе, чего душа хочет». Далее они обмениваются такими репликами:

**Ахов.** Ты все хорошо говорила, а вот последним-то и изгадила. Ты этого никогда не думай и на уме не держи. Это грех, великий грех! Слышишь?

**Агния.** Я и не буду никогда думать; это так, с языка сорвалось. Я стану думать, что молодые прежде умирают.

Исследователь посчитал, что в репликах Агнии нет вызова самодуру, «нет прямого издевательства», что Агния тут «разыгрывает» вместе с Аховым будущую свою ситуацию, при которой ей предстоит совершенно отказаться от себя, целиком покориться, во всем согласиться со своим мужем и господином. Она старается попасть в тон Ахову, готова войти в тот торг, который купец в соответствии с его обычаем ведет и в данном случае. Ахов хвалит свой товар. Агния прикидывает, что и за какую цену она должна отдать», «Ахов и Агния хотят договориться о своих личных делах и отношениях, они готовы заключить сделку и пытаются перевести все на термины деловой купли-продажи. Но сам язык этому не поддается».

Мне трудно здесь согласиться с автором.

Верно, Агния («Не все коту масленица») не намерена выйти из-под власти матери. Но только потому, что она чувствует, знает в матери ту же силу дерзкого сопротивления самодуству, какую ощущает и в себе самой.

«Я вот как рассудила, Ермил Зотыч; если дашь ты мне подписку, что умрешь через неделю после свадьбы,— и то еще я подумаю отдать дочь за тебя»,— решительно заявляет в последнем разговоре с Аховым Круглова. И Агния именно этого от своей матери и ждала.

Круглова идет еще дальше. Когда Ахов предлагает ей богато наградить Агнию и выбранного той жениха, если молодые согласятся, выйдя из церкви, подмести его двор. «чтобы только пример» показать, она бросает ему: «Да осыпь ты меня золотом с ног до головы, так я все-таки дочь свою на порожще не отдам».

«Масленица» Аховых прошла: старозаветное купечество уже не имело реальной силы в России 70-х годов. Пьеса возвещает это не только развитием сюжета, но и новой для Островского природой диалогов.

Они теперь несут в себе прямой вызов, открытое столкновение, обнаженную издевку над самодурством, над его попытками удержать свою власть.

Островский и сам, без сомнения, захвачен буйным и широким разворотом неудержимых и уже не удерживаемых душевных сил, их игрой у своих героев.

Вспомним, как еще в «Грозе» даже у робкого Бориса глаза раскрылись, дух захватило, когда перед ним впервые предстали гулянье, красота ночи, радость любовных свиданий, в каких словах это Островским передано. Там же Варвара и Кудряш, при всей их бесшабашности и нравственной безответственности, обрисованы с весьма немалым увлечением.

Но с какой силой сказалось это новое душевное состояние и автора и героев, когда 60-е годы уже кончались, когда самые разные перемены в русской действительности, уже окончательно втянутой в буржуазное развитие, совершались со все увеличивающейся, лихорадочной быстротой!

В пьесе «На бойком месте», например, самое место, где происходит действие, словно бы включает всех в какое-то особое внутреннее движение: это постоянный двор, где то и дело может появиться кто угодно, где всякого и всего можно ждать. Хозяин двора Бессудный, рискуя жизнью, занимается разбоем, ездит на ночные грабежи. Красотой своей жены он пользуется, чтобы заманивать к себе гостей. Он многое позволяет Евгению в обращении с гостями, но она знает, что он и жестоко ревнует ее и, коль скоро обнаружится ее неверность, поплатится ей придется жизнью, и как раз это хождение все время на краю бездны делает для Евгения и ее игру с гостями и ее связь с Миловидовым особенно захватывающими. Герои испытывают упоение именно оттого, что судьба их каждую минуту висит на волоске, что играют они в буквальном смысле этого слова с огнем. И это-то придает им и у драматурга яркость, силу, обаяние. Как бы идя за ними и с ними, он вводит резкие и острые сюжетные повороты, тоже играет— тайнами возможностей, тайнами прошлого и будущего своих персонажей..

И в «Горячем сердце» Островский также предался стихии, владеющей его героями, откуда и появились здесь в сюжете и совершеннейшие неожиданности, и вроде бы несообразности, за которые писателя так сердито упрекала не понимавшая, в

чем дело, современная ему критика. В «Бешеных деньгах» в первом акте действие поначалу как бы не может установиться и выбрать направление: драматург вместе со своими персонажами на какой-то момент словно оказывается перед такой фигурой, как Васильков, делец нового покроя, в растерянности, ища к нему подступов и скрепящая суждения о нем разных лиц. В «Бесприданнице» в собственном восхищении Ларисой, ее красотой и яркостью, в изумлении перед нею Островский как будто не решается сразу ввести ее в пьесу и готовит ее появление восторгами в ее адрес других персонажей.

Но и увлеченный силой проявления личности, энергией ее осуществления, многообразием открывающихся возможностей и путей, Островский никак не закрывал глаз на внутренние противоречия, заложенные в этом новом процессе.

Та же Евгения («На бойком месте»), ничего не страшась, даже испытывая перед опасностью некое вдохновение, ведет себя по отношению к Анне, действительно любящей Миловидова, и безжалостно и бессовестно. Параша из «Горячего сердца» умеет и постоять за себя и вовремя понять, что такое Вася Шустрый. Но в решениях, в поступках этой еще только-только добивающейся своих прав девушки, в том, как отводит она Васю и назначает своим женихом Гаврилу, как начинает распорядиться в курслеповском доме, очень проглядывает грозящее — теперь уже отсюда — новое своеволие.

Удивительная Лариса Огудалова, в которой так поразительно раскрылись и исполнились возможности человеческой личности, не обладает, однако, душевной цельностью и душевной силой Катерины. И это цена, которую она платит (что совсем напрасно все еще обходится исследователями «Бесприданницы») за неотразимое свое обаяние.

Из всех, кого выдвигает новое время, пожалуй, особенно беспощадному анализу подвергнут у Островского Глумов в комедии «На всякого мудреца довольно простоты».

Человек этот стоит много выше всех, кто его окружает. Он в самом деле умен. Но ум его, считает Глумов, должен помочь ему в одном — сделать карьеру. И Глумов обнаруживает редкостное умение приспособляться к любому, кто занимает место выше его на общественной лестнице и за-

чем-нибудь ему нужен, проявляет тут изощренную виртуозность. Ему приходится платить при этом дань собственному уму — вести дневник, где выражается подлинное его мнение обо всех, с кем он имеет дело. Глумится, однако, Глумов больше всего над самим собою, разоблачить его поэтому призван его же дневник.

Островский многое уже знал о происходящем в человеке, когда нравственная сфера — при горячности сердца или горячности воображения — не имеет опор... И он оставался все-таки эпическим писателем.

На какой основе мог теперь у Островского сохраняться дух эпоса?

Мы помним, что в «Доходном месте» пришло все-таки разоблачение Вышневского, хоть вроде и не на кого тут было в конечном счете рассчитывать.

Героиня комедии «Не было ни гроша, да вдруг алтын» получает возможность благополучно выйти замуж лишь после того, как ее дядя Крутицкий повесился и ей досталось таким образом приданое. Крутицкий скуп был невообразимо, но скупость эта — уже мания, болезнь, помешательство, которое вменить ему сейчас в вину, собственно, и невозможно. А так, за пределами своей мании, это просто жалкий старик. Выдет же Настя замуж за человека с фамилией Баклушин, вполне его характеризующей. И при всем этом автор принимает подобный финал, считая, что тут все-таки приобретается хоть алтын, когда не было ни гроша. Сам процесс жизни своим никем не предустановленным и никем не предусмотренным течением определяет всему действительное, единственно возможное — по крайней мере, ныне — место. Старик Крутицкий все равно обречен, и ничего с этим не поделаешь. Брак с Баклушиным сулит Насте не бог весть что, однако ни о чем другом она ведь и не мечтает... Приходит, исполняется вовсе не что-нибудь безусловно высокое в нравственном или каком-то ином смысле, но жизнь все-таки не рушится, не упирается в неразрешимое столкновение несогласуемых индивидуальной воли и устремленностей.

Островскому приходится в условиях торжествующей буржуазности соглашаться на малое, далеко не безусловное. Но он и не выдает его за большое, тем более за идеал, ничем и нисколько не обольщается, не обманывает ни себя, ни нас. И, с другой стороны, не впадает в отчаяние, не отвергает, не подвергает сомнению

жизнь как таковую. Она для него всегда больше и шире любых преходящих обстоятельств.

Драматургу горько, что в «Волках и овцах» победу можно отдать лишь такому петербургскому «волку» нового склада, как Беркутов. Но он не позволяет нам забыть и о том, что все-таки посрамлена такая матерая «волчица», как Мурзавецкая, которой, кроме Беркутова, никому бы и не одолеть, и вызволена буквально из ее пасти молодая, красивая, простодушная вдова Купавина. А если Глафира проглотила Лыняева, то ему все равно суждено было быть кем-то съеденным, тут же молодая опять-таки женщина сумеет извлечь для себя хоть какую-то радость из его богатства.

Писатель постоянно помнил о всех и всяческих бедах и утратах. Буржуазность нашла в нем прозорливого и гневного своего обличителя. К безверию, однако, он не пришел. Напряженность прежней веры в нравственные накопления, неизменно сохраняющиеся и открываемые где-то на последних глубинах, сменялась у Островского доверием к самому непреложно совершающемуся ходу жизни. Это новое доверие Островского к ресурсам, к силам жизни было расширением и углублением демократизма в его творчестве, сколько бы тут ни было подчас и неконкретного и отвлеченного<sup>8</sup>. Закономерно поэтому появление именно у позднего Островского «весенней сказки» «Снегурочки», так свободно и так легко нашедшей себе прямую опору в народном «взгляде на вещи», в его широте, терпимости, неразрывном и радостном содружестве с миром.

На полях первого чернового варианта «Снегурочки» писатель пометил для себя: «Счастье в том, чтоб любить» и «Счастье в том, чтоб не любить».

В окончательном тексте сказки есть удивительная прелесть в Снегурочке, когда она еще душевно невинна, не знает любви и страсти. Но как раз в это время, лишь «красоту свою любя», она холодна, хоть для нее это и спасительно, не свободна от самолюбия и тщеславия. А потом приходит

<sup>8</sup> Надо, наверное, отметить что мотив свободной веры в жизнь и в «непосредственность художнического чувства» зазвучал у таких разных критиков, как Добролюбов и Ап. Григорьев, в прямой связи с ранними еще произведениями Островского. Это запечатлено хотя бы в утверждающем добролюбовском определении пьес Островского как «пьес жизни».

восторг самоотдачи и высшего упоения. За них приходится заплатить гибелью, но это, наверное, стоит того, раз уж иначе испытать любовь Снегурочке не было дано.

Мгновения счастья Снегурочки не пришли бы, не покинь Мизгирь Купаву. Мизгирь должен понести наказание: он обидел Купаву, нанес удар по любви. Но как раз покинутая Мизгирем, Купава находит счастье с Лелем, пастухом и поэтом.

Островский не сетует на Бобыля с Бобылкой, которые, приняв Снегурочку к себе, откровенно и бесхитростно искали тут выгоды, ждали за доброе дело подарков. Царь и Бермята никак не «борются» даже с воровством среди берендеев.

Закон, которым руководствуются берендеи, — жизнь в своем движении разрешает все-таки и самые тяжкие драмы, довериться ей можно и следует.

Снегурочки печальная кончина  
И страшная гибель Мизгирия  
Тревожить нас не могут; Солнце знает,  
Кого нарвать и миловать. Свершился  
Правдивый суд! —

заключает берендейский царь в конце пьесы.

Когда «Снегурочка» была завершена, брат драматурга М. Н. Островский написал ему: «Честь тебе и слава, что ты сохранил в душе своей столько поэтического чувства и способность так объективно относиться к своим художественным задачам! Твоя новая пьеса так и дышит... эпическим характером...»

Слова М. Н. Островского были не только восторженны, они еще обладали достоинством предельной точности.

«Снегурочка» рождалась в те самые 70-е годы, что дали России «Анну Каренину», ряд романов Достоевского с их суровой, безжалостной правдой о времени. Островский тоже сказал немало горького и тревожащего. И как все-таки хорошо, что при этом он смог написать и свою «весеннюю сказку»! Какой удивительный мотив внесла она в историю нашего искусства!

## 6

Жизнь у Островского не только вполне может справиться с тем, что в ней возникло. Она еще и дает ход всему высокому, что ею рождено, как бы ни были здесь сложны, подчас сомнительны ее пути.

Уходя в «Талантах и поклонниках» с Великатовым от Мелузова, Саша, слушав-

шая мелузовские уроки, признававшая его требования, испытывает и некоторое особое и, несомненно, особенно для себя трудное смущение. Великатов с той «театральностью», которая присуща ему, ей нравится, и в этом она чувствует перед Петей Мелузовым вину не только как перед любящим ее человеком, женихом, но еще и как перед своим наставником, пропагандистом и проповедником безусловно высоких нравственных понятий. Она не может не стыдиться того, что «театральность» владеет ею «изнутри», и пытается словно бы возместить это для себя же самой любовным порывом в последнюю и единственную их ночь с Петей, сгвая себе в вину, что мало любила его.

Мелузов на протяжении всей пьесы занимает по отношению к Негине позицию учителя жизни. Он зовет ее действительно на доброе, благородное, и, вероятно, не без его участия росла ее душа, утверждался ее сценический талант, не исчерпавшийся в «театральности». Негина это по-своему очень чувствует, привязанность ее к Пете и искренна и серьезна. Но можно ли предугадать что-то жизни? Хорошо ли было бы, если б такое получилось?

Вот Петя хотел, чтобы Негина занялась полезным делом, стала со временем вместе с ним учительствовать. Но у дочери Домны Пантелевны талант, неодолимое призвание к театру. Без этого она не может жить сама, этим обогащает другие души. Тот же Петя, увидев Негину в вечер ее бенефиса на сцене, вдруг заявляет, что «искусство не вздор» (как он, очевидно, до сих пор думал), его не слишком последовательная и безупречная ученица изумляет его неизвестными ему глубинами человеческой души.

Жизнь творит иначе и сотворяет больше, чем хотя бы и в самом высоком подвижничестве способен ей кто-нибудь предложить. И жизнь же делает так, чтобы сотворенное ею не пропало. И, собственно, смерть Ларисы спасает ее у Островского от душевного опустошения, от превращения во что-то совсем другое, чем она есть, и она благодарит Карандышева за его выстрел.

Было бы неправильно, однако, говоря об Островском как драматурге и эпическом писателе, не сказать о том, что у позднего

Островского возникали и тенденции, уже не вполне совмещавшиеся с эпичностью.

Когда в «Последней жертве» Юлия Тугина как будто счастливо вынесена жизнью к благополучному берегу, она на самом деле приносит в качестве действительно уже последней своей, вообще последней возможно для человека, жертвы самую веру в любовь, самую потребность в живых чувствах. Собственно, она безвозвратно отчуждается тут от самой себя, от себя живой, какой до сих пор была (она не погибла, но мотив смерти возникает не случайно: с Юлией произошло, пожалуй, худшее, чем с Ларисой).

В «Невольниках» Евлалия получает у мужа свободу. Но мечты и надежды ее разбиты, что делать со своей свободой, она не знает. Ей остается лишь засесть с тем же мужем за карточный стол. И здесь тоже в человеке совершилось непоправимое отчуждение его души.

Некоторые пьесы, написанные Островским в последний период в сотрудничестве с разными авторами — такие, как «Светит, да не греет» (вместе с Н. Я. Соловьевым) или «Блажь» (совместно с П. М. Невежиным), — выделяются, начиная уже с заглавий, резкостью освещения, жесткостью оценок, отсутствием хотя бы и трагедийного разрешения.

Но продолжение, развитие в литературе вообще, в драматургии в частности эти новые тенденции получили потом, когда путь автора «Грозы», «Снегурочки», «Талантов и поклонников» был уже окончен. У самого же Островского драма почти неизменно встречалась, вступала всякий раз в живые, действенные, подвижные отношения с эпосом. И наверное, в том, что писателя со столь неистребимой эпической «закваской» так властно, так безвозвратно призвала драматургия, ни разу его от себя за четыре десятка лет так и не отпустив, очень остро и непосредственно обнаружила себя трудная диалектика живых «сопряжений» личности и национального целого, единственности нового времени со связью всех времен. Поиски и свершения Островского в этом направлении полны для нас непреходящего значения.

Ленинград.



---

БОРИС ПАНКИН

★

## С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХУДОЖНИКА

I

**В** Маризтты Шагинян в одной из ее книг о семье Ульяновых есть красноречивый эпизод, связанный с юностью писательницы. Попав после революции в армянское село и узнав впервые по-настоящему, «что такое труд на земле», она пришла в ужас, именно так сказано и повторено в романе,— в ужас перед необъятностью труда хлебопашца. «Земля — необъятная, голая, голодная, сухая — лежала перед глазами до горизонта, куда ни погляди». Писательница поделилась паническими своими ощущениями с одним из крестьян, и тот, внимательно взглянув на собеседницу, ответил: «В каждом труде свой секрет есть. Наша работа — нам легкая, потому что, видишь ли, — земля отвечает».

«Ничего больше он не прибавил... — пишет Маризтта Шагинян — и его ответ осветил мне на всю жизнь великую тайну труда, не только сельского, а и всякого другого человеческого труда... Земля отвечает... В труде педагога есть такой же секрет. Душа ребенка, его мозг и способности отвечают учителю. Невообразимо трудным покажется жребий учителя тому, кто думает, что он один, единственно трудом своим, должен вложить в темные, спящие, невежественные чужие мозги сложное знание. И кто, думая так, остановится перед своей задачей в душевном бессилии, чувствуя тяжесть ее только на одних своих плечах, — тот никогда настоящим педагогом не станет.

Но душа человеческая отвечает учителю. Она растет в своем ответе навстречу ему всей широтой заложенных в ней начал, как земля, встающая зелеными побегами

колосков перед пахарем. И труд педагога становится половиной труда, он возвращается ему сторицей...»

Ученик отвечает учителю... И не только пока он учится, но и потом. Отвечает благодарностью, плодотворностью своей жизни, освещающей жизнь и труд учителя. Или — бесплодностью ее, запоздавшим прозрением, упреком и раскаянием.

Есть, думается, в фигуре учителя, в его назначении на земле нечто такое, что неизменно рано или поздно приводит к нему тех художников, кого глубоко волнуют нравственные проблемы, борьба добра со злом, противоборство благородства и низости, культуры и невежества. Вспомним, как много творческих сил отдали теме учительства Владимир Тендряков, писатель отнюдь не «школьный», Чингиз Айтматов, а теперь и Василь Быков...

Школа первых дней советской власти в Киргизии. Современная школа в большом городе. Чудом сохранившаяся начальная школа на оккупированной земле Белоруссии... Учитель Дюйшен — первый учитель, заведующий начальной школой Алесь Мороз, историк Илья Семенович Мельников — вот герои кино и литературы последних лет, явившие собой истинно благородные черты учителя.

Но что, собственно, сделал учитель Дюйшен? Да ничего особенного как будто. Он просто в глухом киргизском аиле сорок с лишним лет назад первым стал учить детей грамоте, он просто первым рассказал им о Ленине, а свою ученицу четырнадцатилетнюю Алтынай, которая, как росток к свету, тянулась к знаниям, к жизни, вырвал из рук хищников-сватов и сам едва не погиб при этом...

Но все это было давно, в молодости его, а сегодня Дюйшен — старый и одинокий человек, сельский почтальон. Дюйшена сегодняшнего мы, собственно, в повести и не видим. Мы только слышим топот его коня за окнами дома директора школы. Новой средней школы, на открытие которой как раз и собрались в аил знатные земляки, в том числе и академик Алтынай Сулайманова. А письмоносец Дюйшен привез поздравительные телеграммы участникам празднества и, не входя в дом, передал их с мальчиком.

«— Всю дорогу,— говорит о Дюйшене мальчик,— подстегивал коня, хотел спеть к собранию, чтобы при народе прочитали. Опоздал малость наш аксакал, огорченный приехал».

И кто-то предлагает позвать Дюйшена, и кто-то возражает: потом, мол, со стариками посидит. И кто-то, подняв на уровень глаз бокал и прищурившись, говорит с удивлением и насмешкой: «Товарищи, когда-то мы учились, если кто помнит, в школе Дюйшена. А сам-то он наверняка не знал всех букв алфавита». И кто-то подхватывает: «Что уж там говорить? Чего только не затевал тогда Дюйшен. А мы-то ведь все-таки считали его учителем».

И, кажется, нет конца показываниям головами, улыбкам и усмешкам этих столь же почтенных, уважаемых, сколько и забывчивых, самодовольных людей. Ведь нынче-то в аиле почти каждый имеет среднее, а некоторые и высшее образование, а академик Сулайманова и вовсе известна на всю страну. Смешно, конечно, вот с этой-то высоты вспоминать, что когда-то школой служила старая конюшня, которую Дюйшен с ребятами под градом насмешек взрослых отремонтировал и утеплит. Что в эту школу он в ненастные дни переносил ребят через бурлящий поток на собственных плечах.... Стоит ли вспоминать сейчас об этой школе, если ее давно и в помине нет, а есть только рыжий бугор, который по инерции почему-то до сих пор называют «школой Дюйшена».

Было время, а именно тогда и появилась повесть Чингиза Айтматова, когда ходячей фигурой в литературе, излюбленной мишенью многих авторов и их молодых героев стал старший резонер, догматик, который нудно и капризно, по поводу и без повода, с тактом и без него поучал и обличал молодое поколение, сетуя на его испорченность, и обидчиво тыкал в глаза собственными и

своих соратников заслугами. Этих заслуг, кстати, не умалал и не замалчивал, как правило, справедливый автор. Им отдавалось должное. Но, так сказать, «без захлеба», с необходимой дозой скептицизма.

Эта самая доза вообще считалась как бы заявкой на зрелость, современность автора и нередко завоевывала на его сторону симпатии молодых читателей, которым так претила слащавость, сусальность, ложная патетика в литературе. Но — из крайности в крайность. И, кажется, вот-вот уже летят с пьедестала кумиры: «А мы-то ведь всерьез считали его учителем».

В сегодняшнем аиле фразу эту произносит один из знатных гостей, человек видный, уважаемый, современный. Но послушайте, как она роднит его с Сатымкулом-спорщиком, «авторитетом» того же аила, только в 20-е годы: «Вот ты на весь аил кричишь: «Школу буду открывать!» А поглядеть на тебя — ни шубы на тебе, ни коня под тобой, ни землицы...»

Тот же апломб, та же уверенность в превосходстве — родимое пятно ограниченности.

Сатымкул темен и невежествен, его «премник» страшно гордится тем, что в аиле все теперь образованны... Но культура истинная, культура души не равнозначна умению писать и читать. Нет, наверное, в этом понятии более важного слагаемого, чем способность уважать человека, как нет и ничего труднее, чем воспитать в себе эту способность, умение видеть, распознать красоту людскую, какой бы внешне неприметной она ни была. Речь идет, конечно, не о манерах и не о «взаимной вежливости». Человечество должно было пройти немалый и нелегкий путь, прежде чем было написано: «Человек человеку друг, товарищ и брат».

Уважать учителя — эта наука почему-то дается труднее многих других.

Кто знает: познакомь нас автор поближе с Дюйшеном сегодняшним, мы и в нем, может быть, обнаружили бы какие-то неприятные черты. Быть может, он показался бы нам излишне брюзгливым, чересчур обидчивым, безнадежно велеречивым или, наоборот, угрюмым молчуном. Поближе... Но Айтматов против той близости носом к носу, когда уже и взглядом окинуть всего человека не удастся, а только и можно упереться в какую-то одну точку, в одно пятно.

Подведи нас автор к своему сегодняшне-

му герою вплотную, мы бы, наверное, узнали, например, почему Дюйшен не пришел в дом, где собрались его знатные земляки. Что это — скромность истинная или та, что паче гордости? Просто-напросто забыл он свою любимую ученицу Алтынай, с которой не виделся столько лет, или обиделся на нее? Справедлив ли по-стариковски вздорен, завистлив он в своей обиде? Сколько догадок тут можно сделать, как развить каждую из них, в какие психологические глубины заглянуть!

Но не это интересует сейчас писателя, хотя он ничего не снимает со счетов. Глубокий душевный такт подсказывает писателю единственно верную дистанцию — расстояние уважения. И сквозь годы ровно и сильно светит нам незапятнанный и незамутненный маяк — подвиг жизни учителя Дюйшена, рядового великой армии коммунизма.

И чувство светлой, очищающей грусти долго не покидает нас. И не сразу еще пойдем мы причину этой грусти. Может быть, нам жалко Дюйшена? Что ж, рассказанная по-другому, история одинокого старого почтальона, пожалуй, и вызывала бы жалость. Но не жалеть, а завидовать мы готовы герою Айтматова, пламени его убеждений, цельности его характера, внутренней красоте его. Завидовать... И не в том ли причина нашей грусти, что нам действительно есть чему позавидовать и что мы только сейчас поняли это? И не оттого ли так светла наша грусть, что мы все-таки поняли это и верим, что, поселив в своем сердце образ Дюйшена, будем жить интереснее, светлее, радостнее?

## II

Как известно, по повести Айтматова молодым тогда еще режиссером А. Михалковым-Кончаловским был сделан фильм, который пользовался немалым и заслуженным успехом у зрителя. Но если повесть была принята сразу и всеми, вокруг фильма начался большой спор. Копья скрещивались и по поводу того, айтматовский ли Дюйшен получился у Михалкова или нет. Ответы на этот счет давались разные.

Теперь, по прошествии ряда лет, споры эти в периодической печати, естественно, замолкли, а отчасти позабыты. Каждое из произведений заняло свое, подобающее ему место в истории искусств, в табели о художественных рангах. И если

теперь возникает нужда сравнить одного героя с другим, то, разумеется, не для того, чтобы задним числом переправить оценку фильма. А для того, чтобы сказать еще несколько слов об особенностях образа, созданного Айтматовым. О тех его чертах, которые на фоне Дюйшена кинематографического стали еще заметнее.

Своеобразие же последнего, на мой взгляд, рождено тем, что режиссер подошел к решению, к пониманию своей задачи одновременно и слишком буквально и слишком вольно. Сочетание таких несовместимых, казалось бы, тенденций родило новый, по сути, образ.

Как мы помним, действие повести Айтматова происходит уже в наши дни, когда и сам учитель состарился, и ученики его успели стать чуть ли уже не бабушками и дедушками. Дюйшен-учитель возникает перед нами в воспоминаниях своих односельчан. Сегодня же он не учителем уже, а больным и старым почтальоном мелькает где-то за стенами дома, где празднуют открытие новой школы и чествуют его бывшую ученицу Алтынай.

Начало жизни — и ее довольно-таки неожиданный итог. Видимо, от постоянного пересечения двух этих изображений, от трения их друг о друга, что ли, и занимается тот горьковатый дымок грусти, которым окутано наше отношение к Дюйшену. Если хотите, главным героем повести Айтматова является не сам Дюйшен-учитель, а авторское, постепенно становящееся нашим отношение к Дюйшену сегодняшнему, к его судьбе.

Героем фильма стал молодой парень 20-х годов, беззаветно, до фанатизма преданный новой жизни, которая пришла в горные долины киргизских айлов и за которую он готов отдать всю свою кровь капля по капле. Тема отношения учеников к учителю, главная в повести Айтматова, ушла из фильма, уступив место теме любви двух молодых людей, теме борьбы с врагами новой жизни. И вместе с ней ушел и подтекст, который незримыми, но такими прочными нитями продолжает связывать повесть Айтматова с заботами и думами нашего времени.

Повествование в «Первом учителе» Айтматов ведет от имени художника, в прошлом земляка Дюйшена. Художник этот в самом начале говорит о том, что он не сторонник оповещать даже близких друзей о незаконченной вещи. «Но на этот

раз я изменяю своему правилу — я хочу во всеулышание заявить, а вернее, поделиться с людьми своими мыслями о еще не написанной картине. Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую — мне одному это не по плечу... Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу».

Эта еще не написанная картина — жизнь Дюйшена, первого учителя... И думается, она никогда не будет дописана, как никогда не иссякнет наша благодарность к таким людям, как никогда не оплатить нам своего долга им.

У Новеллы Матвеевой есть стихотворение «Первый шаг». Оно появилось почти одновременно с повестью Айтматова и, кажется, так и просится эпиграфом к ней, хотя речь-то идет вовсе не об учителе, а о... дирижабле, прародителе самолета: «...ведь наш веселый ТУ и есть не кто иной, как дирижабль в расцвете лучших лет».

Но как же он взлетел — бескрылый —  
в первый раз?  
Чем поднял сфер спрессованных  
плиту?  
За что держался там? За допотопный  
газ?  
За собственную легкость? За мечту?  
...Вовени славен тот, кто сделал  
первый шаг...  
...Хотя бы умер он... И выронил перо  
Безвестное... О! Выйду поутру  
И — знаю, что найду на облаке тавро,  
След на воде, зарубку на ветру...

В стихах этих не звучит ли тот самый ответ ученика учителю, о котором говорила Мариэтта Шагинян?

### III

Как-то в редакцию молодежной газеты пришло письмо.

«Мне 22 года, — пишет один из ее читателей, — работаю на телеграфе техником, учусь заочно на 3-м курсе Политехнического, заведу довольно солидной кипой общественных дел (самодеятельность, комсомольский прожектор, цехком и т. д.).

Как говорится, все 122 удовольствия. Вот только одного не хватает — цели в жизни. Вертишься целыми днями как белка в колесе: и то надо и другое. А выпадет как-нибудь «пустой» вечер, когда на пару часов останешься сам с собой, сядешь, уставший до предела, и вдруг посмотришь на себя со стороны, и становится противно-противно. Что успел сделать за эти пять

лет? И чувствуешь себя как на вокзале: все уже давно уехали своими поездами, а ты все ждешь своего, ждешь, а его нет.

А начиналось все как обычно. Последний школьный звонок, выпускной, первые шаги навстречу Большой жизни, первые ухабы на пути. Вся беда в том, что наградила меня бог всем, что имел. Давалось мне все без труда. Я с одинаковым успехом и пел и танцевал, выпускал газеты, учился. Вот из-за моих способностей я и не знал, чем же займусь после школы. Мне все было одинаково дорого, кроме точных наук. Школа к концу, а кругом уже шум и гам: «Как! Вы еще не решили, куда подать документы? Вы не в институте? А вы знаете...» — и пошло, пошло.

Так я и оказался в Политехническом на общетехническом факультете. Вот это самое дикое, что я сделал и что простить себе никак не могу. Но надеялся, что можно будет перевестись. Однако в первые же месяцы я понял, что все не так просто. Архитектура — туда не переводят, а об истории искусств и вообще говорить нечего. (Эти две специальности мне больше всех нравятся.) И конечно, бросить институт мне не позволили. «А если не поступишь? Потеряешь еще два года, а за это время...» — и начинаются примеры из примерной жизни всяких соседей и знакомых, вчерашних одноклассников. И я сдаюсь так называемой «логике жизни». А может, я не прав? Может, как мне советуют, отбросить все эти сантименты, ведь инженер-строитель не так уж плохо. Держись, другим и такое не вышло. И что меня поражает: эти слова в той или иной форме произносит подавляющее большинство окружающих. Я запутался окончательно. Или, может быть, я многого не понимаю? Но сейчас мне очень трудно...»

В письме нет конкретных упреков кому-то. Но между строк они читаются. Тем более что письмо это — отклик на опубликованную перед тем в газете статью о фильме «Доживем до понедельника». Фильм этот, как известно, о школьной жизни, об учителях. Им-то и был предназначен невысказанный укор письма — не подсказали, не направили, не вразумили... Прав или не прав наш автор в своем случае — это вопрос особый, и ответить на него можно было бы, лишь исследовав конкретную ситуацию в ее неповторимых обстоятельствах. Но разве дело в одном конкретном случае?



Бытие определяет сознание — привычно повторяем мы марксистскую философскую формулу и не всегда задумываемся, а что же означает «бытие» не в философском только, а и в житейском, бытовом, можно было бы сказать, плане, если не бояться тавтологии. Ведь слова «бытие» и «быт» не случайно происходят от одного корня.

В наш век, в эпоху бурного развития научно-технической революции, все труднее становится провести грань между материальными и духовными факторами, влияющими на человека. Например, телевизор. С одной стороны, несомненно, материальный фактор (он вещь неодушевленная, «ящик», как называют его на профессиональном жаргоне, наличие его в квартире зависит от весьма материальных обстоятельств). В то же время это, естественно, и духовный фактор, ибо частицы материи, называемые телеволнами, способны творить буквально чудеса с умами, душами, вкусами и взглядами телезрителей, особенно молодых, неискушенных. Чудеса добрые и злые. Телевидение в руках людей недобросовестных, алчных и одновременно предприимчивых, а именно в таких руках оно и находится, как правило, на Западе, приносит огромный вред. Признаниями в этом, свидетельствами этого, то тревожными, то злорадными, переполнены пресса и эфир в капиталистических странах.

Впрочем, это особый вопрос, и к примеру с телевидением мы обратились лишь для того, чтобы показать, что бытие сегодня — это нечто более сложное, чем давно известные нам материальные факторы жизни.

Бытие — это и вся та духовная атмосфера, в которой оказывается человек со дня своего рождения. И раньше всего это семья, а потом и школа, которая находится через дорогу.

Школа — первый дом, который начинает существовать для подрастающего человека после его родного. Учитель — первый взрослый человек, который занимает в его жизни такое большое место после родителей.

Существуют, правда, утверждения, целая система взглядов, по-своему очень логичная, согласно которой роль учителя в современном обществе падает независимо от его индивидуальных качеств. Сравнивают при этом для большей наглядности, например, ребенка из старой деревни, где учитель порой бывал вообще чуть ли не единственным грамотным взрослым во всей округе,

и городского мальчика или девочку наших дней, которые уже задолго до того, как впервые пришли в класс, научились читать и писать, ходят в кино, а с помощью телеэкрана у себя дома перезнакомились со всеми знаменитыми людьми.

Что, собственно, может дать учитель такому современному ребенку, живущему в мире, все окна которого открыты для него настужь? Что, кроме хороших знаний по своему предмету? Вот об этом пусть и позаботится — о добросовестном исполнении основной своей функции учить.

Образно говоря, слово Учитель, согласно этой точке зрения, пора перестать писать с большой буквы. Это уже не миссия, не предназначение. Это профессия. Сложная, многотрудная, но профессия, и так к ней и надо относиться. И чем лучше уяснит это себе каждый представитель профессии, тем больше у него шансов увеличить свой вклад в дело обучения школьников, которое требует сегодня и непрерывного накопления собственных знаний, и постоянного обновления их, и овладения новейшими средствами и методами преподавания, рожденными научно-технической революцией.

Вот так примерно, подчеркнуто рационалистично, сухоовато излагают свою точку зрения люди, которых следовало бы, видимо, назвать утилитаристами. И от этой точки зрения сегодня нельзя просто отмахнуться. На ней — печать времени. Она не на шутку претендует на право говорить от его имени. И кажется, что многие перемены в нашей школе происходят в полном согласии, в соответствии с ней.

Задумавшись — незаметно уходит в прошлое такая столбовая фигура в школе, как учитель начальных классов. Первый учитель. Человек, имя и отчество которого дети узнают раньше всех других. Человек, на которого они больше всех ссылаются, к которому они больше всех апеллируют в первые годы своей школьной жизни. Вместе с новыми программами в первые классы приходят деловитой походкой учителя-предметники. Спрессовываются минуты урока. Каждая на счету, и все меньше их остается для так называемых бесед по душам... И не надо думать, говорят утилитаристы, что такие уж мы сухари, такие насквозь рационалистические души, которые не понимают, как многое уходит из школы, уступая натиску современности... Но лучше и полезнее все-таки смотреть

правде в глаза, предвидеть неотвратимый ход развития, чем тащиться у него в хвосте...

Однако и сторонники другой точки зрения не спешат поднять руки, и их не так-то легко сбить с толку всеми этими разговорами о неизбежном суровом и благодетельном рационализме.

При этом они отнюдь не только обостряются, но и наступают. Назову для подтверждения лишь одно имя — Мариэтты Шагинян, в творчестве которой образ учителя всегда занимал самое почетное место в самом почетном «красном углу». Что такое, например, ее удостоенная Ленинской премии тетралогия о семье Ульяновых, как не сага об учительстве, о его роли на земле? Что же касается ее воспоминаний «Человек и время», к которым я хочу здесь обратиться, то и они куда больше похожи на научно-художественный трактат об учителе и учительстве, чем на традиционные мемуары.

Полемизируя с поборниками утилитаристской точки зрения, Шагинян восклицает со свойственным ей темпераментом: «Пищу все это и заранее вижу глубокое недоумение на лицах представителей наших точных наук. Так и слышу их: да разве в этом педагогические проблемы нашего века? Ведь это — век научно-технической революции!.. Острой необходимости совершенно переработать школьные программы, обучать программированию, управлению автоматикой... Дорогие друзья-читатели, — продолжает писательница. — Ведь я прабабушка. Мой век не мотыльковый. На своем веку я пережила и сама и через книгу немало научно-технических революций. И всякий раз влияние их на душевно-духовное содержание жизни преувеличивалось воображением современников... Технические революции очень, очень многое меняют в жизни, но «звезды в небе и нравственный закон в человеке» меняются куда медленней машины».

Повышать уровень профессиональной подготовки? — вопрошают «гуманитарии». Конечно! Совершенствовать методы и средства обучения? Всенепременно! Шагать в ногу с научно-техническим прогрессом? А как же иначе! И вообще, продолжают они, если воспринимать весь этот диалог о роли, о фигуре современного учителя лишь как одно из бесчисленных проявлений противоборства двух тенденций, которое заметно в современном обществе повсюду —

спора между профессионализмом и дилетантизмом вообще, — то утилитаристов следовало бы только поддержать и поощрить. Но именно они с их культом научного подхода и не должны бы забывать о таком понятии, как специфика. Школа есть школа, и именно теперь, когда у нас в стране становится реальностью всеобщее среднее образование, школа на долгие восемь — десять лет — второй дом для всех без исключения ребят.

Что с того, что они смотрят телевизор, что чаще, чем когда бы то ни было, ходят в кино, на всевозможные лекции, в театр?! Что с того, что ребенок уже в шесть-семь лет получает свой первый журнал, а потом и одну за другой свои газеты? Чем больше он узнаёт, слышит, раздумывает, тем больше потребность поделиться всем этим с живым человеком, а не с «аппаратом», услышать его голос не с экрана и не с трибуны. Кому быть компасом в мире книг, лодманом и маяком в первых путешествиях души и сердца? Учителю, конечно, и не спешите писать это слово с маленькой буквы.

Не нужно думать, что сторонники той и другой точки зрения, вооруженные до зубов аргументами, стоят как два войска друг против друга или, предупредив: «Иду на вы», начинают в урочный час планомерное, заранее подготовленное наступление на позиции противной стороны. Если уж и сравнивать это с войной, то с необъявленной. Здесь линия фронта четко не обозначена, и не сразу можно догадаться, где кончаются позиции одной стороны и начинаются позиции другой.

Раздумывают о роли учителя, о том, как ее понимать в наши дни, в 70-е годы XX века, не только специалисты, нет, — спорят об этом в школе и дома, в книгах и кинофильмах. Спорят ученые, и спорят папы и мамы, артисты, писатели, художники... Время не снимает этого вопроса с повестки дня. И вряд ли когда-нибудь снимет. И в этом признание того, что роль учителя в обществе, его взаимоотношения с ним — та самая лакмусовая бумажка, тот градусник, который позволяет измерить температуру общества и отдельных его слоев, судить об их здоровье.

Но прежде чем обратиться к героям других книг советских писателей, стоит вспомнить еще об одном учителе, о мистере Колдуэлле из Соединенных Штатов Америки. Напомню, Колдуэлл — герой романа американского писателя Алдайка «Кентавр»

(роман печатался сначала в журнале «Иностранная литература», а затем вышел отдельной книгой).

#### IV

В романе этом раскрыта трагедия рядового учителя в Америке, трагедия, которая обусловлена как будто бы индивидуальными обстоятельствами, а на самом деле является глубоко социальной. Трагедия не становится менее безысходной оттого, что герой романа на наших глазах из ничтожества, отверженного превращается в героя, полубога.

Кентавр, как известно, образ мифологический. Между тем в книге не происходит ничего сверхъестественного. Наоборот, жизнь, свидетелями которой мы становимся, протекает на редкость буднично и бесцветно. Да и что может быть прозаичнее существования провинциального учителя в заштатном американском городишке, находящемся во власти вселенского хама — многоликого, многовозрастного и неистощимого в своих мерзких проделках. Он то в образе директора лезет пухлой лапой под кофточку к ученице, то пакостником-школьником нацеливает самодельную железную стрелу в ногу учителя, то в виде великовозрастного лоботряса разглагольствует о преимуществах фашистской системы править миром...

От такой жизни не жди чудес. И все-таки чудо совершается. За какие-нибудь три дня учитель Колдуэлл из затурканного и нелепого, вызывающего всеобщую жалость и пренебрежение неудачника, эдакого юродивого, дурацкая вызванная шапочка которого повергает в отчаяние даже его сына, вырастает на наших глазах в титана.

Однако сколько бы мы ни перелистывали вновь и вновь страницы книги, как ни раскладывали бы по часам все события этих последних дней в жизни провинциального учителя, мы нигде не найдем и намека на эволюцию в духовном или умственном облике Колдуэлла.

Не без удивления обнаруживаешь, что изменился не герой. Сдвинулось, непременно должно сдвинуться что-то в читателе. Если, конечно, он не захлопнет книгу после первых десяти страниц. Если даст себе труд продрагаться сквозь заросли колючих, как моток железной проволоки, фраз, которые с непривычки царапают очень больно. Если не собьется с пути в багровом тумане аллегорий и ассоциаций.

Книга Апдайка из тех, которые напоминают нам, что чтение художественных произведений — не всегда развлечение. Она зовет потрудиться вместе с автором. Тот, кто решится на это, перешагнет через барьер привычного, будет обязательно вознагражден.

Часто, сталкиваясь с тем или иным произведением литературы и искусства, мы поначалу реагируем как бы и не на него, а на какие-то внешние его признаки, которые сразу же побуждают отнести нового знакома к той или иной известной нам категории. И если категория эта заведомо несимпатична нам, мы поспешно отворачиваемся и от ее очередного предполагаемого представителя.

«Кентавр» Апдайка нетрудно, например, объявить очередным проявлением упадочнически-модернистских тенденций в буржуазной литературе. Роману, казалось бы, можно найти место на полке литературы, развивающейся под деформирующим влиянием философских и эстетических концепций вроде фрейдизма или еще чего-нибудь поновее. Однако истинно талантливое произведение выше разного рода направлений и течений, которым оно, казалось бы, обязано своим появлением. Пусть и рожденное ими, оно в конце концов разорвет их пути.

Роман Апдайка преодолевает барьер предвзятости — таким ароматом неповторимости веет от него.

Кентавр — это получеловек-полуконь. В сущности же, это полубог-получеловек. А если иметь в виду самое широкое толкование понятия, то нам вообще может быть безразлично, из каких половинок состоит целое. Важно, что оно половинчато. Кентавр — синоним раздвоенности.

Ну, а Колдуэлл, герой романа?

Два чувства, две стихии стремятся одолеть и погубить его.

Боль — живое, безжалостное существо, которое не расстается со своей жертвой ни на минуту...

Писатель рассказывает о боли с такой очевидностью, с такой ужасающей достоверностью, что кажется — так написать мог лишь человек, сам переживший эту боль и умерший от нее вместе с героем. Тем дороже для нас то почти нечеловеческое сопротивление, которое оказывает страданиям Колдуэлла. Даже самые близкие Колдуэлла люди до самого конца не подозревают о силе и источнике его мук. Однажды отчаяние прорывается наружу в присутствии

вию сына, который и рассказывает нам об этом:

«— Должен же быть какой-то способ тебя вылечить,— сказал я.

— Убить меня,— сказал он. Эти слова так странно прозвучали на темной и холодной улице... — Самое верное средство,— сказал он,— убить».

В нетерпении донести до читателя всю необъятность мужества среди безмерности страданий Апдайк, живописец по направленности таланта, писатель, умеющий найти зримое выражение каждому чувству, ощущению героя, нередко отбрасывает кисть и многоцветную свою палитру, чтобы схватиться за обыкновенное автоматическое перо. Обнаженная публицистичность мысли кажется ему тогда единственно надежной.

Колдуэлл — сложный характер. Но если бы, не стесняясь утилитарности своих намерений, мы попытались расщепить его, свести к какой-то одной, доминирующей черте, ею оказалось бы умение переносить, таить в себе боль, которое и становится содержанием последних дней жизни героя. Способность противостоять мукам — это в сознании людском, извечно одна из высших и истинных человеческих добродетелей и примета человека незаурядного, одушевляемого великими целями. Что же дает силы Колдуэллу? Ответ поначалу напрашивается самый странный: страх.

Страх смерти и боязнь потерять свое место учителя. Но не поспешим с выводами. Задумаемся лучше: почему эти столь несоизмеримые опасности в его представлении одинаково страшны? Да потому, что каждая из них в равной мере способна лишить его возможности делать то, ради чего он живет. «Господи, да если я уйду из школы, мне одна дорога — на свалку...», «Сыграй я сейчас в ящик, они с матерью засядут в своей дыре, а есть, наверное, будут цветы с обоев. Нет, я не могу позволить себе умереть...»

Колдуэлл немало поскитался по дорогам Америки, достаточно хорошо изучил ее, чтобы понять: в этом мире человеку не приходится рассчитывать на чью-то поддержку. Близкие ему люди погибнут, если его не будет рядом. И вот поставив крест на мечтах и способностях, порывах и надеждах молодости, отказывая себе в праве даже на смерть, он идет, никуда не сворачивая, однажды выбранной дорогой. Он нисколько не обольщается, не надеется на

то, что его жертва будет понята, оценена, хотя бы замечена. Он уверен, что в глазах жены и сына, не говоря о всех прочих, он был и останется неудачником, чудачком... Но он и пальцем не пошевелит, чтобы что-то изменить в этом отношении. Не потому, что ему импонирует роль непонятого, и не потому, что ему все безразлично. Просто он, как бегун на дистанции, дорожке и только дорожке отдает весь остаток своей энергии, чтобы упасть в конце ее бездыханным, не зная, какая буря разразится над его головой — гул восторга или насмешливый гогот. «Сделай все возможное — больше никому не дано».

Колдуэлл — это современный Сизиф, который не по принуждению, а добровольно взялся катить камень в гору и катил его до тех пор, пока не пал под его колоссальной тяжестью.

«Вперед, как крутая гора, высилась безнадёжная усталость. От мысли, что снова придется изворачиваться перед Зиммерманом, миссис Герцог и всей этой огромной, деспотичной олинджерской бандой, ему становилось тошно; как могло семя его отца, таившее в себе беспредельные возможности, дать отпрыск, загнанный на клочок бессильной, неблагодарной, враждебной земли, вынужденный жить среди непроницаемых лиц, в четырех замкнутых стенах двести четвертого класса?»

Подойдя к машине ближе, так что в крыле появилось его вытянутое и искаженное отражение, он понял. Это колесница, которую прислал за ним Зиммерман. Уроки. Он должен совладать с собой и подготовиться к урокам.

Почему мы чтим Зевса? Потому что другого бога нет».

В этих словах, рисующих нам Колдуэлла за минуту до его смерти, — трагедия его судьбы и подвиг его жизни. Сливаясь воедино, они рисуют нам того, кого автор называет кентавром, то есть двуединым, характером редкостной цельности, в котором даже и намёка нет на какую-либо раздвоенность, половинчатость. Поведение Колдуэлла все до мельчайших поступков и помыслов подчинено внутренней логике, логике благородства. Другого бога нет.

Человек создан для идеала, для подвига, для служения. Он, даже не находя достойного применения своим силам, будет, подобно художнику, не имеющему под рукой необходимого материала, творить из того, что его окружает, и создаст шедевр.

Таким феноменом и является одержимость Колдуэлла, его безоглядая отданность единственно доступной для него цели — служению семье.

«Что ж, он не зарыл свой талант в землю, он извлек свечу из-под спуда, и все увидели, какая она — сгоревшая свеча».

Колдуэлл, в оковах своей боли, сражался в одиночку и выстоял до конца. Плацдарм, доверенный ему жизнью, он защищал с честью.

Обстоятельства погубили его, им удалось сделать его несчастливым, но слабым они сделать его не смогли. И в этом его победа. Только поняв и постигнув эту главную истину, мы вправе перейти к размышлениям о том, каких высот могла бы достигнуть личность, подобная Колдуэллу, окажись он в других условиях, попади на другую почву, имей возможность выйти за круг семейных забот, обогатись ясной и подлинно величественной жизненной целью...

Таков Колдуэлл, этот современный кентавр. И двойственность следует искать не в нем, а вне его. Двойственно положение Колдуэлла в обществе, двойственно отношение к нему людей. Колдуэлл противопоставит окружающей его среде и в постоянной борьбе с ней как бы откупается тем, что по сравнению с его сверхзадачей представляется ему не имеющим значения.

Роман Апдайк не оставляет у читателя сомнений в характере и природе тех социальных условий, которые разбили жизнь Колдуэлла. Не случайно именно в бармене Майноре, который называет Рузвельта сифилистиком и сожалеет, что американские войска, дойдя до Эльбы, не взяли и Москву, «раз уж случай такой вышел», именно в нем Питер — сын Колдуэлла, а вместе с ним и сам Апдайк видят «человека, который со своей непроходимой республиканской глупостью и упрямой звериной силой владоулаживает все то в мире, что убивает его отца».

Конечно, Апдайк не марксист, и мы идем гораздо дальше в своих выводах относительно действительности, которую он изобразил. Апдайк верит в человека, но не видит для него возможности быть счастливым. Социальное зло почти фатально, как та сыпь, которая досталась Питеру по наследству от матери. И тут мы, естественно, не можем с автором согласиться.

Все так. Но мы совершили бы ошибку, если бы сосредоточили свое внимание на

ограниченности, противоречивости мировоззрения автора, непоследовательности его взглядов на социальные процессы, изменяющие мир, и прошли бы мимо тех открытий в сфере человековедения, которые он совершил и помогает совершать нам.

...Теперь, когда мы познакомились и с романом и с его героем, спросим себя: а так ли важно то, что Колдуэлл — учитель? Не все ли равно, какая у него профессия? Не мог ли он быть, например, рабочим, или банковским служащим, или коммивояжером? Безысходность, бедность, угроза безработицы — удел самых широких слоев трудящихся в США. Да и главный конфликт произведения лежит как будто бы и вне чисто школьной проблематики, чего не скажешь, например, о произведении другого американского писателя — Элинджера «Над пропастью во ржи». Здесь героя просто невозможно представить себе вне школы, ибо в конфликте юного героя с ней — вся суть романа.

Ну, а Дюйшен, ответим вопросом на вопрос, не мог ли и он быть кем-либо другим, например комбедовцем, комсомольским работником, чоновцем — ведь все это фигуры, даже более характерные для тех лет, чем учитель?

Ну, а герой произведения белорусского писателя Василя Быкова «Обелиск» — тоже учитель, но именно учительствовать на страницах повести, действие которой происходит в дни фашистской оккупации Белоруссии, приходится ему меньше всего.

Да, ни одно из этих столь не похожих друг на друга произведений не назоветь сценами из школьной жизни. И все-таки все они — об учителе.

Самый страшный вывод, который следует из романа Апдайк, — это то, что мы имеем здесь дело с обществом, которому не нужен учитель, которое отказалось от него. К чему все таланты Колдуэлла, чистота его помыслов, глубина его мысли, если для того, чтобы преуспевать, чтобы стать кумиром молодежи, идиолом толпы, надо уметь, подобно Джонни Дедмену, «ловить на лету ртом соленые орешки» да «без промаха попадать в лузу механического бильярда».

Джонни Дедмен — вот будущее, которое угрожает стране, если она отвернется от Учителя. Питер, чуть было не застрявший где-то на полпути между отцом и Джонни, — вот ее надежда. И оттого, что так

шатка эта надежда, так сильны порывы ветра, грозящие погасить огонек, столь гнетуща, печальна тональность романа, который весь в целом приобретает характер символа.

И наоборот, один из героев повести Быкова с глубоким, выношенным всей жизнью убеждением говорит: «Я так думаю: в том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей. Пусть, может, я и ошибаюсь, но так считаю».

## V

Ну, а учитель, сам-то он готов ли к роли Атланта, поддерживающего Землю, способен ли на нее, под силу ли она ему? Именно на этот вопрос и попытался ответить в своей повести «Обелиск» Василь Быков.

Главный герой его — Алесь Иванович Мороз, учитель, вернее, заведующий начальной школой в одном из сел только что освобожденной Белоруссии. Шел 1939 год.

Ситуация, естественно, отличная от той, в какой оказался Дюйшен Айтматова. Но внутренне и очень схожая с ней. Конечно, 1939 год не 20-е годы и учитель Мороз не самоучка, а профессионал, выпускник педагогического училища, пять лет уже проработавший в школах страны. Но и здесь, на недавно освобожденной земле, новая жизнь, как и в горах Киргизии, только начиналась, и Алесь Иванович, как и Дюйшен, был для ребятишек из бедных, забытых селений не только человеком, помогавшим им овладеть азами грамотности, но и всем на свете — товарищем, отцом с матерью, нянкой.

Приводя в ужас свою помощницу пани Ядю полным пренебрежением к «педагогическому такту», полным отсутствием беспокойства о собственном авторитете, он собственноручно ремонтировал школу, заготавливал вместе со своими учениками дрова на зиму, сам отводил домой и приводил в школу самых маленьких, улаживал их конфликты с родителями. А те отнюдь не всегда разбирались в том, что же такое школа и для чего она нужна.

«Главное, чтобы ребята теперь поняли, что они — люди, не быдло, не какие-то там вахлаки, какими паны привыкли считать их отцов, а самые полноправные граждане...» И он делал из них не отличников учебы, не послушных зубрил, а прежде всего — людей. Сказать такое, конечно, легко, труднее это понять, а еще труднее — добыть-

ся», — так уже много лет спустя после гибели Мороза рассказывает о нем его бывший начальник, заврайоно, сумевший понять, что действия Мороза не дилетантизм, не кустарщина недоучки, а плод глубоких убеждений, которые хоть и снижали Морозу репутацию чудака, но уже и за тот короткий срок, что успел он до прихода немцев проработать в своем Сельце, дали плоды.

И случилось так, что именно на лесах того здания, которое он строил в душах ребятишек, и погиб учитель Мороз, «смертью смерть поправ».

Здесь мы должны провести еще одну аналогию. Героический поступок Мороза, литературного героя, сходен с решением Януша Корчака, реальной личности, известного польского педагога, который отказался покинуть своих воспитанников и выбрал общую с ними смерть в печах фашистского концлагеря. Сходство это, несомненно, продиктовано жизнью, история Мороза, конечно же, не придумана автором, хотя и в этом не было бы ничего предосудительного.

Безвестный, рядовой, по сути дела только начинавший свой путь молодой учитель возвысился в своем подвиге до таких вершин, которые побудили писателя поставить его трагедию выше тех, о которых поведали нам древние мифы. Полстранички размышлений автора, рожденные рассказом о Морозе, услышанном в пути, под открытым звездным небом, строки эти своей стилистикой, может показаться, выпадают из общего тона повествования, подчеркнута реалистического.

Но тем сильнее обнажают они глубокий символический смысл произведения, предназначенного возвеличить звание учителя. «Я слушал Ткачука и подсознательно впитывал в себя торжественное величие ночи, неба, где над сонной землей начиналась своя, необъяснимая и недостижимая ночная жизнь звезд... впереди, как раз в том направлении, куда уходила дорога, тоненько и остро поблескивала звездочка Ригеля, словно серебряный штемпель на уголке звездного конвертика Ориона. И мне подумалось, как все же выспрени и неестественны в своей высокопарной красноречии древние мифы, хотя бы и вот об этом красавце Орионе, возлюбленном богини Эос, которого из ревности убила Артемиды... Красивая выдумка древних подкупает и очаровывает человечество куда больше,

чем самые захватывающие факты его истории... Мифические трагедии не повторяются, а земля полнится собственными, подобными той, что некогда случилась в Сельце...»

О казненном фашистами Морозе, как и о Дюйшене, мы узнаем из воспоминаний. Рассказ бывшего заведующего районо Ткачука, лежащий в основе повести, довольно коряв. Реплики, которые подают по ходу его рассказа другие, — тоже живая разговорная стихия слова.

Часто люди вообще не в состоянии по-настоящему оценить поступок ближнего, даже такой недвусмысленный, как поступок Мороза, пришедшего из партизанского отряда к своим схваченным немцами ученикам. Но и тогда, когда они, подобно Ткачуку, душевно переполнены, живут подвигом ближнего своего, им трудно бывает о нем рассказать, потому что хочется найти какие-то особенные слова, а их просто нет в обычном лексиконе. Так что автор не случайно выбрал именно такую форму изложения. Именно эта вот неровная, то витиеватая, то неуклюжая речь Ткачука, словно бы силившаяся разорвать какие-то невидимые оковы, и помогает воспроизвести шаг за шагом весь крестный путь учителя навстречу своей смерти и бессмертью.

Вот Алесь Иванович узнает, что ученики его совершили дерзкую диверсию против карателей. Их поступок, может быть в сложившейся ситуации просто бесполезный, находится в полном соответствии с духом того, чему учил их Мороз, к чему он их готовил. Ученик отдает учителю... Но они, ученики, в застенке, а он в партизанском отряде, где и узнает, что ребятам грозит смерть, если он, их учитель, не отдаст себя в руки оккупантов. Ни на минуту не возникает у него вопрос, как поступить. Надо идти. Дело только в том, как осуществить свой план действий, потому что окружающим его людям — командиру, комиссару, другим — намерение Мороза кажется и бессмысленным (все равно ребятишек немцы не пощадят) и опасным, ибо его явка может навести немцев на след лагеря.

Это только кажется, что сюжет повести прост и бесхитроу: встретился автор с Ткачуком — и тот рассказывает ему историю Мороза... Внешне это так. Но, кроме внешнего, в повести есть еще и внутренний сюжет, который постоянно ставит нас перед новой загадкой, новой нравственной проблемой, заставляет судить и рядить ге-

роев, решать, кто же из них прав. Хотя все они в одном строю, борются за одно дело.

Прав ли был Мороз, нарушая, к ужасу пани Яди, законы педагогического такта? На этот вопрос утвердительно ответить не так уж трудно... Но прав ли он был, когда решил продолжить занятия в своей школе и после прихода немцев? Тут уж засомневалась не только уважаемая пани Ядя. И вот — новое неожиданное намерение... Тут-то здравый смысл уж явно не на стороне учителя, а его оппонентов. Недаром столько заслуженных людей, и крабрых, и честных, и опытных, и в мыслях не допускают того, чтобы Мороз мог пойти и отдаться немцам... Для того, чтобы выполнить свое намерение, Мороз вынужден был даже обмануть партизанских руководителей, по сути дела, бежать из лагеря. И ничего, кроме злости, возмущения, этот его поступок поначалу у них не вызывает.

Непонимание, которым окружены, как мы видели, и многие другие действия Мороза, — само по себе предмет для размышлений. Было бы ошибкой, данью инерции видеть в этом непонимании пропасть, которая отделяет, мол, такого не от мира сего человека от остальных. В конечном-то счете, хоть и с роковым опозданием, с Морозом согласятся, его правота станет для всех очевидной. В чем же дело?

Дело в том, что учитель Мороз, никакой не чудак, не блаженный, не кородивый, живет в условиях, так сказать, особого нравственного режима, того самого, что рождается отношениями ученика и учителя. Моральные оценки, нормы, требования здесь те же, что и в большом окружающем их мире. Но блюдут их здесь строже, подчиняются им беспрекословно и без малейшей потребности в самопринуждении.

Микроклимат этот — автор подводит нас к такому выводу всей художественной логикой повествования — создается под воздействием тех нитей, которые в неисчислимом количестве протянуты от сердца ребенка к сердцу учителя и которые ни порвать, ни повредить невозможно без того, чтобы не убить в себе человека.

Собственно говоря, эти же нити связывают Колдуэлла с его семьей, это то же магнитное поле, которое побуждает американского учителя, невзирая на все потери, угрозы, держаться и делать свое дело. Но вот тут-то, в сравнении, мы и обнаруживаем, в чем ущербность Колду-

элла. Его мир, ради которого он готов на все,— это его дом, его сын, и только, ибо все остальное давно отринulo его от себя и проклято им самим. Мир Мороза — это все дети, которых он хотел бы вырастить достойными самого высокого на земле. Ради Всех Детей он и идет на смерть с теми, своими, попавшими в руки немцев.

Вот этот внутренний смысл его подвига, его жертвы и заставляет чуждого патетики, экзальтации писателя заявить, что на учителях вся нация держится. И добавить с укоризной: «Наверно, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для народа на протяжении его истории». Подвиг Мороза, при всей необычности ситуации, по существу своему не представляется писателю чем-то совершенно исключительным. В нем проявилось с особой силой и выразительностью то самое, что и составляет суть учительства как призвания, предназначения.

Как мы уже говорили, Василь Быков не является специально «школьным писателем», есть в литературной критике такое определение. Насколько мне известно, повесть «Обелиск» — его первое обращение к теме учительства. И вполне закономерно предположить, что к этой теме, к тем нравственным выводам, которые он делает, Быкова привела конкретная, поразившая его судьба.

В том же самом номере журнала, где была опубликована повесть Быкова, печаталась и продолжение воспоминаний Маризтты Шагинян «Человек и время». И что же? Оказывается, и она приходит к тому же выводу. Но совсем другим путем. Быков идет к обобщению от одного чрезвычайно сильного впечатления, Шагинян формирует его как один из основных итогов своей многолетней деятельности писателя, ученого, публициста. Конечно, тот факт, что обе эти вещи опубликованы одновременно, — совпадение, случайность. Однако случайность эта как-то особенно наглядно проиллюстрировала тот пристальный и глубокий интерес, с которым наши литература и искусство изучают фигуру учителя. И конечно же, для этого есть свои основания.

## VI

Бывает, что, постоянно встречаясь с тем или иным человеком, мы привыкаем видеть его в одном измерении. Пока мы школьники, учитель для нас чуть-чуть загадочен и

окутан целомудренной дымкой. Юношеское воображение бывает шокировано открытием той очевидной истины, что учитель или учительница не только учат чужих, но еще и растят своих детей: готовят им пищу, покупают хлеб, стирают белье...

Вырастая и приходя в школу уже родителями, мы с удивлением и, пожалуй, неудовольствием ощущаем в себе вечно живого школьника, который готов замереть, встретив взгляд учителя, и тут же улизнуть куда-то в сторону.

Для большинства из нас, горожан, учитель — это прежде всего учитель. Он привычно представляется нам то объясняющим урок, то беседующим с родителями, то сопровождающим экскурсию. Он всегда необходимо назидателен, уравновешен, сдержан.

Так уж устроена школьная жизнь, что она, подобно стыдливой мимозе, складывающей лепестки и сникающей от легчайшего прикосновения, неуловимо меняется от постороннего присутствия. И вот, видя учителя таким, каким только нам и дано его видеть, мы думаем, что знаем о нем все...

Кинофильм С. Ростюцкого и Г. Полонского «Доживем до понедельника» стал при своем появлении как бы окном, прорубленным для миллионов, которые смогли приобщиться к миру сегодняшней школы, ничем не обнаруживая своего присутствия.

Вспомним начало фильма. Гонимая за вороной, мечутся по классу ученики. Взрыв инстинкта сделал вдруг дикарями вполне нормальных, разумных ребят и девчат. И, кажется, нет в мире сил, которые были бы способны обуздать его. Но внезапно ураган стихает, замирает под воздействием всего нескольких слов, сказанных молодой миловидной учительницей. Торжествуя победу, Наталия Сергеевна упивается и даже слегка кокетничает ею. Безграничной кажется ей власть над школьниками. Но вот еще один стремительный поворот событий. Ворона, завернутая в тряпку, летит в окно, и класс, только что дружно измывавшийся над бедной птицей, теперь столь же дружно и искренне негодует по поводу поступка своей любимой учительницы. А наутро девятиклассники не приходят к ней на урок.

Когда-нибудь, повзрослев, ребята поймут, что судить о человеке по одному случайному поступку, слову — самое пустое дело. Они поймут, что у человека могут просто сдать нервы. Когда-нибудь они это поймут. Но сегодня они бессознательно жестоки в



своей жажде добра. И неколебимо убеждены в своей правоте. Впрочем, лишь до следующего аргумента, который возникнет перед ними через мгновение.

Малые дети спать не дадут, большие дети — сам не уснешь. Представим себе положение учителя, который, словно волнорез, стоит на пути этой никогда не умолкающей волны эмоций, постоянно меняющихся и переходящих друг в друга.

Представим себе положение учителя, который неизбежно и естественно становится предметом первых и самых пристальных нравственных изысканий своих воспитанников. Положение его не менее драматично, чем положение ученика. И это не на год и не на десять лет даже — на всю жизнь. Источник и радостей и горестей.

Вспомним разглагольствования преуспевающего Бори Рудницкого, его сочувствие бывшему своему наставнику, который так и остался учителем: «Ваш кпд мог бы быть значительно выше...» Удивительна эта страсть пошляков — покровительствовать и давать советы. Самое же обидное в том, что благоглупости свои Боря не сам придумал — он позаимствовал их бездумно уходящей молвы, согласно которой поприще учителя не очень-то завидно. Противостоят напору этой молвы, нимало не сообразующейся с публично проповедуемой точкой зрения, нелегко бывает даже человеку незаурядному.

Вот и учителя Мельникова бестактное Борино сочувствие ранит, кажется, куда сильнее, чем это можно было предположить. Таковую нашу догадку подтверждает не только просьба Ильи Семеновича об отпуске в учебную пору. Многие в его поведении заставляют предполагать, что какая-то тайная дума точит душу учителя. И оттого он, человек по натуре деликатный, тонкий, отзывчивый, бывает так груб и невыдержан.

Наболело? Но что? Почему в разгар учебного года решается он покинуть школу, где его так любят дети и, конечно же, уважает большинство учителей? И действительно ли только о временном отпуске он хлопочет? Или это предлог для того, чтобы вообще изменить характер деятельности? Собственно, в размышлениях по этому поводу и реализуется нравственное воспитательное воздействие образа, созданного артистом Вячеславом Тихоновым.

Вот финальный эпизод. Судя по тому, с каким нажимом он сделан, авторы придают ему особое значение. Прощальные слова учи-

теля в классе. Глаза ребят крупным планом. И — страстно ожидаемое классом и зрительным залом наконец-то прозвучавшее: «Итак, до понедельника...»

Вздыхаем с облегчением, но и задумываемся: не хотят ли нас уверить, что Илья Семенович не ушел лишь потому, что не мог оставить этих вот ребят? Но тогда авторы либо сами чего-то не поняли в своем герое, либо мы думали о нем лучше, чем он того заслуживал. Давайте на минуту согласимся, что создатели фильма всерьез так думают. И тогда, выстроив перед внутренним взором своим многое из того, что мы узнали об Илье Семеновиче, неожиданно получим фигуру довольно заурядную. Человека, который хоть и возмущен словами Бори Рудницкого, но где-то в глубине души согласен с ним. Мечтает «о большем», а вот где оно и что оно, это большее, и сам не знает. Нужды нет, что и упреки его, как правило, справедливы, и что в споре с директором он прав, и что недовольство его преподаванием истории обоснованно... Только и хватает его, чтобы побрюзжать. Типичный неудачник. И коль скоро он таков, то и решение остаться, принятое в угоду этим вот полным укора и обожания взглядам, не очень-то поднимает его в нашем мнении.

Впрочем, чуточку изменив освещение, можем получить и другой результат: все еще впереди у Ильи Семеновича. Перед нами человек, для которого школа — перевал в пути. Другая стезя уже ждет его, и он уверенно зашагает по ней, как только освободится от груза школьной повседневности.

Но, утвердившись в этом, мы тем более должны бы не радоваться, а огорчаться решению Ильи Семеновича остаться в школе, ибо продиктовано оно минутным порывом. Он пройдет, а потом? Школа не примет рыцарей на час.

Почему же мы все-таки рады вместе с детьми и как дети? Да потому, что видим в фильме другого Мельникова. Уже и раньше угадываемый нами, он встает во весь рост на уроке, посвященном лейтенанту Шмидту.

Рассуждая о терниях учительского труда, одной из главных тягот его называют обычно необходимость повторения одного и того же изо дня в день, из года в год. Довод этот, на первый взгляд, кажется неоспоримым. Но ведь такой же особенностью отличается, собственно говоря, любой труд, если видеть только внешнюю его сторону. Труд артиста, например, хотя он и является как бы эталоном труда творческо-

го. Разве актер не повторяет десятки, сотни раз одну и ту же роль? Причем в отличие от учителя он не имеет права импровизировать текст. Но вот читаем признание одной киноактрисы, которая говорит о том, что завидует актерам театра именно потому, что они могут в отличие от нее вновь и вновь вернуться к роли, сказать сегодня, завтра то, что не сказалось вчера.

Мы присутствуем на уроке Ильи Семеновича Мельникова. Разве не театр это в самом высоком смысле слова? Театр одного актера, где учитель к тому же еще и режиссер, и сценарист, и декоратор, и трибун. И где в отличие от современного театра зритель-школьник, как в старинных народных действиях, не остается лишь свидетелем происходящего, а делается его участником...

Повторение одного и того же? Но разве урок о Шмидте не был бы совсем иным, не будь в классе Кости Батищева с его бездумными сентенциями и полнейшим безразличием к заученному? Интонации его ленивого голоса действуют на Мельникова, как звуки рога противника. Равнодушие, инертность чувств, механическое, не душою, не умом, а лишь памятью, восприятие мира, истории для него ненавистны.

«В учебнике о Шмидте всего пятнадцать строчек,— пожимая плечами, томно улыбаясь кому-то,— говорит Батищев. «От большинства людей остается только тире между двумя датами». Мы отчетливо понимаем, что слова учителя не только ответ Батищеву. Это продолжение непрекращающихся размышлений и о самом себе, о своих идеалах, о смысле своей профессии, своего предмета. Тот самый вопрос о счастье, которому школьники накануне посвятили свои сочинения, вновь возникает перед ними, уже совсем не по-книжному, вне всякой связи с отметками и заданиями. Обыкновенный урок истории становится уроком нравственности, уроком жизни.

Повторяю: не будь Батищева и его реплик, урок прошел бы, наверное, по-иному. Учитель нашел бы другие краски, другую тональность. Но каким бы ни был его рассказ — патетическим, лирическим, эпическим,— он был бы одинаково вдохновенным, впечатляющим. Потому что люди и события русской истории, о которой учитель каждый день и каждый год рассказывает своим ученикам, так же дороги ему, как и судьба этих тридцати подростков.

Состояние, подобное тому, в котором застаем мы Илью Семеновича, называют

кризисным. Да, верно. Но способность переживать такое состояние прекрасна и не каждому, увы, доступна. В ней гарантия нравственного здоровья личности. Она, эта способность, естественна для таких людей, как Илья Семенович, чистых, смелых, влюбленных в свой труд и потому всегда неудовлетворенных. Жажда совершенства в себе и вокруг заставляет их и мучиться сомнениями и порождать их. Конечно, такой настрой небезопасен. Достигаемая критической силы, внутренние бури способны совлечь человека с истинно предназначенного ему пути, как это чуть было не случилось и с Мельниковым. Но они же способствуют максимальной мобилизации всех внутренних сил, держат их в том предельном напряжении, которое рождает все прекрасное, все лучшее на этом свете и в конечном счете приносит человеку наивысшее удовлетворение, счастье.

Давно уже позади тот день, когда состоялась премьера фильма. Затих постепенно гул литературных споров о нем. Создатели фильма удостоены Государственной премии. А зрители, посмотрев картину, ведут себя так, словно они были только что не на киносеансе, а на собрании в школе. И Илья Семенович, Светлана Михайловна, Генка Шестопал, Наташа Горелова для них никакие не «действующие лица», а хорошо знакомые люди. И это еще одно свидетельство того, что фильм затрагивает такие струны души человеческой, которые звучат долго.

И вот еще одно доказательство того же, правда — от противоположного. Это повесть Василия Галунчикова «Тихая заводь» (из тетрадей учителя истории), появившаяся в журнале «Октябрь» в 1971 году.

## VII

Есть в этой повести страницы, прямо посвященные фильму «Доживем до понедельника», не названному, правда, по имени. Поначалу они кажутся случайным, искусственным вкраплением в ткань повествования. Однако, вчитываясь в них внимательно, убеждаешься, что дело обстоит серьезнее и, кажется, повесть и рождена-то стремлением автора опровергнуть основное содержание фильма, а его герою противопоставить своего, тоже учителя истории, только преподающего не в дневной, а в вечерней школе, в ШРМ — школе рабочей молодежи, которую герой и автор называют то ли ласкательно, то ли иронически «тихой заводью».

Практика и теория литературы знает такой способ спора, когда сталкиваются не тезисы, не логические доводы, а художественные произведения. История литературы знает немало примеров и того, как призванные к жизни таким вот полемическим запалом произведения оказывались куда долговечнее тех, что были невольными виновниками их появления. В данном случае такая перспектива вряд ли реальна. Если подходить к повести с точки зрения ее чисто художественных достоинств, то рассуждать о них возможно разве что в жанре литературного памфлета или фельетона. Однако те выводы, те идеалы, к которым Галунчиков стремится приобщить читателя, таковы, что говорить о них, хочешь не хочешь, приходится серьезно.

Итак, познакомимся. Учитель истории Виктор Степанович Худяков, лет примерно тридцати, рассказывает о себе в тетрадях, которые он ведет, по собственному признанию, больше от скуки. «Разбирая содержимое этажерки, натолкнулся на чистую тетрадь в клеенчатом переплете. Вот и нашел себе занятие... Уйду на пенсжо — самому будет интересно почитать».

От скуки, от нечего делать отправляется наш герой и по домам своих учеников. «Сажусь за письменный столик. Трудно сосредоточиться — Дуся пока еще не закрывала рта и вроде как не собирается уходить. Решительно встаю. Надо будет уходить самому... Но куда? Может, поехать домой к кое-кому из учеников? Узнаю, отчего пропускают занятия, посмотрю, как живут, потолкую по душам...»

Из этого «в некотором роде хождения в народ», по выражению самого Худякова, и вырастает сюжет повести.

Обратим внимание на то, что автор как будто бы не скупится на негативные характеристики своего героя. Ведь желание «поговорить по душам», если оно рождено бездельем, неумением взрослого человека, учителя, занять себя, вряд ли способно кого-нибудь умирить. Но это, как говорится, только цветики... Взяв в руки новую в клеенчатом переплете тетрадь, герой по воле автора тут же сообщает нам о себе куда более несимпатичные сведения.

В рабочей школе Худяков преподавать только начинает, придя сюда из дневной. А из дневной он ушел не своей волею и не потому, что, скажем, пострадал за убеждения, не мирился с консерватором-директором... Нет, такого рода подвиги у не-

го еще впереди. Просто не ужился он с ребятами, с теми, кого ему надлежало учить и воспитывать. В числе эпизодов, иллюстрирующих эту несовместимость, есть, например, такой, изложенный языком присяжного остряка: «Я частенько по воскресеньям бывал за городом. В турпоходе. С ребятами пятых — седьмых классов... Час умиротворенности. Кажется, самый раз обратить внимание на красоты природы или рассказать что-нибудь о наших предках, когда-то обитавших именно вот в этих лесах. И тут замечаешь отсутствие семиклассницы Коровиной. Отлучилась вроде как на минутку, а прошло целых полчаса, а ее все нет. Напрашивается привести ее Крюков, шустрый такой малый. Уходит и сам пропадает минут на двадцать. Места себе не нахожу. Наконец приходят, отчего-то оба смущенные. Невольно слышу в мягком шелесте листьев голос директрисы: «...только чтобы без ЧП. Вы в ответе за каждого ученика. Если что случится — дело подсудное».

Тут уж становится не до предков, обитавших в этих местах, в пору только бы уследить за их потомками».

Вот так аттестует себя Худяков, однако, по замыслу Галунчикова, он отнюдь не отрицательный герой, а положительный, притом такой, на чью долю выпадает вести упорную, напряженную борьбу за умы и души своих учеников, за наши идеалы.

Автор видит и показывает нам своего героя словно бы в кривом зеркале. Но не в таком, в котором все красивое, благородное делается безобразным и низким, а в таком, где пошлость предстает глубокомыслием, корысть — самоотверженностью, мизантропия — гуманизмом, политическая безграмотность — идейной непримиримостью...

Да, герой Галунчикова, если поверить на слово, руководствуется в жизни самыми высокими побуждениями, придерживается самых возвышенных, самых современных взглядов на назначение человека и учителя.

Если поверить на слово... Но в том-то и дело, что именно слово, составляющее, как известно, единственный строительный материал литературного произведения, и не позволяет нам поверить ни автору, ни его герою. Роковым образом оно компрометирует их обоих и тогда, когда Худяков чистосердечно признается в своих недостатках, а такие великодушно-нисходительные признания в изобилии рассыпаны по страницам книги, и главным образом тогда, когда ни герой, ни автор в простодушии своим и не подо-

зревают, что свидетельствуют против себя. Чтобы показать это, нам придется отправиться по следам благих намерений Худякова и попробовать их, что называется, на зуб.

Как помнится, мы расстались с Худяковым в тот момент, когда он решил посетить некоторых своих неблагополучных учеников на дому. Не будем уже великодушны напоминать о том непосредственном импульсе, который стал виновником этого и подобных ему вояжей. Посмотрим на их плоды.

При первом же своем визите, например, Худяков узнает, что муж одной из его учениц осужден, причем, как говорят, невинно, по ошибке. Читатель уже догадывается, что Худяков немедленно попытается исправить эту, в общем-то, вполне вероятную несправедливость. Он советует жене и товарищам потерпевшего, среди которых есть и ученики Худякова, немедленно написать письмо, которое он берется передать «куда надо».

Дальше идет описание похождения Худякова по судам, адвокатам, товарищам и родным осужденного. Но почему он все это делает? А потому, что Катя Киселева, за мужа которой Худяков вступился, понятия не имея ни о нем, ни о его проступке, нравится ему и он нравится ей.

Жизнь есть жизнь, и она нередко ставит людей в такие нравственные ситуации, создает такие коллизии, когда безошибочно выбрать линию поведения, которая отвечала бы нормам морали, собственной совести, бывает нелегко. И литература, естественно, не должна обходить такие ситуации, а идти им навстречу. Герой может и ошибаться и заблуждаться — никто не упрекнет в этом автора, ибо важна его точка зрения, его отношение к герою, которое и служит нравственным камертоном для тысяч и тысяч читателей. Но если герой, учитель, с полного одобрения автора открыто признается в том, что вся эта история со спасением осужденного нужна ему для того, чтобы завоевать внимание жены пострадавшего, а также и для других столь же своекорыстных целей, тут уж безнравственность явная, ее не могут замаскировать ни автор, ни герой.

В финале повести Худяков узнает, что Венька, муж Кати, будет освобожден.

«— Я только что от адвоката.— Глаза Кати встревоженные и ликующие.— На днях надо ждать возвращения Веньки. Я теперь свободна... Ты слышишь?»

— Наконец-то,— говорю я и, не стесняясь уборщицы тети Тани, обнимаю Катю.

— Я убежала на минуту. Иди, тебя же ждут. До встречи...— говорит она».

В другой раз на уроке Худяков узнает от своего ученика, что на одной из жилищныхстроек Москвы рабочие-строители безобразно относятся к хранению строительных материалов, по существу разбазаривают народное имущество. И так как сам Худяков только что говорил о связи знаний с жизнью, о гражданской активности, он и тут немедленно берет обязательство вмешаться. И уже на следующий день отправляется с одним из своих учеников на стройплощадку. Вот тут-то и происходит самое смешное, но пока еще не самое жалкое.

Уже на следующий день после данного сгоряча обещания героя нашего начинают одолевать сомнения: «Не сяду ли я и в самом деле в калошу? В строительных делах ничего не смыслю... вообще, в хозяйственных делах я профан, одно слово — гуманитарий, книжник». На стройке выясняется, что опасения Худякова вполне обоснованы. Придя на участок, он в силу только что обозначенных им причин действительно совершенно не способен определить, что перед ним — идеальный порядок или вопиющие нарушения: «пахнет известкой и краской. В проемах окон нет-нет да и протелькает человек в рабочей одежде...» «Сегодня еще ничего, а что вчера творилось, просто ужас!» — подсказывает ему ученик Ельшин.

Но что означает сегодняшнее «ничего» и вчерашний «ужас», ученик не расшифровывает. «Чтоб не выказать своего невежества и беспомощности, я продолжаю молчать».

Что ж, пока наш герой поступает как будто правильно. Коли уж попал в неловкую ситуацию, постарайся признаться в этом хотя бы себе, не усугубляй положения. Увы, такой выход не для Худякова. Ориентируясь по мере возможности на реплики своего ученика, он с ходу вступает в переговоры с прорабом, который, естественно, не может взять в толк, что, собственно, надо от него этому неграмотному в строительном деле человеку.

На первом же уроке, рассказывая об этой своей акции, он находит способ реабилитироваться в глазах учеников и своих собственных: «конечно, быть бойцом, а не свидетелем — дело непростое. Но разве это не увлекательно, не упоительно!»

Право же, человек, который кинет рассеянный взгляд на страницы этой книги, решит поначалу, что автор не иначе как задался целью в интересах уважительного

отношения к высокому слову создать образ-пародию, высмеять страсть к неумеренному и неуместному употреблению и повторению дорогих нам истин и лозунгов.

Такое предположение тоже, увы, не оправдывается. Автор нигде не допускает и тени юмора по отношению к своему герою, рассчитывая, видимо, хоть и тщетно, на такое же отношение со стороны читателя. Даже вот это вырвавшееся под влиянием неудачных походов признание: «...не могу же я до бесконечности пугаться в ногах у занятых людей» — Галунчиков относит за счет постоянной внутренней работы в душе героя, его повышенной требовательности к себе.

Чтобы портрет Худякова был окончательно дорисован, проследим за перипетиями еще одного сражения за справедливость, которое он ведет. Это схватка со школьным инспектором Сосковым, в которую оказываются втянутыми и газета, и райком партии.

А все дело в том, что Сосков, человек пожилой и опытный, покритиковал на одном совещании Худякова за его методичку. Промолчав на самом этом заседании, Худяков немедленно отправляется в газету, но не к кому-нибудь, а к своему приятелю.

Бывший сокурсник Худякова Илья без раздумий одобряет намерение приятеля: «Хотя коллизия эта и не новая, но всякий раз, как только с ней сталкиваешься, она требует к себе пристального внимания, поскольку, ты сам знаешь, борьба коммунистической и буржуазной идеологии достигла в наше время особой остроты».

Воодушевление журналиста так велико, что он даже отказывается что-либо проверять или уточнять в приведенных Худяковым фактам: «я тебя какой год знаю? Десятый? Вот видишь, неужели этого времени было недостаточно, чтоб узнать тебя?»

Попробуем на минутку закрыть глаза на грубое нарушение Илейей элементарных принципов работы журналиста и вслед за автором одобрим его поступок как акт гражданского доверия другу. Это ведь не такая уж плохая человеческая черта — доверие. Но вот беда, уже через несколько дней после опубликования письма Худякова и появления в редакции опровержения Соскова тот же Илья прилагает все усилия, чтобы никто не знал, что именно он предложил материал к опубликованию без всякой проверки. А между тем опровержение Соскова он тоже не проверял.

Разговор двух приятелей, состоявшийся по этому поводу, скорее напоминает стговор двух незадачливых жуликов, которых вот-вот уличат в мошенничестве, чем беседу людей, уверенных в собственной правоте и чистоте своего дела. На душе у обоих кошки скребут, но они бодрятся.

«— ...зам, понятно, поинтересовался, проверил ли я факты. Я ответил, что да... А то вдруг кому-то вздумается приписать мне, что я не проверил факты».

— Эх, Илья Петрович, пусть приписывают кому не лень! — бодро говорю я и хлопаю его по плечу. — Дело-то наше железное, верное».

Илья все же опасается за свою судьбу, боится, как он говорит, «оргвыводов».

«— Оргвыводы,— поясняет он,— это значит, будут меня выводить под белы ручки из редакции».

— Можешь не волноваться: не будет ни опровержения, ни оргвыводов. Советская власть существует не только в нашей школе, но и, не сомневаюсь, в вашей редакции».

Да, напрасно волновался Илья. Его служебный проступок был не только не осужден, а, наоборот, поддержан высоким собранием, которое одновременно, к вящему торжеству Худякова, заклеямило инспектора.

«Особо, само собой разумеется, надо задуматься товарищу Соскову: хватит ли ему сил и запасов здоровья, чтоб перестроиться?»

«— Пора и на отдых, надо меру знать,— откликается другой голос».

Инспектор сидит понурившись. Заметно постаревший... Он выглядит на все шестьдесят. И в самом деле, пора бы и меру знать». Это уже злорадствует Худяков.

Вот такие у положительного героя повести представления о нравственности, чести, достоинстве, идейности, принципиальности...

Остается задать вопрос: при чем же здесь Илья Семенович Мельников, герой фильма «Доживем до понедельника»? Да при том, что по велению автора, как уже говорилось, Худяков для того и рожден на свет, чтобы служить антиподом Илье Семеновичу.

Своеобразна ситуация, в которой происходит в повести разговор о фильме. По мысли автора, это импровизированный обмен мнениями, нечаянно завязавшийся сразу же после просмотра. При этом «директриса» нападает на фильм и его главного героя, а Худяков и еще одна учительница как бы пытаются его защитить. Личная линия фильма и их не устраивает, кажет-

ся надуманной, слащавой, но вот в социальном отношении фильм как будто бы серьезный и острый. «Дается столкновение прогрессивного и косного в воспитании и обучении».

Именно так поначалу утверждают Худяков и другая учительница. Но «директриса» в этом таком «непосредственном» и совсем не похожем на спор разговоре легко и быстро убеждает своих оппонентов в том, что они слишком уж снисходительны. Она быстро доказывает, что и в «социальном» плане фильм не выдерживает критики. И Худяков, неколебимо уверенный в себе Худяков, охотно соглашается с ней: «черт побери, а ведь Тамара Константиновна, пожалуй, права...»

Спор этот произошел во время перемены, но не успел прозвенеть звонок на урок, как всем стало ясно, что насчет «случайности» спора ни у кого из его участников никаких заблуждений нет. «Надо же, прочла целую лекцию! — проговаривается директор. — Что же вы меня не остановили?» «Ох и хитренькая вы, Тамара Константиновна! — смеется Кира Алексеевна. — Знали, когда вставить слово. Но и я тоже не в накладе. На заседании месткома мы запланировали просмотреть и обсудить какой-нибудь фильм или спектакль. Вот мы и обсудили».

Но как обычно в самом большом выигрыше наш Худяков.

«То, что директор неглупа, я знал и раньше. Но что сумела вот так разобраться в фильме — это уже для меня откровение». Вот и поговори с ним, с Худяковым, поспорь, поучи его уму-разуму. Он, оказывается, ни на минуту и сам не обманывался в отношении фильма. Но ему важно было все это услышать от «директрисы», в которой он раньше предполагал потенциально своего противника, а теперь надеется встретить союзника: «думается, что на поддержку Тамары Константиновны в предстоящем обсуждении статьи я все же могу рассчитывать». Вот он какой, Худяков, ловец человек.

Так серьезный вроде бы разговор серьезных людей на серьезную тему вновь в который уже раз оборачивается фарсом. Только теперь жертвой этого фарса оказываются не вымышленные события и персонажи, а реально, помимо повести существующее произведение искусства.

Но вчитаемся же повнимательнее в строки самой «дискуссии». Что ж все-таки не поправилось собеседникам в Илье Семеновиче?

Они иронизируют над тем, что он «весьма интеллигентен и остер, как Чацкий», «эрудирован и незауряден как оратор». Им кажется, что он «только и делает, что мечет саркастические стрелы», а сам не способен «к кропотливой, повседневной работе». И вообще «не слишком ли мелкотравчато выглядит он?..». А дальше идут такие размышления: «Таких одиночек-правдоискателей немало появилось в нашей литературе и искусстве с середины пятидесятых годов. Они, как правило, лишены четких классовых позиций, оперируют расплывчатыми, «общечеловеческими», чуть ли не евангельскими категориями благородства, добра, справедливости...».

Вот так, началось с эрудиции и излишка интеллигентности, а дошло и до внеклассовых позиций...

С киногероем Галунчиков расправляется с помощью тех же нехитрых приемов, какие помогают его Худякову взять верх над своими недругами.

Галунчиков хочет, чтобы мы, прочитав его повесть, разочаровались в учителе Мельникове и прониклись симпатией и уважением к учителю Худякову. Чтобы облегчить нам эту метаморфозу, он делает своего героя своеобразным двойником Мельникова. Оба они историки. Оба одинокими, живут с матерями. Мельников влюблен в бывшую свою ученицу, Худяков — в нынешнюю. Для того чтобы читатели, не дай бог, не обошли своим вниманием этого сходства, автор заставляет своих второстепенных героев подавать соответствующие реплики: «Там действует тоже историк, так сказать, ваш коллега. И его настрою не можем нам не импонировать».

Видите, сколь опасна близорукость, как бы говорит нам автор, как часто совершенно разные люди могут показаться нам похожими. И каких ошибок мы можем вследствие этого наделать.

И это, пожалуй, единственный случай, когда с ним хочется согласиться. Ведь если отвлечься на мгновение от тех языковых и смысловых нелепостей, которые в изобилии рассыпаны по страницам произведения, если забыть о том, что часто создатель его впадает в противоречие с самим собой, и попытаться в словах, так сказать, представить себе программу Худякова, она действительно может оказаться сходной с мельниковской. И тот и другой — за творческое овладение знаниями, за активную позицию в жизни, за принципиальность от-

ношений, за честность в большом и малом...

В жизни-то, где Худяков не всегда выглядел бы столь карикатурно, нам, пожалуй, действительно было бы труднее отличить их друг от друга. Тем важнее, пользуясь представившимся случаем, определить эту разницу.

Мельников, при всех своих недостатках, — тип современного учителя, который продолжает и развивает лучшие традиции русского и советского учительства, способен соединить высокий профессионализм с заботой о духовном развитии своих питомцев, способный стать для них примером.

Худяков — тип учителя-приспособленца, для которого школа — один из возможных путей выбиться в люди. Потерпев фиаско в дневной школе с ее «текучкой», турпоходами, ребячьим гамом и возней», он с тем большим напором отвоевывает себе место под солнцем в вечерней школе.

Надо ли добавлять, что такие, как он, компрометируют те принципы, за которые как будто бы горой стоят. Это из-за них благородное, высокое слово «идейный» приобретает порой в глазах молодежи совершенно не свойственный ему оттенок.

Не тогда ли, когда подобного рода люди начинают проявлять заботу «об умах и душах» своих воспитанников, и появляется предположение: а не лучше ли, мол, учителю в наши дни ограничиваться передачей знаний? Именно благодаря таким людям, особенно когда им, как Худякову, удается упрочить свое положение, профессия учителя теряет привлекательность в глазах выпускников школ, решающих «делать жизнь с кого».

## VIII

Часто, желая возвысить профессию учителя в глазах общества, молодежи, мы сравниваем ее с другими заведомо притягательными. И, возможно, не отдаем себе отчета, что в самом факте такого сравнения уже содержится признание того, что престиж профессии учителя действительно не так высок, как она того заслуживает. Когда-то, наоборот, любую другую профессию, стремясь подчеркнуть ее значение, сравнивали с учительской. Об этом свидетельствует Маризтта Шагинян, когда она пишет в своих воспоминаниях, что «старец», «старик» — обязательно старей годами (напомним: молодого Ленина звали «Стариком» в революционных круж-

ках Петербурга) — сочетался на Востоке с понятием учителя».

Тема учительства, как уже говорилось выше, одна из кардинальнейших в творчестве нашей старейшей писательницы Маризтты Сергеевны Шагинян, восьмидесятипятилетие которой сейчас отмечает как свой праздник советская литература. Эта тема занимала Шагинян всю жизнь и изучалась ею капитально. Образ Ильи Николаевича Ульянова, отца Ленина, настоящего подвижника народной российской школы, пожалуй, самый яркий, самый впечатляющий образ учителя в нашей советской литературе. Посвященные школе и учителю публикуемые главы из воспоминаний Шагинян — истинный кладезь научных и художественных знаний на эту тему.

Шагинян трудно рецензировать. Ее тем более невозможно пересказывать. Просто хочется обратить внимание читателей на наиболее значимые выводы, которые как бы в новом свете обрисовывают проблемы, нас волновавшие.

Словно отвечая тем, кто, ссылаясь на особенности «нашего технократического века», хотел бы сузить понимание роли, миссии учителя в современном мире, Шагинян пишет: «Почти за три тысячи лет, в VIII—VII веках до нашей эры, Индия знала, что учение — это не только заучивание разных предметов, нужных в дальнейшей жизни. Из всех благ, сопровождающих учение, лишь одно, если верить древнему ведийскому отрывку, относится к повышению знаний».

Она рассказывает, как, пойдя сорока пяти лет от роду в Плановую академию, она ощутила радость и счастье учиться, быть в школе. И задумалась, «почему в детстве и юности не было вот этого ощущения счастья, когда ты идешь в школу?.. Почему не было счастья от всего этого, как у пловца или рыбака, оснащающего свою лодочку для дальнего плавания?».

Делясь этими своими ощущениями, она хочет, чтобы дети шли в школу, «как цветы в воду или распада в землю». И именно поэтому так настойчиво говорит о роли учителя, об опыте, который накопило до-революционное прогрессивное русское учительство, освященное такими именами, как Илья Николаевич Ульянов. Она с горечью говорит о довольно распространенном ныне нежелании молодежи избирать для себя профессию учителя, о поступлении в пединститут «как бы только на худой ко-

нец». И размышляет о причинах этого, в том числе и экономических и престижных. Говорит о необходимости растить в будущих педагогах жилку «передачи знаний», желание иметь вокруг себя свою, любимую группу учеников.

«Сейчас образование педагогов вершится главным образом в педагогических институтах,— пишет Шагинян.— Они, разумеется, не все одинаковы. Есть замечательные институты с почетной репутацией, например — Институт имени Герцена в Ленинграде. Он может гордиться блестящими выпускниками многих поколений учившихся. Но когда перечисляют вам эти блестящие имена, вы услышите перечень самых разных профессий от летного дела до литературного — только ни разу не слышала я с гордостью упоминаемого представителя педагогики. То ли нет или мало их, то ли педагогика нынче не та область, которая дает известность своим одаренным людям».

Воспоминания, вышедшие из-под пера Мариэтты Шагинян, точнее всего будет назвать художественной публицистикой, которая с одинаковым успехом пользуется услугами мысли и образа. Я говорю это к тому, что главы Шагинян о школе, помимо тех новых самостоятельных знаний и впечатлений, которые они дают, помогают еще как бы выстроить в логический ряд наши современные художественные произведения о школе, проясняют и собирают в систему те порою зыбкие, неоформившиеся ощущения, которые они рождают.

Вот и та горьковатая струйка грусти, которая окутывала в наших глазах облик Дрюшена, возникала и при общении с Алексеем Ивановичем Морозом, с Мельниковым... Откуда она? Теперь это становится понятнее. В ней сконцентрировалось, сгустилось наше благоговение перед миссией Учителя, ощущение неоплаченного долга перед ним, с которым, наверное, прожило не одно поколение, и наша решимость, готовность общества долг этот вернуть сторицей.

В заключение один риторический вопрос. Для кого пишутся книги? Не вообще, а вот такие, как эти? Книги Айтматова, Быкова, Шагинян? Только ли, например, для взрослого читателя? Читают ли их, скажем, старшеклассники и надо ли им их читать?

Круг детского чтения, так же как репертуар детского театра и кинематографа, никогда не был у нас «ничейной землей». Споры о его границах вновь вспыхивают с

появлением каждого произведения, которое не укладывается в привычные рамки. Эпицентр спора мог перемещаться то в область литературы, то в сферу кино, суть же его оставалась почти неизменной: что можно и что нельзя читать, смотреть детям старшего возраста.

Согласно одной тенденции, детского читателя надо как можно дольше оберегать от разных жизненных впечатлений, от знакомства со сложностями и противоречиями жизни.

Приняв участие в дискуссии о фильме «Доживем до понедельника», которую вела «Комсомольская правда», одна учительница написала в газету письмо, где суть этой тенденции изложила самым бесхитрым, а оттого и весьма наглядным образом.

Фильм ей нравится — «заставляет думать, оценивать свои поступки, критически относиться к себе и своей работе».

Мельникову она симпатизирует всей душой: «Отлично, что появился наконец на нашем экране такой Учитель — размышляющий, сомневающийся в себе, одушевленный, любимый и уважаемый».

С тем, что такие учителя, как Светлана Михайловна, есть, она согласна. Но... И вот это-то поистине знаменательно.

«С чем я не согласна? С той ролью, которую отвели Светлане Михайловне. И не потому, что нет в нашей среде таких, как она.

Есть ли плохие учителя? К сожалению, да.

Есть ли отличные учителя? Есть, и много.

Вот и давайте ставить фильмы об отличных, чтобы шла молодежь в педвузы, и не надо о таких, как Светлана Михайловна. Я пекусь об авторитете учителя».

Повторяю, редко встретишься сейчас со случаем, когда пуристская точка зрения была бы изложена столь прямо, бескомпромиссно, без всяких оговорок, безо всяких там «с одной стороны» и с «другой стороны», которыми окружают свои редуты полемисты более опытные.

Тем более ценно для нас такое свидетельство, что продиктовано оно, это надо признать, со всей прямотой, с самыми лучшими намерениями. Но мы знаем и то, что, когда такие намерения, пусть самые добрые, одерживали внушительные победы, официально рекомендованный круг детского чтения, так же как репертуар кино и театра, на многие годы становился похожим на выжженную засухой ниву, по которой, сколько ни броди, не встретишь полноценного колоса, налитого зерна.



Надо сказать, что сегодня несостоятельность пуристской точки зрения стала особенно очевидной именно в кино. О том свидетельствует, например, присуждение премии Ленинского комсомола режиссеру Александру Митте. Его первые фильмы «Друг мой, Колька!» (совместно с А. Салтыковым) и «Звонят, откройте дверь», пользовавшиеся колоссальным успехом у ребят и вызывавшие холодок и напряженность у значительной части педагогов и кинокритиков, как раз и обозначили твердую решимость говорить с юным зрителем всерьез, начистоту и обо всем, что его волнует.

Продолжается своеобразная революция и в детском театре, наиболее уважаемые деятели которого и в теории и на практике с успехом отстаивают право своего зрителя на серьезный, в том числе и взрослый, репертуар. «Зачем вы затеваете «Гамлета»? — говорили нам еще год назад, — пишет в «Литературной газете» главный режиссер Ленинградского ТЮЗа, заслуженный деятель искусств РСФСР З. Корогодский. — «Гамлет» в ТЮЗе — это как-то странно. Заигрываете со взрослыми? Ведь школьники все равно на этот спектакль не пойдут».

Да, первые попытки наших детских театров заговорить со своими зрителями, так сказать, по-мужски часто воспринимались именно как стремление уйти от этого зрителя, обратиться ко взрослой аудитории. Теперь многие работы Ленинградского и Московского ТЮЗов, Центрального детского театра убедительно показали, какой предвзятостью веяло от таких предположений.

Что касается сторонников «облегченной фактуры» и что касается сторонников другой тенденции, то они в своем стремлении «уберечь» напрасно, конечно, полагают, что учителем и воспитателем подростка могут быть только организованные, так сказать, формы воздействия — литература, искусство, школа и что «узнать или не узнать» зависит исключительно от того, «прочитать или не прочитать», посмотреть в кино или не посмотреть. Вспомним хорошо знакомого и взрослым и юным читателям Юрку из замечательной повести Николая Дубова «Беглец», Юрку и всю его семью, в которой «трудными» оказались не дети, а

родители. Разве о том, что взрослые могут пить, воровать, что отец его родной может оказаться подлецом, Юрка узнал из литературы? Он сам признается, что книг-то просто не читает. А зависть людская, лицемерие, а разбитые семьи, дети без родителей? Увы, все эти «университеты» Юрка и многие ровесники проходят задолго до того, как возьмут в руки даже рекомендованную книгу. Хотим мы или не хотим, со сложными сторонами жизни подросток обязательно встретится. Это, как говорится, от его воспитателей не зависит. Но от них зависит подготовить его к этой встрече, помочь понять, научить противостоянию, дать руководство в жизни.

Впрочем, может возразить мне читатель, не праздны ли подобного рода споры, особенно в отношении литературы? В детском театре, в кино — это да. Там подросток действительно может увидеть лишь то, что ему покажут, ибо на другие фильмы и спектакли «вход до шестнадцати запрещается». Что касается книги, то здесь проследить, что он читает, практически невозможно.

Это верно, но в том-то и дело, что там, где бессилён, бессмыслен, а то и просто вреден запрет, там очень к месту объяснение. Художественное произведение объясняет юному читателю жизнь. Но оно и само нуждается в объяснении. Исключая то или иное произведение из круга детского чтения, мы тем самым снимаем с себя заботу и об его объяснении, не говорим об этой книге в школе, в библиотеке, не пишем о ней в периодических изданиях, которые читает подросток.

В современном мире характер человека, его психология, мировоззрение чем дальше, тем больше развивается под воздействием самых различных, а часто и противоречивых факторов. Важно стремиться к тому, чтобы сумма положительных влияний превалировала над отрицательными. И тут умная, серьезная книга, так же как серьезный спектакль и фильм, побуждающие к серьезным, плодотворным размышлениям о жизни, может быть только союзником, только помощником. И чем прочнее у молодого читателя союз с ними, тем это лучше для всех.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Федор Абрамов.** Александр Яшин, поэт и прозаик.— **А. Марченко.** «Давай, брат, отрешимся. Давай, брат, воспарим!» — **Вадим Баранов.** Критик выпускает книгу.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Старцев.** По следам доктора Мюллера и других.— **В. Пошатаев.** У колыбели советской науки.— **О. Мороз.** Борьба Галилея.— **Фелнкс Лев.** Симметрия и гармония.

## Литература и искусство

### АЛЕКСАНДР ЯШИН, ПОЭТ И ПРОЗАИК

**Александр Яшин.** Избранные произведения. В 2-х томах. Вступительная статья **К. Симонова.** Т. 1. Стихи. 510 стр. Т. 2. Проза. 302 стр. М. «Художественная литература». 1972.

**К**остры горят по-разному. Одни — из смолистого сушняка — вспыхивают, как только поднесешь спичку. Другие, сколько ни старайся, до огня не доведешь — так головешки и истлеют, а третьи, наоборот, долго набирают силу, но уж коли схватятся, жар дают устойчивый, надолго, а если еще ветерком подует, то и загудят, затрещат.

Поэтический костер Александра Яшина разгорался лет двадцать, не меньше. Дрова, из которых он был сложен, поначалу были довольно сырые, и потребовались годы и годы, чтобы они, просохнув на солнце культуры и жизненного опыта, дали жаркое пламя.

Рано, очень рано потянулся к стихам крестьянский мальчик из глухой лесной деревни на Вологодчине, за что его еще в школе прозвали рыжим Пушкиным. В 14—15 лет ему удается напечататься в «Пионерской правде». В 20 лет выходит его первая книга, а к 40 годам он — общепризнанный советский поэт, отмеченный знаком всяческого внимания.

Сегодня, когда перечитываешь первые

книги Яшина, далеко не все в них принимаешь близко к сердцу.

Нет, нет, Яшин и в первых своих книгах поэт. Разве плохо, например, это?

У Олены кофта — сад,  
Пуговки — росинки,  
Бусы — ягоды висят,  
Зреют бисеринки.

И таких строчек наберется в них немало. Встретишь там и целые стихотворения, отмеченные истинным талантом, особенно стихотворения, написанные в годы войны.

И все же столько еще в первых книгах сырого, непропеченного! Поэт пишет о родине, вологодском крае, о делах и заботах своих земляков, об утратах и горестях войны; в восстановительный период он со свойственной ему непосредственностью изъездит, исколесит чуть ли не все промышленные новостройки, а поймать жар-птицу поэзии не удастся. В его стихах тех лет много риторичности, поверхностно понятой злободневности, бодрячества и мало яшинской глубины, яшинского беспокойства, столь характерных для его поздних стихов.

Говоря языком крестьянина, стихи Яшина тех лет можно было бы уподобить вороху зерна, еще не отвеянного, не очищенного, где рядом с отборным, литым зерном лежит мякина, а то и просто мусор.

Поэтическая зрелость к Яшину приходит в середине 50-х годов, в тот период, когда мужала и духовно крепла вся страна. «Повзрослело мое поколение, вместе с ним повзрослел и я» — так об этом говорит сам поэт.

Все меняется в поэтическом хозяйстве Яшина, начиная от названий сборников.

«Песни Северу», «Романтики» — так называются его первые циклы. «Бессонница», «Совесть» — названия новых книг.

Поэта, еще недавно уверенного в правоте собственных деяний, одолевают вопросы. Для чего он живет? Так ли, по-настоящему прожиты минувшие годы? В чем назначение поэта? Что за люди окружают его? Вопросы, вопросы... Все прошлое свое, вся жизнь выносятся на беспощадный суд совести.

В творчестве Яшина появляются даже покайянные настроения, которые при всей их внутренней несхожести заставляют вспомнить некоторые стихи Некрасова.

Чье сердце смягчил?  
Кому подал руку?  
Кому облегчил  
Душевную муку?  
Чью старость утешил?  
Кого осчастливил?  
Кого на дорогу  
На торную вывел?

Духовное обновление обостряет поэтическое зрение Яшина. Он по-новому, из глубин начинает всматриваться в человека, в природу, в скрытые пружины жизни. Поэту легче дышится, он проникается деятельной любовью ко всему живому. И он с удивлением признается: «Словно в первый раз от рождения по своей орбите лечу».

Однако это еще не предел в поэтическом развитии Александра Яшина.

Вершиной его творчества стали последние два сборника — «Босиком по земле» и «День творенья», сборники, названия которых опять-таки исполнены глубокого, я бы даже сказал, символического смысла.

Босиком по земле... Да, да, босиком. Так, как хаживал поэт в далеком-далеком детстве. Но только с жизненным опытом человека, прошедшего через войну, через бури века, напитанного болями и радостями своего времени.

Никогда еще в стихах Яшина не было такой задушевности и сердечности, такой полноты слияния с природой. Пятидесятилетний, уже непоправимо больной поэт во всем открывает для себя чудеса: в шорохе трав, в шуме соснового бора, в колдовской игре вод «светлой, как слезы, Юг-реки», реки своего детства, над которой уже в последние годы жизни он воздвигнет скромный бревенчатый домик.

Завихряется стружка,  
Пахнет ягодным бором,  
Вырастает избушка  
Над Бобрिशным Угором.

В получасе шаганья  
От деревни Блуднова  
Жизнь моя, как сказанье,  
Начинается снова.

Нет, не в пустынь,  
Не в пристань,  
Лежебокам на зависть,—  
В Чистый бор, как на приступ,  
Рядовым отправляюсь.

Только дым закурчивает  
Край небес над ущельем.  
И поэзия справит  
Здесь свое новоселье.

Есть мечта:  
В удаленье  
От сумятицы буден  
Обрести птичье зренье,  
Недоступное людям.

Буду схож с Змеедом:  
Так отверзнутся уши,  
Что душе станет ведом  
Говор трав и лягушек...

Заходите, соседи  
Из окрестных селений,  
Не окажется снеди —  
Угощу сочиненьем.

На Бобрिशном Угоре  
Воздух свеж, будто в море,  
Родниковые зори,  
И ни с кем я не в ссоре.

Ни запоров не надо,  
Ни замков,  
Ни ограды.  
Добрым людям избушка  
Круглый год будет рада.

А объявится рядом  
Кто с недобрым поглядом —  
К тем она повернется  
Не передом,  
Задом.

Я не зря привел полностью стихотворение: это классика. Так, с такой проникновенностью, с таким пониманием «души» де-

ревьев, мха, воды, всей «потайной красы» лесного края у нас не многие писали. И таких стихотворений у Яшина немало: «Босиком по земле», «Чистый бор», «В бору случилось невозможное», «Лесные дуги», «После снегопада», «На заячьих тропках», «Рябчики в снегу», «Желтые листья», «Вешние воды», «В тайге», «Спасибо солнцу», «Запасаемся светом», «Пора и мне», «Смерть березки»... Да всех не перечислишь.

Сказка, народно-песенные мотивы, живое, трепетное слово, выхваченное из самой гущи жизни... Поэт, сбросив с себя груз повседневной суеты, празднично и легко, как «добрый бог», проходит по зеленой благодати, он не может налюбоваться досыта «на нарядную, неоглядную землю-мать».

С другой стороны, в «чистые» стихи о природе у Яшина то и дело врывается гул и грохот космического века, отзвуки минувшей войны, и благодаря этому стихи его становятся неповторимо самобытными, обогащающими нас новым видением мира.

В болоте целый день ухлопав,  
Наткнулся я на кулика.  
Он из гнезда, как из окопа,  
Следил за мной издалека.  
Как трудно быть ему герою:  
Того гляди, возьму живьем,  
А он один в гнезде своем,  
Как в поле воин  
Перед боем  
С противотанковым ружьем.

Это великолепно! И избави боже меняют всяких комментариюв.

В последних сборниках Яшин шагает босиком не только по земле. Можно сказать, он шагает босиком и по своей жизни. О всем, что его волнует: о детях, о земляках, о своих стихах и интимных чувствах, о бытовых неурядицах,— обо всем он пишет с предельной откровенностью и распахнутостью, так что стихи его последних лет без малейшего преувеличения можно назвать поэтическим дневником души — души мятущейся, не всегда легкой в общечитании, но всегда отзывчивой, глубоко страдающей от лжи и подлости, всегда готовой очерта голу вступить за человека, за правду.

Но сомнения и угрызения и в эту пору не покидали поэта. И он сам не раз спрашивал себя: «И что я за бог, если сам ни во что не верю?!»

И в другом стихотворении:

Смута сердешная  
Невмоготу одному.  
Не оттолкните грешного,  
Сам себя не пойму.

Александр Яшин как поэт, при всех очевидных издержках, заговорил своим голосом чуть ли не в первых стихах, стихах сколоченных крепко, грубо, как бы одним топором. Но в последние годы, по-прежнему отдавая должное этому главному орудию в жизни северного крестьянина, поэт не пренебрегает и более тонкими инструментами. И в результате стих его, обогатившийся чувством и мыслью, заметно усложняется и по своему рисунку. В нем все больше и больше затейливых узоров и резьбы, в него органически входит искусство вологодских кружевниц.

По опушке рощи,  
Около воды —  
Вязью по пороше  
Свежие следы.

Разбираю почерки:  
Вот чей-то скок,  
Лисьи цепочки,  
Птичий бисерок.

Кривули чьи-то —  
Чьи? — не узнать —  
Прошвой вшиты  
В белую гладь.

Протянула мышка  
Тесьму хвостом..  
Вязанье,  
Вышивна  
Гладью  
И крестом.

Косачи — крестиком,  
Рябчики — тож,  
Куропаток шествие —  
Понимай как кошь.

Завершая свои короткие заметки о Яшине-поэте, я должен с грустью сказать, что стихотворения его не всегда звучали в полную свою силу при жизни поэта. Предельно простые, лишенные всякой косметики и подсветки, они порой выглядели несколько старомодными на фоне усложненного, кокетливого стиха молодых. И их большой, сокровенный смысл, их неподдельный внутренний накал не всегда был оценен современниками сразу.

Но была и еще одна причина, которая «мешала» популярности Яшина. Эта причина — его собственная проза. Она как бы заслоняла на время его стихи.

Прозу Александра Яшина можно было бы назвать беспокойной. Вокруг его произведений закипали настоящие бои. Они будоражили читателей своим бойцовским темпера-

ментом, гражданственностью, острой постановкой насущных вопросов общественного развития. И прежде всего вопросов, связанных с жизнью деревни.

«Жизнь моя,— писал Яшин в рассказе «Угощаю рябиной»,— и поныне целиком зависит от того, как складывается жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне трудно. Хорошо у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня касается все, что делается на той земле, на которой я не одну тропку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал; на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога.

Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта земля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем году и какой она даст урожай...»

С особой силой эта кровная, нерасторжимая связь писателя с родной деревней проявилась в его знаменитом очерке «Вологодская свадьба».

К сожалению, очерк этот в свое время принес не только славу писателю. С ним у Яшина было связано немало и горьких переживаний, ибо нашлись люди, которые подошли к этому произведению чрезвычайно однобоко, увидев в нем лишь сгущение отрицательных черт в жизни советской деревни.

Стараниями общественности, слава богу, удалось покончить с такой оценкой «Вологодской свадьбы».

Видное место в творчестве Яшина занимает повесть «Сирота», в которой, пожалуй, с наибольшей полнотой развернулся сатирический талант писателя. На примере деревенского парня Павла Мамыкина Яшин дает развернутую биографию современного паразита-тунеядца, шаг за шагом показывает, как жалость и доброта наших людей используются хапугами в своих корыстных целях.

Я не хочу идеализировать Яшина-прозаика. Не все опубликованные вещи одинаково удалась ему. Некоторые из них написаны торопливо, грешат незавершенностью, стилистическим разнобоем. Но одно каче-

ство непременно присуще всему, что писал зрелый Яшин,— это исповедальная правдивость и искренность.

По направленности своих интересов, по тематике Яшин как прозаик принадлежит к так называемым писателям-«деревенщикам». Однако в его творчестве есть произведения и чисто «городские». Такова, например, повесть «Короткое дыхание», опубликованная в «Звезде» (1971, № 5) уже после смерти писателя.

Повесть эта, рассказывающая о трудной любви двух немолодых людей, характеризует Яшина как знатока человеческой души, незаурядного мастера психологического портрета.

Немного успел написать Яшин-прозаик. Если не считать незавершенных рассказов, повестей, очерков — а их свыше десятка в архиве писателя, то вся его проза уместилась в небольшой по объему книжке.

Но книжка эта примечательна не только своим содержанием. Она интересна теми неустанными поисками, которые отличают Яшина-прозаика. Вглядитесь только в ее состав. Какое тут жанровое разнообразие, какое завидное богатство красок и интонаций! Суровый реализм, ирония, сатира, лирика, представленная такими превосходными вещами, как рассказы-миниатюры о Михаиле Пришвине...

Эх, поработай бы Яшин еще хоть лет десять, реализуй он заложенные в нем возможности — и нет сомнений, проза наша обогатилась бы новыми художественными открытиями и находками.

Александра Яшина нет с нами,— пять лет назад он похоронен на крутом берегу родной Юг-реки, возле знаменитой избушки, так проникновенно воспетой им в стихотворении «На Бобришном Угоре».

Но костер, зажженный Яшиным в литературе, не погас. Напротив, он разгорается все сильнее с каждым годом и долго, долго еще будет светить благодарным читателям.

Федор АБРАМОВ.

Ленинград.



## «ДАВАЙ, БРАТ, ОТРЕШИМСЯ. ДАВАЙ, БРАТ, ВОСПАРИМ!»

День поэзии. 1972. М. «Советский писатель». 288 стр.

Во избежание недоразумений начинаю с объяснения: заметки эти нельзя назвать рецензией в полном смысле слова. Сборник

«День поэзии» уже по достоинству оценен в нашей периодической печати. Писавшие о нем критики (Л. Лавлинский, И. Ростов-

цева, Е. Сидоров) уже отметили и весомость лучших поэтических подборок, и широту, с какой представлены в альманахе поэты братских республик, и жанровое его разнообразие (мемуары, анкета, критические эссе, публикации).

Не собираюсь ни оспаривать этих оценок, ни повторять уже сказанного. В центре данной публикации сборник этот оказался только потому, что в силу своей жанровой природы дает наиболее общую картину того, что происходит сегодня в поэзии, а следовательно, и наиболее распространенных ее недостатков. На некоторые из них уже обратили внимание рецензенты. Так, Л. Лавлинский отметил мелкотемье, И. Ростовцева — безвкусицу, манерность, дилетантское отношение к традиции, бесстрастно-идиллическое настроение и т. д. К сожалению, обо всех этих бедах в статьях говорится мимоходом, под занавес, а между тем они дают достаточно богатый материал для раздумий о том, что мешает развитию нашей поэзии. На всесторонний анализ проблемы я, разумеется, не претендую. Задача моя скромнее — доказать, что тут не отдельные досадные «частности», но достаточно определившаяся и даже осознающая себя закономерность или, если употребить более модное слово, «веяние». Термин этот принадлежит В. Кожинуву — его «Заметки о поэтических веяниях последних лет» напечатаны в разбираемом «Дне поэзии» и, по замыслу составителей, являются чем-то вроде теоретического путеводителя по нему... Веянья эти В. Кожинув определяет как «стихию простоты, конкретности, естественности», видя в «переходе от взгляда в неопределенную «убегающую» даль к взгляду окрест себя» своеобразие нынешних литературных забот: «Суть состоит... как раз в принципиальной простоте, в прозрачности, которая должна помочь снять все внешнее, все необязательное и обрести то, без чего уже вообще нельзя ни творить, ни жить»... Поиски этой «принципиальной простоты», по мысли В. Кожинова, определяют и отношение к классике: «Еще сравнительно недавно многих... особенно интересовало в классике то, что как бы «предвосхищало» поэзию XX века. Сейчас же сплошь и рядом слышишь, как литератор, наизусть знающий всех, от Анненского до Олейникова, самозабвенно твердит нечто самое предельно простое — ну, скажем, фетовское:

Чудная картина,  
Как ты мне родна...»

Я вовсе не утверждаю, что среди изданных в 1971—1972 годах произведений нет стихов простых, наивных, естественных. Они есть, были и будут. Однако основной тон в сборниках, и прежде всего в московском альманахе, задают все-таки стихи, весьма далекие от конкретности и естественности, полные смутных предчувствий, загадочных намеков и туманных неопределенностей. Материал для выделки поэтических образов берется, правда, близлежащий, да и по фактуре они, как правило, просты, а то и примитивны, но это отнюдь не делает их «прозрачными»... Вот характерный образец:

...Тихо в окрестностях луга.  
Там, где дымилась стерня,  
Голосом старого друга  
Кто-то окликнул меня...

И колокольчик рассвета  
Нынче томительно глух.  
Вновь за околицей лета  
Кто-то спокойно потух.

Простенький, с прудом, месяцем и рожью пейзажик оказывается всего лишь приступочкой, привстав на которую герой стихотворения Ивана Малюхаткина вглядывается в «неразгаданные версты» судьбы, убегающую даль «околицы лета» и прочие отвлеченности. Не обратить внимание на эту навязчивую многозначительность, читая «День поэзии», невозможно, тем более что большинство авторов в отличие от Малюхаткина, создавая загадочно-пустынные ландшафты, вообще обходятся без «набросков с натуры», предпочитая «ничейные» и «безымянные» реки, «незванные рассветы», «неназванные трепеты», «мерцающие холмы», то облитые небесным светом, то засыпанные снегом, опять же небесным, и, конечно, звезды — голубые, тихие, божьи, первые, последние, гаснущие, рассеивающиеся и т. д. и т. д. вплоть до «земляничных». В результате не только лета от зимы не отличить, это еще полбеда, — в этой мерцающей, в этой метельной полумгле лица поэтов тоже утрачивают определенность выражения, о непотворимости уж и говорить не приходится!

Своеобразие этого «стиля» особенно бросается в глаза, когда встречаем уже знакомое имя под знакомым уже «сюжетом», как в случае с широко известной «Окраиной» А. Передреева, например, которую поэт для своего «Возвращения» (напечата-

но в «Дне поэзии») переписал в новой туманной манере:

Зачем ты снова, как с повинной,  
У. всей округи на виду,  
Стоишь на улице пустынной,  
Встречаешь тихую звезду?

И в тишине ее призывной  
Опять душа твоя полна  
Какой-то грусти неизбежной,  
Мерцаньем дальнего холма...

Пустынная улица, тихая звезда, призывная и первоначальная тишина, неизбежная грусть, память печальная... — подробности, словно бы нарочито, сознательно лишённые не только сугубо бытовой, но и художественной конкретности; больше того, эстетически настолько невыразительные, что невольно задаешь себе вопрос: неужели же они способны хоть как-то воздействовать на воображение? Но вот ведь действуют, и даже чрезвычайно сильно, и притом не только на неискушенного читателя, но и на своего же брата поэта: и поражают, и вдохновляют, и толкают на подражания и вариации. Вот как, например, «разыгран» мотив «мерцающего холма» в стихах Н. Сидоренко:

Есть холм один в округе местной,  
И больше нет таких примет.  
Над ним кружится снег небесный,  
Летающий сквозь небесный свет.

Впрочем, дело тут, очевидно, не просто в подражании, но еще и в особом качестве образа: настолько «ничей», что его и «брать» можно без спросу, не опасаясь обвинений в плагиате (отсюда и повышенная способность к «миграции»). Приглядитесь хотя бы к столь популярному у авторов «Дня поэзии» образу сада — он совершенно свободно кочует по страницам альманаха, не оскорбляя ни авторских прав, ни редакторского самолюбия: «Другом забыта, покинута музой, в сад с непокрытой иду головой» (И. Лиснянская), «Прах природных кудрей расплескал в обновленном саду лепестковым» (Ф. Фоломин), «Когда горит над тихим садом закат, как вешняя заря» (В. Яковенко), «В осенний день в саду костер зажечь» (Н. Флеров), «Там осеняет землю сад» (А. Передреев), «А может, просто не был я готов понять величье молодого сада» (В. Кузнецов). Да что там пейзаж — портрет целого поколения и тот строится на высокопарных аллегорических

отвлеченностях, и притом с резким сдвигом в «облачную область» таинственного:

Мы рождены, мы в мир пришли сквозь снег,  
его полет над Русью не наруша.  
Метельны взгляды из-под узких век,  
и призрачны, метельны наши души.

Стихи эти принадлежат Т. Кузовлевой, но она не оригинальна в своем стремлении «загадкой слыть для тех, кто трезво судит». Нынче тайной, и притом великой, веет даже от простеньких полевых цветов, а уж о снах-мечтах и говорить нечего — им вроде и положено и быть и слыть странными. И все-таки когда лирический герой Е. Храмова признается, что одержим желанием очутиться вдвоем с любимой женщиной в странном и сонном городе, где возле такой же сонной и странной реки «сидели бы странные рыбаки» и не смотрели «бы на поплавки, а только бы в небо и в небо», становится как-то неловко — уж очень буквально откликается в стихах Храмова шуточный «лозунг» Б. Окуджавы: «Давай, брат, отрешимся. Давай, брат, воспарим!» А может быть, и не такой уж шуточный? Вот ведь и В. Цыбин, вроде бы прочно стоящий на земле, и тот отрешается, погружаясь в шорохи и тени, утренние дымы и звездную пыль, «зыбкие распылы» и шелесты, в «смутности» и «мгновенья»... А кто узнает одного из самых неистовых ревнителей живой, образной, народной русской речи в стихах В. Солоухина — в этом наборе банальностей почти вековой давности?

Откуда в сердце сладная тревога  
При виде звезд, рассеянных в ночи?  
Куда манит нас звездная дорога  
И что внушают звездные лучи?

Какая власть настойчиво течет к нам?  
Какую тайну знают огоньки?  
Зачем тоска, что вовсе безотчетна,  
И какова природа той тоски?

И не захочешь, а вспомнишь ироническую сентенцию юного Лермонтова: «Вот процесс нынешнего образа писать или кропать стихи. Поэт садится в челнок мечтания, плывет по озеру воображения, доплывает до пристани вдохновения, выходит на берег очарования и гуляет в странах самозабвения. Из описания такого путешествия выходит обыкновенная плаксивая Элегия; в ней

поэт тужит о былом и прошлом... ищет несуществующего, смотрит на невидимое, жалеет несбыточного, стонет о чем-то туманном, жалеет о горьких радостях, сетует о сладких горестях и проч. и проч. и проч..».

Что это? Безвкусица? Манерность? Вряд ли. Скорее сознательная ставка на облегченное (и чем банальнее, тем легче!) слово, на слово, в котором ценится не выразительность и характерность, а лишь покорность «музыке лада». И это не личная причуда Владимира Солоухина, — в стихах и сборниках очень многих авторов «Дня поэзии» слово до такой степени «угнетено» напевом, что почти теряет свою смысловую самостоятельность.

Там на горе, над озером, в бору,  
во тьме ночной воркует медь оркестра.  
И город дремлет под его игру,  
И деревенек не слышать окрестных.

И старина здесь словно не стара,  
не спит и в сосны дует, как в свирели,  
и музыкой окутана гора.  
и даже сосны здесь не постарели.

Чья музыка — не все ли мне равно,  
все слушает, и все объято думой,  
хотя оркестр умолк уже давно  
и слышен только сосен гул угрюмый.

Прочтите эти стихи вслух — какая богатая звукопись! Ор-ро-ор-ор-ра-ро-ру-ре — басит первая строфа медной, луженой «глоткой» современности. И-ло-ли — поет вторая на деревянных дудочках старины. Но попробуйте, отрешившись от гипноза этой рыночной магии, понять: зачем же сталкивает автор разные «музыки», медную и «древесную», громкую и тихую, если сам признается, что ему все равно, чьей музыкой «окутана гора»? Не поймете, ибо стихотворение в замысле не рассчитано на то, чтобы над ним задумывались; его нужно только слушать, не задавая автору «некорректных» вопросов, ведь и так понятно, что музыка здесь выше смысла и медь «воркует» потому, что для усиления звуковой выразительности понадобилось еще одно звучное и раскатистое «ор...у».

В наиболее тяжелых, крайних случаях небрежность в обращении со смыслом и эмоциональной окраской слова приводит к таким грамматическим и синтаксическим «непролазам», что не только не освобождает от книжной затрудненности певучий строй русской речи, но и просто превращает ее в зарифмованную невнятицу. Пара-

доксально, но факт: мода на «легкое слово» не уменьшила, а увеличила число косноязычных, труднопроизносимых, лишенных самой элементарной «певкости» стихов. Но это, как говорится, «налог на радости», и бремя его ничуть не охлаждает пыл многочисленных любителей музыкально озвученной словесности: уж очень сильным оказался соблазн сделать стихи из чего-то почти невесомого и не вложить в них ничего, кроме навязчивого, убаюкивающего напева.

В самой тесной связи с этим увлечением «музыкой слова» надо, очевидно, поставить и неожиданную популярность поэзии Афанасия Фета, настолько широкую, что Евтушенко с его мгновенной реакцией на сиюминутное ударил в набат, обрушив на «сереньких фетят» и «лжевозвышенное фетство» всю силу своего сарказма («Тихая поэзия»; «Юность», 1972, № 4).

Мода на «музыку пустую» и связанное с нею стремление «забыть» о приобретениях послефетовской поэзии беспокоили и Я. Смелякова, выступившего в рецензируемом «Дне поэзии» с очень резкой декларацией: «Стою я резко в стороне от тех лирических поэтов, какие видят только Фета в своем лирическом окне».

Этого «пустого», без «лирической дерзости» и утонченной духовности, Фета Ярослав Смеляков, конечно, не выдумал — вычитал в стихах сегодняшних звукопоклонников. Вспомните литератора, который в примере В. Кожина самозабвенно твердит фетовское: «Белая равнина, полная луна». В. Кожин уверяет, что литератора приводит в восхищение простота «чуждой картины». Но он лукавит, недаром невопад, не к месту, но все-таки «вспоминает» слова Блока про стихию, «катящую звуковые волны». Да и герой его критической притчи тоже, наверное, «догадывается», что дело не в наивности восхитивших его стихов, но в гипнотической силе заложенной в них «звуковой волны». В. Кожин, по-моему, намного точнее выразил бы состояние растроганного литератора, сославшись не на Фета, а на Лермонтова: «Есть речи — значение темно иль ничтожно...»

Поисками «стихий», «катящей звуковые волны», объясняется не только весьма специфический характер «изъятий» из Фета. Даже упрощенный до уровня А. К. Толстого Фет не является пределом догустимой «легкости», ведь под формулу «темно, ничтожно, но вот... волнуется» можно под-





глашение к массовому производству чудес: «Пластинка должна быть хрипящей, Заигранной... Должен быть сад...», «...Должны быть большие сирени — султаны, туманы, дымки... И чья-то раскрытая книга должна трепетать на столе».

Итак, прежде всего напев — заигранный, банальный, но неотвязно-прилипчивый. Затем пейзаж с загадкой, тоже не бог весть какой сложной, но непременно многозначительный — например, с мерцающим сугробом, с черными на белом, синем, красном или желтом (фон каждый раз предлагается новый) «ветками России» (вариант — деревьями), но лучше всего с садом. Этот выбранный в качестве наглядного образца мотив разыгрывается неоднократно, в разной тональности, но обязательно с учетом тех ассоциаций, с какими он в сознании среднего читателя связан (от «Мой сад с каждым днем увядает» до «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...»).

Не обойдены вниманием и «туманы»: сквозь романтическую дымку бессмертного тумана не так заметно, что предлагается не рисунок, но коллаж, ловко составленный из стандартного набора «все для поэзии». Упоминание о «раскрытой книге» может показаться обмолвкой, но это не так. И книга, и стансы, и Боратынский вручаются доверчивому читателю как «патент на благородство», гарантирующий доброкачественность изделия. С той же целью открыто афишируется и прямое, кровное родство с великими. «К нам приходят ночами Пушкин, Лермонтов, Блок... Ты в такие минуты тоже гений и князь», — начинает Вл. Соколов, а А. Передерев (в послании, Соколову же посвященном!) продолжает: «Да хранит тебя Пушкин и Блок, и не надо другой тебе славы, ты и с этой не только один».

И наконец, последнее условие: для того чтобы стихи благополучно прибыли к месту назначения, они должны безошибочно и точно ориентироваться на те «участки души и сердца», где дремлет сознание «быстротечности этой жизни», по формулировке В. Соколова — «предчувствие мига, что все это канет во мгле».

Разумеется, Вл. Соколов не скрывает «разлада» между религией (для себя) и правилами (для других). Рекомендации даются вроде бы не совсем всерьез. Соколов вроде бы и сам почти иронизирует над элементарностью счета кодов. Но этой то ли неуверенной, то ли лукавой

иронии никто не заметил: предложенный рецепт лирического ерша (смесь стансов и романсов, разлитая по бугьям туманного стекла, но со знаком качества) был немедленно принят на вооружение. Безупречное владение элегической интонацией при некоторой изобретательности позволяло не только наладить бесперебойное производство «изделий из легкого слова», но и без особых душевных затрат добиться, чтобы в твоей маленькой поэтической квартирке было ничуть не хуже, чем у людей, особенно если ее рассматривать «сквозь слезы на глазах и сквозь туман души». Обстоятельство немаловажное, если вспомнить, как много среди зачисленных в профессиональные поэты литераторов не то чтобы вовсе бездарных, но явно не обладающих тем запасом таланта, которого требует в наши дни «езда в незнаемое». Для этих профессионально оформленных, но, по существу, самодельных поэтов отрешение от современности — фактически единственная возможность просуществовать в поэзии, тем более что и спрос на отрешение и на стихи, еле-еле дотягивающие до средне-поэтического уровня, не только не падает, но продолжает расти, поскольку поэтический бум недавних лет приобщил к поэзии людей, которых читателями стиха можно назвать только с очень большой натяжкой. Весьма любопытный, имеющий, на мой взгляд, достоинство серьезного социологического свидетельства портрет этого нового потребителя массовой стихотворной продукции дан в стихах ленинградского поэта А. Лядова («День поэзии. Ленинград. 1972».):

Еще ни Тютчева, ни Фета —  
неблизкий путь еще до них, —  
лишь модной песни два куплета  
коснулись нынче губ твоих.

...Напев у песенки короткий,  
слова катаются в строке,  
как та горошинка из пробки,  
что тремолирует в свисте.

Но ты тверди ее, покуда  
не знаешь больше ничего:  
в ней все же есть хоть отблеск чуда,  
есть хоть намеки на волшебство.

И пусть в тех строчках смысл  
не вызрел,  
они — иных предвестье строк...  
Однажды и тебе, как выстрел,  
такое имя грянет — Блок!

Наверное, надо сделать поправку на про-светительский идеализм автора, но готов-

ность любителей строк «с невызревшим смыслом» выпрыгнуть из атомной реальности в туманы и обманы «того века» отмечена точно. Путь этот кажется Лядову движением по восходящей, но, очевидно, будет более реалистическим предположить, что и взойдя или сойдя в «тот век», они и там предпочтут «чуду» лишь слабый «отблеск» его. О сознательном угождении вкусам и потребностям читателя, подобного герою стихотворения А. Лядова, говорить, конечно, нет оснований, но не видеть оглядки, порой, может быть, и бессознательной, но оглядки на него, тоже нельзя, тем более что основными посетителями поэтических вечеров являются, как ни странно, как раз любители строк с «невызревшим смыслом»; настоящий, серьезный читатель даже сейчас, в эпоху непо-

средственных контактов, предпочитает общению чтение про себя и для себя.

Больше того, при всей нелепости моды на «тот век», нельзя все-таки забывать, что в ней, как в кривом и пошлом, но зеркале, отражается та борьба за полноту исторической памяти, которая столь характерна для нашего сегодняшнего самосознания. Да и массовые «воспарения» с помощью «небесных пятен» и музыкально-гитарных «веваний», так же как и упорное нежелание впрягаться в «упряжку смысла», возникли, очевидно, не на пустом месте. Но это уже тема совсем другой статьи, с другим сюжетом и другой идеей, цель же этой рецензии — дать не историю, скорее картину болезни, может быть, и не слишком опасной, но, как всякое «поветрие», острой и прилипчивой.

А. МАРЧЕНКО.

★

## КРИТИК ВЫПУСКАЕТ КНИГУ

Л. Теракопян. Дыхание жизни. М. «Советский писатель». 1971. 352 стр.  
Владимир Огнев. Становление таланта. М. «Советский писатель». 1972. 382 стр.

Движущаяся эстетика... Кому не известно это крылатое определение, данное критике Белинским? Критика — наиболее динамичная сфера науки о литературе. Имея дело с «новинками», она по самой своей природе должна выявлять, действительно ли произведение является новым по существу, дает ли писатель ответы на вопросы, которые жизнь поставила сегодня. Не может не броситься в глаза эта особенность уже в названиях книг критиков, выпущенных за последние годы. «Традиции в движении» (В. Панков), «Художественная правда и диалектика творчества» (В. Новиков), «Жанрово-стилевые искания современной советской прозы», «Советская литература и мировой литературный процесс» (коллективные труды Института мировой литературы). И даже когда автор стремится отразить в заглавии книги итог, нечто константное («Мера истины» Ю. Кузьменко), он спешит подчеркнуть в подзаголовке: итог есть не что иное, как следствие процесса («Эволюция литературного героя и общественно-историческая практика»). За всем этим ясно просматривается не только понимание критиками важности изучения процессов развития, но и их стремление привести в соответствие с требованиями лите-

ратуры и жизни методы своей собственной работы.

В этой тенденции залог преодоления недостатков нашей критики, отмеченных в постановлении ЦК КПСС «О литературно-художественной критике». Партийный документ, отмечая, что многие статьи, обзоры, рецензии демонстрируют наше «неумение соотносить явления искусства с жизнью», ориентирует критиков на «глубокое изучение проблем теории и методологии литературно-художественной критики», на тщательное исследование современного художественного процесса.

При этом особенно необходимо бережное отношение к любому положительному опыту, накапливаемому «текущей» критикой; ни на минуту не замалчивая просчеты и неудачи, мы должны с вниманием относиться к достижениям товарищей по перу. С этим чувством я и читал книги Леонида Теракопьяна «Дыхание жизни» и Владимира Огнева «Становление таланта», на мой взгляд, безусловно относящиеся к числу заметных работ.

Черты внешнего сходства в этих двух книгах легко ощутимы. Обе посвящены анализу многонационального литературного процесса. Обе опираются на богатейший

материал художественной практики последних лет, обе имеют отчетливо выраженный обобщающий характер.

Заметно сходны они и в построении своем: в головных разделах — работы проблемного характера, перед нами словно бы карта большой области. Иначе построена вторая половина книги, масштаб восприятия здесь меняется: точка на карте укрупняется до размеров самостоятельной карты. Теперь уже можно различить мельчайшие подробности. Но по этим подробностям узнаешь природу всей области в целом. Таковы портретные очерки о Куусберге, Слудкисе, Мележе в «Дыхании жизни», о Луговском, Заблоцком, Хикмете, Абашидзе, Кулиеве — в «Становлении таланта».

Различия? Они просматриваются тоже ясно уже в самом подходе к материалу. Л. Теракопян принимает старт без промедлений; ощущая огромность стоящей перед ним задачи и не тратя времени на какие-либо преамбулы, он уже в первой фразе с прозаической деловитостью объявляет: «В литературе последнего времени тема деревни была и остается одной из ведущих...» В. Огнев не спешит: «Книга собирается не по главам, а по ступеням жизненного опыта...» Он словно приглашает читателя-собеседника присесть перед дальней дорогой, спокойно обсудить маршрут, его сложности и перипетии. Он настраивает читателя на трудное путешествие, и задача здесь не в том, чтобы много пройти, а в том, чтобы много увидеть.

За этими внешними особенностями подхода к материалу скрывается нечто более существенное. Провозгласив значительность деревенской темы, Л. Теракопян продолжает: «Казалось бы, это своего рода парадокс. Согласно последней переписи, доля городского населения нашей страны впервые за всю ее историю перевалила за пятьдесят процентов...» Автора интересуют преломленные искусством социальные процессы, те, что протекают в современной нам действительности. Он подходит к литературе как критик-социолог. При всем том, что в его книге содержится множество тонких и своеобразных суждений о художественной специфике анализируемых произведений, главное для Л. Теракопяна — общественный пафос произведения, степень приближенности его к тем явлениям жизни, которые зарождаются, развиваются, отмирают, уступая место новым. Книги

соотносятся с ними на этой почве, сравниваются, опровергая или взаимодополняя друг друга. Под пером критика они становятся как бы звеньями единого сложного сюжета.

Книга В. Огнева вышла в свет почти одновременно с книгой Л. Теракопяна, и, естественно, уже по этой причине два критика не могли спорить друг с другом. И тем не менее их книги спорят (помните: книги имеют с в о ю судьбу?). Но это не тот спор, про который говорят: сколь задиристый, столь и бесполезный. Тут разговор чисто творческий, спор о плодотворности тех или иных подходов к сходным явлениям.

«Все, о чем я пишу, анализируется мною с точки зрения развития художника, выявления его индивидуальности и соотнесения личного с общим... Мне представляется более важным рассмотреть становление индивидуальности, чем сопоставлять и классифицировать, описывать отличительные качества и признаки». Это пишет В. Огнев. Книга интересует его не просто как художественный документ, отражающий жизнь, но и как порождение жизни. Или, говоря точнее, порождение конкретного, данного таланта, сформированного жизнью.

Л. Теракопяна, как уже сказано, интересует книга «в процессе», и в соответствии с этим главным для него оказывается жанр аналитического обзора: «Вчера, сегодня и всегда», «Горизонты рабочей темы»... Обзор — трудный, емкий жанр! Тем более интересно присмотреться, как реализует его возможности критик.

Начну с того, что читать обзоры интересно. Причем эта читательская заинтересованность менее всего обусловлена какими-то стилистическими ухищрениями. Л. Теракопян пишет просто, толково, вразумительно, без нарочитого оригинальничания. Читательский интерес он пробуждает прежде всего умелым выбором материала. Отсюда своего рода сюжетность критического повествования, развитие аналитической мысли.

Л. Теракопян последовательно стремится анализировать диалектику художественного мышления — без этого писатель не может выразить закономерности жизни с ее стремительными темпами развития. Говоря о книгах на рабочую тему, он подмечает, как иные положительные качества и тенденции в изменившихся обстоятельствах, бывает, оборачиваются своей противоположностью: «даешь!» как выражение ро-

мантики 20-х годов в наши годы рассматривается как символ штурмовщины (любопытен разговор на этот счет в связи с образом Андрея Крыленко из повести В. Чивилихина «Над уровнем моря»).

Именно отражение сложной диалектики нашего общественного развития привлекает внимание Л. Теракопьяна и в произведениях о деревне — «Липяги» С. Крутилина и «Птицы покидают гнезда» И. Чендея, «Деревня на перепутье» Й. Авижюса и «Сыновья» В. Смирнова. Интересны и его рассуждения о характере избираемых писателями образных средств. Критик показывает, как в наши дни рядом с внутренним монологом (при решении, скажем, образа Мартина Вилимаса в «Деревне на перепутье») отлично уживается последовательная, лишь на поверхностный взгляд устаревшая, а в действительности полностью оправданная предметом повествования «описательность» — у В. Смирнова, например. «Я вообще боюсь догматизации эстетических установок критики,— признается Л. Теракопьян.— ...В литературе и «поток сознания» может не быть шагом вперед, и традиционность может нести в себе заряд новаторства».

Итак, главный пафос очерков Л. Теракопьяна о крестьянстве и рабочем классе в литературе состоит в утверждении исследовательского характера художественной мысли. Но, увы, случается иногда, критик не проявляет должной последовательности в осуществлении собственных принципов.

Л. Теракопьян совершенно прав, говоря, что в прозе последних лет все глубже рассматривается зависимость характера героя, его поступков от окружающих социально-экономических обстоятельств. Ныне «недостатки в хозяйствовании часто объясняются не корыстными или рваческими склонностями личности, а теми условиями, в которые эта личность была поставлена, теми требованиями, экономическими обстоятельствами, с которыми она не могла не считаться». Но вот от общих постулатов критик обращается к конкретным произведениям. И что же? Действия Парамонова из «Липягов», решившего выполнить три годовых плана, объясняются... стремлением «удивить мир». В повести Г. Матевосяна «Мы и наши горы» действия пастухов, взявших непосильные обязательства,— наивной верой героев в то, что, «может быть, каким-нибудь чудом этот приплод получит-ся независимо от них».

В некоторых случаях у Л. Теракопьяна неожиданно обнаруживается излишняя жесткость суждений. Сколь решительно, столь и безоговорочно критик объявляет: «...практицизм есть порождение идеологии собственности». Но так ли уж все просто? В первые же месяцы после победы Октября Ленин писал: «Лозунг практицизма и деловитости пользовался небольшой популярностью среди революционеров. Можно сказать даже, что не было среди них менее популярного лозунга... Главным и очередным является теперь лозунг именно практичности и именно деловитости»<sup>1</sup>. И это был лозунг не узкопрактического, а стратегического характера — весь смысл его мы лучше понимаем сейчас, в пору поисков новых принципов хозяйствования.

Вероятно, подобная излишняя «жесткость» рождается у Л. Теракопьяна от увлеченности, от хорошей пристрастности к анализируемому материалу, когда персонажи — продукт писательского воображения — становятся для критика как бы живыми людьми с их трепетными судьбами. Но чем бы ни была вызвана односторонность, она не перестает быть односторонностью.

Л. Теракопьяну не нравится Люся из «Последнего срока» В. Распутина. По мысли критика, она «совершает предательство». А по-моему, все обстоит гораздо сложнее. Распутин отразил противоречивый процесс становления самостоятельной личности, ее возрастающей суверенности во взгляде на мир и вызванный этим пересмотр традиционных представлений о поэзии патриархально-семейных, родственных связей...

Углубленная аналитичность — качество, которое и объединяет книги Теракопьяна и Огнева и делает их несхожими. Причем эта непохожесть рождена не только естественным различием индивидуальностей, но и некоторым различием задач, поставленных критиками перед собой.

В разных местах книги В. Огнева встречаешь мимоходом оброненные замечания, которые характеризуют принципы его работы: «с привлечением самых конкретных доводов «за и против...», «главное — на конкретных примерах...», «только доказательностью анализа...» Тут сгедо критика. По-другому работать он не может.

Мышлению В. Огнева присуща макси-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 158—159.

мальная предметность. Он доказывает, добываясь до первичного смысла поэтических величин, никогда не полагается на то, что «в общем ясно». И делает это не только тогда, когда разбирает творчество Кайсына Кулиева или Ираклия Абашидзе, тех поэтов, которые являются главными героями его портретов, но и в рассуждениях попутных.

Так, в портрете «Маэстро» (о Павле Антокольском) В. Огнев обращается к известным стихам Пушкина «На статую играющего в бабки»: «Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено бодро оперся, другой поднял меткую кость...» Подпадая под очарование музыки пушкинского стиха, мы не замечаем того, что замечает критик: «Но вот что любопытно: «Юноша трижды шагнул...» Почему — трижды? Ведь запечатлен он уже опершийся на колено и прицеливающийся?» А дальше следует интереснейший пассаж о пушкинском знании жизни, о поэтическом осмыслении памятников искусства, вообще о роли традиций, о связи автора «Графа Нулина» с идеологией декабризма...

При обзорном рассмотрении литературы критику всегда грозит опасность подменить диалектику процессов «суммой примеров». Метод В. Огнева исключает подобную опасность. Если критик пишет о дагестанских поэтах прошлого, хорошо ощущаешь, что он бывал в Дагестане и беседовал в аулах с седобородыми старцами. Прочитывая строки Кулиева: «Горят везде кизила гроздь», он свободно переходит к воссозданию кавказского пейзажа.

От тщательного конкретного анализа критик поднимается к теоретическим обобщениям. Так обстоит дело в статьях о взаимосвязи поэзии и кино, о теории перевода. Целиком соглашаешься с В. Огневым, когда он утверждает мысль о «двух аспектах художественного перевода: рационально-научного и интуитивно-поэтического», видя в этом «дуализм самого процесса художественного перевода». «Сущность противоречия, — пишет критик, — диалектическая. Синтез наступает в самом процессе перевода как творческом акте». Слово «диалектика» В. Огнев употребляет часто. Но никогда ради красоты слога. Оно — выражение способа мышления критика.

Характеризуя «социологичность» подхода Л. Теракопьяна к литературе, я подчеркивал живой интерес критика к вопросам художественности. Для Огнева же художест-

венность — со всеми ее специфичнейшими тонкостями вплоть до звуковой организации стиха — немыслима вне раздумья о гражданственности поэта, его этическом облике. Так получается, что на одни и те же боевые позиции критики выходят с разных сторон.

В. Огнев, больше внимания уделяющий формальной стороне произведения, к таким высоким категориям, как народность, гражданственность, поднимается из глубин строки, строфы. Он показывает, что настоящее художественное творчество социально по самой своей природе. Ал. Михайлов, рецензент одной из предшествующих работ В. Огнева, «Книги про стихи», подчеркивал эту способность критика показать, что «художественное мастерство и деологично в самой основе, что цепная реакция мастерства включает в себя все элементы формы и содержания в их неразрывности»<sup>2</sup>.

Книги двух авторов ведут к общим для нашей современной критики выводам и соображениям.

Сборник «Становление таланта» рождает мысль о том, что мы порою проявляем излишнюю сдержанность там, где надо с откровенной, боевой публицистичностью утвердить истину. Статья Огнева «Поэзия критики», несомненно, выиграла, если б автор, говоря о формализме, обратился к трудам современных апологетов формализма на Западе (таких, скажем, как В. Эрлих, автор книги «Русский формализм. История — доктрина»), добавил бы новые аргументы к тем, которые говорят о несостоятельности попыток реабилитации течения и его принципов, похороненных самим ходом историко-литературного процесса.

Боязнь излишней обобщенности, утраты поэзии конкретного, постоянная тяга к скрупулезному изучению отдельных явлений в каких-то случаях порождает опасность мелочности аргументов, слишком деспотический соблазн во всем искать свои микропараллели и микроанalogии. Потому и кажутся сомнительными отдельные сопоставления в статье В. Огнева «Круглая», но вертится!» (строки Пушкина о луне и образы Маяковского, например). Статья, посвященная спорам о традициях и новаторстве, конечно, может содержать положения, не претендующие на бесспорность, но все же ждешь более весомых аргумен-

<sup>2</sup> «Вопросы литературы», 1964, № 4, стр. 193.

тов, нельзя сложную проблему преемственности в искусстве основывать лишь на принципе прямых совпадений — картина от этого очень и очень упрощается...

Книги критиков, обогащая наши представления о тех или иных явлениях и процессах, заставляют при этом задуматься и над дальнейшими перспективами критических изысканий. Порой то, что сделано этими авторами, вызывает к поиску, к выходу на какие-то новые рубежи.

У Л. Теракопьяна есть интересное рассуждение о границах рабочей темы. Тема должна передавать всю реальную сложность жизни, те взаимосвязи, без которых общество не может функционировать как нормальный организм. Анализируя повесть Вадима Кожевникова «Петр Рябинкин», Теракопьян верно сосредоточивает внимание на том, как рабочая закваска помогала заводским людям становиться бойцами. Психология труженика, создающего материальные ценности, и психология боя, разрушающего их и уносящего жизни тех, кто эти ценности создает, боя, в котором сам создатель вынужден выступать в качестве разрушителя, ибо иным способом невозможно отстоять правду и добро, — вот к какой своеобразной и сложной проблеме подошел Кожевников в своей повести. Куда ее отнести: к «рабочей» или «военной» теме? И не потому ли интересна повесть, что она ищет на стыке тем, захватывая их обе? От критика ждешь большей теоретической смелости в осмыслении таких сложных явлений, как это «взаимодействие» одной темы с другой. Хотелось бы пожелать ему продолжить изучение проблемы «границ» — она отражает сложность, богатство, динамичность нашей жизни.

В связи со всем этим думаешь, что вообще чем дальше, тем больше обнаруживается одно противоречие, объективно присущее самой природе литературной критики. Противоречие такое. Результаты разработки солидным академическим литературоведением различных проблем затем популяризируются, входят в массовый оборот, становятся предметом вузовского и школьного преподавания и т. д. Оперативная критика призвана решать сразу обе задачи: и научной разработки проблем, и их популяризации в массах (отсюда требование к критике писать как можно живее, интереснее).

Замечаешь, как трудно современной критике обе эти задачи решать в равной мере успешно. И популяризирует она, в общем,

лучше, чем исследует. Та же «тема» порой превращается в некий магнит, который просто и механически стягивает в одну точку какие-то родственные по материалу произведения. А дальше идет их простой обзор... Но ведь нередко бывает и так, что две книги на совершенно разные темы («про войну» и «про деревню») внутренне, по принципам изображения характера, организации материала, именно как произведения искусства ближе друг к другу, чем две книги, которые мы объединяем на основе сходства жизненного материала, лежащего в их основе. Тема не может быть раз навсегда данной волшебной палочкой: чуть пошевели ею — и книги выстроятся в ряд. Подбор произведений для сравнительного анализа — уже творчество. И на современном этапе развития критики важно переходить к более глубокому обобщению внутренних тенденций развития эстетического сознания, исследовать категории метода, стиля, конфликта, сюжета и композиции (дело это вовсе не чисто формальное!) — всего того, чем занимается литературоведение как таковое, только на более отстоявшемся материале.

Кое-что в этом направлении уже делается, в том числе и авторами рассматриваемых здесь книг. Так, статья В. Огнева о поэтическом переводе, в сущности, посвящена более масштабной и значительной проблеме — общим особенностям работы художественного сознания. Только что я говорил о проблеме «границ» в книге Л. Теракопьяна. И тем не менее критики нередко только обозначают места залегающих немалых богатств, не приступая как следует к их разработке, не стремясь к соображениям более широкого порядка. Область, где критика вплотную смыкается с собственно литературоведением, особенно для нее плодотворна. Так же, впрочем, как и для литературоведения.

С точки зрения формальной логики было бы вполне естественно, если бы я закончил свои заметки о книгах Л. Теракопьяна и В. Огнева следующим образом: вот перед нами два пути, два способа анализа художественных ценностей. У каждого свои сильные и слабые стороны, и истина находится где-то посередине... Но подобный финал был бы диалектичным лишь внешне. Социалистический реализм — метод всей советской литературы, метод нашей художественной критики. При наличии единой методологической основы он предполагает

широкое многообразие путей и способов образного и аналитического освоения действительности, богатство творческих индивидуальностей. Только таким путем искусство будет в состоянии отразить духовное богатство развитого социалистического общества, а критика — сущность литературного процесса, отражающего жизнь. И не надо желать, чтоб вместо Л. Теракопьяна и В. Огнева появилось бы что-то «средне-

арифметическое». Гораздо важнее другое: чтобы каждое направление, реализуя собственные возможности, постоянно ориентировалось на достижения другого, чтобы в критике шло здоровое творческое состязание манер и индивидуальностей во имя общей цели.

Вадим БАРАНОВ.

Горький.

★

### Политика и наука

#### ПО СЛЕДАМ ДОКТОРА МЮЛЛЕРА И ДРУГИХ

П. В. Московский, В. Г. Семенов. Ленин в Швеции. М. Политиздат. 1972. 166 стр.  
Ю. Ф. Дашков. По ленинским местам Скандинавии. Журналистский поиск. М. «Советская Россия». 1971. 239 стр.

Интерес советских людей к жизни и творчеству Владимира Ильича Ленина, к его героической борьбе за победу коммунистических идеалов, к самой его личности постоянен. С каждым годом увеличивается число исследований, иллюстрированных и популярных изданий, связанных с ленинской тематикой. Две книги, о которых мы хотим рассказать здесь, отличаются друг от друга по замыслу, жанру и стилю. Но их объединяет общая тема — пребывание В. И. Ленина в Скандинавских странах, в частности в Швеции. Обе они обращены к массовому читателю. Книга П. В. Московского и В. Г. Семенова входит в популярную серию Политиздата, посвященную истории пятнадцатилетней эмиграции В. И. Ленина. Уже вышли в этой серии «Ленин в Женеве», «Ленин в Берне и Цюрихе». Книга прекрасно выполнена полиграфически, богато иллюстрирована. Однако при чтении испытываешь некоторое разочарование. Язык ее суховат, изложение скорее напоминает статью из ученых записок, чем популярный рассказ. Но вместе с тем следует отметить, что авторы добросовестно сообщают читателю о всех известных обстоятельствах шести приездов В. И. Ленина в Швецию.

В книге немало новых материалов, которые будут интересны и для специалистов-историков. Так, авторы сообщают содержание ряда анкет делегатов-большевиков, прибывших на IV съезд РСДРП в Стокгольм. Вполне обоснованным выглядит предположение П. В. Московского и В. Г. Семенова о том, что анкета с псевдо-

нимом «Иван Федорович Петров» заполнена В. И. Лениным. Наиболее полно освещен авторами последний приезд Ленина в Стокгольм в апреле 1917 года. В связи с этим интересно отметить использование в книге новых материалов из архива министерства иностранных дел Временного правительства.

Приходится пожалеть, что в текст книги вкралось несколько неточностей. Так, на странице 58 сказано, что Ленин летом 1907 года вернулся в Финляндию «и возобновил свою деятельность в Куоккала (ныне Репино) и других городах». Куоккала — маленький дачный поселок, он не является городом даже сейчас. Что касается «других городов», В. И. Ленин выезжал на краткое время в Петербург, Териоки, Выборг, Гельсингфорс и в город Котка в Финляндии, в основном жил на даче «Ваза» недалеко от Куоккала и в глухом местечке у маяка Стирсудден в ста километрах от Петербурга, на берегу Финского залива. Рассказывая о возвращении Ленина в Россию, П. В. Московский и В. Г. Семенов сообщают: «Друзья и соратники встретили поезд Ленина в Белоострове. А в Сестрорецке состоялся массовый митинг. Это были встречи Ленина с народом». В Белоострове В. И. Ленин действительно был встречен членами Центрального и Петербургского комитетов РСДРП(б) и делегацией петроградских и сестрорецких рабочих. Но сам поселок Сестрорецк отстоит от Белоострова на десять километров к юго-западу и находился в 1917 году на другой железно-



дорожной ветке — по Приморской, а не Финляндской дороге. Ленин не проезжал через Сестрорецк в момент возвращения в Россию 3 апреля 1917 года. Эти и подобные им неточности можно было бы легко устранить при более тщательном редактировании рукописи.

Книга Ю. Дашкова явилась результатом его многолетней работы в Скандинавских странах в качестве советского корреспондента. «По ленинским местам Скандинавии» — это итог встреч со многими десятками людей, работы в архивах и библиотеках. Ленин редко приезжал в Швецию, Данию и Финляндию под своим настоящим именем. Много фамилий сменил он, заполняя въездные анкеты, расписываясь в книгах посетителей библиотек. Соблюдение конспирации было первым правилом подпольщика. Вот почему еще и сейчас мы можем лишь догадываться о многих деталях, а ряд ленинских маршрутов проложен на карте Скандинавских стран лишь пунктиром. Ю. Дашков внес свой вклад в то, чтобы этих «белых пятен» оставалось все меньше. Новые фамилии и адреса, уточнение дат, новые документы — вот что удалось выяснить и обнаружить автору. Он показывает в своей книге один из путей проникновения нелегальной большевистской литературы в Россию, путь через Скандинавские страны.

Из Норвегии в Архангельск, из Швеции по льду Ботнического залива через Торнео в Финляндию. Путь этот был описан в специальной литературе. Но заслуга Ю. Дашкова в том, что общие представления он сумел сделать конкретными, назвал имена людей, которые везли с собой большевистские газеты и брошюры, разыскал адреса, куда эта литература доставлялась. Тайный финляндский мост переправки нелегальной литературы в Россию был налажен еще с 1901 года и «работал» вплоть до ноября 1917 года. Для создания конспиративных связей большевики смело вступали в союзы с партиями и организациями, которые боролись с царским правительством, хотя и за свои цели. Тут действовало правило: «Враг моего врага — мой союзник». Таким союзником стала партия финских «активистов», выступавших за «активные», вооруженные средства борьбы с царским правительством для достижения независимости Финляндии. «Активисты» были буржуазной партией, но помогли большевикам, видя в них един-

ственных последовательных противников царского самодержавия, искренних сторонников самостоятельности финского народа. Ю. Дашков один из первых называет имена финских «активистов», перевозивших ленинские работы и другую подпольную литературу из Швеции на территорию Российской империи, раскрывает конспиративные пути, которыми пользовались и большевики. Автор убедительно показал, что уход Ленина во вторую эмиграцию, способ его переброски из Финляндии в Швецию был совершен по испытанному секретному пути финских «активистов» и с их прямой помощью.

Ю. Дашков уделяет в своей книге много места обстоятельствам этого ухода. Он сам побывал в шхерах у города Турку (прежнее Або), на тех островах, по которым проходил в декабре 1907 года В. И. Ленин для встречи с пароходом «Боре-1», совершавшим регулярные рейсы между Або и Стокгольмом. Наиболее опасный участок пути «доктор Мюллер», как назвал себя тогда В. И. Ленин, проделал в сопровождении трех крестьян-шведов от острова Лилль Мелё до острова Лилль Нагу. Лед местами уходил из-под ног. С острова Лилль Нагу до острова Стур Нагу Ленина везли уже на санях по только что проложенному зимнику. На борт парохода «Боре-1» Ленин взошел уже как «Джон Фрей». Хотя весь этот вопрос был неплохо освещен и раньше, Ю. Дашков, как показывает, в частности, сравнение его работы с книгой «Ленин в Швеции», дал самое полное и подробное описание ухода Ленина из Финляндии и поместил весьма точную топографическую схему маршрута Ленина по островному архипелагу до встречи с пароходом.

В обеих рецензируемых книгах упоминается малоизвестный документ, связанный с последним пребыванием Ленина в Швеции. Речь идет об интервью, которое Ленин дал корреспонденту левой социал-демократической газеты «Стурмклокан». Оно было опубликовано 5 мая 1917 года (22 апреля по старому стилю), когда Ленин и его спутники уже находились в Петрограде. Этот документ, несомненно, еще привлечет внимание специалистов, так как он отражает тот момент в разработке Лениным задач большевистской партии в революции, когда Ленин еще не выступил с Апрельскими тезисами. Ю. Дашков дает полный текст интервью в своем

переводе, а П. В. Московский и В. Г. Семенов помещают его изложение в несколько сокращенном виде. Последний способ нельзя признать удачным, поскольку точность ленинских формулировок, столь важная для анализа развития его мыслей, при переложении исчезает. Вот пример подобной неточности, допущенной авторами при изложении такого важного вопроса, как взгляды Ленина на пролетарское государство как государство нового типа. «Владимир Ильич затронул и главные вопросы: о власти, о государстве,— пишут П. В. Московский и В. Г. Семенов.— В отличие от анархистов, сказал он, мы признаем необходимость государства для революционных преобразований. Но нам не нужна готовая государственная машина, оставшаяся от демократической буржуазной республики, нам нужен немедленный переход власти в руки вооруженного и организованного пролетариата. Говоря об этом, Ленин сослался на исторический опыт Парижской коммуны 1871 года и Советов рабочих депутатов в 1905 и 1917 годах».

А вот точный текст интервью: «Мы отличаемся от анархистов тем, что признаем необходимость государства для революционных преобразований. Но мы отличаемся и от оппортунистов, сторонников Каутского, говоря: нам не нужна готовая государственная машина, оставшаяся от демократической буржуазной республики, нам нужен немедленный переход власти в руки вооруженного и организованного пролетариата. Вот какое государство нам нужно. В соответствии с этим действовали Парижская коммуна 1871 года и Советы рабочих депутатов в 1905 и 1917 годах. На этом основании мы и должны строить дальше». Я подчеркнул те ленинские мысли, которые не нашли отражения в изложении авторов книги «Ленин в Швеции». Между тем именно эти мысли позволяют увязать содержание интервью корреспонденту «Стурмклокан» с ленинскими произведениями «Марксизм о государстве» и «Письма из далека», где подробно развивается идея об организации пролетарского государства нового типа, созданного по образцу Советов рабочих депутатов и Парижской коммуны с исполнительными органами в виде пролетарской милиции. Изложение же авторов книги «Ленин в Швеции» неполное и может ввести читателя в заблуждение, так

как слова о «немедленном переходе власти в руки вооруженного и организованного пролетариата» в отрыве от контекста могут быть поняты как призыв к немедленному свержению Временного правительства и захвату власти. Как известно, Ленин выдвинул такой лозунг только после июльских событий 1917 года.

Ю. Дашкову принадлежит заслуга и в популяризации другого малоизвестного документа, связанного с пребыванием Ленина в последнем подполье в Финляндии в августе—октябре 1917 года. Речь идет о дневниковых записях Карла Харальда Вийка, депутата финляндского сейма, который несколько раз встречался с Лениным после его возвращения в Россию, а в августе 1917 года был одним из организаторов переезда Ленина в Гельсингфорс. Карл Вийк ездил за Лениным в город Лахти, привез его на свою дачу в пригороде Гельсингфорса, местечке Мальм. Ленин жил на этой даче один день, а на следующий день Карл Вийк вместе с Лениным приехал в Гельсингфорс, где «передал» его Густаву Ровио. В течение нескольких недель пребывания Ленина в Гельсингфорсе Карл Вийк встречался с ним неоднократно. Обо всем этом он записывал в свой дневник, прибегая к одному ему известному шифру и сокращениям. Этот дневник сохранился. Осенью 1939 года Вийк, навсегда оставшийся большим другом нашей страны, ожидал ареста тогдашним финляндским правительством. Предвидя неизбежное заключение, он расшифровал записи, относящиеся к 1917 году, и в частности ко дням последнего подполья В. И. Ленина в Финляндии. Было сделано три копии этого расшифрованного дневника, одна из которых была отправлена Вийком в архив рабочего движения в Стокгольм. Отрывки из этого экземпляра дневника Карла Харальда Вийка и приводит в своем переводе Ю. Дашков на страницах книги «По ленинским местам Скандинавии». Однако тут перед автором встала неожиданная трудность: в нашей литературе указывается, что В. И. Ленин переехал финляндскую границу на паровозе Гуго Ялавы в ночь с 9 на 10 августа 1917 года старого стиля. По пути в Гельсингфорс он на некоторое время останавливается в поселке Ялкала, в городе Лахти, затем в Мальм на даче у Карла Вийка. По всему выходит, что В. И. Ленин не мог приехать в Гельсингфорс раньше 18 (31) августа. По

дневнику же Вийка получается иначе. Он пишет, что узнал о прибытии Ленина в Лахти 21 августа, 22 августа привез его в Мальм, а 23-го встретился с Густавом Ровио.

Пытаясь найти выход из этого встретившегося ему затруднения, Ю. Дашков предположил, что Карл Вийк использует в своих записях старый стиль. Но опять получалась неувязка — рядом с числами у Вийка проставлены дни недели. И во всех случаях (а их около двадцати, я проверил это сам по календарю 1917 года) числа и дни недели соответствуют новому стилю. Следовательно, в соответствии с дневником Карла Вийка в ночь на 10 августа старого стиля Ленин не мог выехать из Петрограда со станции Удельная, так как в этот день он был уже в Гельсингфорсе, а весь путь от Разлива до столицы Финляндии проделал раньше. Ю. Дашков не решился сделать столь решительный вывод и предложил новый вариант. Карл Вийк ошибся в 1939 году: у него в подлиннике записи по старому стилю, а дни недели, видимо, он поставил потом по новому, вот и произошла путаница.

Но есть один путь, который может разрешить эту проблему, и он сразу же приходит в голову историку. В дневнике упоминается много событий, и они «привязаны» к соответствующим датам. Нужно попытаться проверить по другим источникам, когда же имели место сами эти события. Оказалось, что четыре записи из восьми, цитированные Ю. Дашковым, за период с 9 апреля по 24 июля 1917 года легко поддаются такой проверке. И результат один — Вийком везде использован только новый стиль! Вот лишь один пример, наиболее яркий. «9 апреля 1917 года, понедельник. Александра Коллонтай прибыла утренним поездом. Выступала в финском и русском театрах», — читаем мы в днев-

нике. А вот что напечатано в газете «Известия Гельсингфорского Совета депутатов армии, флота и рабочих Свеаборгского порта», в № 15 от 30 марта старого стиля: «27 марта в Александровском русском театре состоялся многолюдный митинг рабочих, солдат и матросов с участием известной писательницы социал-демократического направления А. Коллонтай. После ее замечательной речи, стенограмму которой мы постараемся достать, весь театр дрожал от рукоплесканий». 27 марта 1917 года по старому стилю — это 9 апреля по новому. Ясно, что речь идет об одном и том же событии, ясно, что Карл Вийк в своем дневнике действительно употребляет новый стиль.

Опубликование обширных выдержек из дневника Карла Вийка в книге Юрия Дашкова ставит, таким образом, перед историками задачу нового, тщательного изучения всех имеющихся источников о пребывании Ленина в Финляндии. Ведь в соответствии с материалами этого дневника нуждаются в уточнениях даты ухода Ленина из Разлива, пребывания его в Ялкала и Лахти. А в записи от 4 октября, то есть за 21 сентября старого стиля, например, сказано: «В 8 часов был у Ровио, где был Ленин, который собирается вскоре ехать в Выборг, а оттуда, возможно, в Петроград». Общепринятой датой считается 17 сентября, а оказывается, что даже 21 сентября Ленин все еще был в Гельсингфорсе, а не в Выборге. Всесторонняя источниковедческая оценка дневника Карла Харальда Вийка не входила в задачу журналистского поиска Юрия Дашкова, и ее отсутствие в книге, конечно, не может быть поставлено ему в вину. Дело теперь за историками.

**В. СТАРЦЕВ,**

*кандидат исторических наук.*  
Ленинград.



## У КОЛЫБЕЛИ СОВЕТСКОЙ НАУКИ

**С. И. Мокшин. Семь шагов по земле. Очерки о становлении и развитии советской науки. 1917—1924. М. «Советская Россия». 1972. 272 стр.**

22 апреля 1920 года Ленину исполнилось пятьдесят лет. День проходил по-обычному напряженно, все было расписано по минутам, предельно уплотнено. Ленин принял в своем кремлевском кабинете самарских рабочих Какурова и Сереброва, беседовал

с ними о продовольственном вопросе, провел два важных заседания в Совнаркоме и в Совете Труда и Оборона. Затем встретился с А. М. Горьким, приехавшим из Петрограда, страстно спорил с ним о судьбах интеллигенции, о роли искусства в

строительстве новой жизни. Горький передал Ленину письмо профессора С. П. Костычева, в котором содержалась просьба о материальной поддержке проводимых ученым экспериментов. Профессору требовалось четыре пуда керосина и газолина, паяльная лампа, два примуса, две электронагревательные спирали, несколько напильников, немного ртуть, соды, мела, глицерина...

В разоренной и голодной стране все это было дефицитом. И все же вот строки, написанные рукой Ленина и обращенные к Петроградскому Совету: «Товарищи! Очень прошу вас во всех тех случаях, когда т. Горький будет обращаться к вам по подобным вопросам, оказывать ему *всяческое* содействие, если же будут препятствия, помехи или возражения того или иного рода, не отказать сообщить мне, в чем они состоят»<sup>1</sup>.

За ленинскими словами «оказывать всяческое содействие» — забота об исследованиях не одного профессора Костычева, но и тысяч других ученых, забота о развитии и процветании всей советской науки.

На коммунистическом вечере, посвященном чествованию юбиляра, с «прекрасной, полной живого чувства и особой выразительности» речью, как писала «Правда», выступил Горький. «Великий ум его работает не только для нас, но и для всего человечества, для всей планеты». Потом выступали Луначарский, Ольминский, Мясников, пролетарские поэты Кириллов, Александровский и другие.

Участники вечера были взволнованы неожиданным появлением юбиляра. Владимиру Ильичу устроили горячую овацию. Ленину долго не давали говорить, а когда наконец наступила тишина, он, по словам «Правды», поблагодарил товарищей за приветствия и за то, что его избавили от выслушивания юбилейных речей, а потом заговорил о самой Коммунистической партии и о том особо ответственном положении, в которое она поставлена своей победой<sup>2</sup>.

В фактах из хроники ленинской жизни ярко и зримо просматривается забота Владимира Ильича о союзе рабочих с интеллигенцией, с интеллектуальной энергией русских ученых, инженеров, техников.

Книга С. Мокшина «Семь шагов по земле» посвящена истории становления и развития советской науки в первые послеоктябрьские годы — теме, до сих пор слабо разработанной в нашей научной и научно-популярной литературе. В поле зрения автора оказались все наиболее крупные события научной жизни Советского государства первых семи лет его развития (отсюда и заголовок — «Семь шагов по земле»). Используя большой фактический материал — печатный и архивный, — С. Мокшин раскрывает сложный процесс вовлечения старой научной интеллигенции в социалистическое строительство, показывает, как перестраивалась работа Академии наук и других научных учреждений на новых, социалистических началах, как молодое Советское государство поощряло деятельность ученых, поддерживало широкое развитие исследований по изучению естественных производительных сил страны. Но главным для автора остается стремление раскрыть роль В. И. Ленина в становлении советской науки, показать силу и жизненность ленинских идей, актуальность политических уроков ленинского отношения к научно-технической интеллигенции.

Скруплезное исследование архивных материалов, печатных документальных источников, личных фондов, воспоминаний ученых и очевидцев, аналитический подход к освещению событий позволили автору ввести в научный оборот большое количество новых фактов и на этой основе в ряде случаев пересмотреть утвердившиеся ранее в историографии взгляды.

С трибуны III Всероссийского съезда Советов Ленин провозгласил одну из коренных программных идей социалистической революции в области науки: «Теперь... все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации»<sup>3</sup>. Весной 1918 года Ленин вплотную приступил к разработке плана строительства основ социалистической экономики. Он неоднократно отмечал, что решить такую задачу без применения науки, без привлечения научных и технических сил нельзя. Настойчиво и упорно работая над определением путей в будущее, Владимир Ильич был крайне заинте-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 51, стр. 184.

<sup>2</sup> «Правда», 24 апреля 1920 года.

<sup>3</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 289.

решован в том, чтобы при разработке экономической программы социалистического переустройства России отвести должное место научно-технической интеллигенции. С этим, по всей вероятности, и связано решение В. И. Ленина написать специальный документ о самом широком привлечении ведущего научного центра страны — Академии наук — к делу государственного строительства.

Привлекает внимание предложенная С. Мокшиным новая гипотеза о том, как был создан «Набросок плана научно-технических работ» — основной программный документ, определивший поворот в деятельности Академии наук и всей науки в стране на многие годы вперед, наметивший важнейшие принципы организации и руководства наукой в социалистическом государстве. По мнению некоторых исследователей, этот документ был написан во второй половине апреля 1918 года — между 16 и 25 числами.

Используя новые документальные и архивные источники, С. Мокшин высказывает предположение об истории создания «Наброска». 4 апреля из Петрограда в Москву возвратился нарком А. В. Луначарский, который вел переговоры с руководством Академии наук о сотрудничестве с советской властью научной интеллигенции страны. В тот же день, судя по сообщению московской вечерней газеты «Новости дня», нарком был принят Лениным и имел с ним «весьма продолжительное собеседование».

Вероятно, информация Луначарского о переговорах с Академией наук вызвала интерес Ленина. После беседы с наркомом (это произошло, по мнению автора, между 4 и 8 апреля 1918 года) Ленин сформулировал свое мнение о задачах Академии наук в виде сжатого наброска плана научно-технических работ.

Этот документ, представлявший своего рода письменную директиву Управлению делами Совнаркома, Владимир Ильич решил довести до сведения руководства Академии наук. Но передавать его по официальным каналам — через Наркомпрос или ВСНХ — Ленин, по-видимому, не хотел. Было решено направить личного представителя — секретаря Совнаркома Н. П. Горбунова — в Петроград для установления непосредственного контакта с руководством Академии. Горбунов должен был сообщить, что Совнарком считает крайне желательным широкое развитие научных исследова-

ний и просит Академию сообщить о намеренных ею планах. 9 апреля Н. П. Горбунов посетил неперменного секретаря Академии наук С. Ф. Ольденбурга и передал ему в устной форме пожелания Ленина.

Все факты, которые приводит автор — будь то перестройка Академии наук или деятельность Гидроторфа, организация экспедиций на Кара-Богаз или изучение Курской магнитной аномалии, начало исследования атома или исследование морей и океанов, организация работ по промышленному получению радия или комплексное изучение природных богатств, — свидетельствуют о титанической деятельности Ленина.

Читатель имеет возможность увидеть, как воплощались в жизнь ленинские принципы политики партии по отношению к научной интеллигенции. Это убедительно прослеживается на примере борьбы с «антиинтеллигентскими настроениями» левацких элементов. Сложность и острота проблемы определялась враждебностью части старой интеллигенции к новому строю, недоверием и открытой неприязнью к интеллигенции со стороны тех коммунистов и советских работников, которые страдали «болезнью левизны». Не случайно проблема сотрудничества с основными кадрами старой научной интеллигенции вызывала трения и разногласия на VIII съезде партии при обсуждении проекта Программы. «Мы, — говорил Ленин, — в программе нарочно развили этот вопрос подробно, чтобы он был радикально решен»<sup>4</sup>. По настоянию Владимира Ильича в Программу внесли специальный пункт, в котором подчеркивалось, что важнейшей задачей науки Коммунистическая партия считает ее сближение с практикой, с развитием производительных сил страны.

Одновременно Ленин всемерно содействовал развитию фундаментальных исследований, прокладывающих путь в завтрашний день. Привлекает внимание рассказанный автором книги эпизод о том, как Наркомпрос в 1918—1919 годах попытался наскоро «реформировать» Академию наук. Встревоженные ученые обратились за помощью к Владимиру Ильичу. В письме академика С. Ф. Ольденбурга (Ольденбург просил, чтобы Л. Б. Красин сообщил о случившемся Ленину) подчеркивалось, что Ленин — «человек умный и поймет, что

<sup>4</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 165.

уничтожение Академии наук опозорит любую власть». Обеспокоенный слухами, Ленин вызвал Луначарского и спросил: «Вы хотите реформировать Академию? У вас там какие-то планы на этот счет пишут?» Несколько успокоенный ответом наркома, заявившего о несвоевременности такой реформы, Владимир Ильич решительно предостерег, чтобы кто-нибудь не «озорничал» вокруг Академии. По словам Луначарского, Ленин так объяснял свою позицию в этом вопросе: «Нам сейчас вплотную Академией заняться некогда, а это важный общегосударственный вопрос. Тут нужна осторожность, такт и большие знания... Найдется у вас какой-нибудь смельчак, наскочит на Академию и перебьет там столько посуды, что потом с вас придется строго взыскивать».

С. Мокшин приводит документы (многие из них публикуются впервые), показывающие, какое большое внимание придавал Ленин работе Петроградской и Центральной комиссиям по улучшению быта ученых. Принимая в январе 1921 года делегацию ученых Петрограда, Владимир Ильич подчеркнул большое значение действительного участия ученых в созидательной работе нового общества, особое внимание уделил удовлетворению их нужд, «Я лично,— говорил Ленин,— глубоко интересуюсь наукой и придаю ей громадное значение, когда вам что нужно будет, обращайтесь прямо ко мне».

Свидание ученых с главой Советского правительства сыграло исключительно важную роль в развитии советской науки. Вскоре были намечены меры, стимулирующие развитие научных исследований в стране, меры поощрения научного творчества. В ответ на клеветнические измышления буржуазной и белогвардейской пропаганды о «гибели» русской интеллигенции Герберт Уэллс, посетивший в ту пору Советскую Россию, писал, что большинство образованных людей России «постепенно начинает... честно сотрудничать с большевиками».

С особой силой эта тенденция проявилась в деятельности Государственной комиссии по электрификации России. Дом, в котором разместилась комиссия ГОЭЛРО, стал центром притяжения научных и технических сил страны. Сюда шли не только энергетики, но и специалисты многих других отраслей знания, нередко стоявшие далеко от политики, но захваченные идеей

хозяйственного возрождения страны. На одном из заседаний комиссии Г. М. Кржижановский имел полное право заявить, что многие ученые «желают вступить с нами в контакт».

Владимир Ильич постоянно интересовался делами комиссии, направлял всю ее работу, знал лично многих ведущих ученых и специалистов ГОЭЛРО. Многочисленные беседы Ленина с Г. М. Кржижановским и другими членами комиссии — они обстоятельно воспроизведены в книге — способствовали успешной разработке «обширного и превосходного» настоящего научного плана, как характеризовал план ГОЭЛРО Владимир Ильич. «Целье главы этой книги,— вспоминал позднее Г. М. Кржижановский,— приходилось отправлять почти в буквальном смысле без просмотра, прямо из-под пишущей машинки в типографию. А за плечами стоял необычайно внимательный и критически изощренный первый читатель этого труда: Владимир Ильич потребовал, чтобы один экземпляр корректуры шел по его адресу. Вспоминаю, как бывал я озабочен в эти дни и как волновался, поджидая заветного телефонного вызова».

С. Мокшин хорошо показал борьбу мнений при выработке плана ГОЭЛРО, описал заседания VIII съезда Советов, одобдившего план, острые ситуации в ходе дебатов на Восьмом всероссийском электротехническом съезде и т. п. В книге приводятся немало документальных свидетельств о рождении Госплана СССР и становлении советского планирования, о разработке теории и новых методов науки управления социалистическим обществом, долгосрочных прогнозов развития основных научных направлений и т. д. У истоков этих начинаний стоял Ленин, настойчиво воплощая в жизнь принципы самой революционной и передовой теории. Как отмечала 28 марта 1922 года «Правда», Владимир Ильич своим аналитическим умом не только мастерски схватывал отдельные этапы развития научных исследований, но с «ясностью и конкретностью, заостренной отчетливостью» расставлял путеводные вехи для великого будущего советской науки.

Не поступаясь исторической точностью и строгой конкретностью каждого факта, каждого события, эпизода, автор рассказывает о серьезных и важных проблемах в достаточно популярной и доходчивой литературной форме. Он сдержан и строг в

выводах, любое положение стремится подтвердить множеством фактов, выводы отстаивает с полной мерой добросовестности и научной беспристрастности. Такой подход к освещению исторических событий, думается, наиболее приемлем, и, надо полагать, это обеспечит книге популярность у читателей.

Рецензируя восьмой сборник «Путей в незнаемое» (см. «Новый мир», 1972, № 2), в котором опубликован очерк С. Мокшина «Совнаркомовский паек» (краткий вариант второй главы книги «Семь шагов по земле»), С. Резник цитировал известные слова А. М. Горького: «Когда-нибудь кто-то напишет потрясающую книгу: «Русские ученые в первые годы Великой революции». Это будет удивительная книга о героизме, о мужестве, о непоколебимой преданности русских ученых своему делу — делу обновления, облагораживания мира, России». И добавлял: «Слова эти часто цитируются. Но... не пора ли создать книгу, о которой мечтал Горький».

С. Мокшиным написано серьезное и глубокое исследование о становлении советской науки, в центре которого поставлена проблема ленинского отношения к интеллигенции, его неустанная борьба за вовлечение научных сил в дело социалистического строительства.

Разумеется, книга не лишена и некоторых недостатков. Автор мог бы более подробно рассказать о целом ряде научных событий страны, отдельные положения нуждаются в дальнейшем обосновании. Хотелось бы видеть в книге побольше авторских отступлений от фактов, публицистических размышлений.

В целом же книга «Семь шагов по земле» — интересное и полезное исследование, показывающее глубокую жизненность и актуальность ленинских принципов организации научной деятельности в Советской стране, дополняющее важными штрихами образ В. И. Ленина.

**В. ПОШАТАЕВ,**

*кандидат философских наук.*



## БОРЬБА ГАЛИЛЕЯ

**А. Штенкли. Галилей, ЖЗЛ. М. «Молодая гвардия». 1972. 383 стр.**

**В** пьесе Бертольта Брехта Галилей говорит одному из друзей: «Наружу выходит ровно столько истины, сколько мы выводим». Говорит, как бы раскрывая смысл своей борьбы за признание истины гелиоцентризма Солнечной системы.

Прочитав роман Макса Брода «Галилей в плену», Эйнштейн пишет автору: «...Я представлял себе его (Галилея.— О. М.) иным. Нельзя сомневаться в том, что он страстно добивался истины — больше, чем кто-либо иной. Но трудно поверить, что зрелый человек видит смысл в воссоединении найденной истины с мыслями поверхностной толпы, запутавшейся в мелочных интересах. Неужели такая задача была для него важной настолько, чтобы отдать ей последние годы жизни?.. Он без особой нужды отправляется в Рим, чтобы драться там с духовенством и политиками... Не могу себе представить, чтобы я, например, предпринял нечто подобное, чтобы отстаивать теорию относительности. Я бы подумал: истина куда сильнее меня, и мне бы показалось смешным донкхот-

ством защищать ее мечом, оседлав Росинанта...»

Два колосса науки высказывают две противоположные точки зрения... Не стоит, однако, забывать: Эйнштейн отзывается не о подлинном Галилее — о литературном персонаже, герое романа Макса Брода, а в пьесе Брехта устами Галилея говорит художник, живший тремя столетиями позже великого флорентийца. И если ответ самого Эйнштейна на вопрос о том, следует ли защищать научную истину, предстает перед нами в его словах вполне определенно, точка зрения Галилея, реального, а не вымышленного, остается здесь еще не выясненной.

Каким же был настоящий Галилей? Какую позицию он занимал на самом деле? Хотя биографическая литература о Галилее огромна, однозначно ответить на этот вопрос нелегко: высказывания и поступки ученого, как они предстают из сохранившихся документов, достаточно противоречивы.

Это обстоятельство, в частности, и делает оправданными продолжающиеся по-

пытки создания новых вариантов биографии великого ученого.

Книга советского историка А. Штекли, по-видимому, наиболее подробный рассказ о жизни Галилея из выходявших на русском языке. Подробный не только благодаря достаточно большому объему, но также благодаря выбранному автором документальному, «летописному» методу изложения.

А. Штекли по большей части старается «описывать, не мудрствуя лукаво» то, чему были свидетелями современники Галилея и что так или иначе оставило свои «вещественные доказательства». Он «идет от документа к документу» — многие цитирует, иные излагает, — хотя, разумеется, как и всегда в таких случаях, это не устраняет необходимости перекидывать «мостики» между строго зафиксированными событиями, додумывать детали, о которых история не оставила своих свидетельств. Однако А. Штекли в отличие от многих авторов биографических книг не злоупотребляет открывающейся при этом возможностью художественного вымысла.

Каким же предстает Галилей в новой книге? Служит ли его судьба простым повторением судьбы Джордано Бруно, только со «смазанным» концом (отречение, сохранившее Галилею жизнь), либо же это драма, имеющая особое содержание?

В 1597 году, тридцати трех лет от роду, Галилей написал Коплеру: «...Уже много лет я разделяю мнение Коперника (о гелиоцентризме Солнечной системы. — О. М.) и, исходя из этой точки зрения, открыл причины многих явлений природы, которые, без сомнения, не могут быть объяснены на основе обычной гипотезы. О прямых и косвенных доказательствах этого я много писал, но до сих пор не осмеливаюсь вышускать в свет, напуганный судьбою самого Коперника, нашего наставника, который у немногих пользуется бессмертной славой, у бесконечного же множества — ибо столь велико число глупцов — вызывает смех и освистывание. Я бы, конечно, осмелился обнародовать свои мысли, если бы было больше таких, как ты, но поскольку это не так, то от такого рода дела я отказался».

Вот позиция Галилея в 1597 году, номинально совпадающая с позицией Эйнштейна. Как видим, ученый вовсе не рвется в драку с духовенством и политиками, вполне трезво оценивая обстановку. Он

страшится не преследований, не суда инквизиции, а именно осмеяния и освистания «глупцов». Через три года, когда инквизиция расправится с Джордано Бруно, у Галилея, без сомнения, появятся еще более веские основания для проявления осторожности.

И все-таки через тринадцать лет, несмотря ни на что, он начинает открытую борьбу за признание идей Коперника. Что же определило подобный перелом?

Как известно, уже первые работы Галилея вызвали ожесточенные нападки ученых мужей. Читая книгу А. Штекли, воочию представляешь всю эту изнурительную, подчас мелочную борьбу, которую с самого начала вынужден был вести ученый. Обходить молчанием, игнорировать полемические наскоки, «опровержения» не всегда было возможно, ибо уклонение от ответа могло бросить тень на его репутацию университетского профессора, а затем придворного математика великого герцога Тосканы. Если бы интересы Галилея ограничились областью инженерного дела, механики, оптики, эти конфликты, возможно, так и остались бы локальными. Однако его интересует также астрономия, он задумывается над устройством мироздания. Но здесь сказать что-либо новое уже нельзя, не посягнув на учение Птолемея, канонизированного церковью. Таков исторический момент. В этих условиях для Галилея решиться на выступление против поддерживаемой церковью догмы, по существу, означает сделать выбор, быть или не быть ученым.

Другая, не менее важная причина, толкавшая его на борьбу, — желание утвердить общий гносеологический принцип, гласящий, что в поисках достоверного знания о природе следует обращаться непосредственно к природе, а не к текстам древних или Библии. Без признания этого принципа, естественно, также невозможно было говорить ни о какой науке.

Что же в таком случае дало Эйнштейну повод недоумевать при разговоре о событиях, происходивших в Италии три века назад? Трудно допустить мысль, чтобы автор теории относительности не видел, сколь велика разница между его собственным положением и положением Галилея. Совершенно ясно, что в XX веке перед ученым не возникает задача отстаивать научную истину перед «глупцами», размахивающими «текстами». Наука оконча-



тельно завоевала право на существование. Если кому-то и придет в голову покушаться на ее права, это воспринимается как худший рецидив средневековья. Во всяком случае, Эйнштейн прав, вряд ли кто-либо из серьезных исследователей «без особой нужды» сочтет сегодня целесообразным защищать истину в споре с заведомыми невеждами. Так, скажем, было бы очевидной нелепостью, если бы автор теории относительности вздумал дискутировать со столпами «арийской физики».

Конечно, это не означает политической пассивности ученого. Хотя споры о том, насколько поиск истины способствует воспитанию нравственных качеств, не стихают, однако факт остается фактом: если взять, например, выдающихся физиков середины нашего столетия, почти все они — тот же Эйнштейн, Бор, Ферми, Борн и многие другие — были ярко выраженными антифашистами, а некоторые, как Жолио-Кюри, принимали непосредственное участие в вооруженной борьбе с нацизмом.

Что касается Галилея, то он, как уже говорилось, должен был вести борьбу за научную истину по всем правилам политической борьбы — то, что такая необходимость действительно существовала, достаточно очевидно. Недоумение Эйнштейна скорее всего относится лишь к ситуации, изображенной в романе Макса Брода, когда математик и философ тосканского двора отправляется в Рим «без особой нужды». Одновременно это замечание Эйнштейна должно напоминать всем графам Галилея о необходимости исторически достоверно раскрывать, какая нужда толкнула ученого на борьбу.

Уже из процитированного выше письма Кеплеру видно, что Галилей не склонен с философским спокойствием взирать на «бесчисленное множество глупцов». Вынужденное молчание явно тяготит его.

Разумеется, Галилей не мог рассчитывать, что ему когда-либо удастся сделать всех «глупцов» умными, обратить их в свою веру. В отличие от Бруно, бросившегося в бой без надежды выиграть его, он тщательно обдумывал тактику борьбы (хотя и его многие современники упрекали в излишней горячности). Так, Галилей, вероятно, уже с самого начала решил, что выступит открыто лишь тогда, когда его аргументы смогут доставить ему хоть какое-то количество сторонников из числа

ученых и людей, интересующихся наукой.

Именно этой версии, по-видимому, придерживается А. Штекли. Рассказывая о том приподнятом состоянии, в котором находился Галилей в 1610 году, принесшем ему столько замечательных открытий, он пишет: «Галилей был полон воодушевления. Кто из серьезных ученых захочет отныне поддерживать Птолемеево учение? Его, Галилея, открытия помогут многим отказаться от устаревших воззрений и приумножат ряды коперниканцев... Невиданная картина вселенной, открывшаяся взору, имела, на его взгляд, столь важное значение для торжества Коперниковой теории, что Галилей счел возможным впервые в жизни печатно объявить себя ее сторонником. Подтверждая, что Земля светится отраженным солнечным светом, он обещал в «Системе мира» привести тому еще более подробные доказательства». «Шестьюстами доказательствами и натурфилософскими рассуждениями,— говорит Галилей,— мы подтвердим, что Земля движется и своим светом превосходит Луну, а не является местом, где скопится грязь и подонки всего мира».

После опубликования «Звездного вестника» ему пришлось услышать то, чего он опасался,— смех и свист «глупцов». В каком-то смысле это был решающий момент его борьбы: «эксперимент», предпринятый Галилеем, должен был выявить, насколько доходчивы подлинно научные доказательства, насколько сильна истина сама по себе. И вот она, реакция... «Ученые Римской коллегии,— пишет А. Штекли,— встретили «Звездный вестник» издевками. Вещи, рассказываемые Галилеем о Луне, вызывают, мол, хохот даже у камней! «Новые планеты» (открытые Галилеем спутники Юпитера.— О. М.), заявил Клавий, заставляют его смеяться...»

Но, как оказалось, смех и клики «глупцов» не так уж страшны. Воистину серьезные аргументы — надежная защита. В конце концов, каждый может при желании посмотреть в телескоп и убедиться, что и Медисейские звезды и неровности лунного диска действительно существуют. Постепенно все стало на свои места. Даже Клавий, убедившись в правоте Галилея, прислал ему свои поздравления: «Воистину вы, ваша милость, заслуживаете великой похвалы...» Успешно были отражены и другие нападки.

Эти-то победы, эта прочувствованная

ученым сила аргументов, по-видимому, и сообщили ему тот мощный нравственно-психологический заряд, который толкал его все дальше и дальше. Он едет в Рим, чтобы добиться перелома в отношении к Коперникову учению.

Опять-таки интересна тактика, избранная Галилеем. «...Когда речь заходила о системе мира,— пишет А. Штекли,— Галилей выражался с осторожностью. Широковещательных заявлений о том, что Земля, мол, движется, не делал, а предпочитал доказывать неправоту Аристотеля и Птолемея... Галилей намеренно оставался на почве установленных фактов. Во вселенной, оказывается, существует не один-единственный центр небесных движений. Луна вращается вокруг Земли, Медицейские звезды — вокруг Юпитера, Венера и Меркурий — вокруг Солнца. Да, немалые возникают трудности, если считать Землю центром вселенной!»

Пожалуй, в этой тактике как раз и просматривается тот «эйнштейновский» принцип: истина несравненно сильнее ее защитников. Достаточно обозначить ее контуры, а там уж она сама за себя постоит.

Впрочем, по-видимому, не так уж и осторожен был ученый. Его приглашает к себе один из руководителей инквизиции, кардинал Беллармино, и преподает ему урок «правильного», то есть условного понимания Коперниковой теории: «Мысль о действительном вращении Земли абсурдна. Она противоречит и Библии и здравому смыслу».

Из контекста книги А. Штекли не вполне ясно, чем было вызвано это нравоучение: ведь, как мы видели, Галилей избегал широковещательных заявлений о движении Земли. Впрочем, можно догадаться: по-видимому, все-таки нелегко было ученому тягаться в хитрости с отпетыми политиками.

Так или иначе, этот эпизод должен был показать Галилею, что главный его противник — вовсе не «глупцы», которые не умеют смотреть в телескоп.

Это была единственная вполне добровольная поездка Галилея в Рим с попыткой пропагандировать свои взгляды. В дальнейшем события разворачивались во многом независимо от его воли. Перипатетики, терпевшие в чисто научных диспутах с Галилеем одно поражение за другим, избрали единственно эффективный для себя план борьбы, решив прямо столкнуть

Галилея с церковью, с Библией. Этот план им удался. Подстегнутый спорами в придворных салонах, Галилей пишет «Письмо к Кастелли», где, в частности, становится на скользкую почву толкования библейских текстов: утверждает, что они не противоречат учению Коперника. Вскоре последовал донос в инквизицию, и колесо закрутилось. На этот раз Галилей вынужден ехать в Рим, чтобы защищаться.

При описании этого этапа борьбы биограф Галилея должен особенно тщательно вскрывать мотивы тех или иных действий ученого. К сожалению, в интерпретации А. Штекли они видны не вполне отчетливо. Известно, что уже в самом начале конфликта друг Галилея князь Чези советовал ему попытаться отбить атаку, не затрагивая имени Коперника, чтобы избежать худшего — запрета его учения.

Однако Галилей решает идти ва-банк. Что привело его к такому решению? Ведь он знал, что в Риме по-прежнему в силе непоколебимый фанатик кардинал Беллармино, что папа Павел V «ненавидит всякие мудрствования». Еще находясь во Флоренции, Галилей обращается с письмами к кардиналу Дени и герцогине Христине, в которых настаивает на объективной интерпретации учения Коперника, а по приезде в Рим пытается «сыграть» на соперничестве между Беллармино и другими кардиналами. Наконец, просит юного кардинала Орсини обратиться к папе непосредственно, через голову Беллармино. Именно эта акция, вызвавшая крайнее неудовольствие Павла V, и решила, как полагает А. Штекли, исход дела. На следующий день по приказу папы учение о движении Земли было объявлено «ложным и еретичным».

Историки не однажды задумывались, почему учение, которое католическая церковь терпела семьдесят три года, столь поспешно, в считанные дни, было запрещено ею. По-видимому, на это нелегко ответить коротко. Что же касается Галилея, предпринявшего решительную и отчаянную попытку утвердить в правах это учение, то его неверие в самостоятельную «пробивную силу» истины в данном случае действительно налицо.

Следующий, заключительный этап противоборства Галилея и церкви значительно отличается по своему характеру от того,

который предшествовал появлению декрета 1616 года. Для столпов церкви это уже не та фанатичная «идейная» борьба Беллармино (он умер в 1621 году). Кардинал Маттео Барберини, ставший папой Урбаном VIII, хотя и уверен совершенно искренне, что Земля неподвижна, относится довольно спокойно к этому вопросу. Как утверждают, в 1616 году он выступал в защиту Галилея, а позже даже сказал в беседе с Кампанеллой: «Запрещать Коперника никогда не было нашим желанием, и если бы это касалось нас, то декрет не был бы издан!»

Если впоследствии, однако, Урбан жесточайшим образом расправился с Галилеем, с которым прежде поддерживал дружеские отношения, то причиной этому были скорее политические, чем религиозные соображения. Учение Коперника к тому времени довольно широко распространилось в странах протестантизма. Шумным процессом над человеком, обвиненным в распространении этого учения, папа хотел уравновесить в глазах общественного мнения свои политические союзы с протестантами, вызвавшие недовольство в католическом мире.

Кроме того, А. Штекли обращает внимание на возникшую у папы личную неприязнь к Галилею. Римский пераосвященник был убежден, что Галилей сознательно воспользовался подлогом, совершенным Чамполи, секретарем Урбана: Чамполи от имени папы распорядился, чтобы цензоры разрешили публикацию «Диалога».

Соответственно, и сам ученый, осознавая, что борьба против него носит, так сказать, беспринципный, политиканский и личностный характер (а также, разумеется, помня о «предписаниях» и «увещеваниях» 1616 года), уже не придерживается твердого принципа бескомпромиссности. Напротив, в период подготовки «Диалога» к публикации он идет на всяческие уступки, в том числе принципиальные, лишь бы его работа, итог тридцатилетних размышлений, наблюдений, экспериментов, увидела свет. Он даже вставляет в предисловие, что цель книги — продемонстрировать научную компетентность тех, кто издал декрет 1616 года, то есть нечто прямо противоположное истинному замыслу. Следующая серия компромиссов, вплоть до отречения, — на процессе 1633 года, когда становится ясно, что уступки и оговорки, внесенные им в «Диалог», не обманули бдительность инквизиторов. Вся эта «сдача

позиций» уже не имеет никакого значения, ибо вполне очевидно: тому, кто его судит, не требуется истина, а тот, для кого она действительно важна, легко извлечет ее из вышедшей книги. «...Каждый, кто хоть немного разобрался в происходящем, — говорит Эйнштейн, — должен был знать, что Галилей официально отрекся от своих идей только по принуждению».

Итак, в этот заключительный момент борьбы Галилей снова исповедует принцип: «истина сильнее меня».

В начале рецензии я обратил внимание читателя на преимущества «летописного» метода изложения, которым пользуется А. Штекли. Эти преимущества очевидны. Однако не менее очевидны и недостатки. Узлекшись «фактологией», внешней стороной событий, легко упустить из виду их внутреннюю сторону, забыть о необходимости анализировать побуждения, скрывающиеся за теми или иными поступками героя.

В книге А. Штекли адекватную интерпретацию поступков Галилея (впрочем, как и других действующих лиц) читатель найдет, к сожалению, не всегда.

Чрезмерная концентрация внимания на «внешнем» в ущерб «внутреннему» в данном случае, без сомнения, привела к известному обеднению образа ученого.

Еще один недостаток книги, в определенной мере присущий также популярным книгам других наших авторов, — встречающийся в ней время от времени налет дурной развлекательности: «И угораздило же его выступить против Галилея: лучше бы он потерял два фунта крови!», «Цугмессер стал предметом насмешек... Хасдаль хотел его проучить... Ему пришлось с позором ретироваться» и т. д. К счастью, соответствующие места составляют «механическую», то есть легко разделяемую, смесь с остальным текстом.

А. Штекли в своей книге, несомненно, предпринимает новые интересные шаги, способствующие решению задачи, которая стоит перед литературой о Галилее и которая заключается в том, чтобы помочь читателю как можно глубже постичь образ этого гиганта, стоящего у истоков классической научной мысли, глубже понять смысл той борьбы, которую он вел.

## СИММЕТРИЯ И ГАРМОНИЯ

А. В. Шубников, В. А. Копцик. Симметрия в науке и искусстве. М. «Наука». 1972. 339 стр.

В предисловии авторы сообщают, что их работа — «это и популярное введение в предмет и монография, учебник и справочник», а в заключении — что «она занимает промежуточное положение между книгами, которые пишутся «для всех», и литературой для специалистов». Это позволяет рекомендовать книгу широкой читательской аудитории. Оговоримся заранее: «популярное введение» все же довольно сложно для человека, не обладающего в достаточной степени навыками абстрактно-логического мышления, не владеющего серьезными математическими знаниями.

Тем не менее читателю-неспециалисту, рискнувшему открыть книгу и погрузиться в мир ее заманчиво-сложных идей, аналогий, практических приложений, нелегко будет от нее оторваться. Думается, такой эффект обусловлен главным образом распространением идей симметрии и на бескрайнюю область явлений природы, и на широкую сферу человеческой деятельности — науку, технику, искусство, — возможностью познакомиться с фундаментальными и всеобщими закономерностями, способными объединить даже «физику» с «лирикой».

«Есть тонкие властительные связи между контуром и запахом цветка», — не без основания утверждал в свое время поэт. Связи глубоки и до сих пор не вполне раскрыты, но некоторое приближение к их раскрытию сделано в наши дни...

Итак, симметрия и гармония — что общего между ними, в каком отношении между собой они находятся?

Учение о гармонии как согласованной стройности частей в рамках единого целого возникло еще в среде древнегреческих математиков и философов. Однако впоследствии вызывало всегда столько споров и разногласий, что мы и сегодня вряд ли сумеем дать более или менее исчерпывающий ответ, что же такое гармония.

И все же не только в бытовом разговоре, но и в солидных работах, например об искусстве или научном творчестве, мы сплошь да рядом вынуждены прибегать к этому слишком «ненаучному» термину: другого-то ведь у нас нет. И споры о «разумной

соразмерности начал» зачастую приобретают схоластический характер.

Авторы рецензируемого труда предлагают на первый взгляд неожиданный аналог понятию гармонии — симметрию. Оправдано ли это? На время оставим в стороне филологическую разницу значений и оттенков. Вспомним, что представление о симметрии у многих из нас сложилось лишь под впечатлением школьного курса геометрии (ось симметрии, центр симметрии, относительно которых вращали подобные фигуры до их совмещения). Словарь Ожегова также толкует симметрию только как «соразмерность, пропорциональность частей чего-нибудь, расположенных по обе стороны от середины, центра». Не случайно обыденный практический опыт подсказывает обычно самые тривиальные примеры: затейливый узор на крыльях бабочки и орнамент искусно сотканного ковра, фантастические фигуры, возникающие каждый раз заново в детской игрушке-калейдоскопе, и взаимно правильное расположение каких-либо предметов на плоскости или в пространстве. Разумеется, этими простейшими наглядными комбинациями не исчерпывается глубинная всеобъемлющая сущность гармонии. Вот почему при совмещении понятий «гармония» и «симметрия» мы ощущаем как бы недостаточность, узость понятия «симметрия».

Тем более любопытно, что идеи симметрии возникли впервые у тех же самых древних ученых и именно в связи с учением о гармонии мира. Впрочем, вряд ли сегодня мы смогли бы воспользоваться этими идеями, оставаясь в рамках первоначальных, «классических» представлений.

Именно расширение учения о симметрии (понятия симметрии и вытекающих из него принципов) позволило значительно увеличить области его приложения. В разработку этого учения большой вклад внесен выдающимся советским ученым, академиком А. В. Шубниковым и его учеником профессором В. А. Копциком.

Что же такое симметрия в расширенном понимании? Почему ее теория обладает столь неограниченным диапазоном применения — от оптики и кристаллографии до биологии, от архитектуры до поэтики?

Секрет прост: ведь если симметрию можно рассматривать как одно из проявлений гармонии, то тем самым мы получаем средство находить не только качественную характеристику, но и точную меру этой слишком размытой, каждый раз ускользающей от нас вездесущей категории.

Нигде не противореча классическому учению о симметрии, авторы книги с первых же страниц вводят в изложение терминологию и методы структурно-системных исследований. Эти методы зародились в науке сравнительно недавно (около 50 лет назад), но уже получили широкое признание, обеспечили успех ряда естественнонаучных работ (по физике, химии, биологии), способствовали возникновению структурного подхода к описательным, «качественным» дисциплинам.

В современной терминологии структура (или структурный уровень, подуровень) есть неизменный (инвариантный) элемент некой системы. «В природе нет бесструктурных объектов. Понятие симметрии относится к тем из них, которые состоят из эквивалентных в смысле относительного равенства (то есть подобных.— Ф. Л.) взаимосвязанных элементов, образующих целостные системы». Остается сказать, что таких симметричных, то есть подобных в том или ином отношении на том или ином уровне систем-объектов насчитывается бесконечное множество. Теория симметрии изучает всевозможные преобразования, при которых выявляется сходство, подобие, в терминологии книги — относительное равенство элементов и совокупностей элементов, при которых сами они сохраняются неизменными (инвариантными). «При этом речь может идти не только о симметрии материальных объектов, но и о симметрии систем, понятий и теорий, отображающих структуру реального мира», — симметрии уравнений и их решений симметрии физических свойств, симметрии мгновенных состояний и так далее.

Не будем вдаваться в подробности классификации различных видов и групп симметрии — это слишком специальная область, соответствующие «трудные места» в книге явно не предназначались «для всех». Заметим только, что без знания законов симметрии было бы невозможно, к примеру, изучение структуры кристаллов на современном уровне. В свою очередь, анализируя структурные формы кристаллов, можно объяснить и предсказать их вероятные

физические (оптические, магнитные) свойства.

До недавнего времени применение методов симметрии в искусстве ограничивалось, пожалуй, лишь архитектурой и орнаменталистикой. Примеров подобного прикладного использования приводится достаточно в первой части книги, где разбираются всевозможные виды классической симметрии.

Что же касается проникновения в области более сложных образно-смысловых структур — художественной прозы, поэзии, музыки, живописи, — то этим вопросам ввиду их недостаточной разработанности в книге уделено значительно меньше места. Однако даже ограниченная информация, с которой мы знакомимся в заключительной главе, представляет несомненный интерес.

В работе неоднократно подчеркивается «определяющая роль смысловых структур по отношению к звуковым» (речь идет о поэзии, о художественной литературе вообще). Подразумевается, очевидно, что в известных случаях расширенное понятие симметрии может быть применено «на более высоких структурных уровнях, в том числе и на высшем из них — уровне смысла художественного произведения». В связи с трудами по математической лингвистике упоминаются заслуги академика В. В. Виноградова, а также результаты недавних исследований А. В. Гладкого и И. А. Мельчука, в которых показывается, что «смысл есть инвариант синонимических преобразований» языка. (Любопытно сравнить последнее положение с выводом, к которому приводит анализ различных жанров искусства: «Если смысловые уровни в анализируемой системе отсутствуют — перед нами или произведение абстракционистского плана, или декоративный узор».) К сожалению (ну как тут не вспомнить прутковский афоризм «Никто не обнимет необъятного»), многие из этих интереснейших тем лишь названы в книге, но не получили развития.

Конструктивный характер обобщенной симметрии позволяет широко вводить математику в исследования различных качественных параметров. Математика, находящаяся как бы на службе других наук — гуманитарных и естественных, прикладных и теоретических, — придает расплывчатым качественным критериям количественную определенность. Это привлекает одних людей и отпугивает других. О противниках внедрения точных наук в искусствоведение один из авторов этой книги, А. В. Шубни-

ков, писал еще в 1927 году, что им «ненавистны слова: закон, порядок, симметрия, геометрия; они больше любят слова: гармония, красота, стиль, ритм, единство, хотя смысл этих последних слов едва ли чем существенным отличается от смысла первых. Но дело, конечно, не в словах; суть неприязни искусства к науке лежит в убеждении, что до конца раскрытый закон вносит будни в поэзию. Может быть, отчасти это и так, но, вернее, что это совсем не так: наслаждаться искусством может только тот, кто подготовлен ощущать и, по возможности, понимать его законы».

В заголовок книги вынесено слово симметрия. При этом авторы подразумевали, что будет затрагиваться также и обратное явление — диссимметрия, то есть несовершенства симметрии, отклонения от идеальной математической модели. Казалось бы, это частные случаи и потому они несущественны. В действительности же, согласно принципу диссимметризации, сформулированному впервые Пьером Кюри, именно «диссимметрия творит явление». Оставляя в стороне физическую интерпретацию этого принципа (опять-таки дело слишком специальное, сложное), попробуем отнести приведенные слова к искусству. Не удивительно, что в этой области, где особенно ценится все индивидуальное, нестандартное, неповторимое, принцип Кюри не менее справедлив, чем в физике. «Нарочные» нарушения симметрии, пусть хотя бы незначительные (чуть-чуть!) отклонения от «правил», от общепринятого и общеизвестного (а отнюдь не простое «симметричное» воспроизведе-

ние действительности либо повторение известных образцов), характерны для истинно художественных произведений музыки, живописи, поэзии... «Подчинение музыки организующим закономерностям есть настолько же важный непреложный факт, как и уклонение музыки от чрезмерно точного им следования», — цитируется здесь одна из последних фундаментальных работ по теории музыки. «Диссимметрия в стихе возможна и даже необходима, но только в меру»...

Возвращаясь к связи понятий гармонии и симметрии, к правомерности замены одного из них другим, все же выскажемся в том смысле, что понятие гармонии значимее, шире: ведь оно включает в себя также и диссимметрию. Очевидно, мера симметрии и диссимметрии, до сих пор определяемая художником все-таки «на глазок», интуитивно, и создает ту гармонию в искусстве, из-за которой сломано столько копий. Впрочем, все это несколько не умаляет практической ценности производимой замены.

В заключение почти без комментариев несколько сведений о самой книге: она хорошо иллюстрирована, снабжена удобным справочным аппаратом и издана тиражом всего... 6700 экземпляров; книга сдана в набор в 1970 году, подписана к печати в 1971-м и наконец вышла в 1972-м — подобная симметрия дат, вероятно, не является необходимой закономерностью в процессе современного книгопечатания.

Феликс ЛЕВ.



## СОВРЕМЕННОКИ О СОВРЕМЕННОМ

Повесть Юлия Крелина «От мира сего», опубликованная в № 4 «Нового мира» за 1972 год, вызвала у читателей журнала, судя по присланным отзывам, отношение живое и противоречивое. «Повесть современная, нужная», — писала Г. С. Хайтина, врач-педиатр из Чистополя, ТАССР. «Могу хоть сейчас указать на прототипов Начальника... Этот тип современного хирурга именно современен», — писал из Харькова кандидат медицинских наук, врач-невропатолог В. А. Неботов. «Несомненно талантливое и вовремя сделанное дело», — резюмирует свое письмо биохимик В. С. Репин, старший научный сотрудник Института экспериментальной медицины в Ленинграде. Профессор С. Долецкий, вскоре после выхода повести выступивший с критической рецензией в «Медицинской газете», признает тем не менее повесть Ю. Крелина «произведением, будающим мысль и дающим пищу для размышления», а задачу автора оценивает как «правильно задуманную и прогрессивную творчески».

По мере того как появлялись печатные отзывы, расширялось и поле читательских оценок. Обсуждалась уже не только повесть, но и появляющиеся рецензии на нее. Когда читаешь редакционную почту, кажется, что повесть не завершилась на своей последней странице, а лишь пригласила нас в более широкую аудиторию, где дискутируют уже реальные люди с живым взглядом на жизнь и в столкновениях мнений, часто противоположных, возникают контуры общего нравственного опыта — каким он сложился на нынешний день. Споры, которые ведут герои повести, коллизии, в которые они втянуты, продолжают свое существование в читательских письмах.

В центре внимания оказалась фигура главного героя. Плох или хорош этот человек, виноват или нет, как мог сложиться подобный характер? Может быть, он вообще не существует? Академик А. И. Савицкий («Медицинская газета») утверждает: «...встретиться с руководителем, похожим на Начальника», не довелось. Московский библиотекарь Г. Павлов, как и академик А. И. Савицкий, посвятивший первую половину своей рецензии в «Литературной газете» суммированию проступков главного героя, считает, однако: «...никто не может помешать писателю взять в качестве основного героя такого человека», но «в таком случае читателю должно быть ясно отношение писателя к герою. А этого в повести нет, проскальзывает даже явное сочувствие к Начальнику». Медики Центральной Бассейновой больницы (Москва) — старшая медицинская сестра хирургического кабинета М. П. Барских, няня кабинета А. П. Гордеева, хирург кабинета П. С. Миронов — пишут, что повесть была прочитана многими сотрудниками. «Чтобы быть объективными в оценке деятельности главного героя, мы друг перед другом ставили вопрос: «Желали бы вы работать под руководством подобного героя?» Ответ был един. Желającego работать с таким человеком не оказалось... Портрет «героя» нарисован сатирической кистью хорошего художника. Очень хотелось бы не иметь подобных начальников. С такими коммунизма не построишь. Поэтому мы и считаем правдивое отражение действительности нужным и полезным».

Напротив, кандидат медицинских наук, врач-психиатр Э. Смышляев (Пермь) убежден, что «подавляющее большинство читателей — и молодые и шефы — сумели разобраться в сложной личности Начальника и восприняли его противоречивый образ в целом как образ положительный».

«Когда начинаешь читать повесть, то сначала не можешь понять, какой же это герой: положительный или отрицательный? — пишет А. Шесминцев (Электросталь, Мо-

сковская обл.)— И лишь прочтя примерно половину, обнаруживаешь, что герой-то ведь просто живой!.. Очень хорошо, что повесть заставляет читателя задуматься над нравственными проблемами жизни. Кто прав? Сергей Топорков или Начальник? А может быть, в чем-то прав Топорков, а в другом Начальник? Как жить? Автор не оказывает никакого давления на читателя, относясь к нему с явным уважением». Полемизируя с Г. Павловым, Л. Шесминцев пишет: «Вместо того чтобы подчеркивать явное старание автора вызвать сочувствие к Начальнику, более уместно было бы отметить бросающуюся в глаза объективность автора, предоставляющего читателю возможность самому дать оценку нравственного облика Начальника... Не следует рассматривать читателя как существо, не способное к самостоятельным оценкам, а способное лишь к тому, чтобы глотать духовную пищу, не пережевывая ее, поскольку она уже пережевана кем-то заранее».

В письме **Г. Я. Пилипенко** (Московская область) сформулирована, пожалуй, та исходная позиция, на которой стоят авторы поступающих в редакцию писем: «Можно питать симпатию или антипатию к герою, но отрицать возможность его существования нельзя, и оттого, что это делают в рецензиях, он не исчезнет, но его можно видеть или не хотеть видеть, как это делают авторы некоторых рецензий».

И действительно, речь в письмах идет не о том, реальна или нет фигура Начальника, а о том, что это за характер, как к нему относиться, можно ли влиять на него и существует ли вообще для подобного человека возможность другого нравственного пути.

Главный герой повести, «живой человек и по структуре своей души, и по природным механизмам (гибкость до беспринципности, сверхдиалектичность и т. д.), довольно современен,— пишет В. С. Репин в начале своего письма.— Отключаешься от чтения тогда, когда исчезает Начальник. В повести немножко от театра одного актера.— И дальше В. С. Репин критикует писателя за излишнюю снисходительность к герою в финале повести: — Этому не веришь. Потому что такие, как Начальник, не умирают. Это они либо делают как-то незаметно, либо это уже несущественно. Самое существенное то, что такие люди живут благополучно, процветают. Мне кажется, для них это необходимый, хотя и недостаточный критерий. Вся система обратных связей на всех этапах его организации неумолимо должна настраиваться на эти критерии. Иначе он будет нежизнеспособным. Он должен был одолеть всех через инфаркты, сокращения штатов, его по-прежнему должны любить студенты и женщины, начальство — так, как в жизни».

Высказывается, однако, и другая точка зрения, если не более снисходительная, то более хозяйская.

«Сила повести в том, что Начальник не просто достоверный и жизненный характер, а социальный тип,— говорится в письме **А. Мишулович** (Харьков).—...И если он вызывает симпатии, так это же потому, что... ведь он талантлив, он мастер своего дела, а это, к сожалению, не всегда принимается нами за высшую ценность».

Автор другого письма рассматривает фигуру Начальника не только как противоречивую, но больше всего как драматическую. «Истинное лицо Начальника раскрывается в конце повести, и только тогда наконец понимаешь, зачем эта повесть, понимаешь трагичность положения, в котором очутился большой одаренный человек». Задавшись вопросом, «почему он стал такой», автор письма находит ответ в том, что Начальник в начале своего пути встретил несправедливость (случай с неправильным переливанием крови в прологе повести). «Раздражительность и грубость Начальника, его недоверие к людям — результат этой несправедливости... Такой человек, как Начальник Ю. Крелина, мог сказать: «Дисциплина... осознанная необходимость казаться глупее начальства». Сказать? Да, мог. Но только с иронией. Такой человек, как он, не мог иметь подобных убеждений, но видел и встречал подобное... Почему-то никто не хочет заметить,— продолжает автор письма,— что Начальник Ю. Крелина — человек большого мужества, ума, требовательности к себе как к специалисту, а отсюда и требовательности к другим... Если б это была зачерствелая душа, то разве он переживал бы, что встретит больного с демпинг-синдромом, разве он не испытывал бы стыд при встрече с ним?»



А отсюда и упрек Сергею Топоркову, который, осуждая Начальника, «сам хоть раз по душам поговорил прямо в глаза?»<sup>1</sup>.

Вот здесь в развернувшемся обсуждении возникает еще один аспект.

**Г. Радов** в своей рецензии («Комсомольская правда») писал: Ю. Крелин «неравнодушен к герою, ему хочется, чтобы герой — личность незаурядная — сам сделал выбор между величием своей натуры и ее же мелкостью, суетностью. Подавил в себе то, что мешает и ему, и людям, и делу. В этой бескомпромиссности автора, в его непримиримости к тому, что он не приемлет в герое, вижу я общественный темперамент повести, ее гражданский пафос...».

«Не может герой — такой, каким он сложился, — перемениться по щучьему велению, — утверждает далее Г. Радов. — Да и те компромиссы, на которые он шел в жизни, те отступления от моральных норм, которые он совершал, иногда якобы из благих намерений, — все это не могло не вызвать необратимых изменений в характере... Повесть... заставляет... задуматься о жизни, о глубине и необратимости ее процесса, о ее требованиях к человеку, гражданину, таланту».

Однако далеко не все читатели склонны оставить героя повести один на один с «мелкостью, суетностью» его натуры, с той линией поведения, которая этими качествами рождена, нанося ущерб и людям, и делу, и самой личности Начальника, столь самобытной и крупной по своей природе.

В своем большом письме хирург-онколог **С. А. Андреев**, врач с сорокалетним стажем, находящийся сейчас на пенсии (Крымск, Краснодарский край), тоже вспоминая пролог повести, пишет:

«Врач — это прежде всего человек. Это относится и к молодому, начинающему врачу. Первое, что должен делать шеф клиники, поделившись опытом профессионального порядка, поискать в душе молодого человека его «человеческое» и пестовать его до конца раскрытия в последнем всех тех качеств, коими должен обладать зрелый хирург. Воспитать сердце врача, большое, объемлющее чужие страдания. И вот Начальник, несмотря на всю свою первоначальную неприглядность, неожиданно проявляет скрытые от самого себя неправильным своим воспитанием качества врача с сердцем. В эпизоде с ординатором, мучающимся из-за смерти больного, которого он лично не оперировал, но который умер во время его дежурства, в глубине души Начальника, человека грубого, нашлись нотки теплоты и участия к своему подчиненному. Нотки эти человеческие следует развивать еще в молодом, начинающем враче. Вина многих «шефов», руководителей клиник, в том, что они — академики, просто ученые — не видят в первую очередь в своих подопечных человека! Отсюда отсутствие подлинной заботы о возвращении в душах молодежи лучших качеств, так необходимых предстателю самой трудной из труднейших разделов медицины — хирургии!»

Примем же мы, старшее поколение, люди, уходящие со сцены активной хирургической деятельности, на себя вину за порождение Начальника из повести «От мира сего».

Полемизируя с точкой зрения академика А. Савицкого и профессора С. Долецкого («Медицинская газета»), высказавших опасение, что повесть может подорвать веру больных в лечащих врачей, тогда как врачи, хирурги особенно, должны быть окружены «ореолом спасителей», «ореолом исключительности», врач **Н. В. Неверова** (Липецк) пишет:

«Я отношусь к старшему поколению врачей, и в лице своих Начальников чаще встречала людей большой культуры и сердечности и считаю, что не надо нам никакой заранее запрограммированной исключительности. Делом в нашей стране завоевывают авторитет, а не тем, что мы носим белый халат или профессорскую шапочку.

Академик А. Савицкий высказывает даже удивление, почему коллектив научных сотрудников долгое время мирился с таким руководителем и терпел его цинизм и безнравственность, и считает неправомерным появление повести Ю. Крелина.

Можно ли согласиться с такими взглядами, с примиренчеством к недостаткам, к

<sup>1</sup> Завершается письмо следующими словами: «Подпись свою не ставлю, потому что убеждена, что в этом нет никакой необходимости. Но мне будет очень неприятно, если Вы мое письмо отнесете к анонимке». К сожалению, редакция не имела возможности отыскивать автора письма, однако оставить это интересное письмо без внимания тоже не хотелось.

тому, что выдается вексель на непогрешимость чуть ли не самим Гиппократом? В любой сфере деятельности, в том числе и в медицинской, никто не застрахован от недостатков, ошибок. Можно ли ожидать от коллектива противодействия Начальнику в неправильном стиле руководства, если отмечается сама возможность недостатков, а публикация материала, вскрывающего эти недостатки, объявляется «неправомерной»?

...Повесть «От мира сего» заканчивается грустными словами: «Перед смертью он, что ли, понял ценность свою человеческую, полюбил себя как человека, а не дельца, а это, наверное, и есть мера любви к другому. А может, он такой был всегда?» Вот в чем сочувствует Ю. Крелин своему герою. Начальника этого бесконечно жаль... Он мог быть не только перед смертью, но и в расцвете своих творческих сил настоящим Человеком и не стал им только потому, что вовремя его не одернули, не показали его истинное лицо. Надо... воспитывать людей, чтобы те же топорковы и сергеевы могли повлиять на Начальника, заставить его своевременно остановиться». И далее Н. В. Неверова напоминает, что и в «Медицинской газете» под рубрикой «Хотя письмо и не опубликовано» и в «Литературной газете» все чаще стали появляться материалы об этике служебных взаимоотношений. В связи со статьей «По собственному желанию» и дискуссией, развернувшейся вокруг нее, редакция «Литературной газеты» получила 150 писем. Статьи на подобные темы систематически печатаются в газете «Известия». На страницах нескольких номеров журнала «Хирургия», замечает С. А. Андреев, проходил спор по поводу профессиональной этики хирурга. Считая себя «одним из многочисленных учеников и последователей той школы клинической онкологии, которая создана руками безусловно крупнейшего ученого нашей страны академика А. И. Савицкого», С. А. Андреев тем не менее с его точкой зрения на повесть Ю. Крелина вступает в полемику. «Каким-то образом мысли А. И. Савицкого,— пишет С. А. Андреев,— перекликаются с началом нашего века, когда ошеломляющим событием оказалось появление в печати работы врача-писателя В. В. Вересаева «Записки врача». Буквально анафема неслась над головой Вересаева. Как? Возможно ли это? Совместимо ли это с врачебной этикой — раскрывать перед толпой внутреннюю жизнь, оборотную сторону жизни врачебного мира?»

...Не в таком ли духе звучат и опасения академика А. И. Савицкого?

Если уж быть последовательным до конца, т. е. щадить покой и легко ранимую психику больных, не будет ли логичней потребовать от представителей печати прекращения публикации материалов о недостойных поступках некоторых представителей медицины, творимых под прикрытием белого халата — символа чистоты, в том числе и чистоты душевной?»

Словом, читатели обращают внимание на то, что те аспекты повести Ю. Крелина, которые заставили оппонентов писателя сомневаться в правомерности написания и публикации его произведения, вовсе не являются для нашей прессы новыми. Более того, почти одновременно с критикой повести на соседних страницах под другими рубриками горячо и остро разрабатываются проблемы, которые эта повесть трактует, никак не претендуя на их открытие, предоставляя здесь по справедливости первое слово публицистам.

Дело писателя — человеческий характер в богатстве его связей со своим временем. И «бессспорно, что художественное произведение это не отчет руководителя клиники на ученом совете», как пишет из Перми Э. Смышляев в ответ на критику профессора С. Долецкого, упрекавшего Ю. Крелина в том, что не все аспекты деятельности руководителя клиники им отражены, что преобладает в повести «взгляд снизу». «Автор повести оказался вполне на высоте в роли наблюдателя «снизу»,— констатирует Э. Смышляев, видя содержание повести, художественную цель автора «в психологическом анализе многогранного характера человеческой Личности». Что эта цель отвечает нравственным интересам сегодняшнего читателя, доказывает редакционная почта, тем более убеждающая в своей серьезности, чем более она разноречива и богата оттенками высказываемых мнений.

---

---

---

## КОРОТКО О КНИГАХ



**Н. БЕРЕНДГОФ. Избранное. Стихи. «Московский рабочий». 1971. 80 стр.**

Скромность — отличительная черта Николая Берендгофа как человека и поэта. Скромность поэтической формы — это вовсе не означает ее художественной недостаточности. Напротив. Истинный талант редко злоупотребляет всем богатством образных средств. Любое, даже гениальное, музыкальное произведение состоит всего из семи нот. Любая картина в общем является комбинацией всего лишь семи цветов радуги. Умение ограничить себя в изобразительных средствах — признак зрелости писателя. В стихотворении Иннокентия Анненского говорится о скромной звезде, затерянной среди миров, в мерцании великого множества великих и малых светил, но милой его сердцу —

Не потому, что от нее  
А потому, что с ней не надо  
светло,  
света.

Эти строчки приходят мне на ум, когда я читаю стихи Берендгофа.

Недавно Н. Берендгоф выпустил небольшой сборник «Избранное», где как бы бегло отражается вся поэтическая его жизнь.

Я представляю себе начинающего поэта Берендгофа, восторженного юношу, постоянного, но почти незаметного нашего спутника среди блестящих звезд московского поэтического неба. Он редко выступал со своими стихами, но всегда был умным и благодарным слушателем чужих стихов. Не все понимали, что за его скромной, подчас робкой внешностью скрывается подлинный поэт хотя и небольшого диапазона, но подлинного таланта.

Теперь Николай Берендгоф уже пожилой человек. Его книга «Избранное» содержит в себе как бы краткое изображение всего пережитого поэтом как человеком и гражданином. Ни одно сколько-нибудь значительное общественное, историческое событие не остается вне поля зрения поэта. Октябрьская революция, Великая Отечественная война, события в Испании, война во Вьетнаме, могучая поступь пятилеток — такова основная тематика Берендгофа, не считая, конечно, вечно человеческих тем любви, природы, горечи расставания и радости встречи. Берендгоф не чужд также и литературно-историческим тем, к которым при-

надлежат стихи о Лермонтове, о Достоевском на эшафоте.

В сборнике есть стихотворение «Слово о Ленине», где в удивительно простой, доходчивой форме выражена любовь поэта к Ленину — преобразователю России.

Прекрасен цикл «Времена года», посвященный русской природе. В этом цикле мне слышится что-то никитинское. Тут хочется цитировать почти каждое стихотворение: «Лес», «Апрель», «Ландыш», «Майская гроза»...

А вот щемящая «Разлука»:

Нас грустно тропинки встречали,  
Шурша облетевшей листвой,  
С глубокой и тихой печалью  
Мы долго прощались с тобой.  
...Но в светлом полдневном молчанье  
Сияет тропинка одна,  
И помнит о нашем свиданье  
Нагретая солнцем сосна.

Может быть, все это не ново, но, как сказал Чехов, все ново, что хорошо.

Валентин Катаев.



**ЮРИЙ КЛАРОВ. Допрос в Иркутске. М. «Молодая гвардия». 1972. 302 стр.**

Партийное подполье в Сибири после белочешского мятежа 25 мая 1918 года — это почти два года непримиримой кровавой борьбы: прорывались через линию фронта связные Центрального Комитета партии; несмотря на многочисленные трагические провалы, сколачивались рабочие дружины; создавались тайные склады оружия; велась дерзкая агитация в воинских частях врага. События тех дней — неисчерпаемый материал для документального и художественного исследования.

К одному из таких исследований относится и книга Юрия Кларова «Допрос в Иркутске». В центре повествования две судьбы — профессионального революционера, связанного Сибирского бюро большевиков Стрижак-Васильева и адмирала Колчака.

Оба принадлежали к одному социальному классу, воспитывались в одном Морском корпусе и закончили жизнь одновременно. Колчак расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета, а Стрижак-Васильев погиб в бою с врагами Советской России — каппелевцами.

Два человека, которым, казалось бы, от рождения предназначалось сражаться по одну сторону баррикад, становятся непримиримыми врагами.

Образ Стрижак-Васильева обобщенный. На основе подлинных фактов автор показывает жизненный путь человека, сильною тем, что дело революции для него превыше всего.

И в спорах с Колчаком (а каждая их встреча превращается в спор), и в письмах, которые пишет Стрижак-Васильев товарищу по подполью, правота в оценке исторических событий на его стороне. В этих письмах ярко раскрывается характер главного героя. В них та мера убежденности и мужественности, которая, кажется, и должна быть свойственна такому человеку.

Автор старается проанализировать и характер «верховного правителя» и показать, что жила в жизни разделена этих людей.

Полная самоотверженность во имя революционного долга у Стрижак-Васильева и пренебрежение реальными обстоятельствами во имя собственного честолюбия у Колчака (его главный стимул: «Чувствовать себя исторической личностью и героем») — вот две жизненные позиции, достоверно нарисованные в книге. И как вывод отсюда — очевидная обреченность судьбы Колчака, его идейная несостоятельность.

Но вместе с тем в повествовании есть домыслы, которые не могут быть подтверждены ни документами, ни ходом событий.

В первую очередь вызывает недоверие задание, якобы полученное Стрижак-Васильевым от «члена Сиббюро ЦК РКП(б) и Реввоенсовета 5 Краснознаменной Армии».

Не названный по имени член Реввоенсовета посылает Стрижак-Васильева через линию фронта, чтобы арестовать Колчака. Но так и остается неясной конкретная роль Стрижак-Васильева в этом аресте. Автору же такое задание нужно было, наверное, для того, чтобы произошел последний «итоговый» разговор главных действующих лиц. Искусственность сюжетного хода здесь очевидна.

И сам арест упрощен. Стрижак-Васильев сообщает своему другу: «Конвой Колчака разоружили без единого выстрела... Таким образом, задание выполнено, точнее — почти выполнено, так как формально хозяин положения — Политцентр...» В действительности события развивались значительно драматичнее. Уже после того, как конвой был разоружен, иркутский Политцентр, в который входили эсеры и меньшевики, хотел пропустить эшелон Колчака и «золотой эшелон» на восток, под защиту японских штыков. Партизаны и черемховские шахтеры задержали Колчака в самый последний момент, под Иркутском.

Не оправдано и то, что в документальную часть книги (повествовательные главы в ней чередуются с документами: выдержками из подлинных приказов, судебных протоколов, телеграмм) включены и выдержки из вымышленных записных книжек Стрижак-Васильева и его разговоров с председателем

Иркутского военно-революционного комитета А. А. Ширямовым.

Стараясь, вероятно, показать «обыденность» мужества революционера-подпольщика, его личную скромность, автор кое-где теряет чувство меры. Стрижак-Васильев был приговорен к расстрелу. По дороге за город, где должна совершиться казнь, ему удается бежать. О том, как это произошло, мы узнаем из сна героя. А во сне он бежит под аккомпанемент детской песенки «прыг-скок». Неожиданное столкновение разнородных чувств иногда подчеркивает драматизм ситуации. Но в данном случае весь побег выглядит нереально облегченным.

И тем не менее новая книга Юрия Клара «Допрос в Иркутске» безусловно вызовет интерес у читателей, она раскрывает одну из страниц острейшего периода становления Советской власти в Сибири.

Н. Малюкова.



**А. СТАРКОВ. Герои и годы. Романы Константина Федина. М. «Советский писатель». 1972. 288 стр.**

Название книги А. Старкова «Герои и годы» созвучно имени первого фединского романа «Города и годы». Это созвучие живет в бережно переданном исследователем ощущении неиссякаемости фединского творчества, в том ощущении, которым был рожден роман об Андрее Старцове. И характерно, что литературная и человеческая судьба этого героя стала своеобразным лейтмотивом книги А. Старкова (его выверяется историко-литературное, социально-нравственное содержание героев и «Братьев», и «Санатория Арктур», и «Костра»), в этом же свете автор монографии рассматривает и проблемы гуманизма, остро и сложно поднятые К. Фединым в «Городах и годах». Не нарушая законов историзма, А. Старков прослеживает гуманистические искания Федина в перспективе полувекового опыта Октябрьской революции. При этом, вопреки общераспространенной точке зрения, ему удается доказать, что образ Андрея Старцова наделен большой жизнеспособностью. За свою мягкотелость, абстрактность нравственных метаний этот герой принял свое наказание в грозные дни революции, но его образ, как показывает А. Старков, не должен истолковываться только как воплощение вины перед революцией, он стоит рядом с Куртом Ваном и по своему является носителем правды революции.

Интересные литературоведческие наблюдения есть и в главе о трилогии. Широко используя архивные материалы, автор монографии раскрывает процесс художественных исканий писателя, показывает сложность и остроту тех проблем, которые возникали перед художником при творческом осмыслении исторического движения эпохи и судьбы личности в этом движении. В результате такого подхода фединская трило-

гия о революции предстает как сложный, неумный творческий поиск, несущий истине новаторские открытия нашей литературы.

В книге А. Старкова нет намерений канонизировать те или иные стороны концепции фединского творчества, исследователь не стремится и встать в позу первооткрывателя, не берет на себя право во что бы то ни стало пересмотреть проделанную его предшественниками работу по осмыслению творчества писателя. И тем не менее от страницы к странице, от главы к главе осуществляется несомненно плодотворный для уяснения идеологического содержания фединских романов, для понимания гуманистических исканий нашей эпохи пересмотр целого ряда, казалось бы, незыблемо сложившихся аксиом о фединском творчестве. Заслуживает внимания уже само стремление автора монографии в отличие от подавляющего большинства работ о Федине рассмотреть творческий путь художника не как преодоление каждым новым романом предыдущего этапа творчества, а в неразрывной связи всех книг Федина, показать, что творческая оригинальность художника с равной силой проявилась и в «Городах и годах», и в «Братьях», и в «Костре».

Исследователь апеллирует и к широко известным работам о Федине, и к статьям забытым, напечатанным на страницах журналов и газет 20—30-х годов. При этом не только вновь освещаются непримиримые и жаркие споры прошлых лет о фединских произведениях, но и уточняются позиции многих критиков, раскрывается их роль в выяснении идейно-эстетического содержания творчества Федина. Эта во многом удачно решаемая А. Старковым задача принципиально важна для современного осмысления социально-нравственных идей фединского творчества.

Есть в книге А. Старкова, на мой взгляд, и спорные положения.

Так, например, трудно согласиться с упрощенным решением вопроса о традициях в творчестве Федина, как вряд ли правомерно утверждать и то, что проблема крестьянства в первых фединских произведениях исчерпывается будто бы темой пробуждения его «от вековой спячки». Стремление автора монографии безупречно выверить соразмерность, гармонию идейно-эстетических решений в произведениях Федина в некоторых случаях приводит к трудноприемлемому бесстрастно-методическому «отсекновению» живых тканей фединских романов. По моему мнению, такого рода литературоведческие решения являются следствием того, что анализ психологического содержания художественных образов проводится А. Старковым не всегда с достаточным проникновением в социально-нравственные особенности того или иного фединского характера. В результате остается в полной мере не раскрытой неповторимость характера инженера Левшина в романе «Санаторий Арктур», недооценивается нравственная сила образа Лизы Мешковой,

и потому эта героиня традиционно заслоняется, как будто бы не выдержавшая соперничества, образом Аночки Парабукиной, а моральные «срывы» Улиной в «Костре» объясняются всего лишь свойством «живого» человека и даже не предпринимаются попытки проследить социальные, психологические истоки этих «срывов», объяснить которые позволяют уже первые романы трилогии.

То, что монография А. Старкова, при всех своих несомненных достоинствах, вызывает не только на размышления, но и на спор по поводу некоторых особенностей творчества Федина, еще раз подтверждает, что книги этого писателя — богатейший материал.

Н. Грознова.

Ленинград.



#### ДМ. МОЛДАВСКИЙ. Перекресток стихов в трасс. Ленвздат. 1972. 232 стр.

Это не монография. Хотя каждая из четырех глав, составивших книгу, сама по себе монографична. Это и не сборник отдельных статей. Хотя внимание исследователя привлекают поэты, весьма разнохарактерные по своим эстетическим устремлениям. Это именно перекресток. Принцип построения книги как нельзя более точно сформулирован самим автором в ее названии. Первая глава является магистральной и задает тон всей книге. В ней плодотворно и органически сомкнулись две давних и устоявшихся привязанности Дм. Молдавского: фольклор и творчество Маяковского, являющееся для исследователя образцом новаторского искусства. С этими привязанностями, в свою очередь, так или иначе пересекаются и соотносятся все последующие главы книги, анализирующие поэзию Н. Асеева, И. Сельвинского и А. Прокофьева.

На обширном и убедительном материале показывает исследователь, как народное творчество обогащает, а иногда и формирует, кристаллизует самобытность писателя. Дм. Молдавский подчеркивает неоднозначность обращения к фольклору в каждом отдельном случае: «...иногда это утверждение непреходящего и вечного; иногда — стремление найти опору для дальнейшего поиска...» Причем в обращении вводятся не только произведения устно-поэтических, но и изобразительных жанров. Буквально заставляешь, увидев на одной из страниц книги гравюру XVII века, вышолненную Василием Коренем, — так напоминает она стилизованную иллюстрацию к «Необычайному приключению...» В. Маяковского.

Отношение Асеева, Сельвинского и Прокофьева к Маяковскому — эта тема дает возможность проследить, сколь многообразны могут быть творческие связи между художниками. В первом случае это отношения сподвижников, идущих об руку в идейных и эстетических исканиях. Во втором случае мы имеем дело со сложными и противоречивыми отношениями привержен-

цев различных направлений в поэзии, в конечном счете вставших под единое знамя революционного искусства. И наконец, третий случай являет собой отношения преемственные: творческий путь Маяковского был уже завершен, когда А. Прокофьев выпустил свой первый поэтический сборник. Но, так или иначе, все эти связи столь же плодотворны, сколь и неукоснительны. Исследователь убеждает нас в этом не только скрупулезной фактографией, но и, что особенно важно, психологической достоверностью.

Тем явственнее, к сожалению, ощущаются в книге немногочисленные, но невольно сбивающие с мысли, досадные логические несоответствия. Так, например, Дм. Молдавский с полной уверенностью утверждает, «что произведения фольклора не вызвали его (Маяковского.— М. А.) интереса (как поэта) ни со стороны связи их с древними мифами, ни как реликты прошлого». И буквально через страницу сам же компрометирует свой тезис словами Маяковского о «связи нашей поэзии с мифом, в частности с русским», о «культе языка как творца мифа», о свойстве слова как поэтического импульса, о стремлении возродить «первобытную роль слова». Читатель оказывается в весьма затруднительном положении: при всем уважении к исследователю, верить-то приходится все-таки поэту. А вот другое положение книги: «Как и у Маяковского, как и у других поэтов, сломавших нарочитую гладкость эпигонского стиха, у Н. Асеева основным учителем был фольклор». Казалось бы, возразить нечему. И так оно, наверно, и было бы, когда бы опять же сам автор не предупредил нас о смысле понятия «эпигонский стих». Оказывается, «С. Третьяков на страницах «Нового ЛЕФа» (№ 1 за 1928 год) вообще отказывался от всех форм связи с классическим наследием, объявляя учение у классиков эпигонством...». Причем Дм. Молдавский информирует нас об этом с намерением остеречь от превратного толкования эстетики Маяковского, замечая, что в данном случае «точку зрения Маяковского нельзя отождествлять с точкой зрения «лефовцев» в целом». Ан сам же нарушает собственный запрет. Отождествляет. К вящему удивлению читателя.

Вряд ли имеет смысл расценивать подобную оплошность как концептуальную издержку автора книги. Разумеется, это лишь недогадка — и не более авторская, чем редакторская. Думается, куда важнее другое. Исследуя интереснейший и «необкатанный» историко-литературный материал, автор создал книгу ценную и для любителей поэзии и для специалистов-литературоведов.

М. Анцыферов.

Иваново (обл.).



**СЕМЕН АЛАДЖАЛОВ.** Георгий Якулов. Ереван. 1971. 320 стр.

Отличную книгу выпустили Армянское театральное общество и Институт искусств

Академии наук Армянской ССР. Это книга Семена Аладжалова — художника, человека театра и, судя по книге, талантливого литератора.

Труд этот, вышедший в свет с предисловием ныне покойного Р. Н. Симонова, посвящен одному из ярчайших деятелей искусств нашей революционной эпохи — Георгию Богдановичу Якулову. Автор скромно назвал свою работу записками, но вернее будет назвать ее книгой-портретом, книгой-монографией, построенной на основании исследований и разысканий, да к тому же еще и овеянной личными, лирическими воспоминаниями.

Г. Якулов прожил жизнь недолгую (1884—1928), но необычайно творчески насыщенную. Его создания — шедевры театрального оформления, произведения станковой живописи и книжной графики, архитектурные проекты — работы, всегда творчески самобытные, буино-новаторские, это создания, которыми вправе гордиться наше искусство. Якулов был одаренным мастером, глубоко самостоятельным в своих исканиях, определенным в своих общественных и творческих позициях. Он был человеком большой отваги, доказавшим это и на полях войны и в битвах за революционное искусство. У такого человека, у такого художника не могло не быть противников в жизни и в искусстве — ведь он утверждал свое творчество в боях с самыми разными консерваторами: политическими, философскими, эстетическими. Но еще больше было у него друзей. И каких друзей! С ним дружили, его поддерживали, в свою очередь согреваясь жаром его сердца, лучшие люди молодой советской культуры — и те, кто к революционному искусству пришел из кругов до-революционной демократии, и те, кто поднялся к творчеству вместе с революционным народом.

С Якуловым дружили, его уважали и любили А. Луначарский и В. Маяковский, С. Есенин и Т. Табидзе, А. Ширванзаде и М. Шагинян, режиссеры А. Таиров, В. Мейерхольд, В. Сахновский и другие, актеры А. Коонен, В. Качалов, Г. Нерсисян, Р. Симонов, художники Е. Лансере, П. Кончаловский, А. Лентулов, Д. Штеренберг, М. Сарьян, Ладо Гудианвили и другие, архитекторы Т. Тороманян, А. Шусев, В. Щуко, А. Таманян. Я перечислил далеко не всех, кто ценил, чтит этого прекрасного человека и художника, кто был связан с ним творчески. С ним сотрудничали, у него учились художники В. Комарденков, Н. Денисовский, братья Стенберги, С. Аладжалов и многие другие мастера живописи и театрально-декоративного искусства.

Он рано ушел из жизни, но его искусство не могут не помнить и те, кто в 20-е годы мальчишками общался с молодой, я сказал бы, утренней советской художественной культуре. Для пишущего эти строки навсегда незабываемо чудесное оформление Г. Якуловым блистательного спектакля Камерного театра «Жирофле-Жирофля» Лекоса, поставленного Александром Таировым.

Незабываемы и якуловские проекты и макет монумента двадцати шести бакинским комиссарам. Людям моего поколения памятны слова «якуловизация театров», популярные в 20-е годы, определившие сценические новации большого мастера.

Где бы на путях своей жизни ни появлялся Г. Якулов — в Москве, Петрограде, а потом Ленинграде, Тифлисе, Эривани, Баку, Париже... — он всюду покорял сердца людей своей революционной убежденностью, новаторской выдумкой, творческим энтузиазмом. Приехав в Париж, он сразу завоевал на Всемирной выставке декоративных искусств (1925) две награды — за театральные декорации и за проект памятника двадцати шести. Среди художников Франции он обрел друзей — П. Пикассо, Р. Делоне, Ф. Леже. Подружившись с Сергеем Прокофьевым, он для балетной труппы Сергея Дягилева в Париже оформил спектакль «Стальной скок». Музыка написал С. Прокофьев, либретто — Г. Якулов, которого увлекла мысль показать французам в пластических образах переход Советской страны от революционного взрыва к социалистическому строительству.

По книге С. Аладжалова хорошо видно, что, появляясь в трех столицах закавказских республик, Якулов всегда разжигал новые творческие замыслы, всегда включался в работу театров, художников, архитекторов. Поразительный это был человек: Человек-Энергия! Человек, оставивший по себе светлую память, живущую на широких пространствах — от Москвы до Еревана и от Еревана до Парижа.

Семен Аладжалов рассказал подробно биографию Г. Якулова, поведал о его живописных, архитектурных, графических работах, но прежде всего, естественно, о его театрально-декорационном искусстве. Он дал характеристики многих его работ, осуществленных театрами, и некоторых, оставшихся нереализованными. Рассказывая о фактах творческой биографии Якулова, автор, разумеется, входит и в сферу характеристики его мастерства, в область идейно-эстетической проблематики, волновавшей художника. Он интересно пишет о чувстве жанра у Г. Якулова и чувстве истории и локального колорита у художника, о его поэтическом восприятии характеров, о его диалектическом отношении к принципам и традициям «Мира искусств», в ряде выставок которого он участвовал в юные годы, никогда не будучи «мирискусником». Интересно пишет он про художественные искания Якулова — поиски нового синтеза в архитектуре, пластике, декорационном искусстве, поиски синтеза искусства и науки, поиски цветовых особенностей, связанных с особенностями солнечного цвета на востоке, на юге... Вряд ли достаточно точен С. Аладжалов в характеристике Якулова, когда из-за его житейской неприспособленности и неустроенности называет его «последним из богемы». Думается, что он гораздо ближе к истине, когда характеризует его пушкинской строкой: «Жил на свете рыцарь бедный...»

Книга не только увлекательно написана, но и превосходно проиллюстрирована разнообразными репродукциями. К ней приложены и основные даты жизни и творчества художника. Теперь, после выхода этой работы, стоит подумать об издании книги самого Якулова — книги репродукций его работ, сборника его статей, речей, интервью, заметок, отзывов, откликов, писем. Это был бы сборник, весьма важный для истории советского искусства и советской эстетической мысли и для живой художественной практики. С. Аладжалов своими библиографическими разысканиями заложил для такой книги крепкий фундамент.

Георгий Якулов дарил искусство народу, он умел дружить с настоящими людьми. И в народе остается память о нем, и один из его молодых друзей — Семен Аладжалов — прекрасно и трогательно, заботливо и любовно ответил на дружбу старшего товарища, учителя, мастера хорошей, содержательной и поэтичной книгой о нем.

Ал. Дымшиц.



**И. ЛАВРЕЦКИЙ.** Эрнесто Че Гевара. «Молодая гвардия». «ЖЗЛ». М. 1972. 351 стр.

После того, как мир узнал о драматической гибели в Боливии в октябре 1967 года выдающегося революционера, аргентинского врача Эрнесто Гевары Серны, по прозвищу Че, появилось немало книг и фильмов, повествующих о его жизни и деятельности. Их авторы в зависимости от политических взглядов, от собственной симпатии или антипатии, наконец, от степени осведомленности о биографии Че изображают его либо в виде супергероя-одиночки, революционера-самоубийцы, либо в виде троцкиста, маоиста и даже последователя Нечаева.

Подобные измышления убедительно и аргументированно опровергаются работой И. Лаврецкого, основанной на большом документальном материале, достоверных фактах, почерпнутых им из разнообразных источников, а также из личных бесед с родными Че и людьми, близко его знавшими. Автор книги решительно возражает против довольно распространенного за рубежом мнения о Че (в том числе и среди его почитателей) как о «перманентном» революционере, для которого высшим идеалом было партизанить, сражаться с оружием в руках против империализма и его клевретов. Такие почитатели, подчеркивает И. Лаврецкий, невольно или сознательно искажают портрет Че Гевары. Они забывают о том, что, будучи директором Национального банка, министром промышленности, Че внес исключительно весомый вклад в строительство экономических основ социализма на Кубе. Руководители революции, отмечается в книге, стремились путем коренных социальных преобразований освободить свою родину от гнета иностранного капитала, искоренить капиталистическую эксплуатацию, содействовать просвещению кубинского народа, пробудить в нем веру в свои силы,

чувство солидарности с угнетенными всего мира, поднять уровень жизни трудящихся. Че был твердо уверен, что всего этого можно добиться, если революционная Куба пойдет по пути индустриализации и плановой экономики, развития многоотраслевого сельского хозяйства и активного участия в строительстве нового общества самих трудящихся.

Опираясь на опыт Советского Союза, Че выступил инициатором социалистического соревнования на Кубе, которому придавал огромное значение, ибо видел в нем источник повышения производительности труда, формирования работника нового типа. «Строительство социализма,— говорил Гевара,— основано на плодах труда, на растущем производстве и производительности труда. Было бы бесполезно развивать нашу сознательность, если бы мы не смогли повысить наше производство, если бы у нас не было товаров широкого потребления». Ему не терпелось вновь ринуться в бой, но теперь не с оружием в руках, а с учебником политэкономии.

Че Гевару отличали высокие человеческие качества, которые снискали ему необычайно широкую популярность и уважение среди латиноамериканских крестьян, батраков, среди его боевых соратников. Фидель Кастро, чьи слова приведены в книге, с теплотой и душевностью отзываясь о своем мужественном сподвижнике, вспоминает, что Че не раздумывая брался за выполнение самого опасного поручения. Вся его жизнь была подчинена одной цели — освобождению Латинской Америки от гнета империализма.

В последней главе книги И. Лаврецкий

рассказывает о своей встрече с А. И. Микояном, который хорошо знал Гевару. «Мы много беседовали с Че, часто спорили с ним,— вспоминает Анастас Иванович.— Его отличала нетерпеливость, прямолинейность, вера в чудодейственную силу революционного действия, бескомпромиссность в борьбе. В известной степени все революционеры, в особенности молодые, грешат этим. Многим из нас только жизненный опыт, а под ним следует понимать не только успехи, но и неудачи, приносит трезвость суждений, только с жизненным опытом дисциплинируется революционная страсть, которая дает возможность собрать, накопить нужные силы, чтобы вновь ринуться в бой».

Гевара не успел накопить того жизненного опыта, той мудрости, которая приходит к человеку в пожилом возрасте. Неполных сорока лет он погиб в Боливии. Он навсегда остался молодым — со всеми достоинствами и просчетами молодости. Но каким бы сложным, подчас противоречивым ни было мировоззрение Гевары, хочется присоединиться к той оценке, которую дал этому человеку А. И. Микоян: «Революционер до мозга костей — таким был Че Гевара. Самозабвенное служение революции — в этом было его главное увлечение, его счастье, его высший идеал».

Со страниц книги И. Лаврецкого встает легендарный образ прославленного командира-интернационалиста, сыгравшего видную роль в строительстве социализма на Кубе, в революционном движении «бурлящего» континента.

**А. Иглицкий.**





# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**Л. И. Брежнев.** О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических республик. Доклад на совместном торжественном заседании Центрального Комитета КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР в Кремлевском Дворце съездов 21 декабря 1972 года. 64 стр. Цена 7 к.

**Вопросы идеологической работы КПСС.** Сборник важнейших решений КПСС. 1965—1972 гг. 568 стр. Цена 97 к.

**Переписка секретариата ЦК РКП(б) с местными партийными организациями.** Сборник документов. Том 7. Апрель—май 1919 г. 656 стр. Цена 1 р. 76 к.

**Г. Обезьянин.** Технический прогресс и научная организация труда. 46 стр. Цена 12 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**Е. Винокуров.** Метафоры. Новые стихи. 126 стр. Цена 35 к.

**А. Гроссо.** Сети. Роман и рассказы. Перевод с испанского. Вступительная статья И. Тертерян. 223 стр. Цена 76 к.

**Д. Дефорест.** Мисс Равенел уходит к северянам. Роман. Перевод с английского и предисловие А. Старцева. 432 стр. Цена 1 р. 5 к.

**О. Иоселиани.** Звездапад. Роман.—Солдат вернулся. Повесть.—Рассказы. Перевод с грузинского. 415 стр. Цена 86 к.

**Р. Мартен дю Гар.** Семья Тибо. Роман. Перевод с французского. Т. 2. («Библиотека всемирной литературы»). 911 стр. Цена 2 р. 70 к.

**Нефритовая Гуаньинь.** Новеллы и повести эпохи Сун. X—XIII вв. Перевод с китайского. 255 стр. Цена 89 к.

**Х. Прието.** Компаньон. Роман. Перевод с испанского. 208 стр. Цена 64 к.

**С. Розанова.** Толстой и Герцен. 303 стр. Цена 88 к.

**А. Хинт.** Последний пират. Рассказы и очерки. Перевод с эстонского. Предисловие З. Крахмальниковой. 208 стр. Цена 38 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Г. Бакланов.** Темп вечной погони. Месяц в Америке. 223 стр. Цена 32 к.

**К. Байлинов.** Братство. Роман. Перевод с киргизского В. Василевского. 518 стр. Цена 94 к.

**С. Головановский.** Опыт. Стихи и поэмы. Перевод с украинского. 142 стр. Цена 42 к.

**В. Конечный.** Среди мифов и рифов. Путевые заметки. 343 стр. Цена 75 к.

**А. Марьямов.** За двенадцатью морями. Повесть. 336 стр. Цена 50 к.

**Л. Озеров.** Мастерство и волшебство. Книга статей. 392 стр. Цена 1 р. 4 к.

**А. Твардовский.** Из лирики этих лет. Стихи. 1959—1968. 79 стр. Цена 26 к.

**Н. Чертова.** В сибирской дальней стороне. Роман и повести. 304 стр. Цена 48 к.

**С. Щипачев.** Трудная отрада. Проза. 239 стр. Цена 42 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**А. Ананьев.** Версты любви.—Межа. Романы. 623 стр. Цена 1 р. 56 к.

**Библиотека современной фантастики.** Т. 24. А. Вестер. Человек без лица.—Г. Гаррисон. Неукротимая планета. Романы. Перевод с английского. 398 стр. Цена 1 р. 38 к.

## ВОЕНИЗДАТ

**И. Модрових.** Три дуба. Роман. Перевод со словацкого. 293 стр. Цена 96 к.

**Не знавшие страха.** Сборник очерков. 103 стр. Цена 17 к.

**К. Радович.** Кавалеры Виртути. Повесть. Перевод с польского. 248 стр. Цена 81 к.

## «МЫСЛЬ»

**С. Мостовой.** Ленинские принципы идейно-воспитательной работы. 311 стр. Цена 1 р. 17 к.

**Л. Слепов.** Возрастные руководящие роли партии в строительстве коммунизма. 85 стр. Цена 15 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77  
Почтовый адрес: Москва К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 30/1 1973 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 6/IV 1973 г.  
Формат бумаги 70×108/16. 28,7 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл.-печ. л.)  
А 02066. Тираж 175.000 экз. Зак. 385.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия» в типографии комбината печати издательства «Радянська Україна» Киев, 47, Брест-Литовский проспект, 94.

Зак. 01873

Цена 70 коп.

70636